

Склад издания: Торг. сектор кн-ва „Красная Новь", Москва, Воздвиженка, д. 9.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 4—5

АПРЕЛЬ — МАЙ 1924.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ◊ МОСКВА ◊ 1924

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 4—5

АПРЕЛЬ—МАЙ 1924

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ◊ МОСКВА ◊ 1924 г.

Главлит 21.550. Тираж 5000 экз.

Типография „Красный Пролетарий", Изд-ва „Красная Новь", Пименовская ул., д. 1/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Трибуна.

Библиография.

Ленинцы.

Владимир Ильич свое революционное летоисчисление ведет от первых социал-демократических кружков, которые были в Казани (кружки Н. Е. Федосеева) [1], в Самаре (Лалаянц, Скляренко и др.) и в Петербурге (Кржижановский, Ванеев, Старков и др.).

Зарождение этих первых марксистских (социал-демократических) кружков относится к концу восьмидесятых годов и к началу девяностых прошлого столетия [2], т.-е. к тому времени, когда организации партии „Народной Воли“ частью разбивались полицией, частью под влиянием, хотя и довольно туго, но все-таки просачивающихся марксистских идей, расшатывались сами, частью свертывались и замыкались в сугубо-конспиративные организации. Соответственно этим трем процессам партия „Народной Воли“, погибая, выделяла либо вначале небольшие и реденькие группы своего рода мирнообновленцев (вроде партии „Народного Права“), которые впоследствии деформировались в либеральствующих народников (н.-с. трудовики „крестьянский союз“ и пр.), либо отдельные законспирированные кружки, переставшие представлять собой партию, либо, наконец, просто отдельных лиц, уходящих от идеологии народовольчества и переходящих к марксизму. Последних можно считать единицами. Рядом с этими отдельными марксистами стало возникать новое немногочисленное, пока еще, поколение социал-демократов.

Мы не знаем, стал ли бы когда-нибудь марксистом Александр Ильич Ульянов (народоволец), но мы наверное знаем, что К. Маркса

---

[1]) Федосеев, Николай Евграфович, сверстник Владимира Ильича, уроженец Вятской губернии. Будучи в Казани гимназистом, организовал несколько кружков социал-демократического характера по своей идеологии. Арестован в Казани в 1889 г. Отбывал крепость в „Крестах“ и по отбытии был сослан во Владимир. Потом за организацию там кружков выслан в Арх. губ. А оттуда в Сибирь, в Верхолонск, где и застрелился на почве клеветы, возведенной на него неким Юхоцким. (См. Н. Е. Федосеев, изд. Истпарта 1923 г.)

[2]) Впрочем, в Петербурге социал-демократические идеи находили своих сторонников и несколько раньше. Так, например, группа Благоева, состоявшая из 16 человек возникла приблизительно одновременно с образованием за границей Группы „Освобождение Труда“, т.-е. около 1883 г. Погибла (была арестована) вся эта группа в 1887 г.

Ал. Ил.—читал. Есть основание предполагать, что из рук народовольцев получил Владимир Ильич Маркса, может быть из рук Александра Ильича [1]).

Основательное знакомство Владимира Ильича с „Капиталом" Маркса относится к 1888 г. А последний террористический взмах партии „Народной Воли" имел место в 1887 г. [2]). Следовательно, Владимир Ильич может быть отнесен к тому поколению, которое в области идей представляло собой молодые побеги марксизма на русской почве. Это поколение искало всяческих путей войти в соприкосновение с теми единицами—марксистами, которых выделила партия „Земля и Воля" и которые образовали собою заграницей группу „Освобождение Труда".

Однако поколение это, свивавшее социал-демократические гнезда вокруг выходцев из партии „Земля и Воля" (гр. „Осв. Тр.") не может считаться поколением, призванным в революцию В. И. Ульяновым, ибо не Владимир Ильич тогда был вождем русского революционного движения как в области теории, так и в области практики.

Правда, то, что из всего молодого поколения „марксят" Владимир Ильич с самого начала своей деятельности выявил себя как самый даровитый, самый талантливый, самый образованный социал-демократ [3]). Вследствие этого Владимир Ильич уже при первых шагах своих в революционной работе приобретает огромный авторитет. Это видно из того, например, что виднейший тогда лидер социал-демократических кружков, как Федосеев, ищет всячески встречи с Владимиром Ильичем и посылает ему в Самару на отзыв свой ученый труд об истории падения крепостного права в России [4]). И все же в ту пору не Владимир Ильич, а Плеханов являлся властителем общественно-политических настроений и идей.

Поэтому, хотя в нашей партии и есть товарищи, которые одновременно с Владимиром Ильичом стали на сторону марксизма, и которые по своему революционному возрасту и могут быть названы

---

[1]) Объективные предпосылки этому были: Александр Ильич, обучаясь в Петербургском университете с 1883 до 1887 г. (он казнен 8/V 1887 г.), каждый год на все лето приезжал в Симбирск. Последний раз он был там в 1886 г., т.-е. тогда, когда Владимир Ильич был уже юношей (16 лет), а сам Александр Ильич—уже членом революционной организации.

[2]) 1 марта 1887 г. Александр Ильич Ульянов вместе с другими народовольцами, среди которых был провокатор, арестован, перед самым покушением на Александра III.

[3]) Мартов говорит, что „с первых же шагов своей соц. деятельности В. И. занял первенствующее положение в с.-д. группе стариков". „Ульянов,—говорит дальше Мартов,—вращался в среде серьезных и образованных товарищей, среди которых он играл роль первого между равными" („Записки соц.-дем." стр. 268):

[4]) В Самаре Владимир Ильич со своими пометками отдал рукопись Федосеева Скляренко, а последний был арестован вместе с этой рукописью, которая в настоящее время считается пропавшей. Часть ее под заголовком „Историческая справка" помещена фельетонами в №№ 12—13 „Самарского Вестника" за 1897 г.

принадлежащими к поколению Владимира Ильича, однако они не потому пришли к марксизму, что Владимир Ильич был для них путеводной звездой русского революционного марксизма. Для этого первого поколения с.-д., как и для самого В. И., путеводной звездой русского марксизма были Плеханов и Аксельрод.

Только следующее за этим поколение уже находило в учении и деятельности Владимира Ильича своего кормчего.

Авторитет Владимира Ильича восходил верно и неуклонно с самого начала его деятельности. Уже в девяностых годах Мартов и другие видели, что он, В. И., „сделан из такого материала, из какого делаются вожди“ [1]). Аксельрод в своем предисловии к первому изданию (1897 г.) брошюры Ленина „Задачи русских социал-демократов“ пишет про него: „революционер, счастливо соединяющий в себе опыт хорошего практика с теоретическим образованием и широким политическим кругозором.

Первое, мало кому известное, можно сказать чисто-психологическое расхождение между Лениным и Плехановым относится к 1900 г., ко времени, когда подготовлялось и организовывалось издание „Искры“ [2]). И уже тот факт, что с 1900 г. по II съезд нашей партии, т.-е. по 1903 г., Ленин стоит во главе той группы русских социал-демократов, которая не только создала „Искру“, но выносила ее на своих плечах—уже один этот факт становится началом конца авторитета Плеханова и его группы в области практической политики. II съезд Р. С.-Д. Р. П. весь идет под знаком Ленина. Революция 1905 года получает свою единственно правильную оценку только в концепции Ленина. Период 1902—1905 г.г. и особенно период 1905—1907 выдвигают Ленина как крупнейшего и талантливейшего политика. С этого момента Ленин становится вдохновителем русского революционного движения.

Все основные вопросы русской революции 1905 года, как-то: аграрный вопрос, вопрос о вооруженном восстании, наконец, возможное участие с.-д. во временном революционном правительстве решались Лениным по-своему, по-революционному. Естественно, что наиболее боеспособные слои Р. С.-Д. Р. П. объединялись вокруг него.

Так началась первая мобилизация революционных сил вокруг Владимира Ильича.

Но вот когда московское вооруженное восстание кончается неудачей, когда волна революции под ударами Дубасовых и Столыпи-

---

[1]) Мартов, Записки социал-демократа

[2]) Это расхождение запечатлено в обширном письме Владимира Ильича из-за границы в Россию (не отосланном) и озаглавленном „Как чуть не потухла Искра“ (сборник Института Ленина № 1—см. под тем же названием с комментариями т. Каменева).

ных начала спадать, Владимир Ильич выступает, как искуснейший вождь, отводящий свои полки с арьоргардными боями на вторые, на третьи позиции. Начинается отступление при сохранении армии для новых битв.

Элементы, мобилизованные Лениным в период подъема, тесно сплачиваются вокруг его знамени.

Черное реакционное время, которое наступило после 1907 года, было испытанием, революционным экзаменом для всей нашей, тогда еще единой, социал-демократической партии. Внутри партии произошли восходящие и нисходящие процессы: часть партии устремилась кверху, к так называемым „легальным возможностям" (ликвидаторы), другая часть отходила в сторону от марксизма к махизму, к богоискательству, призывая все и вся, даже единственный легальный социалистический рупор,—думскую фракцию социал-демократов,—куда-то в сверх подполье.

И только сравнительно небольшая группа оставалась вокруг Ленина, понимая, что отступление Ленина на вторые, третьи позиции есть революционное отступление, и в силу этого не понятое как теми, кто в сущности никогда не были революционерами (ликвидаторы), так и теми, у кого революционное чутье смешивалось с революционной фантастикой.

По мере того, как реакция все больше и больше свирепствовала, кольцо сторонников Ленина делалось уже, но крепче.

По революционной работе этот слой крепких сторонников В. И. Ленина распадался на две части. Одна часть его, находясь за границей, вела, главным образом, идейную борьбу. Другая, большая, часть сколачивала в России по крохам, по кусочкам, по отдельным лицам ряды революционной социал-демократии.

Вдохновляемые, обучаемые, ободряемые Владимиром Ильичем, как те, так и другие не только в силу начавшихся изменений общей социально-политической обстановки, но и вследствие собственных революционных усилий приводят к тому, что ядро, закваска русского революционного социализма с некоторого момента начинает быстро и неуклонно расти. Круг сторонников Ленина, приблизительно с 1910—1911 годов, начинает неуклонно расширяться.

Поворотный пункт обозначился, как укрепление и расширение политической позиции Ленина. Его линия оказалась верной потому, что она неуклонно диктовалась интересами русского рабочего класса. Но класс, имеющий своим выразителем даже такого гения, способного повториться, может быть, только в тысячелетия, как Владимир Ильич, не смог бы этого гения так полно окрасить в свой цвет, не смог бы восстать и пойти за ним, если бы этот гений был только выразителем его воли, если бы он не сумел исполнять эту волю. Влади-

мир Ильич был **выразителем и исполнителем** воли рабочего класса. То ядро самых активных элементов русского революционного движения, которое Владимир Ильич сумел сплотить вокруг себя, представляло собою звенья организационной цепи, которая практически помогала Ленину выполнять волю рабочего класса в России.

Этой группе ленинцев приходилось работать в условиях **величайшей конспирации** по объединению и воспитанию **широчайших масс** рабочего класса. Такое положение заставляло армию Ленина быть маневроспособной, выносливой, максимально дисциплинированной [1]). Вместе с тем стихийное рабочее движение временами распирало узкие конспиративные рамки и готово было вылиться потоком (иногда и разливалось по улицам Петербурга). Стихийное движение как бы само временами „легализовало" в России социалдемократию. Поэтому-то ленинская группа была сильна, поэтому-то никакая жандармская азефовщина и малиновщина (провокаторы) не могла устоять против революционного напора масс. А ленинцы-большевики благодаря этому напору неустанно создавали новые и новые организации среди рабочих на месте разбиваемых полицией [2]).

Эти-то элементы, воздвигавшие в неимоверно тяжких условиях все новые и новые связи с русским пролетариатом и создавали ту среду, через которую рабочий класс мог как бы предъявлять требования к своему гению.

Но начавшееся-было набухание революционного движения и сплочение сторонников Ленина внезапно и временно обрывается с

---

[1]) Недаром в полицейских документах, относящихся как раз к этому периоду (1911—1912 г.г.), фракция большевиков Р.С.-Д.Р.П. называется „Ленинским **полком**".

В некоторых судебных и полицейских приговорах большевики так и назывались „ленинцы". Под таким названием, помню, например, отправили из Москвы в ссылку группу товарищей в 1913 г. (Стриевский, Дугачев, О. А. Варенцова, Тихомирнов и др.). Жандармы относились к нам серьезно. А меньшевики на ту же тему — насмешливо: они называли нас ленинскими „молодцами".

[2]) Такие практики революционного движения в глухое столыпинское время, как Свердлов или Сталин, приобрели даже некоторую „этапную" известность вследствие своих частых побегов из ссылки и, следовательно, частых отправлений туда. Для некоторых товарищей полиция административную ссылку превращала в вечное поселение. Михаил Лашевич, например, из вологодской ссылки за несколько месяцев до ее окончания вдруг получает новую—Нарым. Пишущий эти строки, живя в ссылке в Яренске, Вологодской губернии, получил за месяц до ее окончания новую — на три года Архангельскую (1912 г.), а из архангельской, не докончив ее, новую, третью—Пермскую (после побега и ареста в Москве).

Так же из ссылки в ссылку путешествовали т.т. Ворошилов, Лутовинов, Тихомирнов и многие, многие другие, для которых административная ссылка была превращена в вечное поселение.

С требованием вечного поселения такого типа выступал открыто Марков 2 в Гос. Думе.

началом империалистической войны 1914 года. Это было новым и серьезнейшим испытанием для всех ленинцев.

Новое испытание сделало Владимира Ильича на некоторое время почти одиноким. Многие товарищи, даже близко к нему стоящие, в путанице общественно-политических отношений, наступившей так внезапно, не смогли сразу ориентироваться. Владимир Ильич лихорадочно ищет хоть каких-нибудь интернационалистов среди всеобщего шовинистического галдения.

В России на его сторонников посыпались исключительные репрессии: фракция большевиков Государственной Думы и с нею т. Каменев были арестованы. Газеты большевиков закрыты. Этапы, тюрьмы и ссылки были переполнены большевиками. И все-таки, несмотря на это, Петербургская и Московская организации упорно и последовательно, с утроенной энергией ведут свою работу по разъяснению смысла войны и тех революционных перспектив, которые открываются ею.

Война была объявлена 14 июля 1914 года, а уже в 1915 году в Петербурге возникла „Группа С.-Д. 1915 года", куда входили Бокий, Молотов, Баженов, Москвин, Тихомирнов, пишущий эти строки и кажется еще двое, трое товарищей. В том же 1915 году начинается вызов из ссылок новых групп товарищей (между другими из Иркутской ссылки были вызваны т.т. Лацис и Цылаев).

И тогда при собирании этих раздробленных осколков рабочей партии нами в основу работы была положена строжайшая конспирация. Так, например, при приеме в организацию нового товарища мы придерживались принципа принимать только того, кого хотя бы один член нашей группы знает лично абсолютно хорошо,—настолько хорошо, что может за его политическую честность отвечать лично. При этом, если хотя бы один член нашей группы даже без мотивов высказался бы против принятия в организацию нового товарища, он не принимался. Это было немного похоже на правила приема в конспиративные народовольческие организации, но за то, как показали нам после революции жандармские бумаги, в этой нашей новой организации не было ни одного провокатора.

В 1916 году эта организация уже пыталась ставить свою типографию. В этом деле большое участие принимали Н. И. Смирнов и Лацис.

Военный период работы может быть по справедливости назван самым тяжелым. Это было время худшей реакции. Но так как этому периоду предшествовал другой, период подъема (война Германией была объявлена, как известно тогда, когда на улицах Петербурга рабочие воздвигали баррикады), то естественно, что этот хотя бы и слабый проблеск грядущей революции зачерпнул целую группу

молодых товарищей, главным образом из рядов пролетариата. Это была вторая революционная мобилизация под знаменем Владимира Ильича, так как начавшееся-было движение шло под „неурезанными“ лозунгами нашей партии [1]).

И вот когда наступила военная реакция, то этот новый набор это новое кольцо революционеров, сомкнувшееся вокруг Владимира Ильича, целиком осталось в движении. Если первый набор Владимира Ильича, первое кольцо, сплотившееся вокруг него, при наступлении реакции в 1908 году дало небольшую трещину в виде отзовизма, богоискательства, махизма и проч., то уже второй набор, второе кольцо ни на волосок не разомкнулось при наступлении второй реакции военной, гораздо более суровой, чем первая.

Эти основные две колонны нашей партии, получившие свое боевое крещение в самые суровые годы реакции, представляют собою два поколения—поколение 1905 и поколение 1912 г.г.

Если товарищи, которые вместе с Владимиром Ильичем были основоположниками нашей партии, могут считаться принадлежащими к поколению Владимира Ильича, (поколение конца 90 годов), то вторые два ряда товарищей представляют собою следующие два поколения, призванные в революцию самим Владимиром Ильичем.

Им эти два поколения обучены (не без труда и терпения!); им воспитаны (не без тяжелых уроков!); им скреплены.

Таким образом партия революционного марксизма, постепенно укрепляясь, в конце концов выделилась из социал-демократической среды, как твердое, самостоятельное ядро русского революционного движения.

В самом деле, что произошло с первым поколением нашей партии. (90—900 годы)? Через какие-нибудь 6—7 лет после начала более или менее объединенного своего существования этот набор дает в 1903 году сильную трещину, которая грозит не только разбить партию, но и отозваться чрезвычайно пагубно на всем русском революционном движении.

Ленин во время этого раскола силой своего революционного гения привлекает на свою сторону лучшую часть Р.С.-Д.Р.П. В 1905 году эта большевистская часть Р.С.-Д.Р.П. впитывает в себя наиболее революционные элементы.

В годы реакции большевики испытывают некоторый кризис. Фракция большевиков дает трещину по линии отзовизма в области практической политики и по линии богоискательства и махизма в области теории.

---

[1]) Лозунги или, как тогда их называли, три большевистских кита были: 1) 8-ми часовой рабочий день пролетариату, 2) передача всей земли крестьянству, 3) демократическая республика—стране.

Начавшийся подъем в 1912 году дает большевистской части Р.С.-Д.Р.П. свежий приток почти исключительно пролетарских сил. 1914—1915 г.г. разгромили эти силы, развеяли, распылили их. Большевики переживают самый тяжелый кризис, находясь со своей политической линией почти одинокими не только на русской почве, но и на почве всего мирового рабочего движения. Но ленинские призывы 1905—1912 г.г. и в этих тягчайших условиях сохранили основные партийные пролетарские организации, пройдя через все скорпионы военного времени. В этот период основные колонны Ленина окончательно сплотились вокруг своего знамени.

Революция 1917 года застает эти колонны в сомкнутом строю.

Октябрьская революция лучшую часть рабочего класса и особенно рабочей молодежи вовлекает в ряды партии.

В этот период Октябрьской революции под знаменем Владимира Ильича создается третье, самое широкое кольцо коммунистов, при этом собираются все лучшие элементы не только из рядов тех, кто еще с 1903 года откололись от него, но и из тех, кто в реакционное время в 1907—1909 г.г. колебались и уходили в сторону.

Так, пройдя через все испытания, закаляясь, партия наша составилась из наиболее сильных и революционных элементов когда-то бывшей единой Р.С.-Д.Р.П. и из наиболее свежих и выдержанных элементов рабочего класса.

Ал. Аросев.

Философия на службе революции.

...Наша теория не догма, а руководство к действию...

Энгельс

...Для нас теория—обоснование предпринимаемых действий для уверенности в них...

Ленин.

Речь во ВЦИК 14/XII—17 г.

„Философофобия" является довольно распространенным видом психоза. В этом отношении она ни мало не уступает, или даже превосходит, „философоманию". Причина как первой, так и последней лежит в давно уже подмеченном „несварении желудка" по части философии (различие эффекта, вызываемого одним и тем же агентом, нужно отнести за счет того, что современная биология называет „гармональной формулой" той или иной персоны). Возможность установления точек соприкосновения этих двух крайностей не ограничивается пределами указанного: крайностям, говорят, положено схо-

диться,—сходятся и наши в общем признании безучастности философии к живой жизни в общем отрицании ее значения для жизненной борьбы. „Философия—детская забава, безделушка" („делание каменных молотков в эпоху парового молота",—как выразился один остроумный, хотя и начинающий историк), сердито бурчит не совсем еще оперившийся философоненавистник. „Атавизм мысли, фикция, измена, предательство науки—вот философия,—за борт философию! Вон ее из жизни!"—вопит законченный философофоб. „Философия—это ведомое лишь избранником ве́дение мира; ей нет ровно никакого дела до мелочной, „муравьиной работы людей", — гордо вещает воздыхатель философии и с чопорно-придурковатым видом истого маньяка силится выкинуть жизнь за борт философии. Что философия не очень-то обескуражена этими воздыхателями и ненавистниками, — за это говорит ее почтенная история: ведь ей, по самым скромным расчетам, за 2.000 лет! Но что, с другой стороны, борьба с ними не лишена смысла и по сей день, за это говорит широкое распространение этой породы, особенно „философофобов" в наши дни, в наших рядах.

Что марксизм не дает страховки от желудочных заболеваний, это в состоянии понять и любой младенец от марксизма, но что он ничего общего не имеет с желанием воспитать по отношению к философии „необузданную, дикую вражду", этого никак не могут взять в толк весьма солидные мужи. Это еще было бы с полгоря, если бы некоторые особенности такого питательного средства, как философия, не создавали представления о правильности и необходимости вышеупомянутого сеяния к ней вражды. В самом деле, попробуйте поставить вопрос: „что есть философия?", да призовите к разрешению его тех, кому разрешать след,—философов, и безысходную грусть и тоску вы почувствуете не только в желудке. Но что приличествует Юпитеру, то не всегда позволительно... ну, скажем, простому смертному, и потому, оставляя этот вопрос для философических Юпитеров, я позволю себе заняться другим, частным вопросом: выяснить, не принимала ли участия философия в Российском Октябре, не числится ли она на службе у рабочей революции. Сдается, что вопрос не лишен смысла и для Юпитеров: найти профессиональный союз, в рядах которого числится философия, ведь, это значит, определить предмет ее занятий,—вопрос, все вновь и вновь поднимаемый самими философами.

В прошлом философия на услужении у жизни бывала — многие не прочь согласиться, что она была служанкой теологии в обществе феодалов; несла она службу и у буржуазии—едва ли кто возьмется отрицать ее участие в революции этой последней. Что философия служила революции французской буржуазии, сметавшей на пороге XXI ст. феодальное общество, это понимали даже российские крепостники начала прошлого века. Любопытно, что они совершенно верно характеризовали роль философии революционной буржуазии по отношению к их, крепостническому, обществу. Так, М. А. Зубов в докладной записке на имя Александра I правильно определял эту роль,

называя философов-материалистов „червями общественного тела"; ведь, тем самым он, правда, в весьма неблагозвучных терминах, приписывал материалистической философии роль своеобразного орудия разрушения старой общественной формы. И эта роль для прошлого не оспаривается никем. Что же до настоящего, то положительный ответ на вопрос о роли философии в революции, признание за ней права называться „руководством к действию"—едва ли может рассчитывать на мирное проникновение в наше общество. Это последнее обстоятельство обязывает озаботиться относительно аргумента, который на-ряду с доказательностью обладал бы и авторитетностью, способствующей устранению предубежденности. В качестве такового лучше, чем мнение Ленина, этого признанного мастера революции, не найти. К нему я и позволю себе обратиться.

В 1920 г., на пороге четвертого десятилетия своей службы революции, Ленин в своих бессмертных „Левизнах" писал: „Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались бы у власти не то что 2½ года, но и 2½ месяца без строжайшей поистине железной дисциплины в нашей партии"... и несколькими строками ниже: „Повторяю, опыт победоносной диктатуры пролетариата в России показал наглядно тем, кто не умеет думать или кому не приходилось размышлять о данном вопросе, что безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата являются одним из основных условий для победы над буржуазией". Этот факт,—продолжает дальше Ленин,—начинает останавливать на себе внимание наблюдателя, но, к сожалению, он не всегда вызывает желание поразмыслить, что это значит? при каких условиях это возможно? а между тем здесь-то именно „серьезнейший анализ причин того, почему большевики могли выработать необходимую для революционного пролетариата дисциплину", необходим больше, чем где бы то ни было. И, пытаясь выяснить, чем держится, проверяется и подкрепляется эта дисциплина, он, как на условие этого, указывает на-ряду с сознательностью и героизмом пролетарского авангарда и его уменьем связаться с широкой трудящейся массой, на „правильность политического руководства, осуществляемого этим авангардом, правильность его политической стратегии и тактики"... „Только при этих условиях стремление осуществить эту дисциплину достигает положительных результатов; вне их оно превращается в пустышку". (Ленин Н., Собр. сочин., т. XVII, стр. 117—119).

Отсюда становится понятным то колоссальное значение, которое он придавал этой „правильности политического руководства", безошибочности тактической линии своей партии. И это отнюдь не случайная нотка, это лейт-мотив ленинского учения: он упорно борется с отказом от „действия сверху", он настойчивейшим образом твердит о задачах серьезной политической партии не только учиться у революции, но и самое революцию научить, он всегда помнит и других обязывает не забывать, что возможны такие условия классовой схватки,

когда именно характер этого руководства, тактика партии того или иного класса может стать „решающим фактором“. После этого становится понятной та тщательность, с которой Ленин относится к вопросам тактики, та скрупулезность, которой может позавидовать немецкий профессор, проявляемая Лениным в изучении практики с целью выуживания малейших отступлений от чистоты тактической линии.

Но прежде всего встает вопрос, как возможна была для него эта оценка чистоты тактической линии? Где тот чувствительный реактив, пользуясь которым он производит своего рода качественный анализ политического поведения тактики своей партии.

В поисках ответа на этот вопрос обычно обращаются к различным особенностям ленинского гения, но, как мне кажется, не называют одной, которая в данном случае является решающей — забывают Ленина-теоретика. Нужно сказать, что среди предубеждений, существующих вокруг Ленина, одним, едва ли не самым распространенным, является непризнание за ним качеств теоретика; как это ни странно, но надлежащую оценку Ленина с этой стороны первоначально давали лишь буржуазные профессора; в лагере же марксистов до последнего времени в нем видели лишь практика,—очевидно „судьба проказница-шалунья“, внимательная ко всему умному, не обошла и Ленина. А между тем, сам Ленин в своих рассуждениях о тактике дает достаточно указаний, как правильно решить поставленный выше вопрос. И только лишь чрезмерное доверие к его самооценке — известно, что он оставлял за другими право называться теоретиками, себя же „предпочитал“ именовать „историком современности“ или, что для него равнозначно, „публицистом“ — может объяснить недостаточность внимания к ним.

На чем же строил Ленин свою тактику и каким критерием руководствовался при оценке политики своей партии? Достаточно беглого знакомства с соответствующими местами из его работ, чтобы сказать, что таким основанием не мог быть ограниченный опыт практика, а наметанный глаз и набитость руки того же практика не могли служить компасом, по которому бралось бы направление политической линии партии. Дело строительства партийной тактики не могло быть для него делом от случая к случаю, да этакая тактика и не заслужила бы этого названия, ибо она не была бы тем „систематическим, освещенным твердыми принципами и неуклонно проводимым планом деятельности, который только и заслуживает названия тактики“ [1]).

Именно тактику-план, заранее намечаемый на основании теоретического анализа с тем, чтобы он до известной степени предупреждал события, подвергаясь проверке и исправлению в развертывании этих последних, имел в виду Ленин, когда говорил о тактике партии. Мы не можем удовлетвориться тем, чтобы наши тактические лозунги

[1]) „С чего начать?“, т. IV, 34 стр., изд. 1922 г.

ковыляли вслед за событиями, приспособляясь к ним после их совершения. Мы должны стремиться к тому, чтобы эти лозунги вели нас вперед, освещали наш дальнейший путь, поднимали нас выше непосредственных задач минуты"...—писал он в июле 1905 г. в статье „Революция учит" [1]). Ясно, что для выработки такой тактики совершенно не пригоден „практик", наскоро пристегивающий себя к „историческому моменту" с тем, чтобы, волочась в хвосте событий этого момента, тоже вычерчивать известную тактическую линию. Для выработки тактики партии русских большевиков нужен был совершенно иной тип революционера, сочетавшего в органическом единстве теорию и практику революции, т.-е. революционера, который свою практику строит на базе теоретических достижений, а свою теорию проверяет и отшлифовывает в горниле практики революционной борьбы. Таким и был Ленин, и сила его тактики в „правильной революционной теории, которая не является догмой, а окончательно складывается лишь в тесной связи с практикой действительно массового и действительно революционного движения" [2]).

Итак, основание, на котором зиждется ленинская тактика, своего рода канва, на которой выводится замысловатый рисунок большевистской политики, нужно искать в области теории; без овладения теорией нельзя не только овладеть этой тактикой, но даже невозможно и понять ее. „Без продуманных теоретических воззрений (разрядка моя. *А. Тр.*) нельзя усвоить тактики партии, говорил он, касаясь частного вопроса—отношения партии к крестьянским восстаниям—в статье „Пролетариат и крестьянство", датированной мартом 1905 г. Отсюда его необычайная внимательность к вопросам теории и та ожесточеннейшая борьба, с которой он ополчался против всяческих отклонений теоретического характера. Он знал, что теоретические разногласия рано или поздно перейдут в форму практической борьбы, что „теоретическое заблуждение необходимо приводит к тактической ошибке", что „от упрочения того или иного „оттенка" (теоретического. *А. Тр.*) может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет" [3]). С другой стороны, сам опыт революционной борьбы подтвердил „политическую ценность непримиримой теоретической полемики". Вот почему он требовал—и сам давал образец выполнения этого требования—доскональнейшего изучения теоретических разногласий и решительной беспощадной борьбы с отходом от ортодоксальной линии в теории. „Не пренебрегайте теоретическими спорами,—говорил Ленин на Лондонском съезде,—не машите рукой презрительно по поводу фракционных измышлений насчет разногласий. Наши старые споры, наши теоретические и особенно тактические разногласия постоянно превращаются в ходе

---

[1]) Цит. по Собр. сочин., т. VI, 289 стр., изд. 1922 г.

[2]) „Левизна", Собр. сочин., т. XVII, 119 стр.

[3]) „Что делать?", Собр. сочин., т. V, стр. 135.

революции в самые непосредственные практические разногласия" [1]). Не менее отчетливо ту же мысль он выразил и по частному поводу борьбы с ревизионизмом: „То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно,—пророчески писал он в 1908 г.,—это придется еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия в пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения поведения масс"... Идейная борьба революционного марксизма с ревизионизмом в конце XIX в. „есть лишь преддверие великих революционных битв пролетариата, идущего вперед к полной победе своего дела вопреки всем шатаниям и слабостям мещанства" [2]).

В этом взгляде Ленина на значение теории в революционной борьбе и кроется секрет величайшего обаяния ленинского спора: не в буйном фейерверке блестящей фразы, нет, оно лежит в умении всякий спор, закипевший вокруг, казалось бы, мелочных вопросов практики, поднять до „сияющих вершин" теории с искусством непревзойденного мастера, помогая при этом слушателям „карабкаться по ее (теории. *А. Тр.*) каменистым тропам". В этих спорах он всегда руководствовался правилом, высказанным им в одном из них: „нельзя вполне уяснить себе никакой ошибки, в том числе и политической, если не доискаться теоретических корней ошибки у того, кто ее делает" [3]). И он всегда добирался до этих „корней", каких бы усилий это ни стоило. Но спрашивается, как точней определить ту область теории, где Ленин доискивался корней специально политических промахов, тактических ошибок? Куда он в таком случае направлял свое внимание? Какие именно „продуманные теоретические воззрения" служили для него условием, без которого понимание его тактики невозможно?

Ответ на все эти вопросы лежит в слове, как это ни покажется режущим ухо философу,—философия. Философия—вот участок теории, где Ленин выкапывал корни тактических расхождений; философия—вот та область, куда он с искусством истого стратега шаг за шагом тащил своего врага-оппонента по вопросам тактики с тем, чтобы здесь подвергнуть его беспощаднейшему разгрому; овладение философией—вот условие, без которого не мыслимо усвоение ленинской тактики. С этим не всегда соглашаются, не редко против этого возражают, но тем не менее это так, и доказать это не столь уж трудно, если обратиться к самому Ленину.

В своей статье „Об отношении рабочей партии к религии", написанной в мае 1909 г. по поводу выступления думской фракции партии при обсуждении синодской сметы, статьи, полной исключи-

[1]) Собр. сочин., т. VIII, стр. 384.
[2]) Собр. сочин., т. XI, стр. 61.
[3]) Еще раз об ошибках т. Троцкого, Собр. сочин., т. XVIII, стр. 57.

тельного интереса для всякого марксиста, занимающегося философией, Ленин говорит, что для людей, „нетерпимо относящихся к марксизму“, тактика последнего по отношению к религии представляется комком бессмысленных противоречий и шатаний. „Но,—продолжает Ленин,—кто сколько-нибудь способен серьезно отнестись к марксизму, вдуматься в его *философские основы* (курсив мой. *А. Тр.*) и в опыт международной социал-демократии, тот легко увидит, что тактика марксизма по отношению к религии глубоко последовательна и продумана Марксом и Энгельсом, что то, что диллетанты или невежды считают шатаниями, есть *прямой и неизбежный вывод из диалектического материализма* (подчеркнуто мною. *А. Тр.*) глубоко ошибочно было бы думать, что кажущаяся „умеренность“ марксизма по отношению к религии объясняется так называемыми „тактическими“ соображениями в смысле желания „не отпугнуть“ и т. п. *Напротив, политическая линия марксизма и в этом вопросе* неразрывно связана и его философскими основами“ (подчеркнуто мною. *А. Тр.*). Эта характерная связь станет понятна, если принять во внимание ту объективную роль, которую играет философия: несмотря на кажущееся топтание на одном месте вокруг вопроса объяснения мира, философия всегда и всюду занята вопросом изменения этого мира. Что касается до „всегда и всюду“, то к этому я вернусь несколько позже, а сейчас отмечу ту же мысль у Ленина. В той самой статье, из которой я только что привел большую цитату, он развивает дальше высказанную им мысль о связи тактики с философскими основами партийной теории. Этими философскими основами нашей теории является материализм,—развивает он свою мысль. Среди азбучных истин материализма есть истина, непосредственно касающаяся разбираемого вопроса политики рабочей партии в отношении религии. Эта истина—признание необходимости беспощаднейшей борьбы со всякой религией. „Но,—продолжает Ленин,—марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо *уметь* (подчеркнуто автором. *А. Тр.*) бороться с религией“ [1]) ...Научить бороться, действовать, быть наукой действия—вот задача философии в понимании Ленина. Вот откуда такой интерес к „ищущим“ в философии, вот почему и нельзя стать настоящим коммунистом, не усвоивши того, что писал Плеханов по философии, вот почему в спорах русских коммунистов о роли профессиональных союзов принимает участие старый Гегель. И это понимание философии не случайно для Ленина. и даже тот печатный материал, которым я располагаю, дает возможность проследить ту же мысль еще в нескольких местах. Ее он выражает, когда в своих „Трех источниках марксизма“ говорит: „Философия Маркса есть законченный философский материализм, который дал человечеству великое орудие познания, а рабочему классу в особен-

[1]) Собр. соч. т. XI. ч. I. стр. 253.

ности... Только философский материализм указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали доныне все угнетенные классы" [1])...

Она же сквозит в признании партийности философии. Но дело не в одном высказывании этой мысли,—дело в том, что Ленин на каждом шагу своей революционной работы подтверждал эту мысль. Проследить это последнее и составит задачу дальнейшего изложения, но предварительно необходимо остановиться на одном вопросе, имеющем непосредственное касательство и ко всей теме, и в частности в только что высказанной мысли. Я имею в виду естественно возникающий вопрос: а как же обстоит дело с „отменой" философии в марксизме? К рассмотрению этого вопроса я и позволю себе перейти с тем, чтобы, покончив с ним, вернуться к Ленину и его использованию философии на службе у революции.

А. Троицкий.

(Продолжение следует).

---

[1]) Привожу выдержку по изд. „Уралкнига" 1923 г., стр. 30-32.

200-летие со дня рождения Канта в Германии.

1. Исторический Кант.

22 апреля текущего года исполнилось 200 лет со дня рождения Канта. Германская буржуазия, особенно в лице академической интеллигенции, отпраздновала этот день, хотя и без особенной торжественности. Вполне понятно, что при этом на первый план выдвинулся не столько исторический, т.-е. истинный, Кант, сколько Кант в понимании и обработке германской буржуазии современной эпохи, через 10 лет после начала мировой войны, через 6 лет после катастрофического поражения германского империализма на французских полях битвы, на 6-ой год мнимого мира, после ужасающего национального унижения, после незавершенной буржуазной революции, которой не дано было перейти в пролетарскую революцию, и после удавшейся на три четверти контр-революции. Говоря языком Канта, наша буржуазия праздновала не „Канта в себе“, а „Канта для нас“, Канта для современной германской буржуазии. Таким образом это чествование памяти Канта дает удобный повод осветить духовную физиономию германской буржуазии, что и является главною целью последующих строк. Такой анализ имеет не только историческое значение, он не лишен также известного практического значения для рабочего класса. Буржуазная философия современной Германии, как мы увидим, насквозь реакционная, всякого рода путями вредно воздействует на правильное усвоение марксизма и, прежде всего, через посредство переходящей в наш стан буржуазной интеллигенции. Эти влияния достигают нас в очень ослабленной форме, но, во всяком случае, они существуют. Необходимо отмечать и клеймить первые же их признаки. „Последнее слово“ „немецкой философии“ не совсем еще потеряло, думается нам, всякое влияние за границей, даже и в Советской России, и даже среди марксистской интеллигенции Советской России. Следует обращать внимание и бороться даже против микроскопических окрашиваний марксизма, иначе они могут усилиться. Эта „высшая марка“, как называл ее Энгельс, исходит, в области философии, от немецких университетов, — в этой высшей марке многие из вра-

щающихся в сфере философии и имеющих одновременно связи с революционным рабочим движением, думают найти высшую мудрость по отношению к марксизму, что-то такое, что может „дополнить, расширить, истолковать, модернизировать“ марксизм. На самом же деле, как мы увидим, новейшая немецкая философия во всех своих течениях является понятным движением далеко назад по отношению к Канту.

Кант, как один из идейных пионеров буржуазной революции в Германии, как исходный пункт одного из идейных движений, ведущих к научному социализму, к Марксу и Энгельсу, принадлежит к числу героев, которых рабочий класс чтит и умеет исторически оценить; один только рабочий класс в состоянии в настоящее время дать надлежащую объективную историческую оценку предтечам буржуазной революции, между тем, как буржуазия умеет их теперь только искажать и подделывать. Стоит, в виде примера, сопоставить, что говорил о Канте Франц Меринг, что говорили в свое время неокантианцы и что умеют сказать о нем современные философские школы в Германии. Ныне дело дошло до того, что приходится „спасать“ настоящего Канта от легенды и подделки буржуазных идеологов, как приходилось „спасать“ Лессинга. Правда, борющийся пролетариат в Германии в настоящее время настолько поглощен повседневною борьбою и непосредственными своими нуждами, что у него едва остается досуг вмешаться в дело, когда буржуазия придушает, подделывает и искажает одного из великанов своего революционного прошлого. Лишь победоносная пролетарская революция в Германии будет в состоянии воздать в полном объеме историческую справедливость галлерее предков буржуазной революции в Германии, спасти из великого наследия буржуазной культуры в Германии то, что может в будущем послужить строительным материалом для грядущей социалистической культуры. А пока достаточно, если революционный авангард немецкого рабочего класса резко отмежуется от той свистопляски, которую „наша“ буржуазия ведет против Канта и его преемников.

Чтобы уразуметь, что современная немецкая буржуазия творит из Канта и с Кантом, необходимо указать, хотя бы в основных чертах, какова была действительная историческая роль Канта. При этом выяснится само собой, что из наследия Канта рабочий класс может принять, и что должен отмести.

Историческая роль Канта выступит ярче всего, если сопоставить его, с одной стороны, с „просветительством“ в Германии, с другой стороны, с французским материализмом того времени, далее, — если привести его в связь с нашей классической литературой и с великими ее философскими преемниками, Фихте, Шеллингом, Гегелем, Фейербахом.

Революционная роль Канта заключается, прежде всего, в критике пошлой, плоской, либеральной теологии теизма и ее философского отражения, просветительной популярной философии, которая

ссылалась на Лейбница, на самом же деле стаскивала великана Лейбница в курятник, брала у него только то, что годилось в ее филистерскую кухню. Главным занятием этой популярной философии было разжижать правоверную теологию, приводить ее к буржуазному уровню, приспособлять ее к буржуазному „здравому смыслу“. Неправильно было бы отрицать, что и немецкое просветительство имело свою исторически-прогрессивную сторону. Но оно было лишь нерешительным, робким лепетом немецкой буржуазии и должно было завянуть при переходе буржуазного самосознания на дальнейшую ступень развития. Уже Лессинг объявил войну либеральным „просветителям“ во имя буржуазного самосознания. Его философскими опорами были при этом — настоящий Лейбниц, в противоположность тому, что сделали из него Вольф и его ученики, и Спиноза. Но Лессинг при всех данных им плодотворных стимулах во всех областях, связанных с развитием буржуазного самосознания в Германии, не был, однако, самостоятельным творческим философским умом. Таким был Кант. В своей „Критике чистого разума“ он нанес смертельный удар теизму и популярной философии Вольфа. Он предал критической казни „бога, свободу и бессмертие“, эти жалкие философские абсурды христианской теологии. По остроумному выражению Гейне, бог и небесные рати не умели доказать свое существование и истекли кровью. Это сделал Кант, подвергнув способность познания глубокому критическому исследованию, чтобы установить ее границы. Его исследование привело к тому заключению, что истинное познание осуществляется лишь путем совокупной работы чувственного опыта с координирующим этот опыт разумом. „Чистый“ разум без чувственного опыта создает лишь химеры, не дает истинного познания. Разум ограничен познанием конечного, чувственного. О „боге, свободе и бессмертии“ нельзя ничего узнать. Доказательство бытия бога и пр.—будь это самый разжиженный либеральный бог — ничего не доказывает. Метафизика, наука о сверх-чувственном, не есть наука, она невозможна.

Упразднение теизма, Вольфовской метафизики, было, несомненно, первостепенным революционным делом.

Но Кант вел одновременно борьбу и в другом направлении,— против французского материализма того времени, против голого, грубого атеизма энциклопедистов. Это был революционный противник, которого он хотел поразить. И он провел „границы“ человеческой способности познания таким образом, что если „бог, свобода и бессмертие“ не доказуемы, то недоказуемы и атеизм, материализм, переступающий установленные им, Кантом, границы человеческой способности познания. С этой целью он „доказал“, что познаваемы лишь „явления“ (феномены), но не „вещи в себе“ (ноумены). „Вещи в себе“ остаются совершенно недоступными для человеческого разума. Таким образом материалистическое познание, хотя и единственно возможное, не есть истинное познание действительности. Между человеческим познанием и миром вещей в себе зияет непроходимая

пропасть. Кант разрушил теоретический сверхчувственный мир, чтобы чувственный, действительный мир перенести по ту сторону человеческого разума. Он пошел даже дальше. Если теоретический разум не мог отстоять бытие сверхчувственного мира, то за него вступился „практический разум“, поставивший бога, свободу и бессмертие как „постулаты“. Лапме (слуга Канта) должен был, по выражению Гейне, иметь бога, он должен был верить в бессмертие, ибо как мог бы он, в противном случае, вынести свое существование в земной юдоли? Он должен был верить и в человеческую свободу, иначе его нельзя было бы наказать, когда он съел что-нибудь лишнее. Итак, тут необходимо было вмешаться практическому разуму, т.-е. практическим нуждам буржуазии.

Здесь на-лицо, несомненно, регресс по сравнению с французским материализмом того времени, здесь таится реакционная сторона кантовской философии. Нетрудно вскрыть, в чем коренился этот регресс. Причина его лежала в отсталом еще, по сравнению с Францией, революционном развитии немецкой буржуазии. Грубый, обнаженный материализм был грубым, открытым объявлением войны церкви, феодальному дворянству, абсолютному феодальному обществу. Он был для широкой народной массы набатом к штурму твердынь феодального общества. Материализм срывал в области идей границы, отделявшие народную массу от буржуазии. Буржуазной Германии было еще далеко до такого уровня развития. „Народ“ мог еще пока верить в небесные рати и сохранять подчинение и преданность церкви, своим юнкерам и деспотизму. Пока требовалось довести освобождение от феодальной идеологии лишь до того предела, при котором еще не наступил бы открытый разрыв, но при котором передовые слои буржуазии могли бы уже освободиться от духовных оков. Лишь с выступлением Фейербаха, т.-е. спустя два полных поколения, буржуазия в Германии подвинулась вперед настолько, что могла открыто провозгласить материализм, и тогда следующий шаг повел уже к социализму. Такое положение вещей, поскольку оно отражается в уме такого индивидуума, как Кант, не следует, конечно, представлять себе так, будто, например, Кант **сознательно**, т.-е. **нечестно**, остановился там, где это диктовали интересы буржуазии, между тем как на самом деле прозревал дальше этого предела. Наоборот, то, что для немецкой буржуазии было в свое время объективным пределом, то самое стало для ее идеолога субъективным пределом его познавательной способности. Так, по крайней мере, обстоит дело с революционным мыслителем. Вспомним, что то же самое отмечает Маркс в своем первом философском труде о Гегеле, по отношению к его ученикам. Иначе, конечно, складывается положение после того, как буржуазия стала сознательно реакционной.

Эту реакционную часть Кантова наследия революционный класс должен резко отклонить.

Границы человеческой познавательной способности, как их обо-

значил Кант, оспаривались уже его преемником, окончательно же были исправлены диалектическим материализмом в следующем смысле: не существует абсолютных пределов человеческой способности познания, есть только относительные подвижные границы, подлежащие исторически беспредельному продвижению вперед. Эти исторические, т.-е. преходящие для каждой эпохи, границы конкретно определяются в последнем счете структурой материального производства. Реальное „определение границ" человеческой познавательной способности дается историческим или диалектическим материализмом. Он в состоянии истолковать, почему, примерно, такой гениальный ум как Аристотель не мог в своем сознании перескочить за пределы рабства, или почему классическая древность была поставлена в столь тесные границы познания природы и т. д. Гегель уже знает, как надо понимать „вещь в себе"; он говорит:

„Можно заметить, что здесь раскрывается смысл вещи в себе, являющейся очень простой абстракцией, но бывшей некоторое время очень важным определением, подобно тому, как тезис, что мы не знаем, что собою представляют вещи в себе, был многозначительною мудростью. Вещи называются вещами в себе, поскольку мыслятся в отвлечении от всякого бытия для другого, т.-е. вообще поскольку мыслятся без всякого определения, как ничто. Правда, в этом смысле нельзя знать, что есть вещь в себе. Ибо вопрос: ч т о? требует, чтобы даны были о п р е д е л е н и я; но поскольку вещи, определение которых требуется, в то же время должны быть в е щ а м и в с е б е, т.-е. не иметь определения, то в вопрос вкладывается бессознательно невозможность дать на него ответ, или дается лишь нелепый ответ... Таким образом вполне понятно, что означают эти вещи в себе; как таковые они являются ничем иным, как мнимыми, пустыми абстракциями" (Hegel, Logik, hrsg. v. Lasson, Leipzig, 1923, S. 108).

Для самого Гегеля, „вещь в себе" есть „конкретное понятие", но при этом, хотя и преодолевается Кантовский дуализм, но одновременно мир переворачивается с ног на голову. Фридрих Энгельс окончательно выясняет положение, когда говорит, что критерий того, насколько „вещи в себе" становятся „вещами для нас", т.-е., говоря человеческим языком, насколько познается нами истинное существо вещей, дает практика, техника и, можно прибавить, революционная политика: поскольку мы на общественном поприще уразумели „вещи в себе" — наши предсказания оправдываются и действенное наше вмешательство успешно. Поскольку же у нас в голове были лишь субъективные бредни, мы получаем удар по голове.

Каково отношение Канта к диалектике? Прогрессировал ли он в этой области по сравнению со своими предшественниками? Этот вопрос потребовал бы более обстоятельного исследования. Ограничимся здесь лишь следующим: после логически-диалектической предварительной работы греков, остановившейся на Аристотеле, который впервые дает систематическое изложение форм мышления, и после дальнейшей

предварительной работы выразившейся, с одной стороны, в физико-математических методах, развитых Галилеем-Ньютоном-Лейбницем, с другой—в эволюции философии со времени Декарта, Кант первый делает шаг за пределы традиционной логики по направлению к диалектике. Кант ставит вопрос диалектики (он даже опять впервые подхватывает слово и понятие диалектики в том смысле, в котором его позже применял Гегель: в смысле необходимых противоречий, на которые наталкивается разум, в противоположность критическим софистическим противоречиям смысла, в котором до того времени диалектика понималась новою философией). Кант ставит вопрос, вводит проблему в поле зрения, хотя и в ограниченном смысле. Это большая заслуга. Как известно, это имеет место в четырех космологических „антиномиях“, в противоречиях, которые Кант открывает в вопросах об ограниченности или беспредельности мира в пространстве и во времени и т. д. Кант не находит правильного разрешения этих противоречий, он далеко и не ставит вопроса в достаточно общей форме. Гегель вполне прав по отношению к Канту, когда говорит: „...Более глубокое проникновение в антиномическую или, вернее, в диалектическую природу разума вскрывает, вообще, всякое понятие, как единство противоположных моментов, которым можно было бы, поэтому, придать форму антиномических утверждений. Образование, бытие и пр. и всякое другое понятие могло бы дать свою особую антиномию и, таким образом, можно было бы поставить столько же антиномий, сколько дается понятий“ (Логика, изд. Лассона, первый отдел, 1 глава, прим. 2, стр. 183). Но Кант этими своими антиномиями [1]) дал на первых порах развитию диалектики решительный толчок в извращенной идеалистической форме.

Таким образом Кантова критика познавательной способности ведет к результату, который в отношении исторических своих последствий сам отличается противоречивым, диалектическим характером: он заключает в себе как зародыши диалектики, так и исходную точку новых рецидивов к метафизике... вплоть до оккультических фокусов...

Этика Канта содержит в абстрактнейшем виде формулировку буржуазного самосознания, абстрактного требования правового равенства. Содержание „категорического императива“ утверждает не что иное, как: (буржуазная) мораль должна быть всеобщею моралью, никакой индивидуум, даже абсолютный монарх, и никакое привилегированное сословие не может претендовать на особую мораль для себя.

---

[1]) Гегель, подвергший эти антиномии обстоятельной критике (позже сделал это Энгельс с точки зрения материалистической диалектики), тем не менее, признает: „эти кантовские антиномии останутся, все же, важною частью Кантовской философии,—они, главным образом, повели к крушению предшествующей метафизики и могут рассматриваться, как главное звено перехода к новейшей философии, так как, в особенности, благодаря им явилось убеждение в ничтожество категорий конечности со стороны содержания“ (там же, стр. 183).

Таков исторический смысл Кантовской этики. Она могла быть революционной по отношению к феодализму и абсолютизму, она реакционна, когда должна быть навязана пролетариату, для которого важно не формальное, правовое равенство, а материальное, экономическое равенство, и который имеет все основания не давать облагодетельствовать себя буржуазною моралью во имя „всеобщей человеческой“ морали. Вполне последовательно, что все вульгаризаторы Кантовской этики эпохи после 1848 года, кокетничавшие с социализмом, все без изъятия рано или поздно пристали к буржуазному лагерю. При более близком рассмотрении этика Канта представляется не только буржуазною моралью вообще, но еще точнее моралью вполне определенной ступени в ходе развития буржуазии, что особенно ярко выявляется в учении об „основном зле“. Это странное, на первый взгляд, учение, которого не могли переварить ни Шиллер, ни Гёте, не следует ни в каком случае понимать, лишь как приспособление к теологическому догмату о грехопадении. „Основное зло“ в кантовском смысле есть чувственная, животная природа человека.

„Долг и чувственность“ находятся у Канта в коренном противоречии. Гражданин, мораль которого формулирует Кант, есть пуритански-строгий, трусливый и бережливый буржуа ранней эпохи капитализма, проклинающий „плоть“, как грех против святого духа единоспасающего накопления. Лишь на более высокой ступени капиталистического накопления буржуа может себе позволить отпустить удила грешной плоти, не нарушая верховного закона роста капитала. Гёте, жрец радости и наслаждения, бунтовавший, как **художник**, против общественных ограничений своего времени (также и против лицемерного буржуазного филистерства), был того мнения, что Кант учением об „основном зле“ позорно „запачкал“ свой философский плащ.

Гений Канта ярко блистает в его эстетике, содержащейся в критике способности суждения. Здесь он дал нашей классической литературе ясное теоретическое самосознание. Он резко отделяет искусство, как одну из основных способностей человечества, от смешения с моралью, с полезным, с наукой. Кантова эстетика оказала нашей классической литературе не меньшие услуги, чем Аристотель греческой.

Как политический теоретик, Кант характеризуется следующими чертами. Во-первых, мировое гражданство, космополитизм. Идея нации так чужда была Канту, что он так же охотно отдавал дань русской царице, как прусским королям. В этом отношении Канту далеко, например, до Лессинга. Говорить об энтузиазме у Канта по отношению к местным прусским деспотам может только та самая грубая фальсификация истории, которая и Лессинга, Гердера и др. превратила в поклонников Гогенцоллернов. Во-вторых, Кант—один из великих представителей буржуазного пацифизма, пацифизма буржуазии, не проделавшей еще своей революции и предающейся иллюзии, что ее господство будет олицетворением мира и примирения народов. Пацифизм Канта отличается от пацифизма буржуазии, достигнувшей

власти, как свобода, равенство и братство якобинцев отличаются от того же лозунга в устах Пуанкаре.

Наконец, Кант—рационалист. Его понимание истории не исторично. Величественное, законченное, хотя и абсолютно идеалистическое понимание истории, которое нашло в Гегеле своего гениального систематика, ведет свое происхождение не от Канта, а идет от Лессинга, Гердера, минуя Канта, к Фихте и Гегелю и затем через Штрауса и Бруно Бауера к Марксу. Истинным продолжателем Канта в этом отношении является Шопенгауэр, для которого, как известно, не существует исторического развития. Наоборот, заслугою Канта является, что он в историю развития физической природы внес идею развития. Его механическая теория исторического образования планетной системы составила эпоху. Она пробила одновременно брешь в ортодоксальной теологии.

Таков исторический Кант. Посмотрим же теперь, что из него делает в настоящее время германская буржуазия.

2. Кант 1924 года.

Клич „назад к Канту" раздается в Германии после неудавшейся революции 1848 года. Каков был его смысл. Тайну этого лозунга разболтал Ганс Файгингер, который, в одной из статей посвященного памяти Канта сборника международного союза философии права и хозяйства, заявляет: этот лозунг во время своего появления направлен был на два фронта, — против материализма Фейербаха, Штрауса, Фохта, Бюхнера и против пессимизма (Шопенгауэр). Ульрици и Фихте мл. не могли справиться с материализмом, — они подвергали его мелочной критике в частностях, оставляя без общего принципиального разбора. Неокантианство признает материализм в естественно-научной области, отрицая за ним всякое значение в отношении истинного миропознания. История материализма Фридриха Ланге пробила первую брешь для такого рода неокантианства.

Что означает неокантианство в классовом смысле в этой первой своей фазе? С одной стороны, враждебное отношение против еще революционно настроенной демократической мелкой буржуазии и плетущегося на ее буксире рабочего класса, которые сражались под флагом механического материализма Бюхнера, Фохта, Молешотта. Но, с другой стороны, и защиту материалистического понимания природы против юнкерско-феодальной реакции. Неокантианство занимает в этом фазисе позицию средней и крупной буржуазии, нуждающейся в свободном развитии естественных наук и техники, но одновременно нуждающейся и в оплоте против демократической мелкой буржуазии. Пессимизм Шопенгауэра отражает крайнее ее смятение непосредственно после 1848 года. С новым подъемом промышленности и надежд буржуазии на роль Бисмарка в осуществлении национального единства и устранении последних препятствий к полному расцвету капитали-

стической индустрии, в душе ее вновь оживает оптимизм. Кант был глашатаем этого оптимизма, возродившегося на почве компромисса с юнкерской реакцией.

Такое положение изменилось постепенно с ростом самостоятельного движения рабочего класса в Германии и с ним — марксистской теории. В дальнейшем главным противником (большею частью замалчиваемым) для неокантианства стал исторический материализм. Как известно, неокантианство вело свою борьбу против марксизма не только извне, но сумело пустить корни в самом социал-демократическом лагере (Бернштейн, Конрад Шмидт, Форлендер и пр.). Нападение велось как со стороны кантовской этики, о чем уже была речь выше, так и со стороны Кантовской критики познания. Исторический материализм оказался „догматичным". Законосообразность, истинное познание признано было возможным лишь в области естественных наук, между тем как история имела дело лишь с „неповторяемым".

Виндельбанд и Риккерт довели это коренное различение между наукой о природе и „наукой о культуре" до крайности. Одновременно неокантианство стремится к „теории ценностей", долженствующей быть независимой от теории. Вечные „ценности" представляют собою, разумеется, не что иное, как буржуазные „ценности", перенесенные в небесное царство сверхчувственного.

Неокантианство до войны было патентованной академической философией, которая частью выродилась в чистую кантовскую филологию и схоластику. Оно заключало повторные компромиссы с более живыми философскими течениями, как-то: с ницшеанством, которое было использовано германским империализмом, как идеологическая опора.

После войны шпенглеровская философия отразила глубокую прострацию немецкой буржуазии. И это сказывается в ослабленной форме на высотах неокантианства.

Чествование памяти Канта 22 апреля 1924 года, отражающее отношение буржуазии к основным идеям Канта, было и с внешней стороны очень тусклым. О всеобщем национальном празднестве не могло быть никакой речи. Рабочий класс, само собой разумеется, не имеет повода устраивать по поводу Канта национальное торжество, но и участие буржуазии живо напомнило слова Лассаля: „Что наша классическая литература и философия пролетела над головами Германии, как стая журавлей". Были—торжество в Кенигсберге в официальной обстановке, со студентами в полной форме, торжественные заседания Кантовского общества, отчеты печати об этих торжествах, немногочисленные оригинальные статьи, посвященный торжеству выпуск Кантовского общества, посвященные торжеству статьи в ряде периодических органов,—и только.

Начнем с кантовского торжества в Кенигсберге. Нам сообщают, что кенигсбергские студенты-корпоранты, настроенные, как студенчество, везде националистически, т.-е. фашистски, поставили условием,

что о пацифизме Канта не должно быть сделано упоминания. Иначе они не примут участия или помешают торжеству. В данный момент у нас нет под руками документального подтверждения этой информации, но течение торжества безусловно подтверждает ее. Как философские, так и политические ораторы на торжестве изощрялись в усилиях превратить Канта в ура-патриота, одевшего освободительные бои 1813 года в броню своего категорического императива. Один только прусский министр и социал-демократ Отто Браун отважился говорить о пацифисте Канте, но и то в такой форме, которая могла, действительно, не смутить покой националистических студентов.

Как принято, первое слово дается философам. 20 апреля в Кенигсберге состоялось торжественное заседание Кантовского общества. Произнесенные на нем речи хорошо отражают разные течения, исходящие от неокантианства, и современные тенденции в буржуазной философии Германии. Хоровод был открыт председателем Кантовского общества Гансон Файгингером, философом „мнимого", его докладом о „Канте в современной германской философии". Существенное содержание доклада появилось в утреннем издании „Берлинер Тагеблат" от 22 апреля. Вот что приблизительно говорил Файгингер: „Когда в 1881 году, т.-е. 43 годами раньше, праздновалось 100-летие со времени появления „Критики чистого разума" Канта, в германской философии все громче звучал лозунг: „Назад к Канту". Через 23 года, когда в 1904 году отмечена была торжествами 100-летняя годовщина смерти Канта, положение уже существенно изменилось. Теперь получил преобладание принцип: „от Канта вперед—через Канта".

„Ибо тем временем уже появились новые системы идей, которые именно и развились из возврата к Канту. С тех пор вновь прошло 20 лет и пред лицом настоящего юбилейного празднества положение германской философии вновь изменилось. Теперь все более проявляется своего рода преодоление Канта, даже отказ от Канта, и иногда уже раздается лозунг: „Долой Канта и его субъективизм, назад к объекту!". Там, где подымают этот клич, видят в Канте, по выражению Моисея Мендельсона, лишь „всеразрушителя", но при этом как-будто забывают, что у Канта, критика метафизики, имеется на-лицо, одновременно, тенденция к обоснованию критической метафизики. Но таким образом идеи Канта продолжают влиять и там, где хотят в принципе оторваться от Канта. Вообще, идеи Канта действуют часто как ферменты и там, где о Канте даже не говорят. Современная немецкая философия находится еще всегда и во всем под влиянием Канта.

„Основная тенденция современной германской философии заключается безусловно в построении новой метафизики, но совершают насилие над историческим Кантом, когда хотят сделать его отцом этой новой метафизики. Целых полвека неокантианство, именно опираясь на Канта, отвергало и браковало всякую метафизическую кон-

струкцию. Стало быть, если ныне Кант провозглашается отцом новой метафизики, то потому, что эпигоны классической немецкой философии ссылаются естественно на того классика, который полвека был патриархом немецкой философии".

Файгингер делает Канта, действительно, родоначальником всех современных философских школ. Кант оказывается отцом историко-философской школы Дильтея, Гросса, Шпрангера и пр. На самом же деле эта школа гораздо больше исходит от Гердера и Гегеля, чем от Канта, который был абсолютно неисторическим умом. Далее Кант становится отцом разных течений волюнтаризма. Верно здесь то, что, например, Шопенгауэр несомненно дал классическое развитие реакционной стороне кантовской философии. Засим, Кант является отцом школы Виндельбанда и Риккерта, которые основною осью своей системы сделали понятие ценности. Эта философия ценности имеет, действительно, свои корни у Канта, поскольку отрывает „ценности" от их исторических условий, возводит их в абсолют и таким путем объявляет в конечном счете моральные догмы и нормы буржуазного общества вечными и общезначимыми. Есть только маленькая разница, а именно—исторический Кант противопоставляет буржуазную этику в революционном смысле феодализму и абсолютизму, между тем как философия ценности Риккерта и Виндельбанда противопоставляет нормы реакционной буржуазии революционному классу, современному пролетариату. Эта философия ценности с самого начала выступила как боевая идеология против марксизма и, несомненно, много содействовала тому, чтобы забронировать против диалектического материализма буржуазную интеллигенцию последнего десятилетия или последних двух десятилетий.

В связи с Кантом и одновременно в связи с философией ценности находится собственная философия Файгингера, философия „мнимого", или фикционализм. Файгингер сам характеризует ее следующим образом: „и для него, для фикционализма, ценности представляют наивысшее; но для него эти ценности не являются указующими путь к метафизике, независимыми от человеческого духа, вечными основами, но необходимыми и целесообразными продуктами критической, руководимой разумом, деятельности воображения. Таким путем эти ценности для него отнюдь не обесцениваются, а, напротив, становятся самыми ценными плодами человеческого духа".

Можно рассматривать фикционализм, как род позитивистской метафизики, как одну из необходимых форм распада неокантианства и с ним буржуазной философии вообще.

Марбургская неокантиантская школа в лице Наторпа развивается в панлогизм гегелевского пошиба. Другим отпрыском неокантианства является метафизика религии и историческая метафизика Трельча. Для него мир есть проявление божественного мирового плана, даже развития божественного, и с этим проявлю-

щимся в мире божественным духом могут приходить в мистическое соприкосновение и индивидуальные умы.

Затем, феноменологическая школа. Главный ее представитель—Гуссерль. Гуссерль проделал всякого рода превращения. Первоначально он примыкал к Канту, целью его было резко отграничить логику чистого мышления и познания от аналитической психологии простого единичного представления. От этой исходной точки Гуссерль приходит к онтологии, т.-е. к учению о сущности, которое долженствует усвоить сущность всех вещей, в особенности же и всех понятий, созерцательным путем (интуитивно). Это уже чистая мистика. Дальнейший шаг делает Дриш, один из главных основателей неовитализма. Чтобы охарактеризовать его, Файгингер говорит: „Основательное исследование кантовского учения о причинности привело Дриша к убеждению, что рядом с механическою причинностью, т.-е. выше ее, необходимо принять сверхмеханическую причинность, следовательно—непространственные, духовные факторы, которых мы не можем контролировать механически".

Вслед за тем Файгингер продолжает, свидетельствуя этим полнейшее банкротство неокантианства, его переход в вульгарнейшую мистику:

„Отсюда путь, по которому прошел Дриш, ведет в область, в которую большинство из нас вступает, пожалуй, лишь с неохотой, хотя в осторожной форме и уже некоторые философы, подобно Трельчу, а в самое последнее время в особенности Эстеррейх, указывали на эту темную область. Не только мы, старики, но, вероятно, и молодые, в большинстве не в состоянии обнять разумом эту область. Но было бы недостатком исторической справедливости, может быть даже недостатком смелости, если бы совсем об этом умолчать. Ход мыслей Дриша, допущение „непространственного определения ценности", признание неподдающихся механическому контролю духовных факторов, может легко повести к тому, чтобы принять наш мир природы, в котором мы живем, проникнутым и подчиненным духовным силам, которые должны проявляться сверхъестественным для нас путем в ясновидении, телепатии, телекинезисе и пр. Был период в жизни Канта, когда он очень серьезно относился к такого рода проблемам, как о том свидетельствует пристальный интерес к Сведенборгу. Одно из многих заблуждений о Канте, пущенных в обращение Куно Фишером, заключается в том, будто великий философ окончательно отверг и опровергнул для себя эту проблему в появившейся в 1766 году статье: „Видения одного ясновидящего, истолкованные видениями метафизики". Известно, что Кант и позже много раз подвергал критике проблему о Сведенборге и особенно в своих лекциях постоянно возвращался к этим вопросам. Итак, в этом направлении Кант заканчивает, как Гете в 2 части „Фауста", предчувствиями сверхъестественного мира непознаваемого".

Истый перл! Председатель Кантовского общества заключает свой обзор современной немецкой философии тем, что покрывает именем Канта чистейшие бабушкины сказки. Было бы невозможно лучше охарактеризовать основное настроение современной немецкой философии и самой буржуазии. Для всякого знающего действительного Канта ясно, что приписывание Канту веры в духов есть подлинное издевательство над историческим Кантом. Ведь „Видения одного ясновидящего и пр.“ ведут именно в иронически-остроумных тонах доказательство того, что видения метафизики по существу принадлежат к той же категории, что и видения ясновидящего. Это верно и поныне. Философия ценностей, ставящая сверхчувственный мир вечных норм, феноменология, постигающая сущность вещей путем интуиции, фикционализм, упраздняющий понятие истины, панлогизм, превращающий всякую действительность в порождения мысли, отличаются только по степени, а не по существу, от той грубой игры в привидения, которая широко распространяется в буржуазных салонах и в аудиториях буржуазных университетов.

После Файгингера говорил Тюбингенский профессор философии др. Эрих Адикес о „наследии Канта“. Бешеная свистопляска, которая в настоящее время идет вокруг имени Канта, становится ему, в конце концов, все-таки не в моготу. Он требует отграничения исторического разбора Канта от систематической его оценки. Все философские направления и школы вертят Канта по-своему. Заключает, однако, Адикес следующим аккордом: „В настоящее время Кант не принадлежит больше одной только школе, которая могла бы присвоить его себе, как своего папу. Ныне все мы кантианцы. Он принадлежит всему миру, ибо его дух независимо от всяких школ живет во всем“.

В менее торжественно-прилизанном стиле, это означает: всякий имеет право сделать из Канта чучело. Никакой школьной монополии—Кант для всех!

Как 3-й оратор торжества, выступил профессор Кюнеман из Бреславля на тему „Кант и Гердер“. Здесь был дан повод для точного выяснения основного недостатка исторического мышления у Канта. Но, как восторженный именинный оратор, Кюнеман заключает следующим образом:

„Конечно, Канту не хватило Гердеровского дара исторической интуиции,—и все-таки он был более великий“.

Затем следует Ганс Дриш из Лейпцига с речью о „Канте и целом“. Мы не имеем перед собой рассуждений Дриша, зато перед нами статья ученика Дриша в сборнике в честь Канта, которая подтверждает все то, что приводил Файгингер к характеристике этой школы.

В заключение (конец—делу венец)—некий Генрих Шольц, который чествует Канта, как „классика метафизики“. Дальше

уже некуда! Шольц аргументирует от понятия о бесконечности и „кантовского определения доброй воли, как метафизической величины“... Добрая воля немецкой буржуазии стала действительно метафизической величиной. Это констатирует как г. Пуанкаре—поскольку дело касается доброй воле платить, так и немецкий рабочий класс, поскольку речь идет о доброй воле немецкой буржуазии заниматься филантропией.

Теперь очередь политиков. Вот, во-первых, вице канцлер кабинета Маркса, архиреакционер д-р **Яррес**. Он говорит, между прочим: „Эрдман сказал однажды, что Кант был первым великим философом с национальным отпечатком. Он правильно указывает на то, что Кант своим категорическим императивом вновь обогатил кровь своего народа железом. Будем ему за это благодарны, это одна из священнейших наших обязанностей, ибо ныне нам это нужнее, чем когда либо раньше. Кант говорит как-то: „Истинная политика не может пойти правильным путем, не дав предварительно дань морали“... Я скажу открыто: еще бо̀льшее значение, чем в внутренне-политической жизни, тезис Канта должен иметь в внешней политике. В мировой политике мудрое изречение Канта до сих пор не получило выражения. Со времени та̀к называемого заключения мира в Версале мировая политика, поскольку она еще враждебно противостоит Германии, никогда или очень редко и мало считалась с моралью... Если нам позволено сейчас выразить надежду, пусть это будет надежда, что мысль Канта осенит всех тех мужей, которые призваны вершить судьбы Европы и мира в ближайшие времена“.

О Канте, как вдохновителе 1813 года, не приходится больше говорить. На намек по адресу Пуанкаре, во имя Канта дать место милосердию по отношению к немецкому народу, отвечает иронически-пророчески официозная газета французского министерства иностранных дел „Temps“. Она читает народу Канта следующую хорошенькую Кантовскую лекцию (в статье о 200-летнем чествовании Канта от 25 апреля):

> „Не менее важно его (Канта) рационалистское и универсалистское учение, в применении к политическим и социальным явлениям. Кант был либерал, республиканец, поборник международного права и вечного мира. Он хотел оморализовать государства и отношения между государствами. Его принципы тяжко нарушены Германией в 1914 году и позже. Они остаются истинными и спасительными.. Он почитал французскую революцию, как величайшее усилие разумно устроить жизнь индивидуума и общества. Эта работа должна быть продолжена. Как очень хорошо растолковал Бутру—впоследствии очень несправедливо к нему отнесшийся,—Кант противится партикуляристическому национализму, ведущему к противоречиям; он продолжает в этом отношении традицию Декарта и энциклопедистов; он истинный гражданин мира и принадлежит человечеству“.

Божественное зрелище, когда орган французского империализма должен напомнить немецкой буржуазии, что Кант не был национа-

листом, что он был миролюбец и республиканец. Все это немецкая буржуазия в 1924 году забыла. Нас удивляет, однако, что орган французского империализма не вспомнил другого принципа Канта, имеющего для Франции известный интерес. А именно, практическое правило Канта платить свои долги быстро и наличными.

Прусский министр-президент, социал-демократ **Браун**, тоже выступил в Кенигсберге. Браун говорил: „Не призывом к грубому насилию, а к разуму и праву, проникнутым категорическим императивом великого нашего Иммануила Канта, суровым исполнением долга, свободным от влияния страха и надежды, и упорным трудом можем мы избыть духовную и материальную нужду немецкого народа и открыть ему путь к освобождению".

Остается поискать еще только подающего надежды приват-доцента, который стал бы доказывать, что категорический императив Канта требует безусловно проведения 10-часового рабочего дня.

Г. **Белиц**, прусский министр исповеданий, славил Фридриха Великого и Канта, как „**двух прусских воспитателей**", к чему остается только прибавить: ура, ура!

Политическая печать удовольствовалась, главным образом, передачей содержания произнесенных в Кенигсберге философских и политических торжественных речей. Наиболее восторженную и напыщенную статью написал, что следует отметить, „Vorwärts" (от 20 апреля). Статья так ярко рисует, как современная социал-демократия спесиво щеголяет в платье, скинутом буржуазией, что мы должны привести из нее некоторые места. Вот что мы читаем в статье:

„Рука об руку с хозяйственным подъемом буржуазии, за которым в Англии и Франции быстрее, чем в Германии, следовал и рост политический, шла эта борьба между традиционным религиозным учением и пробивающимся вперед научным познанием. В своих главных критических трудах Кант провел между ними границы помощью основательных, глубоко захватывающих предмет, исследований. Религия, коренящаяся в общественном сознании, также и в собственном сознании Канта, могла в своей области свободно развиваться. Но ей не должно было быть более дозволено простирать свои ветви и бросать тень на поле науки, нуждающееся в вольном солнечном свете познания" (Да здравствует религия в своем „**царстве**" и рядом с нею марксизм в **своем** царстве. *Л. Т.*).

Далее:

„Категорический императив не есть извне навязанное принуждение, а свободный стимул к разумному общественному действию. Гуманность, добровольное подчинение лица вещи, преданность идее,—вот что возвещает этика Канта в своем существе. И это ядро остается свежим для нас, как бы ни была суха окружающая его скорлупа схоластического метода". (Так как преданность идее есть, вообще говоря, то, что конкретно требуется, то преданность социал-демократии буржуазным идеям тем самым вполне покрывается кантовскою этикою. *Л. Т.*).

И, наконец, славословие завершается апофеозом буржуазной немецкой республике.

„От Канта текут два больших духовных потока, через Фихте к Лассалю, через Гегеля к Марксу. Борьба между знанием и верою исчерпана, рядом с американской и французской республикой, которые Кант приветствовал, как зарю нового времени, стоит германская республика. Работа философов не нарушается больше грубыми правительственными приказами".

Нет, в германской республике, работа философов, выступающих революционно против господствующих классов своего времени, нарушается не правительственными приказами, их устраняют при помощи наемных убийц: Роза Люксембург, Ландауэр и др. Прогресс в самом деле.

К 200-летию со дня рждения Канта „Анналы философии и философской критики", редактируемые Гансом Файгингером и Раймундом Шмидтом, выпустили сборник, посвященный этому торжеству, который тоже бросает местами интересный свет на современный духовный склад немецкой буржуазии. Профессор теоретической физики Кенигсбергского университета, д-р Пауль Фолькман пишет о „Канте и о современной теоретической физике". Фолькман справедливо критикует неудовлетворительность кантовского анализа понятий пространства и времени с точки зрения современной теоретической физики. Он высказывается против того, что по Канту в каждом отдельном учении о природе заключается лишь столько подлинной науки, сколько в нем встречается математики. Это несостоятельно и не характеризует ни современной теоретической физики, ни естественных наук вообще. Исследование ведет к тому заключению, что Кант для современной теоретической физики и естествознания вообще уже устарел. Характерно, однако, что во всей статье не упоминается о составившей эпоху всеобщей естественной истории и теории неба Канта (1755).

Затем, в том же выпуске имеется статья Отто Хейнихена о „Канте и Дрише". Мы приведем несколько характерных мест, которые говорят сами за себя.

„Не должен ли я, по крайней мере предположительно, подойти к „вещи в себе"? Должен. Я должен заняться метафизикой, которая имеет предметом действительность". „Логика, свободная от метафизики, возможна лишь на методико-солипсистской основе" (стр. 79).

„Метафизика должна сделать бессмертие вероятным" (стр. 84—85).

„Дриш доказал—путем исключений, ибо природа предмета дает больше исключений, однако не только им, а и путем опыта,—что в отношении телесного образования, сохранения и действования отдельного живого телесного индивидуума существует непространственное реальное, входящее в сферу опыта не в форме вещества. Правда, это против Канта. Но этот великий революцаонер, в области догматизма, первый согласился бы с

Дриш ем. И он переработал бы свою критику способности суждения, если бы был свидетелем экспериментов Дриша и его сотрудников в области зоологии".

„Идея бессмертия имеет значение действительности" (стр. 87).

„Истинно свободно то, что противоречит причинности" (стр. 90).

В „Прусских Ежегодниках" (том 196, вып. 1, апрель 1924 года) помещена статья Иоахима Грау под заглавием: „Кант, справка к 22 апреля 1924 г.".

Он делает меланхолическое признание:

„Если следить внимательно за признаками духа времени, то приходится установить, что интересующаяся философией молодежь, горячо преследуемою целью которой является новая метафизика, вообще говоря, сейчас очень далека от следования Канту и ничего о нем знать не хочет.

Следы Кантовского духа становятся в философских произведениях настоящего времени все менее и менее заметны; подлинно добросовестное изучение Канта даже и не ценится уже ныне, особенно среди штудирующих философию в наших университетах. Думают, что с Кантом можно быстро справиться, тем более, что новейшие философские направления, отвлекаясь от всякого рационализма и эмпиризма, указывают на иррационалистически построенную метафизику"...

„И к этике Канта подрастающая молодежь, собирающаяся дать нашей общественной жизни новые формы, не имеет больше в настоящий момент внутреннего отношения. Культ свободной личности со всеми ее индивидуальными отличиями стоит выше, чем подчинение общему нравственному закону, добровольно принятому и продиктованному" (стр. 81).

Во всяком случае, до войны немецкая буржуазия довольствовалась философией, ограничивавшейся тем, что она признавала значение точных наук, как таковых, и вела методическую борьбу против исторического материализма. В настоящее время, после тяжелых потрясений империалистической войны и революции, буржуазии нужно больше. Она ищет крепкой прочной веры, за которую могла бы ухватиться. Взамен потерянного царства империализма она ищет сверхчувственного царства метафизики. Прежнее неокантианство было враждебно метафизике. Современные философские течения в Германии,— стоят ли они еще в связи с неокантианством или уже от него отдаляются—все они ищут конструктивной метафизики, абстрактной реконструкции потерянного империалистического господства. Такова картина, представляемая немецкою философией в 200-летнюю годовщину со дня рождения Иммануила Канта. Ее можно окрестить: „Видения метафизики, в истолковании видениями ясновидящих". Юмор заключается здесь в том, что философы немецкой буржуазии думают так без всякой иронии.

А. Тальгеймер [1].

[1] Перевод с немецкого Я. Виткинда.

К двухсотлетию со дня рождения Иммануила Канта.

(*1724—24 апреля—1924*).

Философию Канта можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции.

К. Маркс.

Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений.

Н. Ленин.

I.

24 апреля с. г. исполнилось 200 лет со дня рождения Иммануила Канта. Читатель найдет в этом номере нашего журнала три статьи, посвященные оценке и разбору различных частей системы Канта и отношение к ней в современной Германии. Задачей настоящей заметки является лишь поставить общий вопрос об историческом значении Канта для его и нашего времени.

Судьба философии Канта может служить блестящей иллюстрацией к судьбам буржуазного общества. В течение почти полутораста лет, прошедших со времени ее появления в свет, она успела совершить свой полный жизненный круг.

Встреченная уничтожающей критикой Шульце-Энезидема и Якоби, популяризированное переметной сумой в философии Рейнгольдом, прозванное своим талантливейшим учеником трех-четвертиголовым (Фихте), без остатка растворившееся в системе Гегеля, кантианство с середины прошлого столетия стало признанной властительницей дум буржуазной мысли. Огромная тень, отбрасываемая Кантом в потомство, казалось заполняла собой все и вся, провозглашая не-критическими и метафизическими все попытки выйти за ее пределы. Однако прошло всего несколько десятилетий, и поблекли цветы былой славы. Взоры светил буржуазных университетов, в погоне за самоновейшим противоядием атеизму и материализму, отвращаются от недавнего кумира в сторону Беркли и Юма, неприкрытого идеализма и мистики. Но и в этих условиях в недрах буржуазного общества все же находятся новые элементы, оказывающиеся призванными подхватить колеблющееся знамя кантианства, однако лишь для того, чтобы и на этот раз с крушением последних иллюзий отживающего буржуазного мира тем вернее похоронить его в будущем.

Но там, где поверхностному взору рисуются лишь неведомо кем причудливо расписываемые узоры исторической судьбы, историк-материалист может вскрыть некоторую определенную закономерность.

Дришем. И он переработал бы свою критику способности суждения, если бы был свидетелем экспериментов Дриша и его сотрудников в области зоологии".

„Идея бессмертия имеет значение действительности" (стр. 87).

„Истинно свободно то, что противоречит причинности" (стр. 90).

В „Прусских Ежегодниках" (том 196, вып. 1, апрель 1924 года) помещена статья Иоахима Грау под заглавием: „Кант, справка к 22 апреля 1924 г.".

Он делает меланхолическое признание:

„Если следить внимательно за признаками духа времени, то приходится установить, что интересующаяся философией молодежь, горячо преследуемою целью которой является новая метафизика, вообще говоря, сейчас очень далека от следования Канту и ничего о нем знать не хочет.

Следы Кантовского духа становятся в философских произведениях настоящего времени все менее и менее заметны; подлинно добросовестное изучение Канта даже и не ценится уже ныне, особенно среди штудирующих философию в наших университетах. Думают, что с Кантом можно быстро справиться, тем более, что новейшие философские направления, отвлекаясь от всякого рационализма и эмпиризма, указывают на иррационалистически построенную метафизику"...

„И к этике Канта подрастающая молодежь, собирающаяся дать нашей общественной жизни новые формы, не имеет больше в настоящий момент внутреннего отношения. Культ свободной личности со всеми ее индивидуальными отличиями стоит выше, чем подчинение общему нравственному закону, добровольно принятому и продиктованному" (стр. 81).

Во всяком случае, до войны немецкая буржуазия довольствовалась философией, ограничивавшейся тем, что она признавала значение точных наук, как таковых, и вела методическую борьбу против исторического материализма. В настоящее время, после тяжелых потрясений империалистической войны и революции, буржуазии нужно больше. Она ищет крепкой прочной веры, за которую могла бы ухватиться. Взамен потерянного царства империализма она ищет сверхчувственного царства метафизики. Прежнее неокантианство было враждебно метафизике. Современные философские течения в Германии,— стоят ли они еще в связи с неокантианством или уже от него отдаляются—все они ищут конструктивной метафизики, абстрактной реконструкции потерянного империалистического господства. Такова картина, представляемая немецкою философией в 200-летнюю годовщину со дня рождения Иммануила Канта. Ее можно окрестить: „Видения метафизики, в истолковании видениями ясновидящих". Юмор заключается здесь в том, что философы немецкой буржуазии думают так без всякой иронии.

А. Тальгеймер [1].

[1] Перевод с немецкого Я. Виткинда.

К двухсотлетию со дня рождения Иммануила Канта.

(*1724—24 апреля—1924*).

Философию Канта можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции.

К. Маркс.

Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений.

Н. Ленин.

I.

24 апреля с. г. исполнилось 200 лет со дня рождения Иммануила Канта. Читатель найдет в этом номере нашего журнала три статьи, посвященные оценке и разбору различных частей системы Канта и отношение к ней в современной Германии. Задачей настоящей заметки является лишь поставить общий вопрос об историческом значении Канта для его и нашего времени.

Судьба философии Канта может служить блестящей иллюстрацией к судьбам буржуазного общества. В течение почти полутораста лет, прошедших со времени ее появления в свет, она успела совершить свой полный жизненный круг.

Встреченная уничтожающей критикой Шульце-Энезидема и Якоби, популяризированное переметной сумой в философии Рейнгольдом, прозванное своим талантливейшим учеником трех-четвертиголовым (Фихте), без остатка растворившееся в системе Гегеля, кантианство с середины прошлого столетия стало признанной властительницей дум буржуазной мысли. Огромная тень, отбрасываемая Кантом в потомство, казалось заполняла собой все и вся, провозглашая не-критическими и метафизическими все попытки выйти за ее пределы. Однако прошло всего несколько десятилетий, и поблекли цветы былой славы. Взоры светил буржуазных университетов, в погоне за самоновейшим противоядием атеизму и материализму, отвращаются от недавнего кумира в сторону Беркли и Юма, неприкрытого идеализма и мистики. Но и в этих условиях в недрах буржуазного общества все же находятся новые элементы, оказывающиеся призванными подхватить колеблющееся знамя кантианства, однако лишь для того, чтобы и на этот раз с крушением последних иллюзий отживающего буржуазного мира тем вернее похоронить его в будущем.

Но там, где поверхностному взору рисуются лишь неведомо кем причудливо расписываемые узоры исторической судьбы, историк-материалист может вскрыть некоторую определенную закономерность.

Появившаяся на исторической сцене, как **немецкая** теория французской революции, кантовская философия, в силу особенностей положения именно **немецкой** буржуазии того времени, очень быстро перестала удовлетворять растущие потребности современного ей общества. Ее лоскутность била в глаза. Полнее осознать быстро развертывающуюся динамику общественных отношений Зап. Европы конца XVIII и начала XIX в. были призваны более монистичные, более близкие противоречивой действительности системы ее преемников, кончая Гегелем. Общественно экономические причины этой лоскутности системы Канта были вскрыты Марксом еще в его раннеи работе — в известной нам части „Немецкой идеологии", в „Святом Максе".

Читатель не посетует на нас за несколько, может быть, длинную цитату, но в ней дается блестящий анализ именно корней кантианства: „Состояние Германии в конце прошлого столетия вполне ясно отражается в кантовской критике практического разума. В то время, как французская буржуазия, благодаря колоссальнейшей в истории революции, поднялась до господства и овладела континентом Европы, а, политически уже эмансипированная, английская буржуазия революционировала производство и подчинила себе Индию политически и весь остальной мир—коммерчески, бессильные немецкие буржуа дошли только до „доброй воли". Кант удовлетворился этой чистой „доброй волей" даже тогда, когда она оставалась без результата, а **осуществление** этой „доброй воли", гармонию между нею и потребностями и наклонностями человека, — перенес в **потусторонний мир**".

„Эта добрая воля Канта вполне соответствует бессилию, подавленности и ничтожеству немецких буржуа, мелочные интересы которых никогда не были способны развиться до общих национальных интересов класса, и которые, благодаря этому, постоянно эксплоатировались буржуазией всех остальных наций. Этим мелочным местным интересам соответствовали: с одной стороны, действительная местная и провинциальная ограниченность немецкого буржуа, с другой стороны, его космополитическая спесь. Вообще, со времени реформации немецкое развитие получили чисто мелко-буржуазный характер. Старое феодальное дворянство было большей частью уничтожено в крестьянских войнах; остались либо имперские князья двенадцатой величины, которые мало по-малу создали себе порядочную независимость и подражали абсолютной монархии в маленьком и провинциальном масштабе, либо более мелкие землевладельцы, которые просадили свое незначительное состояние при небольших дворах, а затем поступали на службу в маленькие армии и правительственные канцелярии, либо деревенские дворяне, ведшие такую жизнь, которой устыдился бы самый скромный английский сквайр или французский провинциальный барин. Земледелие велось способом, который не был ни парцелляцией, ни большой культурой, и который, несмотря на крепостную зависимость

и барщину, не мог привести к эмансипации крестьян с одной стороны, вследствие того, что этот способ производства сам не допускал образования деятельно революционного класса, с другой — вследствие отсутствия соответствующей такому классу крестьянства революционной буржуазии"... „Раздробление интересов соответствовало раздроблению политических организаций — мелкие княжества и вольные города. Откуда могла явиться политическая концентрация в стране, где отсутствовали все необходимые для того экономические условия? Бессилие каждой отдельной области деятельности (здесь не может быть речи ни о сословиях, ни о классах, а, в лучшем случае, о бывших сословиях и еще не народившихся классах), не позволяло ни одной достигнуть исключительного господства".

„Необходимым следствием этого явилось то, что в эпоху абсолютной монархии, которая появилась в самой искаженной и полупатриархальной форме, та область деятельности, на долю которой, благодаря разделению труда, пришлось управление общественными интересами, приобрела неестественную независимость, еще более возросшую в современной бюрократии. Государство сделалось как-будто самостоятельной силой, и в то время, как в других странах это положение было только переходной ступенью"... „Этим положением объясняется и так, как нигде, развитый, „честный" чиновничий образ мыслей, и все распространенные в Германии иллюзии о государстве, а также кажущаяся независимость теоретиков от бюргеров—кажущееся противоречие между формой, в которой эти теоретики выражают интересы буржуа, и самими этими интересами".

„Характерную форму, которую принял в Германии французский либерализм, опирающийся на действительные классовые интересы, мы встречаем опять у Канта. Он, как и немецкие буржуа, адвокатом которых он был, не замечал, что в основе этих теоретических мыслей лежат материальные интересы и воля, определенная и обусловленная материальными производственными отношениями; поэтому он отделил это теоретическое выражение интересов от самих интересов и превратил материально обусловленное направление воли французских буржуа в чистое самоопределение „свободной воли", воли самой по себе, как человеческой воли, сделав из нее таким образом чисто идеологическое понятие и постулат нравственности" [1]).

Это была именно та обстановка „всеобщего господства иллюзий", при которой „сословия, привилегия которых предаваться иллюзиям,— идеологи, школьные учителя, студенты, моралисты давали тон интеллектуальной области и соответствующее преувеличенное выражение всеобщему фантазированию и отсутствию интересов" [2]).

Выходец из глубоко религиозной, мелко-буржуазной семьи (Кант был сыном седельника), безвыездный обитатель провинциального го-

1) К. Маркс и Фр. Энгельс, Святой Макс, изд. 1920 г., стр. 158—161.
2) Ibid. 161.

рода, домашний учитель и профессор университета, Кант был призван всей окружающей его обстановкой стать идеологом трусливой, бессильной и половинчатой немецкой буржуазии своего времени. Наблюдая вместе с отечественной буржуазией из прекрасного далека общественные бури, потрясавшие Францию, Кант платонически сочувствовал ее принципам, но не одобрял ее методов (Кант не одобрял террора якобинцев). Ничто не было так чуждо этому человеку, как борьба и жестокая борьба за свои интересы и свои убеждения. Стоит в доказательство этого привести лишь товарное письмо великого моралиста в ответ на королевское запрещение касаться вопросов религии, в котором он торжественно объявлял, что в „качестве верноподданного королевского величества" он отказывается от всяческого изложения всего, касающегося религии. Подчеркнутые слова заключали в себе ту хитрость, что это обязательство Кантом давалось лишь на время жизни данного короля.

Всякое нарушение привычного течения жизни было для него непереносимо. Так он не мог успокоиться до тех пор, пока не были подрублены непокорные тополя, росшие перед его окном и заслонявшие ему привычную перспективу на лебенихтскую башню[1]). При желании этот случай из жизни философа можно было бы считать символическим. Утверждая основы „критической" философии, Кант был одним из глубочайших догматиков в истории мысли. Прорывая непреоборимые, якобы, пропасти между отыскиваемыми им противоречиями, он провозглашал свою теорию „пролегоменами ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки". Он окостеневал в раз навсегда открывшейся его взору перспективе на некую воздвигаемую им башню „критического разума".

Таким образом в Канте были на-лицо все субъективные предпосылки для того, чтобы стать выразителем определенной объективной общественной потребности своего времени, чтобы стать идеологом растущей, но еще материально беспомощной, понимающей, что в соседней с ней стране осуществляются ее принципы, но еще бессильной их осуществить у себя на родине, немецкой буржуазии.

Но если описанными в вышеприведенных словах Маркса классовыми отношениями определялось общее направление разрешения тех вопросов, которые стояли перед Кантовской философией, то сами эти вопросы во всей их конкретности были даны Канту, всем предшествующим развитием философской мысли Западной Европы.

Задача, ставшая перед Кантом, была задачей всеобщего примирения: примирения науки (естествознания) и тогдашней метафизики, веры и знания, эмпиризма и рационализма в философии. Если пережившая уже революцию Англия к этому времени склонялась в лице своих наиболее крупных мыслителей (Беркли, Юм) к открытому иде-

[1]) Куно Фишер. История новой философии, т. IV, стр. 115.

ализму, обосновывающему веру, или к скептицизму, если готовившаяся к революции Франция ниспровергала идолов и исповедывала материализм Ламеттри, Дидро, Гольбаха и Гельвеция, то Германия Канта, неспособная еще к революции, подъяремная королевской власти, ищет среди всех умственных течений времени **средней** линии. Эта средняя линия естественно должна была покоиться на новых принципах, критически пересмотреть старое наследство. Но если **принципиально** она изгоняла всякий хлам и ветошь из сферы знания, то она все же еще не могла изгнать их из сферы практики. Здесь должны были найти себе место все кумиры, изгнанные в результате критики из сферы чистого разума. То, что в системе Канта Гейне считал данью утешенью Лампе (старому слуге Канта), на самом деле было данью не слуге, а господину, данью со стороны идеолога буржуазии господствующим классам, данью религии, провозгласить открытую борьбу с которой, а значит и с тем строем, который освещала она, были бессильны еще силы, вызывавшие к жизни кантовскую систему. Забегая вперед, мы здесь же заметим, что двойственная роль кантианства и обеспечила впоследствии ему трон царицы философии буржуазного общества, так как именно она лучше всего выявляла **двойственную** природу этого общества, разоблачаемую пролетариатом.

Итак, перейдем к рассмотрению тех элементов, синтезировать которые должен был кенигсбергский мудрец[1]).

II.

Как мы видели, задачей Канта являлось примирение знания и веры, естественной науки и философии, рационализма и эмпиризма. Изложение и критика Канта неразрывно связаны с установлением того действительного значения, которое каждый из этих элементов имел в его системе. Заявление о том, что Кант ограничил область знания для того, чтобы очистить место вере, не было в его устах пустым словом. Критика чистого разума немыслима без критики практического разума, логика системы ведет к тому, что лишь в последней разрешаются поставленные в первой проблемы. Указание на это читатель уже имеет в начале цитированного выше отрывка из Маркса о роли „доброй воли“ у Канта, его теории, по которой завершение гармонии между желаемым и должным переносится в потустороний мир. Но не трудно видеть, что вся система Канта требует для сохранения своего равновесия этого потустороннего придатка. Он призван придать хоть какую-либо реальную значимость в человеческих глазах мумии долга. На почве его признания разрешаются антиномии, т.-е. по Канту те противоречия, в которые необходимо впадает человеческий разум. Наконец, этот

[1]) Здесь же мы должны оговориться, что во всем дальнейшем изложении и в оценке роли диалектического метода Канта, мы следуем прекрасной статье А. М. **Деборина** „Диалектика у Канта“, напечатанной в 1-й книге „Архива К. Маркса и Ф. Энгельса“

же потусторонний опыт, ноуменальный мир обусловливает собой существование самого опыта в кантовском смысле, поскольку было бы бессмысленным утверждать, что „явление существует без чего бы то ни было, что является“ [1]).

Но, признавая некоторый потусторонний нашему опыту и недоступный естественно-научному познанию мир, мы тем самым действительно очищаем место вере, открываем лазейку для всех ее фетишей— душе, ее бессмертию и богу. Это и есть тот путь примирения знания и веры, по которому шел Кант.

Однако всякое примиренчество удается лишь тогда, когда сохраняются основные устои примиряемых сторон. По отношению к вере, как мы видели, они сохранены в системе Канта. Что же мы имеем в отношении знания? Одним из основных положений всякого знания является его общеобязательность и необходимость. В своей критике наших познавательных способностей Кант исходил из английских эмпириков, в частности Юма, которые учили, что в опыте нам дан лишь бессвязный поток ощущений, из которого не могут быть, как из такового, выведены никакие объективные причинные связи. Опыт не может нам дать абсолютных пространства и времени. А между тем ньютоновская физика, на которую опирался Кант, требовала именно их. И здесь Кант ищет пути примирения физики и философии, внутри философии — эмпиризма и рационализма. И эмпиризм, и рационализм объявляются некритическими. Истина в разграничении сфер их приложения. Содержание нашего познания имеет своим источником только опыт. Но форма этого познания, общеобязательность, всеобщность, необходимость его дается нашим разумом. Она априорна, трансцедентальна (дана нам в нашей познавательной способности до опыта, хотя только в опыте, в обработке его и проявляется). Можно тут же заметить, что бросается в глаза некритичность самого Канта, так догматически разрывающего форму и содержание в опыте на принципиально различные элементы, с тем лишь, чтобы затем с таким трудом и так бесплодно пытаться их вновь соединить. В этом же заключается рассудочный метод Канта, по определению Гегеля. Он разлагает явления, анализирует их, разложив же, не видит взаимного перехода одного в другое, конкретной связи предметов, навсегда замораживает разодранные части в их абстрактной друг другу противоположности.

Итак, содержание опыта—преходяще и случайно, форма его обосновывает общезначимость опыта, единство же опыта дается единством нашего сознания, так называемым первоначальным единством трансцендентальной апперцепции. Так, чудится Канту, преодолеваются трудности предшествующей ему философии. В опыте нам даются только явления, цепь ощущений, обрабатываемых нашими трансцендентальными формами чувственности (время, пространство) и рассудка (причинность и др.). Вызывающие же эти явления „вещи в себе“ оста-

[1]) И. Кант. Критика чистого разума, пер. Н. Лосского, изд. 2-е, стр. 16.

ются для нас навсегда непознаваемыми. Однако цепь обусловливающих друг друга явлений требует некоторого безусловного, от которого бы они зависели. Цепь наших психических переживаний предполагает, как свое безусловное основание, душу, цепь физических явлений—мир, вся причинная цепь природы—безусловно свободную причину, бога. На почве этого разрыва между постигаемой нами цепью условного и безусловным—непознаваемым в опыте, невыводимым из него, в нашем разуме возникают, по Канту, неразрешимые противоречия, антиномии и т. д. Не просто софизм противопоставление конечности и бесконечности мира, свободы и необходимости и т. д., а **необходимые** противоречия нашего разума. Разрешение их Канту представляется таким образом, что одна часть противоречия признается имеющей значение для нашего мира опыта, феноменального мира, мира явлений, вторая же—для мира ноуменов, мира вещей в себе, до которых возвышается лишь практический разум, исходя из своих нравственных требований. Отсюда Кант дает уничтожающую критику всех доказательств бытия божия, но лишь для того, чтобы самому выдвинуть его моральное обоснование.

И в области морали, как и в области чистого разума, Канта интересует прежде всего **форма**. В ней он ищет обоснования общеобязательности нравственного закона. Не мотивы, которыми руководствуемся мы в нашем поведении, делают это поведение нравственным, а его форма. Универсальный критерий нравственного, категорический императив гласит: поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать принципом всеобщего законодательства. Чисто формальный закон. Иная формулировка его будет гласить: должно поступать так, чтобы человек был всегда целью для тебя и никогда средством. Опять универсальная формальная постановка вопроса, вне зависимости от того, чему средством, каким средством, какой человек и т. д. Требование долга есть некоторое абсолютное требование, которое никогда не осуществимо, идеал, всегда непостижимый, но к которому также вечно мы должны стремиться [1]). Канта влечет к себе то, что „не ограничивается условиями и границами этой жизни". Он ищет безусловного, возвышающего нас над всем земным. „Две вещи наполняют нашу душу всегда новым удивлением и благоговением... Это—звездное небо над нами и моральный закон в нас" [2]).

III.

Таков остов системы Канта. Но созданный из столь разнородного материала он распадается при первом же ударе молота критики. Противоречия, в нем заложенные, так часто указывались, что нам

[1]) Ср. понимание социализма, как идеала, движение к которому—все, цель—ничто, у Э. Бернштейна. Промежуточная, по своему классовому значению, точка зрения, совершенно догматически отрывающая процесс от его результата, противопоставляющая их.

[2]) Кант, Критика практического разума, пер. Н. М. Соколова, изд. 2-е. СПБ. 1908, стр. 165—166.

нет нужды сейчас перечислять их. Остановимся на том, что сказал о Канте и его системе самый глубокий из его критиков, несмотря на все свои идеалистические ошибки, Гегель.

Прежде всего, неверен исходный пункт Кантовской критики чистого разума (а вместе с ней и всей „критической“ гносеологии). Кант исходит из того, что, прежде чем мы познаем что-либо, необходимо подвергнуть критическому рассмотрению самую нашу познавательную способность,—насколько она может обеспечить нам действительное познание. Таким образом она представляется как бы некоторого рода орудием в наших руках, которое, передавая нам материал опыта, может изменять его, или средой, проходя через которую этот материал может так или иначе неверно преломляться. Но с полным основанием можно заметить по поводу этих рассуждений Канта, что они сами некритичны. Они исходят из предположения принципиального различия между окружающей нас средой и нашим разумом, из того, что мы можем изолировать нашу познавательную способность от самого процесса познания. Гегель по поводу этого замечает в своей маленькой „логике“: „Если не хотят обманываться словами, легко увидеть, что другие инструменты могут быть исследуемы и изучаемы другим образом, кроме производства работы, для которой они предназначены; но что всякое исследование, касающееся знания, может быть совершено только познавая и что обратить свои изыскания на этот, так называемый, инструмент знания, значит не что другое, как познавать. Но хотеть знать, прежде чем приступать к познанию, это так же нелепо, как и умное намерение того схоластика, который хотел выучиться плавать прежде, чем итти в воду“ [1]. В „Феноменологии духа“ о том же самом Гегель писал:

„Между тем, если опасение впасть в заблуждение вносит недоверие в науку, которая без подобного рода сомнений подходит к самому делу и действительно познает, то нельзя не обратить внимания на то, почему, наоборот, не подвергнут недоверию это недоверие и не подумают, что страх ошибиться уже сам—заблуждение. В действительности он предполагает нечто и притом далеко не истинное и свои сомнения и следствия основывает на том, что само еще требует исследования относительно его истинности. Именно, он предполагает представление о познании, как орудии и среде, а также различение нас самих от этого познания. Главным же образом то, что абсолютное стоит на одной стороне, а познание—на другой, существуя для себя и раздельно от абсолюта и тем не менее, однако, представляет собой нечто реальное, т.-е., следовательно, он предполагает, что познание, которое, находясь вне абсолюта, находится также и вне истины, однако истинно,—допущение, благодаря которому то, что называется страхом перед заблуждением, скорее познается как страх перед истиной“ [2]).

[1]) Гегель, Энциклопедия фил. наук: Логика, пер. Чижова, М. 1861, стр. 13.

[2]) Гегель. Феноменология духа, пер. под редакцией Э. Радлова, стр 36.

Таким образом ошибка Канта здесь заключается в том, что он изолировал познаваемого субъекта из окружающей его объективной среды, противопоставил их друг другу в то время, как они оба подчиняются общим законам, познаваемым в процессе самого познания. Он поставил вопрос о неизменных и непреодолимых границах познания вместо того, чтобы поставить единственно правильный вопрос о том, как исторически развивалось познание и какие исторические границы оно преодолевало, все более и более охватывая действительность.

Из этой же основной ошибки вытекало и кантовское представление о категориях нашего знания, как о субъективных априорных формах. „Объективные мысли Канта имеют только субъективное значение потому,—писал Гегель,—что Кант признавал, что мысли, не взирая на то, что они составляют всеобщие и необходимые определения, принадлежат только нам и целою пропастью отделены от того, чем предметы суть сами в себе. Истинно объективные мысли не составляют принадлежности одного нашего ума, а выражают собою внутреннюю сущность вещей и всех предметов вообще" [1]). Мы бы сказали—в переводе на материалистический язык—отражают действительные отношения и действительную природу вещей (время, пространство, причинность и т. д.).

Так же несостоятельно и основное кантовское понятие „вещей в себе". Блестящую критику их противоречивого положения в системе Канта читатель найдет у Плеханова в статьях против К. Шмидта и в примечаниях к „Людвигу Фейербаху". К ней мы добавим лишь замечание Гегеля, что нет ничего легче познать, как Кантовскую „вещь в себе" после того, как мы отвлекли от нее все, что делает ее доступной познанию,—все определенные мысли (причинность и т. д.) и всякое чувственное многообразие, оторвав их от вещей и перенеся в наше сознание. „Очевидно, что после этого остается только чистое отвлечение, пустое бытие, которое только отнесено за пределы сознания, которое есть отрицание всякого чувства и всякой определенной мысли" [2]). В „Науке логики" о том же мы читаем: „Если вспомнить... (об) основном утверждении трансцендентального идеализма, что познание не может постигнуть вещи в себе, что реальность лежит совершенно вне понятий, то сейчас же окажется, что такой разум, который не может привести себя в согласование со своим предметом, вещами в себе, и вещи в себе, которые не согласуются с понятиями разума, понятие, которое не согласуется с реальностью, и реальность, которая не согласуется с понятием, суть неистинные представления" [3]). Отвлекаясь от идеалистических элементов, заключенных в этой критике, мы будем иметь совершенно верное

[1]) Гегель, Энциклопедия и т. д., стр. 77; ср. стр. 82—83.
[2]) Ibid., 79—80.
[3]) Гегель, Наука логики, пер. Дебольского, ч. II, стр. 14.

положение, что нельзя оторвать материю от ее качеств, эти качества сами есть ее неразрывная часть, имеют объективное значение. Познавая их, мы познаем самую материю. Обескачествленная материя и оторванные от материальной основы качества суть только абстракции, несуществующие в действительности.

Поэтому и Кантовские антиномии не решаются тем, что одно их положение относится к явлениям, другое—к вещам в себе. Вещи в себе являются и явления имеют своим основанием вещи в себе. „Кант остановился на том отрицательном результате, что мысль не может постигнуть сущности вещей и не проник до истинного и положительного значения антиномий. Истинный и положительный результат, вытекающий из антиномий, есть тот, что все существующее содержит в себе противоположные определения, содержащиеся в единстве предмета“ [1]). Кант таким образом не разрешил противоречий, а лишь затушевал их действительное значение, отнеся их к необходимым иллюзиям нашего разума. Противоречия есть не только в разуме, не только его необходимые иллюзии, но есть и в самой действительности, в ней, в ее вечном становлении разрешающиеся.

Однако неправильное решение проблемы заключает в себе уже ее постановку.

Кант дал мало положительного для диалектического метода, но его отрицательная критическая работа в отношении старой, схоластической логики сама по себе была уже положительна. В этом отношении особенно мы должны подчеркнуть роль докритического Канта [2]). В своей ранней работе „Опыт введения в мировую мудрость отрицательных величин“ Кант вполне отчетливо, под влиянием ньютоновского учения о силах притяжения и отталкивания, поставил для философии, для метода проблему противоречия. Ее развивал он в своих философско-исторических и естественно-научных работах. Она же наложила печать и на его критику. Кант не справился с синтезом противоречий, но показал их значение для познания.

Бессилие Канта справиться с синтезом противоречий вытекало из всего его понимания противоречий, из абсолютного их противопоставления, из неумения в одной стороне противоречия найти переход ее в другую. Это особенно сказалось в его понимании антиномий и в его морали, идее долга и понятии идеала.

Для Канта условное и безусловное, конечное и бесконечное абсолютно оторваны одно от другого. Между тем еще Гегель показал, что на самом деле это не так. Бесконечное мы не можем противопоставить конечному, потому что ограниченное этим конечным бес-

---

[1]) Гегель. Энциклопедия и т. д., стр. 90.

[2]) Заслуга указания значения для истории диалектического метода этой стороны Канта принадлежит А. М. Деборину. Надо заметить, что, напр., в „Грезах Духовидца“ мы находим в этот период у Канта целый ряд даже вполне материалистических формулировок, очевидно, под влиянием занятий естественными науками и, вероятно, не без влияния французского просвещения.

конечное само стало бы конечным. Наоборот, конечное, как таковое, беспрерывно воспроизводя самого себя, тем самым является бесконечным. То же о делимости и неделимости материи и т. д. „Поскольку каждая из двух противоположных сторон сама по себе содержит в себе другую, а ни одна из них не может быть мыслима без другой, то отсюда следует, что истина свойственна не одному из этих определений, взятому отдельно, но лишь их единству. Таково истинно диалектическое воззрение на них, так же как их истинный результат“ [1]).

Моральный закон Канта в одинаковой степени со всей его системой был подвергнут уничтожающей критике все тем же Гегелем. Моральный закон должен был давать правило поведения, отвлекаясь от всякого содержания его, на основании одной его формы. Исторически это вполне отражает формально-юридическую точку зрения буржуазного законодательства, с его абстрактным равенством всех пред законом. Но, отвлекаясь от всякого содержания, этот нравственный формализм сам оказывается совершенно бессодержательным. Как не может быть абсолютной по своему содержанию заповеди (как, напр., „каждый должен говорить правду“—очевидно, если он ее знает, т.-е. согласно своему убеждению, т.-е. то, что он думал,—что уже совершенно случайно) [2]), так же не может быть и абсолютно значимой формы нравственного закона, если не превращать его в пустую тавтологию: нравственно то, что нравственно. Как, по Канту, испытывается—нравственно поведение данного лица или нет согласно категорическому императиву?—Возьмем вопрос о собственности—является ли она законом в себе и для себя во всех случаях нашего поведения или нет? Чисто-формально вещь может удовлетворить определенную потребность, будучи, и частной собственностью и коллективной. Где же критерий определения, что нравственно? Если мы говорим, что нарушение частной собственности приведет к ее уничтожению, то надо показать после этого, что это уничтожение само по себе безнравственно по своему содержанию, с чем опять-таки не может справиться чистый формальный критерий добра и зла. Кантовская этика освещает все и тем самым ничего.

И когда в наше время из нее пробовали ревизионисты делать социалистические выводы, ревизионисты, называвшие Гегеля - эпигоном (!?) [3]), то этим самым они свидетельствовали лишь свое собственное эпигонство. Кант не только сам не имел ничего общего с социализмом, но и был недостаточно радикален в некоторых отношениях даже для буржуазного общества своего времени. Требуя равенства и независимости всех граждан, он смотрел все еще на тех, кто получает свое пропитание и охрану у других, на домашних слуг, поденщиков, оброчных крестьян, женщин, как на граждан низшей категории [4]). Он

[1]) Гегель, Наука логики, ч. I, кн. I, стр. 122.
[2]) Гегель. Феноменология духа, стр. 191.
[3]) К. Форлендер, Кант и Маркс. СПБ. 1909, стр. 5.
[4]) См. у того же Форлендера, ibid., стр. 53—54.

требует лишь уничтожения феодальных привилегий по рождению, считая, что „человек благородной крови не есть тем самым благородный человек“ [1]). По отношению к революции он занимает типичную межеумочную позицию немецкого буржуа. „Но если бы,—пишет он,—даже бурей революции, вызванной дурным устройством, неправомерно было бы достигнуто более правомерное устройство, то и тогда, однако, не следовало бы считать дозволенным снова вернуть народ к прежнему устройству, хотя во время революции с правом был бы подвергнут наказанию мятежника каждый, кто принимал в ней участие насильственно или коварно“ [2]). Таким образом Кант за совершившуюся и победившую революцию, но и не против королевской власти, наказующей „мятежников“. Это—платоническое сочувствие революции [3]).

Таким образом философская система Канта, эклектическая по своему существу, не протянула и нескольких десятилетий правомерного представительства передовой философской мысли. Полным преодолением ее была еще система Гегеля. Гегелевская система сумела охватить в своем величественном синтезе весь опыт буржуазной науки и общественности своего времени. Предшествующие ей системы составили ее необходимую, но подчиненную составную часть. Она как бы кристаллизовала в себе дух времени, поглотив всех своих соперниц. „Развитие германской философии от Канта до Гегеля,—говорит Энгельс,—было столь последовательно, столь логично, столь, если позволительно так выразиться, необходимо, что рядом с упомянутыми системами никакая другая не могла удержаться“ [4]). В свою очередь, когда в порядке дня пред радикальной немецкой буржуазией встала проблема революции — идеализму Гегеля наследовал материализм Фейербаха и затем материализм Маркса. Революционная роль буржуазии к половине прошлого столетия в Зап. Европе была сыграна, и философия Канта оказалась одним из ранних моментов ее идеологического развития. Но на этом ее историческая роль не кончилась. Она же оказалась призванной выполнить обязанность быть всеобщей теорией буржуазной культуры в период ее „мирного“ процветания.

Причиной этому по иронии истории была именно ее эклектичность. В несводимых и неразрешимых антиномиях Кантовской системы отразились неразрешимые антиномии буржуазного общества. Формальное равенство, противопоставленное действительной борьбе угнетенных и эксплоатирующих классов, нашло себе отражение в кантовской этике. Союз с религией для одурачивания масс и необходимость научного прогресса для развития техники нашли разрешение в кантовской

[1]) И. Кант. Вечный мир, Философский очерк, М. 1905, стр. 14.

[2]) И. Кант, Вечный мир, Философский очерк, М. 1905, стр. 50—51; стр. 66—67.

[3]) Нельзя все же здесь не отметить, что, как правильно указывает А. М. Деборин, это было большой заслугой Канта в его время.

[4]) К. Маркс и Фр. Энгельс, Соч., т. II, стр. 298.

попытке соединить материализм и идеализм в одной системе. Но так же, как пролетариат вскрывает все материальные противоречия буржуазного общества, так же его философия беспощадно отбрасывает всю эклектику кантианства. Такова единственно возможная по отношению к нему позиция пролетариата, как революционного класса. И чем более пролетариат сознает свою исторически-прогрессивную, революционную роль, тем более буржуазия, сама переходя все сильнее и сильнее на позиции откровенного мракобесия, стремится подчинить пролетариат, его наиболее неустойчивые элементы, своему влиянию. Одной из форм мелко-буржуазной идеологии в социализме, отражающей влияние и компромисс с буржуазией, вновь оказывается кантианство, эта резиновая перчатка, оказывающаяся годной на все руки. Плеханов некогда характеризовал тенденции Бернштейна, как тенденции „сближения с передовыми слоями буржуазии" [1], а ревизионизм—как „буржуазную пародию на марксизм" [2], но когда он объяснял подчас успехи ревизионизма лишь подражанием низших классов высшим и недостатком самосознания в угнетенных [3] — он не дооценивал социальные корни реформизма. Ревизионизм рос, как идеология рабочей аристократии, на своих верхушках воспроизводящей мелко-буржуазную и буржуазную идеологию. Кантианство в наши дни стало философской теорией мирового реформизма. Но так же, как в общественной действительности, в условиях все обостряющейся борьбы классов, мы являемся свидетелями изживания реформистских и ревизионистских, меньшевистских предрассудков, так и в философии мы наблюдаем ныне закат кантианства.

Оно не удовлетворяет в одинаковой мере обе борющиеся силы. Его судьба зависит от того, как близок час их окончательной схватки. Составленное из философски противоречивых элементов кантианство стало философией общественных групп, по самой своей природе занимающих в борьбе классов противоречивую, межеумочную позицию. Но, отрицая положительное значение Канта для настоящего, тем самым мы переносим вопрос об его подлинной роли для человечества в ту единственную область, где она может быть выяснена—в область истории.

Пролетариат, этот класс настоящего и будущего, вовсе не обязан поминать покойников лишь „хорошими словами". Но вместе с тем он не имеет ничего общего с того типа нигилизмом, который считает себя призванным уничтожить все и оставить лишь „голого человека на голой земле". Пролетариат является законным наследником всего великого в прошлом. В Иммануиле Канте на-ряду с душой филистера и эклектика жил один из основоположников диалектического метода в новой философии и один из ее крупнейших умов.

[1]) Плеханов. Сочин., т. XI, стр. 50.
[2]) ibid., стр. 63.
[3]) ibid., стр. 113.

Этого Канта диалектический материализм имеет в числе своих предков. На страницах его истории ему принадлежит известная и почетная роль. Но ему—мертвому—же нет места среди живых людей, борющихся под иным знаменем, чем то, последние отрепья которого служат сейчас лишь фиговым листком для прикрытия теоретического убожества и практического предательства современного социал-реформизма.

Ник. Карев.

Учение Канта о пространстве и времени перед судом физиологии.

I.

Известный физиолог Цион (см. его работу: „Слуховой лабиринт, как орган математического чувства пространства и времени", по нем.: „Das Ohrlabyrinth als Organ der mathematischen Sinne für Raum und Zeit", Berlin 1908) подверг критике учение Канта о пространстве и времени. Эта попытка представляется до некоторой степени важной: она бросает свет на отношение кантианства к естествознанию вообще.

Цион называет означенное учение Канта „остроумной гипотезой, в пользу которой не приведено собственно никаких доказательств". Тем не менее эта гипотеза—по мнению Циона—имеет существенное преимущество пред другими в том отношении, что она могла послужить исходным пунктом для плодотворных исследований нашей умственной деятельности.

В противовес трансцендентальной „гипотезе" Канта Цион выставляет свою физиологическую гипотезу шестого чувства пространства и времени, в основу которой он кладет данные целого ряда физиологических и психофизических экспериментов. Здесь имеются в виду эксперименты главным образом самого Циона, а также парижского физиолога Флуранса.

В 1824 году Флуранс произвел ряд своеобразных наблюдений. Он перерезывал у голубей полукружные каналы лабиринта, узкие, имеющие форму полукруга трубки и являющиеся составными частями внутреннего уха. В результате получались какие-то странные нарушения в движениях и осанке животных. Голуби производили маятниковые движения головой, сопровождаемые сильными подергиваниями глаз, метались, кружились на одном месте или кувыркались головой вниз. Если наступало успокоение, то стоило тронуть животных, чтобы описанные явления снова повторились. Бегать и летать

животные не могли. При ходьбе и в особенности при еде они обнаруживали большую неловкость: неуверенные и беспорядочные движения, обыкновенно не достигающие намеченной цели. Если перерезывались полукружные каналы только одной стороны, то появлялось особое положение головы: голова все более и более поворачивалась около продольной оси тела, пока угол поворота не составлял полных 180 градусов, так что темя касалось земли, а клюв был направлен вверх.

Особенно интересно в этих явлениях еще следующее. Полукружные каналы лежат как бы в трех плоскостях координат, образующих между собой несколько косые углы. Один из полукружных каналов проходит в горизонтальном направлении, а два других в вертикальном, но в различных плоскостях. Расстройства в движениях как бы отражали в себе указанное пространственное расположение каналов. Если, напр., перерезали горизонтальный полукружный канал, то маятниковые движения головы происходили в горизонтальном направлении, справа налево, и животные обнаруживали намерение поворачиваться в одну сторону и бегать по кругу. При повреждении вертикальных полукружных каналов движения головы происходили вертикально, сверху вниз, и животные обнаруживали намерение падать вниз или вперед. Плоскость их движений совпадала с плоскостью поврежденного полукружного канала.

Флуранс производил опыты и на других птицах, а также и на млекопитающих. Результаты везде были сходными. Смысла этих явлений Флуранс не понимал. Только в 1870 г. Гольц пришел к выводу, что полукружные каналы следует рассматривать, не как часть органа слуха, а как особый орган чувств, служащий для сохранения равновесия прежде всего головы, а затем и всего тела (подр. см. у Эббинггауса: „Основы психологии").

Вдохновленный примером Флуранса, Цион производил свои опыты главным образом над голубями и лягушками, иногда также над кроликами и над животными, имеющими только два или даже только один дугообразный ход, или полукружный канал, как, например, petromyzon или минога, стоящий на самой низкой ступени развития род рыбы, весьма неповоротливое животное, ведущее паразитическое существование. У всех названных животных удалялись полукружные каналы, вследствие чего наступало более или менее тяжелое расстройство движения, которое в зависимости от числа оперированных полукружных каналов могло дойти до конвульсий во всем теле.

Вынужденные движения начинаются прежде всего с головы, а потом быстро охватывают все тело, которое начинает стремительно кувыркаться и переворачиваться. Когда вырезались вертикальные дугообразные ходы, тогда происходили вращательные движения го-

ловы, обращение тела вокруг своей продольной оси. Когда удаляли сагиттальные дугообразные ходы, тело падало на бок, голова поворачивалась к плечам. По удалении горизонтальных дугообразных полостей, тело опрокидывалось спереду назад и сзаду наперед. Названные направления в движениях сохранялись только приблизительно. При общих бурных конвульсиях, часто нельзя было точно установить и различить направление отдельных движений. Однако из многочисленных опытов все же ясно вытекало, что животные совершенно утрачивали нормальную способность движения тела в плоскостях удаленных дугообразных ходов. Это отражалось впоследствии также на оставшейся у животных болезненной походке. Они не могли уже точно придерживаться какого-нибудь одного направления, но кружили всегда зигзагом или неопределенно летали кругом, пока не натыкались на стену и не падали на пол без чувств.

У кролика достаточно одностороннего удаления полукружного канала, чтобы вызвать продолжительные бурные движения и весьма резко выраженные движения глазного яблока. Глазные яблоки производят при этом маятниковые колебания (нистагм) по всем направлениям. Колебания становятся особенно сильными, если сделать неподвижной голову животного.

Особую главу Цион посвящает своим интересным наблюдениям над танцующими (японскими) мышами. Эти удивительные животные танцуют часто в одиночку, держа прямо свой корпус, вокруг продольной оси, или же по двое и по нескольку пар вокруг какого-нибудь общего центра. Танцуют большей частью ночью, но частью также и днем, как это часто случается и у людей, в течение целых часов почти совершенно беспрерывно—только изредка и в крайнем случае животное позволяет себе поспешно подбежать к корытцу. При танце хвост держат вверх, мордочки наклонены к заду предыдущего животного. Темп кругового движения все более и более усиливается и, наконец, оно превращается в неистовый вихрь, так что нельзя бывает различить отдельные члены животных и даже самих животных. Иногда вдруг направление движения резко изменяется. Прямо назад итти они не могут: непременно должны оборачиваться вокруг себя. Вперед бегут тоже только зигзагом.

Описанные случаи наблюдений Цион пытается согласовать со своей психофизической теорией, что однако плохо ему удается. В чем же заключается его объяснение?

У мышей имеется постоянно только передняя вертикальная пара дугообразных ходов или полукружных каналов, редко задняя вертикально-сагиттальная и никогда не наблюдается горизонтальная. Из описанных кругообразных движений Цион заключает, что мыши знают только одно направление движения в пространстве, именно—

направо или налево, ибо круговые движения их или танцы есть „не что иное, как продолженное движение направо или налево". По вопросу: являются ли эти танцы добровольными или вынужденными движениями—Цион говорит следующее: „Вынуждено только направление движений. Они должны танцовать в (горизонтальном) круге. В пределах вынужденного направления они могут достаточно варьировать фигуры своих танцев". Цион должен был бы прибавить, что не только круговое направление вынуждено, но и всякое движение в горизонтальной плоскости. Ибо, согласно опытам на голубях и лягушках, расстройство движений или вынужденные движения наступают в плоскостях разрушенных каналов, животные теряют в этих именно плоскостях ориентировку. То же должно иметь место и в том случае, когда у животного по природе не хватает полости дугообразного хода. Поэтому можно признать, что мыши, желая танцовать, должны делать это в горизонтальной плоскости по принуждению. Принуждение в этих движениях явствует из того, что танцы длятся беспрерывно в течение целых часов и часто приводят к изнурению.

Особенно серьезное подтверждение для своего учения о пространственном чувстве Цион думает найти также в общеизвестном явлении головокружения и особенно вызываемого вращением головокружения. С этой целью он производил опыты над лягушками, голубями, кроликами, обезьянами, детьми, взрослыми людьми и над глухонемыми.

Лягушки тотчас же, как только начинается вращение, обнаруживают ясно выраженный поворот головы в сторону, противоположную вращению. Цион считает это явление рефлекторно-пассивным Однако его можно было бы скорее признать рудиментарным вынужденным движением, основывающимся на головокружении. Мало подверженные головокружению лягушки это движение и сохраняют, между тем как у высших животных к указанному повороту головы прибавляется еще маятниковое колебание головы, которое, по аналогии с глазным нистагмом, называется головным нистагмом. Если колеблющуюся таким образом голову остановить, то тотчас же начинается ясно выраженное маятниковое колебание глаза, т.-е. глазной нистагм или достаточно быстрое колебание глазного яблока туда и сюда наблюдаемое при известных заболеваниях сетчатой оболочки глаза Эти движения головы и глаз являются вынужденными движениями причиненными головокружением. В слабой степени они возникают и у людей, как только последние ощущают головокружение. Поэтому мы вправе сделать заключение об ощущении головокружения на основании таких вынужденных движений и у тех животных, которые указанных признаков не обнаруживают. Если после быстрого вращения аппарата, наподобие карусели, вдруг остановить его, то насту-

пает довольно стремительное последующее головокружение, нистагм которого называется последующим нистагмом. Последний имеет направление, противоположное первоначальному нистагму.

Получаемое от вращения головокружение, по учению известной физиологической школы, вызывается рефлекторно дугообразным лабиринтом. Хотя Цион, согласно своему учению о чувстве пространства, отнюдь не исключает слуховой аппарат от участия в феномене головокружения, тем не менее для него важно исследовать, не является ли сетчатка глаза прямым исходным пунктом для головокружения. С этой целью он произвел целый ряд опытов вращения на аппарате с животными, у которых были оперированы слуховые лабиринты. Он или перерезал акустические нервы, или разрушал оба дугообразных лабиринта. Но оперированные таким образом животные все же имели вызываемое вращением головокружение. Следовательно, причиной его были не дугообразные ходы. Цион закрывал животным глаза, и тотчас же исчезали все признаки головокружения. То же самое происходило и у здоровых животных, которым закрывали при вращении глаза. У всех этих животных не оставалось ни малейшего следа головокружения. Отсюда Цион мог сделать вывод, что головокружение является лишь оптическим головокружением, т.-е. вызывается глазной сетчаткой, а не дугообразным лабиринтом.

При продолжительном и усиленном вращении здоровых животных к поворотам головы и головному нистагму, т.-е. локализированным вынужденным движениям, присоединились всеобщие конвульсивные движения почти всех мускулов тела. Животные пугливо корчились на аппарате, валились с ног или сбрасывались с аппарата.

Опыты с вращением доставили Циону много других интересных фактов, а также новую опору для построения его теории учения о пространственном чувстве и головокружении.

Прежде всего, как правило, было установлено, что высоко стоящие в интеллектуальном отношении индивиды, люди, особенно же дети и обезьяны, мало бывают подвержены головокружению на аппарате и в соответствии с этим производят лишь незначительные вынужденные движения или вовсе не производят таковых. Зато последние производятся весьма усиленным темпом тогда, когда—это обыкновенно случается с животными — вращению оказывается сильное сопротивление и делается попытка фиксировать окружающие предметы, изображения которых в непрерывном беге меняются на сетчатке.

Человек, наоборот, отдает себе точный отчет о факте вращения. Он не оказывает сопротивления вращению ни глазами, ни членами и не старается задерживать изображения своей сетчатки. Он скоро отвлекает свое внимание от них или с помощью размышления, или же закрывая глаза пальцами.

Дети с удовольствием совершают вращение и отдают себе полный отчет в том, что ничего угрожающего не скрывается за ним. В порыве радости они не обращают внимания на изображения, постоянно возникающие на их сетчатке, и не испытывают никакого головокружения.

Мартышка и павиан тоже не знают головокружения от вращения, но—по другой причине. Они все свое внимание сосредоточивают на наблюдателе, которого они считают виновником своего вращения и которого они окидывают все время свирепыми взглядами, и поэтому отвлекаются от изображений на сетчатке и не пытаются их задерживать.

Таким образом на основании наблюдений Циона, вызываемое вращением головокружение имеет свое основание не в дугообразных полукружных каналах, а в зрительном аппарате. Мы видели, что животные, не имеющие лабиринта, получают такое же сильное головокружение, как и животные с здоровым лабиринтом, пока глаза у них не закрыты.

По наблюдениям других исследователей, Цион знает, что среди глухонемых известный процент совершенно недоступен головокружению и что вскрытие после смерти показывало у них картину более или менее полного разрушения или совершенной неразвитости лабиринта и улитки. У Джемса из 519 глухонемых 186, или 36%, не имели головокружения.

Таким образом, с одной стороны, мы имеем животных без лабиринта, которые, вращаясь с открытыми глазами, получают сильное головокружение, а с другой—мы находим глухонемых, которые, не имея лабиринта, не подвергаются головокружению, несмотря на то, что они вращаются с открытыми глазами. Здесь очевидное противоречие. Оно разрешается с помощью того факта, который устанавливается наблюдениями Циона над людьми и обезьянами. Люди и обезьяны непроизвольно отдают себе отчет в явлении вращения и таким образом могут подавить в себе головокружение. В таком же положении находятся и глухонемые, в большинстве случаев интеллектуально высоко стоящие.

II.

Опираясь на результаты своих наблюдений и экспериментов, Цион строит психофизическую гипотезу пространства. Цион полагает, что ощущения пространственного направления, исходящие из трех полукружных каналов, постоянно возбуждают и сохраняют подсознательное ощущение или представление математической прямоугольной системы координат. Этот идеальный призрак пространства должен бессознательно лежать в основе наших пространственных восприятий. На полном согласии между всеми чувственными ощущениями и этим

идеальным подсознательным представлением пространственных направлений покоятся все наши движения в пространстве и познания его. Общая точка пересечения координат соответствует центральному пункту наших во всех направлениях распространяющихся пространственных ощущений.

Сам Цион формулирует свою гипотезу в следующих основных положениях:

Полукружные каналы являются периферийными органами чувства пространства. Раздражения нервных окончностей в ампулах этих каналов вызывают ощущения, которые позволяют нам воспринимать три направления пространства.

С помощью этих ощущений в нашем мозгу образуется представление идеального пространства трех измерений, на котором базируется вся совокупность перцепций наших прочих чувств, регулирующих как размещение окружающих нас предметов, так и положение нашего тела в пространстве.

Наличие специального органа для чувства пространства в высокой степени упрощает спорные вопросы между двумя теориями бинокулярного зрения: эмпирической теорией Гельмгольца и нативистической теорией Геринга. Оно создает нейтральную основу, на которой могут согласоваться эти противоположные точки зрения.

Восьмая пара мозговых нервов содержит два совершенно отличных один от другого чувственных нерва: мозговой нерв (n. cochlearis) и нерв пространства (n. vestibularis s. spatialis—нерв преддверия или пространства).

Благодаря раздражениям, получаемым этим последним нервом, центральный орган чувства пространства регулирует размещение и меру сил иннервации, распределяющихся по мускулам глазных яблок и прочих областей тела при его движениях в трех главных направлениях пространства.

Расстройства, обнаруживающиеся после прекращения отправлений дугообразных ходов, должны быть приписаны—а) своеобразному оптическому головокружению, возникающему вследствие недостатка согласованности между зрительным пространством и идеальным; б) происходящей отсюда путанице наших пространственных представлений о положении нашего тела в пространстве и его отношениях к видимым предметам; в) аномалиям в размещении сил иннервации по названным мускулам.

К чему же главным образом сводятся нападки Циона на учение Канта? В предисловии к его книге мы находим след. возражения его:

Априорная гипотеза, за которую, впрочем, Кант ухватился лишь после того, как целые десятилетия тщетно пытался объяснить возникновение представлений пространства и времени в зависимости от

опыта наших пяти чувств,—априорная гипотеза была собственно не чем иным, как смесью ложного нативизма с остатками прежних эмпирических стремлений.

Только незнакомство с функционированием органов чувств... побудило его рассматривать внешнее чувство, как „свойство нашей души".

Время—по Канту—тоже является „формой внутреннего чувства", т.-е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния. Следовательно, и здесь обнаруживается незнание физиологического значения отправления чувств. Может ли итти речь о внутреннем созерцании времени, если мы видим быстроту и слышим ритм тонов?

Уже в 1901 г. сделанная попытка объяснения основ Евклидовой геометрии с помощью восприятий дугообразного аппарата обладает совсем иной силой доказательности, чем выведенное с помощью простых определений, утверждений и разъяснений синтетическое построение геометрии Канта.

В „Грезах духовидца" у Канта имеется известное положение: „Весы разума не совсем беспристрастны, и то плечо их, на котором стоит надпись: „надежда на будущее", имеет механическое преимущество, вследствие которого даже легкие доводы, падающие на чашку надежды, заставляют на другой стороне подниматься доводы, имеющие сами по себе гораздо больше веса". Это положение показывает Циону, „что Кант исключительно только в интересах нравственности и религии готов был пожертвовать своим стремлением к истине".

Мы действительно знаем, что Кант определенно учит об эмпирической реальности пространства и времени. По Канту, пространство и время до такой степени для нас достоверны, что мы можем мыслить или представлять себе все то, что мы видим, слышим, осязаем и пр., не иначе, как во времени и пространстве. Вот что он буквально утверждает: „Никоим образом нельзя себе представить, что пространства нет, между тем как не трудно представить себе, что в нем нет никаких предметов". Для нашего представления пространство и время, следовательно, необходимее, чем что-либо другое. Поэтому они для нас самая реальная вещь, какую только можно себе представить.

Почему же Цион так яростно нападает на Канта, как на противника своей теории чувства пространства?

Цион воображает, что ему удалось доказать, что наше знание пространства возникает путем абстракции, но только абстракция эта исходит от подсознательных ощущений направления, происходящих в нашем дугообразном лабиринте. А подсознательные ощущения эти возникают в полукружных каналах и их ампулах благодаря раздражениям, которые направляются к ним более или менее косвенно через органы чувств, в особенности же через органы зрения, слуха и осязания.

Это, кажется, свидетельствует о том, что Цион не особенно далеко ушел от Канта. Однако он представляет дело так, как будто бы учение Канта об априорности пространства стоит в прямом противоречии с его психофизической теорией, и совершенно исключает ее.

Цион возводит слуховой лабиринт на степень шестого чувства, но это отнюдь не лучше освещает проблему пространства, чем это делалось до сих пор с помощью общеизвестных пяти чувств, ибо между слуховым лабиринтом с его бессознательными ощущениями пространства и совершенным познанием пространства все-таки остается широкая психологическая прореха, которую приходится заполнять гипотезами. Поэтому-то между своим шестым чувством и осознанным познанием пространства Цион гипотетически протаскивает идеальную психическую систему координат, которая конструируется из подсознательных ощущений направления и на которую ради более совершенного познания пространства и направлений проэцируются наши лабиринтные и сетчатые, а равно осязательные и прочих чувств изображения.

Если Кант мог построить свое априорное учение о пространстве, несмотря на существование издавна известных пяти чувств, то шестое чувство, конечно, не помешало бы ему сделать то же самое. Поэтому он, несомненно, приветствовал бы Циона, обогащающего нас шестым чувством, примирил бы свое трансцендентальное учение с этим новым открытием и Циона не считал бы среди своих противников. Но учение его он принял бы во всяком случае не как психологическую или психофизическую ценность, так как этого рода понятия не имели никакой точки соприкосновения с его трансцендентальным учением, а как всякое другое априорное учение. Шестое чувство Циона не причинит ни малейшего ущерба трансцендентальному учению Канта, так как последнее имело в виду собственно не эмпирическую реальность, а только постулированную моральную реальность ноуменов и высочайшего блага троичности: свободы, бессмертия и божества. Реальность Циона ни в коем случае не может стоять на пути такой „реальности" Канта. Поэтому трансцендентная реальность Канта не поддается нападению с психологической и физиологической точек зрения. Его трансцендентальное учение не содержит никаких психологических, а следовательно, и никаких нативистических элементов. В свое время Кант ни в коем случае не признал бы нативизма. Исключительно эмпирически или апостериорно приобретенные представления времени и пространства Кант отверг бы с такой же силой, с какой он осуждал врожденные идеи прежних философов.

Таким образом упрек Циона в том, что учение Канта есть лишь „смесь ложного нативизма и эмпирических стремлений", покоится на совершенно неправильном понимании этого учения. Виндельбанд, один из лучших знатоков Канта, говорит на этот счет следующее:

„В споре современных физиологов и психологов о происхождении представления пространства Кант, несомненно, стоял бы на стороне эмпиристов. Но его учение об априорности не имеет вообще ничего общего со всем этим спорным вопросом и в высшей степени ложно истолковывают его, думая, что его можно сравнить с психологическим нативизмом". Говорить об „эмпиристе" Канте—заметим мимоходом—Виндельбанд имеет право только весьма условно.

По отношению к так называемому эмпиризму Канта надо всегда иметь в виду то, что Кант признает его только в отношении к субъекту познания, который сам по себе есть тоже только явление и, следовательно, не действителен. Пространство и время, а равно пространственные и временные вещи существуют, по его мнению, только в отношении к такому субъекту. „Если мы отвлечемся от него", то пространство и время, как объекты познания, станут „ничем", т.-е. не пространством, не временем, а только вещами самими по себе, а вместе с тем и субъект познания также становится только вещью самой по себе. Отсюда не подлежит сомнению, что эмпирический реализм Канта не действительный, а только призрачный реализм и обратная сторона трансцендентального идеализма.

Сводя воедино возражения Циона, нельзя не отметить правильности его утверждений в некоторых отношениях. Так, он, несомненно, прав, когда утверждает, что Кант отнюдь не доказал своего учения об априорности познания пространства и времени, и что вообще никогда нельзя доказать его. Но, с другой стороны, он совершенно не прав, причисляя Канта к нативистам, приписывая ему эмпирические стремления и выставляя его противником своей теории слухового лабиринта. Тут Цион хватил через край, не заметив сродства душ: своей и Канта. Его теория по существу является с научной видимостью приличным прикрытием для априористического идеализма Канта.

Но между этими двумя теориями есть и весьма существенная разница.

Первая, теория Канта, никогда не имела в науке серьезного значения и ныне является совершенно неприемлемой, отжившей, как музейная редкость в архиве человеческой мысли. Вторая, если отбросить ее кантианский уклон, покоится на объективном экспериментальном исследовании и, следовательно, идет по строгому научному пути. Это—гипотеза, но такая гипотеза, которая во всяком случае продвигает вперед вопрос о познании пространства и, как научное достижение, представляется способной к дальнейшему развитию, т.-е. отличается такими качествами, которыми не может похвалиться мертворожденная трансцендентальная теория и ее позднейшие выкидыши.

Виктор Сережников.

Этика Канта с точки зрения исторического материализма.

„...Абстракция и высокомерие ее (Германии. *П. В.*) мышления шли всегда параллельно с односторонностью и низменностью ее действительности"...

(Маркс. К критике гегелевской философии права).

I. Введение.

Каждая философская система, как бы далеко она, повидимому, ни отрывалась от реальных условий действительности, и как бы ни была тонко и „возвышенно" сплетена из кружев философской абстракции, в конечном счете она все же связана всегда с социальными условиями своего времени и служит идеологическим выражением социальных потребностей и интересов последнего.

Поэтому, приступая к изложению теории морали Канта, которую идеалистические философы всех мастей пытались оторвать от исторических корней и выдать за нечто „вневременное" и „внепространственное", мы должны сначала обрисовать, хоть бегло, ту социально-экономическую обстановку, которая служила питательной средой для кантовской философии.

А. Социально-экономическая обстановка Германии времени Канта.

1. Экономика. Классы.

Со времени немецкой реформации (1648 г.) вплоть до Великой Французской революции (1789 г.) Германия стояла вне мировых событий. Великие открытия XV и XVI в.в., перемещение мировой торговли с берегов Средиземного моря на берега Атлантического океана сильно содействовали объединению Германии. Вообще колониально-хозяйственные перевороты сильно изменили классовые и политические отношения в Европе. Но в то время, как они, например, сильно способствовали экономическому развитию Англии и создали класс капиталистов, который должен был стать политической силой, Германию они отбросили в хозяйственном отношении катастрофически назад. Эта экономическая отсталость задержала развитие городов, торговли и промышленности, а тем самым и стремление к национальному объединению, возникающее на базе товарно-капиталистического хозяйства. Этому мешало также массовое образование местных владетельных княжеств—тоже продукт слабости буржуазного развития.

Со времени реформации немецкое развитие получило поэтому мелко-буржуазный характер.

Экономическая структура времени Канта характеризовалась следующими основными чертами: господствующей формой хозяйства было мелкое ремесленное производство и полуфеодальное землевладение. Старое феодальное дворянство было большей частью уничтожено в крестьянских войнах; остались либо имперские князья двенадцатой величины, которые мало-по-малу создали себе порядочную независимость и подражали абсолютной монархии в маленьком и провинциальном масштабе, либо более мелкие землевладельцы, которые просадили свое незначительное состояние при небольших

дворах, а затем поступали на службу в маленькие армии и правительственные канцелярии"[1]). Полуфеодалы—это и были „деревенские дворяне, ведшие такую жизнь, которой устыдился бы самый скромный английский сквайр или французский провинциальный барин"[2]).

Но дыхание новых отношений, связанных с развитием торгового капитала, уже давало себя знать. Натуральное помещичье хозяйство подтачивалось развитием рынка.

Дворянство разлагалось, расслаивалось и втягивалось в торгово-денежное хозяйство. Сельское хозяйство все более принимало характер денежного, а не натурального хозяйства, юнкерство главную цель теперь видело в извлечении возможно большего дохода в денежной форме. „Поневоле,—говорит Камфмейер,—рыцари научились барышничать и торговаться; талеры денежного хозяйства были еще тверже, чем угловатые, упрямые головы юнкеров. Рыцарская поэзия пастушеских игр превратилась в доморощенную прозу скотоводов. Юнкера должны были научиться считать хотя бы для того, чтобы с расширением и углублением материальной культуры достойным образом поддержать и расширить свой быт"[3]).

Что касается капиталистических отношений, то торговый капитал играл в экономике страны, пожалуй, не меньшую роль, чем крупное землевладение. Капиталистическое же производство только-только начинало прокладывать себе дорогу. Оно было самой передовой и прогрессивной, но пока еще очень слабой экономической силой.

В то время как в Англии в результате успешного первоначального накопления создался богатый класс капиталистов, организующих все производство в соответствии с новейшими данными техники, в Германии еще (говоря словами Маркса) „практикуются ручные ткацкие станки, самопрялки,—неповоротливые инструменты, которые давно были вытеснены в Англии машиной".

Немецкая буржуазия была отсталой не только в сравнении с английской, но и в сравнении с голландской. „Голландия,—говорит Маркс,—единственная часть Ганзы, достигшая торгового значения, оторвалась от Германии, отрезала ее, за исключением двух гаваней Гамбурга и Бремена, от мировой торговли. Немецкие буржуа были слишком бессильны, чтобы ограничить эксплоатацию голландцев. Буржуазия небольшой Голландии со своими развитыми классовыми интересами была могущественней, гораздо более многочисленной немецкой буржуазии с ее отсутствием всяких интересов и с ее раздробленными мелочными интересами"[4]).

О состоянии и структуре германского хозяйства того времени Кампфмейер говорит: „Капиталистическая буржуазия и пролетариат были весьма незначительны по сравнению с массами мелких ремесленников, которые составляли истинное ядро производственной Германии"[5]). Господствующей формой производства было мелкое хозяйство в городе и деревне. Оно задавало тон, на его базе существовал как торговый капитал, так и феодальное землевладение. С зачатками крупного капиталистического производства того времени, т.-е. мануфактур, здесь дело обстояло так: „Предприятие XVI—XVIII в.в. отличалось в значительной мере той же инертностью и неподвижностью, как и средневековое ремесло и торговля. Не только

---

1) К. Маркс, Святой Макс, русск. пер., стр. 159.

2) Там же, стр. 160.

3) Кампфмейер, История современных общественных классов в Германии, стр. 116, русск. перев.

4) Маркс, Святой Макс, русск. перев., Госиздат, стр. 160.

5) Кампфмейер, История совр. обществ. классов в Германии, стр. 194.

ремесленник, но и скупщик-предприниматель и владелец централизованной мануфактуры, хотя и представлял собою новую форму производства, но был проникнут прежним цеховым духом и цеховым консерватизмом, работал так, как отцы и деды. Он пользовался полученными от них сведениями, накопленными ими опытом" [1])...

Что же касается крестьян, то их способ производства был самым отсталым, они жили не только в нищете, но и полном бесправии. Их положение было плачевно не только в Восточной Германии, где крестьяне были прикреплены к крупным феодальным хозяйствам (которые обрабатывались барщинным трудом), но и в Западной Германии, где крестьяне были „свободны", имели мелкие участки земли и уплачивали оброк, различные повинности и проч.

„Общий принцип,—говорит Кулишер,—был таков, что крестьянин не должен днем приготовить себе постель, так как он не может знать, будет ли он еще ночевать на том же месте" [2]).

„Волшебная дубинка" неустанно гуляла по спинам крестьян.

Особенно в Восточной Германии юнкерство глумилось над крестьянами. Крестьян проигрывали в карты, выменивали на борзых, продавали с публичного торга, точно речь шла о неграх. „Барщина,—говорит Кулишер,—здесь была превращена в египетские казни".

„Все свое время крестьянин проводит на помещичьих полях,—подгоняемый управителями с кнутом в руках. Лунными ночами он вынужден пользоваться изнуренными лошадьми для обработки своего собственного участка" [3]).

2. Социально-политические отношения и быт.

Таким образом мы видим, что весь способ производства тогдашней Германии был отсталым; печать обывательщины лежала на всем; развитие вперед шло крайне медленно. Чтобы иметь полную картину Германии того времени, необходимо еще остановиться вскользь на характеристике общественно-политической жизни и быта.

В немецких городах прозябает жалкое мещанство, которое в полном подчинении у чиновников и князей с неограниченной властью. Города были заполнены военным и чиновничьим элементом. Целые армии военных чиновников, не имеющих никакого отношения к городу, но связанных с княжескими дворцовыми и государственными управлениями, наводняют города. Так, Вернер Зомбарт [4]) характеризует Берлин XVIII в. как нищенский, бедный и солдатско-чиновнический город. Гарнизон с женами и детьми составлял 23% всего населения (33.088 из 141.283 человек). Военные же вместе со служащими и чиновниками—$^{2}/_{5}$ всего населения.

Быт Германии того времени напоминал наш быт времени Николая I. Обывательщина, засилие чиновничества, трепет перед начальством, вмешательство государства во все стороны жизни граждан, патриархальная опека, „гоголевские нравы", хотя и на немецкой земле.

В эпоху государственного абсолютизма и государственного рабства, „государство ни на мгновение не упускало из виду подданного, оно уделяло ему напряженное внимание еще до его рождения. Будущий мировой гражданин, зачатый во внебрачном союзе, должен был

---

[1]) И. М. Кулишер, Лекции по истории экономического быта Западной Европы, стр. 80.

[2]) Там же стр. 63.

[3]) Knapp, Die Bauernbefreiung, I.

[4]) См. Werner Sombart, Das moderne Kapital.

уже во чреве матери быть представленным высокому начальству" [1]).

В деревне господствовали крепостнические или полукрепостнические отношения. Опеку над крестьянством осуществлял барин. Методы угнетения и эксплоатации крестьян напоминали во многом российские отношения до 1861 г.

Помещик распоряжался жизнью крестьянина и всех его детей. Он определял их профессии и занятия.

Превосходным воспитательным средством для приучения крестьян к христианским добродетелям было „сидение в прикованном виде верхом на деревянном осле перед господским домом". И любимым изречением было: „Колотите парней так, чтобы они почернели".

„Если в высших сферах,—говорит Кампфмейер,—меч правосудия работал с капризным произволом, то в низших инстанциях правосудия, где дворянин и господин был судьей в своем собственном деле, произвол свирепствовал безудержно".

Вполне естественно, что крестьяне при таком положении вещей проводили свои дни в деревенской замкнутости, кругозор их был узок. Церковь, которая поддерживала государство, в свою очередь, опекала крестьян. Если кому-нибудь нужно было выйти из деревни в воскресенье, он должен был предупредить священника.

„Кто хотел весной и летом подышать свежим садовым воздухом, не должен по воскресеньям выходить раньше пяти часов и во-время вернуться по домам".

„Идиотизм" деревенской жизни делал крестьянство пассивным и покорным. Кроме того, само „земледелие велось способом, который был ни парцеллярией, ни большой культурой, и который, несмотря ни на барщину, ни на крепостную зависимость, не мог привести к эмансипации крестьян, с одной стороны, вследствие того, что этот способ производства сам не допускал образования деятельного революционного класса, с другой стороны, вследствие отсутствия соответствующей такому классу крестьянства революционной буржуазии" [2]).

Что касается дворянства, то оно было господствующим классом, хотя усиление монархической власти больших князей, особенно прусского короля, несомненно отражало усиление экономической роли торгового капитала, для которого феодальные отношения в деревне и феодальная раздробленность были препятствием к созданию широкого свободного внутреннего товарооборота. Оппозиция к королевской власти, исходившая от этого дворянства, не имела ничего общего с буржуазным либерализмом. Дворянство боролось за сохранение своих привилегий, за право не платить налогов, за право занимать командные должности в армии и за места в бюрократической иерархической лестнице управления.

Этот класс не мог быть носителем новой буржуазной культуры и идеологии.

„Княжеские дворы и дворянские замки не были очагами немецкой культуры... Из эпохи французской блестящей жизни немецкие

---

[1]) Кампфмейер, там же, стр. 120. Он приводит здесь также интересное сообщение о том, что: „В полицейском уставе княжества Вальдекского имеются жестокие постановления относительно „утаивания беременности", за которое женщина карается тремя годами заключения в каторжной тюрьме без ребенка, если он и остался в живых, если же ребенок умирает, то к пожизненному заключению.

„К девушкам, забеременевшим вне брака и лежавшим в родовых муках, повивальные бабки обращались с вопросами: „от кого забеременела и в каком месте и где находится виновник", а пока это не будет выяснено, ей нельзя приложить свои руки к делу".

[2]) Маркс, там же. стр. 160.

деспоты и дворяне сумели перенять только распутство, и здесь они проявляли собственное творчество... К концу XVIII в. дворянству приходилось выслушивать упреки, справедливые в том, что среди немцев оно составляет наиболее невежественную и даже некультурную часть. Образованные же чиновники, бюргеры, которые превосходили торгашей дворян, не выделялись в придворных кругах, как особая группа носителей культуры" [1]).

Естественно, что при строго регламентированной жизни весь быт, уклад, нравы были застойными и неподвижными. Это отражалось на всех сторонах жизни, в частности в области семейных отношений. Семья носила строго патриархальный характер, главой семьи был отец, к которому даже сыновья обращались: „Вы" или „господин отец", а добрая хозяюшка была олицетворением кротости и покорности по отношение к своему властелину. Дело женитьбы детей решалось родителями, так как брак большей частью заключался по расчету. „Сначала имение, а потом расположение",—вот девиз этой жизни.

Вся литература того времени преисполнена этих мотивов. Характерно также и то, что уже пьесы XVIII в. изображают семейную тиранию и тем выражают протест против этого уклада.

„Семейная жизнь в Германии,—говорит Геттнер,—была бедной и бессодержательной и непривлекательной жизнью филистеров, а если в нее входило чувство и фантазия, то лишь в виде проявления жалкой сентиментальности и самодовольства („История литературы Германии XVIII в.").

Церковь была подчинена монархии и священник превращен в государственного слугу. По отношению к церкви и государству целиком оправдывалось изречение: Cuius rego eius est religio, хотя и в своеобразном смысле.

В церковном обиходе практиковались доносы и клеветничество. Доносить нужно было „чиновнику или священнику". Могущественные монархи не только боролись с суеверием народных масс, но всячески боролись и преграждали путь стремлению к свету и истинному знанию, которое проглядывало в более развитых слоях населения.

Политика всемогуще-полицейского государства была заинтересована в сохранении раз установившегося порядка. Государство поддерживало строго сословную иерархию и внесло узкосословные понятия в мир личной жизни и частных потребностей. Оно являлось полицейским на каждом перекрестке, и каждый индивидуум наталкивался на колючую проволоку, расставленную ею.

„Око самодержавного монарха,—говорит Камифмейер,—заглядывало в ящики, сундуки, тарелки, кастрюли, в гардеробные шкафы и собачьи конуры" [2]).

Наиболее выдающиеся умы, отцы классической немецкой литературы и философии, которые взяли на себя задачу освободить науку от этих оков, от теологии и суеверий, бороться против постыдных процессов ведьм, восстановления права преподавания в немецких

[1]) Кампфмейер, там же, стр. 154—158. Он там добавляет: „Лампрохт указывает на то, что литература XVIII века коренилась только в тонких слоях нескольких больших городских образований".

[2]) Кампфмейер, там же, стр. 127. Далее он пишет: „Как отражался даже в одежде и пище весь сословный строй, видно из того, что были изданы специальные указы о запрещении горожанам, крестьянам и их детям носить одежду из бархата и шелку (указ 1779 г.); в Гильдсгейме вышел указ, воспретивший пить кофе под угрозой штрафа в „6 грошей" бюргерам, подмастерьям, крестьянам и батракам. Для свадеб было ограничено указом число гостей, с указанием количества блюд для каждого, вина и пива. Жестоко и всенародно наказывалась падшая девушка и т. д."

аудиториях на немецком языке [1]), ни от кого больше не терпели обид и порицаний, как от прусских могущественных королей, „у которых по отношению к духовному творчеству было лишь издевательство варваров“. Так, известно, что Фридрих Вильгельм I „захватил скудные доходы Академии Наук для уплаты придворным шутам, а профессоров заставлял разыгрывать перед ним фарс словесного турнира, под угрозой палочных ударов [2]). А профессор Вольф вынужден был в течение 24 часов оставить Галле и Пруссию под страхом смертной казни только потому, что королю, охотнику до солдат, сделали злостный и ложный донос, будто согласно философии Вольфа „можно оправдать дезертирство из армии“ [3]).

Что касается „хваленого философа из Сан-Суси“ Фридриха Великого, который приглашал к своему столу, как занимательных собеседников, изгнанников французских философов, то он издал в 1742 г. приказ о предварительной цензуре всех печатаемых книг, а в 1743 г. он дополнил этот приказ следующим:

„Безбожные и злостные книги не должны больше иметь сбыта“.

Прекрасную общую характеристику всей духовной жизни тогдашней Германии дает Зомбарт:

„... мы вправе только на основании характера духовной культуры, господствовавшей в Германии в течение всей первой половины девятнадцатого столетия, непосредственно заключить об очень низком уровне богатства этой страны. Эта культура носила, как известно, явно выраженный литературно-эстетическо-философский характер, или, выражаясь в отрицательной форме, она была не техническая, „не материалистическая“. Люди того времени совершенно отвернулись от внешнего мира, казавшегося им прозаичным, и создали внутри себя мир идей; они презирали все, что отзывалось материальностью, отличались чувствительностью, сентиментальностью, деликатностью: они созерцали и предавались благоговейному размышлению. Художники ненавидели краски: рассматриваемое направление нашло в этом факте свое высшее выражение. Все получало характер литературный, бескровный, призрачный, духовный, идеальный. Генрих Гейне, который стоял на пороге новой художественно-технической эпохи германской жизни и мысленно, по крайней мере, предвидел будущее поколение людей крепких, запечатлел настроение своей эпохи в классических словах; тогда люди были самоотвержены и скромны, преклонялись перед неведомым, ловили тень поцелуя и запахи цветов фантастики, покорялись судьбе и хныкали. Мысль, идея, ученость царствовали, как неограниченные властители. Искусства вообще, в том числе живопись, скульптура и музыка, должны были им подчиняться. Искусство также носило умственный, а не чувственный характер. Это основное настроение было всеобщим и охватывало всю Германию в продолжение десятков лет; стареющий Гете чувствовал себя чужестранцем в своем народе, и, без сомнения, отнюдь не случаен факт, что его лишь теперь начинают чтить, как национального гения, все в более и бо-

[1]) Так, Томазиус в своих „Teutschen Schriften“ писал: „Если бы мы, наконец, решились употреблять немецкий язык в письме и преподавании, то и ученость незаметно распространилась бы с большей пользой, и мы не должны были бы выносить больше того позора, что высокомерные французы ставят нас на одну доску с московитами (Hettner, Geschichte der Literatur im XVIII Jahrhundert).

[2]) См. Меринг, История Германии с конца средних веков. Стр. 65, пер. Степанова, Госиздат, 1920 г.

[3]) В этом доносе говорилось: „...если дезертирует какой-нибудь рослый гренадер из Потсдама, то это делается по определению фатума, так что беглец не может противиться этой необходимости и что король неправ, наказывая его“ (Hettner, Geschichte der Literatur im XVIII Jahrhundert im Deutschland).

лее широких кругах; это основное настроение, направленное против чувственного мира, было настолько само собой понятным, что его считали прямо-таки своеобразною чертой немецкого народного характера" [1]).

Разумеется, дело здесь не только в низком уровне богатства, а в низком уровне буржуазного развития вообще, в экономической слабости нового способа производства. И именно эта слабость обусловливала собой „воздушность" немецкой идеологии; ее кажущийся отрыв от реальных интересов и реальной жизни был как раз продуктом убожества этой жизни, экономической и политической импотентности зарождавшейся буржуазии. Все это, как увидим ниже, полностью отразилось и на философии этого периода.

Какое же резюме мы должны сделать из этого краткого очерка социальных, классовых и бытовых условий Германии интересующего нас периода?

Какой класс мог выступить в качестве идеолога начавшегося и крайне медленно протекавшего буржуазного переустройства общества?

А если такого класса не было, то как вообще была фактически разрешена эта проблема, имеющая, несомненно, большой чисто-социологический интерес?

На это приходится ответить так:

Дворянство само как класс представляло феодализм и не могло быть прогрессивной силой, даже его борьба против абсолютистского централизма была реакционной, поскольку последний создавал благоприятные условия для развития торгового капитала.

Мелкая буржуазия была слишком экономически слаба, чтобы выступить против дворянства и государственной власти, тем более, что она представляла докапиталистический способ производства в сравнении с мануфактурой.

Крестьяне могли сыграть роль только в том случае, если бы их вел за собой городской класс. Что же касается основного класса, который вообще должен был быть в передовых рядах в борьбе с феодалами, то у Маркса мы читаем следующую характеристику бессильной и жалкой немецкой буржуазии того времени:

„Немецкая буржуазия, ругавшая Наполеона за то, что он заставлял ее пить цикорий и нарушал мир ее страны рекрутским набором и размещением по квартирам, изливала всю свою моральную ненависть на него и все свое восхищение на Англию; однако Наполеон оказал ей величайшие услуги очисткой немецких авгиевых конюшен и установлением цивилизованных путей сообщения, а англичане только ждали удобного случая эксплоатировать ее вдоль и поперек" [2]).

Неудивительно поэтому, что буржуазия, которая получала с помощью французского штыка то, что не могла завоевать сама она в борьбе с феодализмом, оказалась столь же паразитической и там, где дело шло о формулировании ее же собственной идеологии. В самом деле. В тогдашней Германии ни один класс не мог взять на себя гегемонию прогресса и, наоборот, все классы выделяли выдающихся людей в самых различных областях. Наиболее интересным является тот факт, что максимальное количество идеологов буржуазного развития выдвигала не сама буржуазия, а мелкие ремесленники и мелкие чиновники [3]). Прав в этом отношении Меринг, который говорит:

---

[1]) Вернер Зомбарт, История экономического развития Германии в XIX в., стр. 19—20, русск. перевод, изд. Брокгауз и Ефрон.

[2]) Маркс, там же, стр. 160.

[3]) Этот факт интересно сравнить с тем, что обычно во всех странах буржуазную революцию доводили до конца не сама крупная и средняя буржуазия, а революционные ремесленники, крестьяне и передовая интеллигенция.

„Среди первых фабрикантов Берлина было много таких, которые не умели правильно написать свое имя. Не из нарождающейся средней и крупной буржуазии, а из мещанских слоев, из ремесленников, из мелких должностных лиц в церкви, школе и государстве выросла в XVIII столетии литература и философия, которые в умственном отношении, по крайней мере, подняли экономически и политически отсталую Германию на равную высоту с западными культурными народами. Молодая буржуазия, развивавшаяся в Германии, в общем отнюдь не составляла цвета нации. Способ ее возникновения и условия ее быта внушали ей мелочной торгашеский образ мыслей. Грубая в своих отношениях к мелкому бюргерству и пролетариату, она держалась смиренно по отношению к абсолютизму и феодализму [1]).

Буржуазное развитие Германии, как мы видели, шло слишком медленным темпом и делало слишком малые успехи, чтобы прогрессивные люди в Германии смели помышлять о завоевании власти и осуществлении на деле буржуазных свобод, однако это развитие подвинулось уже настолько, что передовые элементы могли уже выдвинуть первые, наиболее общие, наиболее элементарные требования буржуазного общежития, сформулированные в компромиссной форме и на туманном языке философии и морали. Эти требования были: признание равенства всех перед законом, требование законодательства, согласованного „с духом времени", т.-е. с нуждами развивающихся капиталистических отношений, ограждение прав личности, индивидуальная политическая и хозяйственная свобода, наконец, борьба с феодальными привиллегиями, авторитетом церкви и т. д.

Всего этого должна была добиваться нарождавшаяся буржуазия, и все это должна была требовать прогрессивная часть мелко-буржуазного хвоста ее. Однако добиться этого они могли лишь в рамках феодальной государственности и с согласия господ сеньоров.

Кантовская философия и была отображением этих стремлений. На его системе лежит печать всей двойственности положения буржуазного класса, всех противоречий его времени.

Сам Кант происходил из мелко-буржуазной среды. Он должен был, с одной стороны, на головоломном (kopfzerbrechenden) и туманном языке своей философии сформулировать общие социально-политические стремления передовых элементов своего времени; с другой стороны, он не мог не вложить отчасти в свою философию того, что диктовало ему его классовое происхождение, родственная среда и, наконец, впечатления детства и юности сына Кенигсбергского седельника.

Уже из сказанного ясно, какие социальные пределы были положены реформаторским стремлениям кантовской мысли.

Кант должен был очень сильно двинуться вперед по сравнению с догматико-теологическим уровнем философии своего века, которая нашла свое наиболее полное и достаточно пошлое выражение в эклектической „системе" философии Вольфа.

„Я охотно признаюсь,—говорит Кант,—указание Давида Юма было именно тем возбуждением, которое впервые много лет тому назад прервало мою догматическую дремоту и дало моим изысканиям в области умозрительной философии совершенно иное направление" [2]).

Кант потому проснулся от своей догматической дремоты, Юм потому оказал на него (как затем Руссо) такое большое влияние, что

[1]) Меринг, История германской с.-д-ии. т. I, стр. 58, русск. перев. Ландау.

[2]) Пролегомены ко всякой будущей метафизике. Перев. В. С. Соловьева. Изд. 1893 г., стр. 8 предисловия.

от дремоты проснулись и передовые элементы буржуазного и мелкобуржуазного класса. Канту стало тесно в рамках догматической философии, потому что представляемому им классу делалось тесно в социально-политических рамках феодальных отношений. Но вместе с тем, в силу недостаточной экономической зрелости и социальной слабости (в сравнении с феодальным дворянством) представляемого им класса, Кант не мог пойти в своей борьбе с теологией и церковным догматизмом так далеко, как это сделали французские просветители, представители уже совершенно созревшего для власти буржуазного класса. Он не мог пойти так же далеко, как и они, навстречу опытному знанию против метафизики всякого рода [1]).

Кант усвоил основные завоевания буржуазной французской мысли периода бури и натиска. Но, с другой стороны, он должен был приспособить идеологию просветителей к убогой обывательской немецкой действительности. Все это должно было, с одной стороны, свести к минимуму его реформаторский радикализм, а, с другой стороны, должно было стать сильнейшим стимулом к глубоко-теоретическому анализу тех данных французской и английской философии, какие были доступны тогдашней Германии. Отсюда характернейшая черта всей кантовской философии. Ее убогий либерализм, очень умеренная борьба с теологией и церковным догматизмом (далекая от той смелой борьбы, которую проделали французские просветители, представители уже совершенно созревшего для власти буржуазного класса), весьма недостаточно энергичная защита опытного знания, а с другой стороны громадное напряжение теоретического анализа в этих сравнительно скромных пределах. Создается впечатление, как будто бы Кант напрягал все усилия, чтобы проделать французскую революцию в сфере абстрактной немецкой философии. Недаром Маркс сказал, что: „с полным правом можно кантовскую философию рассматривать, как немецкую теорию французской революции" [2]). А в „Критике гегелевской философии права" Маркс по тому же поводу говорит: „Подобно тому, как древние народы переживали свою доисторическую эпоху в воображении, в мифологии, так мы, немцы, переживаем нашу будущую историю в мыслях, в философии. Мы—философские современники действительности, не будучи ее историческими современниками... Немцы размышляли в политике о том, что другие народы делали на практике. Германия была их теоретической совестью". Энгельс, сравнивая Германию даже более позднего периода с Францией XVIII в., замечает. „Подобно тому, как во Франции восемнадцатого века, в Германии девятнадцатого столетия

---

[1]) О других причинах умеренности взглядов германской буржуазии в сравнении с французской Плеханов говорит:

„Во-первых, само духовенство играло в ней со времени реформации совсем не такую роль, какая принадлежала ему в католических странах; во-вторых, „третье сословие" Германии было еще далеко тогда от мысли о борьбе против старого порядка. Эти обстоятельства наложили свою печать на всю историю немецкой литературы XVIII века. Между тем как во Франции образованные представители третьего сословия пользовались каждым новым выводом, каждой новой гипотезой, как оружием в борьбе с представлениями и понятиями, выросшими на почве отживших отношений,—в Германии речь шла не столько о том, чтобы истребить старые предрассудки, сколько о том, чтобы согласить их с новыми открытиями" (примеч. к „Людвигу Фейербаху" Энгельса, русское издание 1906 г.).

[2]) См. Das Philosophische manifest der historischen Rechtsschule. Aus dem Literarischem Nachlass von Karl Marx etc., Erster Band, S. 270:

„...Ist daher Kants Philosophie mit Recht, als die deutsche Theorie der Französischen Revolution zu betrachten"...

Впрочем, Маркс здесь лишь подтвердил мысль, высказанную отчасти ранее Гегелем в Geschichte der Philosophie (см. Band III, S. 552).

философская революция служила введением к политическому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти философские революции. Французы ведут открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто даже с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко переселяются в Бастилию. Напротив, немцы—профессора, государством назначенные наставники юношества; их сочинения—одобренные начальством руководства, а система Гегеля,—венец всего философского развития,—как бы вводится даже в чин королевско-прусской государственной философии. И за этими профессорами, в их педантически темных словах, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция" („Людвиг Фейербах", стр. 30). Характерно, что Бакунин, ездивший в Германию и увлекавшийся там философской модой, тоже очень скоро подметил черты пассивности и оторванности философии от классовой борьбы и обывательского филистерства тогдашних немецких профессоров, разочаровался в ней, и в письме к Николаю I писал: „Впрочем, сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись ближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики. Я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделие; не мало сему открытию способствовало знакомство с немецкими профессорами, ибо что̀ может быть уже, жалче, смешнее немецкого профессора, да и немецкого человека вообще. Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку, а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни" [1]).

Маркс прекрасно видел те причины, благодаря которым немецкий идеализм, столь глубокий в области абстракции, был столь немощным в то же время и столь отвлеченным, поскольку дело шло об обосновании непосредственной борьбы буржуазии против феодального режима:

„Немецкий идеализм есть не что иное, как превращение материально обусловленных интересов французской буржуазии в чистые самоопределения свободной воли. Так как немецкие экономические отношения находились на низкой ступени развития, то немецкий бюргер мог воспринять буржуазную идеологию только в ее абстрактной форме" [2]). Ибо тогда, когда французская революция повсюду подала огненный знак для восстания—в Германии ничто не шелохнулось, лишь немногие нашли в себе силы и мужество высказать сочувствие Французской революции, в том числе Кант и Фихте. Но в то время, когда Фихте приветствовал даже террор во Французской революции, Кант не хотел согласиться с революционной практикой, признавая теоретически справедливость требований французского переворота.

Бидерман [3]) говорит, что „самое большое, что допускал Кант,—это самоограничение властелинов, либо из соображения отеческого великодушия, либо из страха перед общественным мнением".

Впрочем, лучше всего будет привести то место из Маркса, где он дает блестящую характеристику Кантовской философии:

„Характерную форму, которую принял в Германии французский либерализм, опирающийся на действительные классовые интересы,

---

[1]) Исповедь Бакунина, стр. 104—105, т. I,—Материалы для биографии Бакунина под ред. Полонского.

[2]) Маркс, Святой Макс.

[3]) Bidermann, Deutschland im XVIII Jahrhundert, B. I, S. 163.

мы встречаем опять у Канта: Он, как и немецкий буржуа, адвокатом которых он был, не замечал, что в основе этих теоретических мыслей буржуа лежали материальные интересы и воля, определенная и обусловленная материальными производительными отношениями; поэтому он отделил это теоретическое выражение интересов от самых интересов и превратил материально обусловленное направление воли французских буржуа в чистое самоопределение „свободной воли", воли самой по себе, как человеческой воли, сделав из нее таким образом чисто-идеологическое понятие и постулат нравственности"[1]).

Итак, в то время как французская и английская буржуазия могла вести свою борьбу под флагом материализма и сенсуализма (не только по причинам, указанным Плехановым, ибо в Англии борьба с церковью никогда не принимала таких размеров, как во Франции, а потому, что она уже достаточно окрепла и оформилась, как класс), слабая и неоформившаяся буржуазия Пруссии, времени Канта, могла лишь в критическом идеализме найти выражение своим стремлениям. Чрезвычайно интересно было бы дать ответ на вопрос, почему буржуазное самосознание в лице Канта выявилось в системе критической философии, в то время как французская буржуазия поднялась до рационалистического материализма, а английская философия до умеренного материализма (Гоббс), сенсуализма (Локк), скептицизма (Юм).

На этот вопрос можно дать ответ по двум линиям, которые в качестве научных гипотез одинаково могут быть защищаемы и, пожалуй, даже не исключают друг друга.

Первый вариант таков: на вопрос, почему критический идеализм или, еще лучше, агностицизм мог быть идеологией Германии времени Канта, я отвечаю: агностицизм—это оружие в борьбе против религии и теологии, поскольку он стремится сузить рамки метафизики, берущейся все познать и все доказать вплоть до бессмертия души и существования бога, ограничивает теологию тем, что устанавливает границы человеческого познания вообще. Это же объясняет вам, почему кантовская система приняла характер критического идеализма, в то время как французы, ведшие эту борьбу против теологии при обострившейся классовой борьбе, перешли к материалистической атаке и всецело доверяли разуму, который ниспровергал предрассудки религии.

Второй вариант таков: роль разума, как высшей санкции общественных отношений, выдвигался всюду, где на смену феодальному строю шел буржуазный. Там теологию и метафизику сменяет рационализм. Точно так же, как у феодалов все общественные отношения были освящены богом, так у революционной буржуазии все должно было санкционироваться разумом. Рационализм стал тоже в свою очередь религией, бога средневекового заменил разум. Энгельс так формулирует эту мысль: „Каждый из господствующих классов эксплоатирует свою собственную религию: землевладельцы—католический иезуитизм и протестантскую ортодоксию; либеральные и радикальные буржуа—рационализм... На деле оказывается совершенно безразличным—верят или не верят сами эти господа в свою религию" („Людвиг Фейербах", стр. 77 русск. пер.).

Плеханов держится того мнения, что „и Кант, и французские материалисты стояли в сущности на одной точке зрения (подчеркнуто мною. *И. В.*), но воспользовались ею различно, сообразно общественным отношениям каждой из стран и потому приходили к различным выводам"[2]).

---

[1]) Маркс, там же.

[2]) К вопр. о монистическом взгляде на историю. гл. 2.

„На одной точке зрения“... Нам кажется, это слишком сильно сказано. По нашему мнению, критический идеализм Канта надо рассматривать не иначе, как **идеализм** с материалистическими тенденциями, навеянными XVIII столетием, поскольку Кант не мог не продвинуться вперед в направлении к материализму и позитивной науке, не мог не выдвинуть роль опытного знания.

Он жил в эпоху большого подъема естественных наук и огромных успехов в области математики, для которых создавало благоприятную почву развитие промышленности и расцвет буржуазной культуры во Франции и Англии. Характерно, что Кант свое первое крупное произведение посвятил не абстрактным проблемам философии, а основной проблеме космогонии („Естественная история неба“). Как известно, положения Канта были позже подтверждены Лапласом и стали известны под именем теории Канта-Лапласа [1]).

Любопытно отметить, что это его произведение встретило наименьший отклик в немецкой среде. Окружающая социальная среда, идеологом которой являлся Кант, побудила его перенести центр тяжести его научной мысли на другие проблемы, а именно на проблемы гносеологии.

Посмотрим теперь, какие философские системы XVII и XVIII веков исторически предшествовали своим появлением кантовской философии и могли оказать влияние на автора „Критики чистого разума“.

б) Идеологическая связь философии Канта с его предшественниками.

Догматическая философия, которая процветала в Германии, представляла не что иное, как замаскированную теологию, приспособленную к обывательскому уровню мышления. Но в то время, как теология просто требовала веры в бога и бессмертие без ссылки на рассудок, догматизм пытался доводами от разума доказать все это [2]).

Метафизика древних веков сменилась в средневековьи теологией. Господство последней было неограниченным, между прочим, и потому, что только развитие торгового капитала в XV и XVI веках вызвало развитие точных наук, основанных на опытном знании. Со времени возрождения, со времени новых научных открытий начинается новый поход против учения церкви. Это движение из Италии перенеслось в другие европейские страны. Вся новейшая философия, отражая потребности нового класса, не могла не стать на путь борьбы с догматизмом и на путь свободного от религиозных предрассудков познания вещей. Эта борьба шла по двум направлениям: по линии эмпиризма и по линии рационализма.

Представителем первого течения является Бэкон. Он считал опыт и наблюдение единственными источниками истинного познания вещей. Рационалистическое же направление, которое было представлено Декартом, наоборот, утверждало, что путем опыта мы получаем довольно сбивчивые и несвязные представления о вещах, нуждающиеся в полной переработке разума. Сущность же, т.-е. настоящая природа вещей, остается таким образом нам неизвестной — ее может уразуметь только ясное, отчетливое, построенное на основе закона при-

---

1) Энгельс, как известно, придавал громадное значение этому труду Канта, ибо здесь была развита диалектическая точка зрения на процессы в природе, которую позже Гегель перенес и на историю человеческого общества.

2) См. подробн. **Куно Фишер**, Им. Кант и его учение, т. IV, пер. Лосского, Жуковского и Полилова (глава вторая).

чинности и математических законов мышление. Самым достоверным является, по его мнению, то, что мы мыслим: „cogito ergo sum“. Исходный пункт философии Декарта характеризовался таким образом рационалистическим индивидуализмом (я мыслю, а не мы, не ты). Бэкон изгнал из новой философии всякую метафизику и предоставил ей искание конечных целей, которые, по его мнению, бесплодны, как девственницы, и посвящены богу“ [1]. Локк пошел дальше Бэкона и в отыскании источника опыта. Он обосновал сенсуализм. Он опроверг теорию врожденных идей и считал, что все наши представления суть плод чувственных восприятий: „Nihil est in intellectu, quod ante non fuerit in sensu“ [2]. Но Локк на-ряду с этим поставил уже вопрос о границах познания, ибо он уже задается вопросом, как возможен самый опыт: ни одного элемента опыта (впечатления, представления и т. п.) мы не создаем разумом, а получаем при посредстве восприятия, т. е. благодаря действию на нас внешних предметов, без чего разум пуст.

Но, рассматривая весь внешний мир, данный нам в опыте, как сумму ощущений, Локк тем самым дал повод Берклею сделать вывод из его сенсуализма в сторону крайне субъективного идеализма, от которого отмежевывался даже Кант.

Берклей утверждал, что „есть только духи и идеи, из которых первые суть воспринимающие сущности, а вторые—воспринимаемые“.

Юм же сделал из локковского учения вывод в сторону скептицизма. Поскольку мы получаем каждое восприятие и впечатление благодаря действию, производимому на нас извне соответствующим предметом опыта, постольку мы не можем судить о действительной закономерной связи всех предметов внешнего мира: „Рассматриваемая сама по себе вещь не говорит нам, чтобы она с необходимостью предполагала другую“, говорит Юм. Отсюда его вывод о том, что причинная связь не присуща объективно процессам внешней природы, а представляет из себя продукт „привычки“ нашей мысли.

II. Теория морали Канта в его обще-философской системе.

Из всего вышесказанного мы видим таким образом, что Канту предстояло отмежеваться от резко субъективного и „мистически-мечтательного“ („грезящего“) идеализма Беркли и выдвинуть роль опытного знания, с одной стороны, а с другой — нанести (отнюдь, впрочем, не сокрушительный) удар наиболее архаическому и средневековому течению в теологии. Насчет этого не очень сокрушительного удара Кант сам говорит в „Критике чистого разума“: „**Поэтому я должен был ограничить область знания, чтобы дать место вере...**“ (стр. 18, курсив наш. *И. В.*).

В нашу задачу не входит рассмотрение того, насколько и как Кант выполнил задачу борьбы с теологией в общей части его философии. Нам предстоит лишь дать социально-философский анализ его теории морали. Но так как теория морали находится в тесной связи со всей его философией, то нам нужно предварительно показать эту связь для лучшего понимания кантовской этики.

В основе кантовской философии лежит деление бытия на мир явлений—мир чувственный и на мир вещей в себе или умопостигае-

[1] Следовательно, и это было уступкой церкви, которую сделал этот передовой человек.

[2] Кроме, очевидно, бытия бога, как остроумно замечает Л. Аксельрод в своих „Очерках“.

мый. Вещи в себе не познаваемы. Наш разум ограничивается лишь умозаключением, что они существуют, как нечто совершенно отличное от чувственного мира. Что же касается познания чувственного мира, то в основе его должны лежать, с одной стороны, внешние впечатления и чувственное созерцание; с другой стороны, систематизирующая, синтезирующая опыт роль так называемых чистых, априорных категорий рассудка, которые придают нашим суждениям общезначимый, необходимый и объективный характер, ибо „созерцания без понятий—слепы, понятия без созерцаний—пусты".

Общезначимые объективные законы природы выводятся не из эмпирического опыта и отдельных эмпирических наблюдений, а наоборот, сами a priori данные понятия, под которые подводятся отдельные факты действительности, делают опыт объективным: „Не природа диктует рассудку законы, а рассудок диктует их природе".

Наличие этих понятий a priori Кант устанавливает путем анализа нашего опыта. Так он констатирует в математике наличность синтетических суждений a priori, возможность которых связана с тем, что математика оперирует чистым пространством, т.-е. одной из форм чувственного созерцания. Точно так же возможно чистое естествознание, ибо одним из априорных принципов познания является закон причинности.

Таким образом Кант в своей общей философии отличает мир феноменов от мира ноуменов, между которыми нет никаких переходов. „Наше наглядное представление,—говорит философ,—есть только представление явления: вещи, представляемые нами, не таковы сами по себе, как мы их представляем, также и отношения их сами по себе не таковы, как они нам являются, и если бы мы уничтожили наш субъект или только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и во времени, а также и само пространство и время исчезли бы: как явления они могут существовать только в нас, а не сами по себе. Каковы предметы сами по себе в независимо от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно" („Критика чистого разума" стр. 54). Точно так же и в сфере опытного знания Кант отличает самые формы познания от чувственного материала познания: „форма принадлежит нашей чувственности необходимо, каковы бы ни были ощущения; ощущения же могут быть весьма различными". „Только форму мы можем познавать a priori, ощущения же составляют источник той стороны нашего познания, которая называется апостериорным знанием..." („Критика чистого разума", стр. 54).

Совершенно такой подход (т.-е. подход с точки зрения основной его позиции в теории познания) мы видим у Канта в проблеме морали. Как раньше он установил наличие априорных понятий в математике путем анализа реального математического знания, так и тут, в области морали,. он путем анализа практически-действующей человеческой морали и нравов обнаруживает наличие столь же формального, как суждение a priori, и столько же обязательного, как они, нравственного закона. Таким образом в системе Канта существует полная аналогия между формами чистого рассудка в области познания природы и между чистым и формальным, моральным законом в области нравственной деятельности людей. Но эта связь общефилософских взглядов Канта с его моральным взглядом идет и гораздо дальше, и распространяется также и на ту часть его учения, которая говорит о вещах в себе. Когда дело доходит до того, чтобы объяснить происхождение морального закона, Кант ищет его корня в потустороннем, интеллигибельном мире. Возможность такой апелляции кан-

теллигибельному миру объясняется у Канта тем, что он рассматривает человека и как вещь в себе. Поскольку он находится в рамках чувственного мира, его поступки определяются чисто-эмпирическими мотивами из сферы этого чувственного мира; поскольку же в эти практические поступки врывается формальный нравственный закон, постольку корни последнего Кант видит в человеке, „как вещи в себе“. Это именно (т.-е. долг) то великое,— говорит Кант,— что возвышает человека над самим собой (как частью чувственного мира), что соединяет его с порядком вещей, который рассудок может только мыслить, и что вместе с тем имеет под собой весь чувственный мир, а вместе с ним эмпирически-определяемое существование человека во времени и совокупность всех целей (что возможно только такому безусловному практическому закону, как моральный). Это не что иное, как личность, т.-е. свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая, вместе с тем, как способность существа, которое подчиняется своеобразным, именно своим собственным, данным в разуме чистым практическим законам; следовательно, лицо, как принадлежащее чувственному миру, подчиняется здесь своей собственной личности, поскольку оно вместе с тем относится и к миру интеллигибельному“ („Критика практического разума“. Перев. Соколова, стр. 104—105. Курсив наш. *И. В.*). Итак, человек—это единственная вещь, которая служит олицетворением связи между чувственным миром и миром вещей в себе.

Ниже еще мы покажем, к каким непреодолимым логическим противоречиям приводит даже с точки зрения философской системы самого Канта подобное построение. Теперь же мы перейдем к более подробному изложению теории морали Канта, используя, главным образом, его собственные формулировки из его основных работ: „Основоположение к метафизике нравов“, „Критика практического разума“ и „Metaphysik der Sitten“.

III. Изложение теории морали Канта.

В то время как в „Критике практического разума“ Кант исследует и доказывает нравственную способность, в „Основоположение к метафизике нравов“ философ устанавливает нравственный закон, этот высший принцип морали. При чем метод изложения тут у него аналитический. Он берет конкретно существующую мораль и, вскрывая принципы, лежащие в ее основе, вышелушивает некий формальный стержень морали, т.-е. все то, что лежит в основании его учения о категорическом императиве и т. д. Но Кант не задается здесь вопросом, откуда все сие (т.-е. принципы чистого морального закона) в человеке? „Как возможно такое синтетическое практическое положение ... (курсив Канта) и почему оно необходимо,— это задача, разрешение которой не лежит уже в границах метафизики нравов“, говорит Кант („Основоположение к метафизике нравов“, русский пер. под ред. Хвостова, стр. 76).

В предисловии к указанному сочинению Кант определяет этику, как науку о законах свободы, точно так же как физику— как науку о законах природы. Таким образом, как мы указали уже выше, у Канта вполне аналогично познание закономерности в природе и в нравственной деятельности людей с той только разницей, что физика устанавливает закономерность сущего, а этика, следовательно,—законы долженствования. От эмпирической фило-

софии Кант отличает чистую философию, строящую свое учение исключительно на исследовании и устанавливании принципов, существующих в познании a priori, и называет ее метафизикой, в случае же если она ограничивает свое исследование определенными предметами рассудка, если же она формальна—то логикой. Кант так определяет задачу метафизики нравов: „Метафизика нравов должна исследовать идею и принципы возможно чистой воли, а не действия и волении, человеческого воления вообще...“ (Основоп. к метафизике нравов“, стр. 66). „Таким образом,—говорит Кант,—возникает идея двоякой метафизики, метафизики нравов и метафизики природы“ (там же, стр. 2. Курсив автора. *П. В.*). Точно так же, как физику, Кант делит и этику на эмпирическую и рациональную, „хотя,—добавляет он,—здесь эмпирическая часть в отдельности могла бы называться практической антропологией, а рациональная—собственно моралью“. Следовательно, мы имеем у Канта подразделение этики, как и других областей наук, на практическую и формальную. Мораль по своей социальной природе эмпирична, ибо она всегда связана с конкретными потребностями того или иного класса. У Канта же метод подхода к морали такой же, как и в подходе к вопросам математики и естествознанию: Мораль возможна благодаря тому, что существуют нравственные законы a priori заложенные внутри человека. „А что такая чистая моральная философия должна существовать, — говорит философ, — явствует само собой из общей идеи долга и нравственных законов“ (там же, стр. 3), а... „закон, — говорит он далее, — если он должен иметь значение морального, т.-е. рассматриваться, как основа обязанности, ведет за собой абсолютную необходимость“. Но в этом своем понимании абсолютного нравственного закона Кант идет еще далее. Так необходимость существования чистой моральной философии (т.-е. метафизики нравов) Кант объясняет не только тем, что... „существуют теоретические побуждения исследовать источник практических принципов, заложенных a priori в нашем разуме“ (Там же, стр. 4), но тем еще, „...что сами нравы остаются подверженными всякой порче до тех пор, пока отсутствует эта руководящая нить и высшая норма их правильного обсуждения“ (Там же, стр. 4. Курсив наш. *П. В.*). Таким образом „порчу нравов“ Кант объясняет не сменой морали в классовом обществе, где победивший класс отрицал мораль побежденного класса и выдвигал свою собственную. Для Канта мораль—это как бы готовая, навеки отлитая, прекрасной белизны статуя, которая портится и тускнеет исключительно потому, что она поставлена в плохо освещаемую нишу... „порча нравов“, видите ли, происходит потому, что отсутствует нить и норма их правильного „обсуждения“. Ниже мы покажем, как этот „возвышенный“ и „надклассовый“ взгляд Канта на мораль имел на самом деле весьма классовое происхождение и вполне отвечал требованиям того времени и той среды, идеологом которой был Кант. Но пока последуем далее за изложением Канта. Итак, из вышеприведенного ясно, что „морально-хорошим“ с точки зрения Канта может быть то, что не только „согласно с нравственным долгом, а что должно совершаться ради него“, т.-е. ради самого нравственного закона, как такового. Следовательно, мы видим тут у Канта субъективный подход к моральной оценке, поскольку, по его мнению, о поступке надо судить не по объективным последствиям действия, а по субъективным мотивам того, кто совершает данный поступок.

И добрая воля с точки зрения Канта имеет сама по себе моральную ценность, независимо от того, какие проистекают

из нее поступки. „Доброта воли,—говорит Кант,—измеряется не тем, что ею производится или исполняется, она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-либо цели, но добра сама по себе только через одно воление. Рассматриваемая сама по себе, она должна быть ценима несравненно выше, чем все, что только могло бы когда-нибудь осуществиться при помощи ее в пользу какой-либо склонности, да, если угодно, в пользу суммы всех склонностей" (Там же, стр. 10). Нет ничего, по мнению Канта, что можно было бы неограничительно назвать добрым помимо одной лишь только „доброй воли". При чем, для того, чтобы еще больше подчеркнуть самодовлеющую роль этой доброй воли, Кант с наивностью, свойственной лишь филистерам, пытается доказать, что даже „дары счастья" (каковыми он считает „власть, богатство, почет, довольство своим положением, общее благосостояние и даже здоровье", см. там же, стр. 14) не могут быть должным образом использованы при отсутствии доброй воли. Поэтому даже истинное назначение разума, как практической способности, должно, по мнению Канта, „состоять в том, чтобы быть причиной воли не как *средства* для какой-либо цели, но *доброй воли самой по себе*" (Там же, стр. 14. Курсив автора. *И. В.*). Далее, лишь добрая воля является тем критерием, с помощью которого мы можем определить, совершен тот или иной поступок в *согласии* лишь с *долгом*, благодаря естественной склонности к поступку субъекта, или из *сознания самого долга* [1]). Ибо точно также, как Кант делит этику на формальную и практическую, он подразделяет также и человеческие поступки на такие, которые имеют истинную нравственную ценность, т.-е. все те, которые совершены из формального сознания долга; остальные же поступки, хотя и совпадающие с требованием долга, но совершенные из естественной склонности к нему, а не из сознания его—этой ценности лишены. Эта двойственность (различие поступков, совершаемых из *обязанности* и из *склонности*) пронизывает насквозь всю этику Канта и особенно ярко выступает в иллюстрируемых им примерах: так 1) купец, не обманувший покупателя-ребенка и продавший последнему товар по обычной цене, хотя и поступает в согласии с требованием долга, но если он делает это не из сознания долга, а просто потому, что это совпадает с его коммерческими интересами, то такому поступку Кант не может приписать истинного нравственного содержания, а следовательно, и моральной ценности (Стр. 14, там же). Далее: 2) стремление отдельного индивидуума к сохранению своей жизни хотя и согласуется с требованием долга, но если оно проистекает из естественного инстинкта, а не из сознания долга сохранить жизнь, не может иметь внутренней ценности; наоборот, внутренняя ценность по Канту будет заключаться в таком поступке, когда человек, тяготясь жизнью, не покончит собой, а будет против воли, из сознания долга продолжать жить. И 3) оказать благодеяние философ считает нравственным, но опять-таки лишь тогда, когда это происходит не из склонности к благодеянию, а из сознания долга. „Только благотворение не из склонности, а из долга подымает ценность характера, настолько, что он является моральным и без всякого сравнения с высшим" (Там же, стр. 16). И даже 4) содействовать и добиваться даже собственного счастья надо не из естественного стремления к счастью, а из холодного сознания долга (Стр. 17). Тоже 5) „Быть правдивым из долга,—говорит

[1]) *Кант* говорит: „Воля стоит как бы на распутьи между своим принципом a priori, который формален, и своим побуждением a posteriori, которое материально" (Стр. 18, там же).

Кант,—это уже совсем другое, чем быть таким из боязни вредных последствий" (Стр. 21). Самый же долг Кант определяет следующими словами: „Долг есть необходимость действия из уважения к закону" (Там же, стр. 18).

Характерно для Канта, как для представителя буржуазии, которая не мыслит себе общества без государства, что он фетишистски относился ко всякому закону вообще. Это сквозит и в его отношении к моральному закону. „Не что иное,—говорит он,—как представление закона само по себе, которое имеется, конечно, только у разумного существа, поскольку это само представление, а не ожидаемый результат, является определяющим основанием воли, может дать то благо, предпочтительное всем другим, которое мы называем нравственным и которое присутствует уже в самой личности руководящейся в действии этим представлением, а не ожидается еще только в результате действия" (Стр. 19, там же. Курсив автора. *И. В.*). Этот закон по терминологии Канта называется объективным принципом, а субъективный принцип—максимой.

А основной вывод из этого закона гласит у Канта: „Я не должен никогда поступать иначе, как только по такой максиме, относительно которой я мог бы желать, чтобы она стала всеобщим законом" (Там же, стр. 20. Курсив автора. *И. В.*). Характерно для Канта, что судьба его a priori в познании такова же, как в морали: „Если,—говорит он,—ты этого не можешь, (т.-е. чтобы твоя максима могла лечь в основу всеобщего законодательства. *И. В.*), то она не пригодна и притом не в силу вытекающего из нее вреда для тебя или других, но потому, что она не годится, как принцип для возможного всеобщего законодательства" (Стр. 22, там же).

Кант считает принципы морали непреложными, неизменными и неизменяющимися в процессе общественной эволюции и, следовательно, оторванными от социальной среды. „Эти нравственные принципы, не основываясь на особенностях человеческой природы,—говорит он,—должны твердо стоять сами по себе a priori, только из них уже, как для всякой разумной природы, так, следовательно, и для человеческой могут быть выведены практические правила" (Стр. 31, там же).

А по поводу того, что может возникнуть вообще сомнение в действительном существовании в мире какой-либо истинной морали в виде нравственного закона, Кант категорически заявляет, что сам разум приписывает его себе независимо от всех явлений. При чем этот нравственный закон имеет даже „силу не только для людей, но для всех разумных существ вообще" (Там же, стр. 29).

Таким образом, сделавши моральный закон общеобязательным и вечным и положивши в основу его принцип чистого добра, Кант благополучно добрался до того существа, которое одно рассматривается, как высшее и абсолютное благо, т.-е. приплыл к тихой обители теологии и к идее единого бога (хотя, правда, бога, как воплощенной идеи морали). „Но откуда же,—вопрошает философ,—у нас понятие о боге, как о высшем благе? Исключительно из идеи нравственного совершенства, которую разум создает a priori и которую он неразрывно связывает с понятием свободной воли",—отвечает он же (Там же, стр. 29).

Переходя к вопросу о том, каким образом представление о моральном законе может определять волю, и о том, каково взаимоотношение между разумом и волей, Кант говорит: „Каждая вещь в природе действует по законам. Только разумное существо имеет волю

или способность действовать по представлению законов, т.-е. по принципам. Так как для выведения действий из законов требуется **разум**, то воля есть не что другое, как практический разум" (Там же, стр. 34).

Поэтому отличие практически доброго от приятного Кант видит в том, что первым „является то, что определяет волю посредством представления разума, следовательно, не из субъективных причин, а объективно, т.-е. из оснований, которые имеют значение для всякого разумного существа, как такового" (Стр. 35).

Далее. Кант подвергает анализу действие морального закона, в результате которого человеку диктуются императивно те или иные поступки. „Представление объективного принципа,—говорит Кант,—поскольку он принудителен для нас, носит название предписания (разума), а формула предписания называется **императивом**" (т.-е. правило, которое отмечается признаком долженствования) (Там же, стр. 34—35).

Как мы уже указывали выше, Кант оперирует богом в своем понимании морали. Поэтому он и тут различает: императив для людей и высшую волю (в согласии с законом) высшего существа. „Императивы,—говорит он,—суть только формулы для выражения отношения объективных законов **воления вообще** к субъективному **несовершенству воли** того или другого разумного существа, например, **воли человека** („Основ. к метафиз. прав.", стр. 36) (Курсив наш. *И. В.*). Поэтому Кант делит все императивы на гипотетические и категорические: „Если действие хорошо только **для чего-нибудь другого** как средство, то имеем дело с **гипотетическим** императивом; если оно представляется, как хорошее само **по себе**, следовательно, как необходимое для воли, которая сама по себе согласна с разумом, как принципом ее, то императив—**категорический**" („Основ. к метафиз. прав.", стр. 36).

И ввиду того, что он касается не содержания самого поступка и не последствий его, а только формы и принципа, т.-е. доброго мотива, независимо от результатов, то „этот императив,—говорит Кант,—может быть назван императивом **нравственности** (der Sittlichkeit)" (Там же, стр. 39).

Отсюда делает Кант тот вывод, что „только один категорический императив гласит, как **практический закон**, все же остальные хотя и могут быть названы **принципами** воли, но не законами" [1] („Основ. к мет. прав.", стр. 43).

И как законы, имеющие объективное значение, императивы отличаются, конечно, от максим. „Императивы,—говорит Кант,—имеют, следовательно, объективное значение и совершенно **отличаются от максим**, как **субъективных положений** („Крит. практ. разума", стр. 20) (Курсив наш. *И. В.*).

[1] В подтверждение этой формулировки, выражающей архи-мелкобуржуазный взгляд, он приводит характерный пример, выдающий сразу всю природу императивов: „Если, например,—говорит Кант,—кому-нибудь скажут, что в молодости надо работать и копить, чтобы в старости не терпеть нужды, то это верное и вместе с тем важное (!), практическое предписание воли. Но легко видеть, что воля здесь будет указанием на нечто другое, о чем предполагается, что она этого хочет, но это желание надо предоставить ему, самому деятелю, ибо он может предвидеть и другие вспомогательные источники кроме лично заработанного состояния" и т. д. („Критика практ. разума", стр. 21).

И поскольку Кант формальные принципы оторвал от всего конкретного и загнал внутрь человека, постольку же отрицал альтруизм и резко высмеивал теорию предустановленной гармонии. Эта теория гармонии,—говорит Кант,—„подобна той, какую рисует насмешливое стихотворение по поводу душевного согласия двух супругов, разоряющих друг друга. О, удивительная гармония, чего хочет он, того хочет и она, и т. д." („Крит. практ. разума", стр. 32).

Таким образом категорический императив определяет максиму воли каждого отдельного человека и, чтобы быть общеобязательным, он должен гласить: „Действуй так, как будто бы максима твоего действия по твоей воле должна сделаться всеобщим законом“ („Основ. к мет. прав“, стр. 45).

Но изложенный принцип, вытекающий из категорического императива, необходимо конкретизировать, вводя и понятие цели, ибо разум и волевой поступок не могут не быть связаны с определенной целью. И поскольку дело идет о чистых формальных законах морали, то Кант естественно приходит к мысли о цели, имеющей абсолютную ценность, чистой цели самой по себе. Такой чистой целью или самоцелью является сам человек. Но из признания человека, как самоцели, вытекает определенный моральный постулат, который гласит у Канта следующим образом: „Действуй так, чтобы ты никогда не относился к человечеству, как в твоем лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели“ (Там же, стр. 55).

Далее, воля каждого отдельного человека по Канту может рассматриваться и как чистая воля, и как субъективная цель; как чистая воля, она может отдельного человека, который руководится последовательно принципами морального закона, сделать, если можно так выразиться, участником всеобщего законодательства (законы морали имеют тут такой же всеобщий характер, как и законы природы). Кант говорит об этом: „Основание всякого практического законодательства объективно лежит в правиле и форме всеобщности, которая и возводит его на степень закона (в смысле закона природы), субъективно же—в цели; но субъект всех целей есть каждое разумное существо, как цель сама по себе: отсюда следует практически принцип воли, как высшее условие согласованности ее со всеобщим практическим разумом: идея воли каждого разумного существа, как воли, устанавливающей всеобщие законы“ („Основ. к метаф. нрав.“, стр. 58).

Больше того, надо поступать лишь по такой максиме, какая пригодна в качестве всеобщего законодательства, т.-е. так, „чтобы воля, благодаря моим максимам, могла смотреть на саму себя в то же время, как устанавливающую всеобщие законы“ (стр. 62). Ибо только такая воля и есть высший принцип нравственности, которую Кант называет „автономией воли“ в отличие от „гетерономии воли“ (как источника всех ложных принципов нравственности, ибо она руководится иными мотивами помимо морального закона).

На основании всего сказанного Кант следующим образом определяет понятие моральности: „моральность есть таким образом отношение действий через посредство максим воли к автономии воли, т.-е. к возможному всеобщему законодательству. Действие, которое может совмещаться с автономией воли,—дозволено; действие, которое с ней не согласуется,—не дозволено. Воля, максимы которой необходимо согласуются с законами автономии, есть святая, безусловно добрая воля. Зависимость не безусловно доброй воли от принципа автономии (моральное принуждение) есть обязанность. Последняя таким образом не может относиться к святому существу“ (стр. 69 „Основ. мет. нрав.“). А отсюда Кант делает дальнейший вывод, что „свободная воля и воля подчиненная нравственным законам есть одно и то же“ (стр. 78, там же). Таким образом все эмпирическое, конкретное Кант изгоняет из определения моральности. В основу ее отнюдь не может быть положено чувство альтруизма, а тем паче

эгоизма [1]. „Все материальные практические правила,—говорит Кант в „Критике практического разума“,—полагают основу определения воли в низшей **способности желания** и, если бы не было чисто формальных законов ее, которые достаточно определяют волю, то нельзя было бы допустить никакой высшей способности желания“ („Критика практического разума“, стр. 23). Значит, нравственная способность в человеке возможна благодаря наличию формальных, нравственных законов. Поскольку же дело идет о **происхождении** этих моральных законов, а также свободы и необходимости, то здесь Кант апеллирует к человеку, как к вещи в себе, и говорит: „Разумное существо должно признавать само себя в качестве **интеллекта** (следовательно, не со стороны своих низших сил), принадлежащим не к чувственному, но к умопостигаемому миру“, следовательно, для него возможны две точки зрения, с которых он может рассматривать само себя и познавать законы приложения своих сил, т.-е. законы всех своих действий: во-первых, поскольку оно принадлежит к чувственному миру, оно может видеть себя подчиненным законам природы (гетерономия), во-вторых, как принадлежащее к интеллигибельному миру—подчиненным законам, которые, будучи независимы от природы, обоснованы не эмпирически, но только в разуме.

Как разумное, следовательно, принадлежащее к интеллигибельному миру существо, человек никогда не может мыслить причинность своей собственной воли иначе, как обращаясь к идее природы [2]; ибо независимость от определяющих причин чувственного мира (какой разум необходимо должен всегда придавать самому себе) есть свобода. С идеей же свободы неразрывно связано понятие автономии, которая в идее точно так же лежит в основе всех действий **разумных** существ, как закон природы в основе всех явлений („Основ. мет. нр.“, стр. 85).

Итак, на вопрос, как возможен нравственный закон или как **возможен категорический императив**, Кант отвечает: „Категорические императивы возможны благодаря тому, что идея свободы делает меня членом интеллигибельного мира: через это, если бы я был только таким членом, все мои действия всегда были бы **согласны** с автономией воли, но, так как я в то же время смотрю на себя как на члена чувственного мира, то мои действия **должны** быть с ней согласны. Это категорическое долженствование представляет из себя синтетическое положение a priori, получающееся тем путем, что, помимо моей воли, аффицированной чувственными влечениями, здесь привходит идея моей воли, но воли, принадлежащей умопостигаемому миру, чистой, практической, самой по себе, которая содержит высшее условие первой согласно с разумом: это составляет приблизительную аналогию тому, как к воззрениям чувственного мира приходят понятия рассудка, сами по себе не означающие ничего, кроме законной их формы, и этим путем делают возможным

---

[1] Все материальные практические принципы, как такие, совершенно одного и того же рода и относятся к общему принципу самолюбия или личного счастья, говорит **Кант** в „Крит. практ. разума“ (стр. 23). Значит, ни принцип личного счастья, ни удовольствия не могут делать нас способными к нравственности. Этого не может даже сделать наличие в нас морального чувства, ибо в „Основ. мет. нравов“ **Кант** говорит: „Я причисляю принцип морального чувства к принципу счастья, потому что всякий эмпирический интерес обещает нам добавление к нашему благополучию тем удовольствием, которое нам чем-нибудь доставлено: происходит ли это непосредственно без видов на выгоду или из внимания к ней? (стр. 73).

[2] В „Критике практического разума“ **Кант** добавляет, что такую „независимость“ даже от „закона причинности“ он называет „свободой в самом строгом, т.-е. трансцендентальном, смысле“ („Критика практ. разума“, стр. 34).

синтетические положения a priori, на которых покоится все сознание природы" („Обосн. метаф. нрав.", стр. 87).

Таким образом из приведенных цитат мы можем видеть полную связь между теорией познания Канта с его принципами a priori, и между его теорией морали. Принципы, лежащие в основе того и другого, оказываются аналогичными и априорного происхождения оба.

Кант несомненно чувствовал, что его понятие свободы и морального закона обнажает противоречия всего его построения, которое, с одной стороны, говорит о непознаваемости вещей в себе, а с другой— о подчинении явлений природы объективным законам. Поскольку же моральный закон прорывается в область чувственного мира и практических поступков человека, постольку, выражаясь несколько грубо, он показывает кончик своего носа в мире явлений. Канту казалось, будто он выходит из этого противоречия, когда он формулировал здесь свою точку зрения так: „Разум преступил бы все свои границы, если бы он отважился на объяснение того, как может быть чистый разум практическим; ведь это было бы совершенно то же, что и задача объяснить, как возможна свобода. Ибо мы в состоянии объяснить только то, что может быть сведено нами к законам, предмет которых может быть дан в каком-нибудь возможном опыте. Свобода есть простая идея, объективная реальность которой никоим образом не может быть показана по законам природы, следовательно также и ни в каком возможном опыте; поэтому, так как для нее никогда нельзя по какой-нибудь аналогии привести примера, она никогда не может быть понята, или даже только усмотрена нами" („Обосн. мет. прав.", стр. 93).

Из этого приведенного нами места можно только видеть, что Кант здесь лишь иначе сформулировал свое затруднение, но отнюдь не разрешил его. То же можно сказать и о других местах из „Критики практического разума". Так на стр. 104—105 Кант говорит:

„Это именно (т.-е. понятие долга. *И. В.*) то великое, что возвышает человека над самим собой (как частью чувственного мира), что соединяет его с порядком вещей, который рассудок может только мыслить, и что вместе с тем имеет под собой весь чувственный мир, а вместе с ним эмпирически определяемое существование человека во времени и совокупность всех целей (что возможно только такому безусловно практическому закону, как моральный). Это не что иное, как личность, т.-е. свобода и независимость от механизма всей природы, рассматривая вместе с тем, как способность существа, которое подчиняется своеобразным, именно своим собственным данным в разуме, чистым практическим законам" („Критика практич. разума", стр. 104—105). И несколько ранее (там же, стр. 54) он говорит: „Чувственная природа разумного существа вообще—это существование его под эмпирически-обусловленными законами, значит гетерономия. Но сверхчувственная природа того же существа есть его существование по законам, которые не зависят от какого либо эмпирического условия, значит, относятся к автономии чистого разума. А так как законы, по которым существование вещи зависит от познания, законы практические, то сверхчувственная природа, поскольку мы можем поставить себе понятие о ней, есть не что иное, как природа под автономией чистого практического разума. А закон этой автономии—моральный закон, который, следовательно, есть основоположение сверхчувственной природы чистого рассудочного мира, и он должен иметь свое отражение в чувственном мире, но так, что этим он нисколько не вредит его законам". И этим своим утверждением Кант ничего не доказал. Здесь мы видим лишь одно

голое утверждение того, что моральный закон нисколько не нарушает закона причинности в чувственном мире. На деле же должно быть одно из двух. Либо моральный закон не оказывает никакого влияния на наши поступки в этом грешном чувственном мире, но тогда он остается лишь гласом вопиющего в пустыне: либо он оказывает влияние и тогда он взрывает закономерность в мире явлений изнутри.

В каком же отношении стоят в системе Канта истины и положения из опытного знания к его экскурсии в область сверхчувственного мира? В частности, каким образом Кант снова притянул бога в систему своей философии, и какое место он отводит ему? На это дает ответ следующее место из „Критики практического разума" (стр. 69—70). „Но эта, раз допущенная в области сверхчувственного, объективная реальность чистого и рассудочного понятия дает теперь всем остальным категориям, хотя только постольку, поскольку они стоят в необходимом соединении с основой определения чистой воли (моральным законам) и объективную, хотя исключительно практически применимую реальность, при чем они не могут иметь ни малейшего влияния на расширение теоретического познания этих предметов, как понимания их природы посредством чистого разума. Впоследствии мы увидим, что не всегда имеют отношение только к существам, как к интеллигенциям, и в последних только к отношению разума, к воле, значит, всегда только к практическому началу, следовательно, дальше этого ни на какое познание их не посягают, но какие бы свойства, которые относятся к теоретическому представлению таких сверхчувственных вещей, ни были поставлены в соединении с ними,— все это тогда уже относится не к познанию, а к праву (в практическом отношении даже к необходимости) признать или допускать их даже там, где допускают сверхчувственное существо (как бога) по аналогии, т.-е. по чистому отношению разума, которым мы практически пользуемся по отношению к чувственному: таким образом это отнюдь не мешает теоретическому разуму до бесконечности предаваться мечтам путем его применения к сверхчувственному, но только с практической целью".

А далее (там же, стр. 150) Кант пишет: „...высшая причина природы, поскольку ее нужно признавать для высшего блага, это существо, которое в силу рассудка и воли есть причина (следовательно, и виновник) природы, т.-е. бог. Следовательно, постулат высшего произвольного блага (лучшего мира) есть вместе с тем и постулат действительности высшего первоначального блага, а именно, бытия божия. Для нас обязательно содействовать высшему благу; следовательно, мы имеем не только право, но и необходимость, соединенную с долгом, как потребность признавать возможность этого высшего блага: а так как это возможно только под условием бытия божия, то это неразрывно соединяет предположение такого бытия с долгом" (т.-е. в моральном отношении необходимо признавать бытие божие! *И. В.*) („Крит. практ. разума", стр. 150).

Из вышеприведенной цитаты, как и из других, которых можно было бы привести в большом количестве, мы видим, что Кант благополучно дошел по моральной лестнице до уровня обывательского мышления и представления о боге.

Для нас, разумеется, интересно не то, как логически оправдывал Кант этот свой спуск, а социальный смысл такого его компромисса с теологией. Но вскрыть эту сторону, значит вскрыть социальный смысл всей морали и философии Канта.

IV. Социальные основы кантовской морали.

Мы не могли бы вполне понять социальный смысл кантовской философии, если бы рассматривали ее исключительно как специфический продукт только Германии вне социально-исторической связи со всем общественным движением XVIII века в Европе.

Методологически правильней рассматривать все кантианство лишь как один из этапов в одной из стран в борьбе третьего сословия на идеологическом фронте со своими классовыми противниками. Поэтому нам и мораль Канта приходится рассматривать в связи с моральными течениями английской буржуазии XVII века и французской буржуазии XVIII века.

В идеологической борьбе среднего сословия с дворянством и церковью буржуазия проходит в общем три этапа. Первый этап—это когда буржуазия еще социально слаба, еще не претендует на овладение властью, а лишь пытается на туманном языке философии и морали формулировать свои стремления и отмежеваться от идеологической средневековщины. Второй этап—это когда буржуазия уже достаточно социально сильна, чтобы победить дворянство и церковь полностью или же добиться того, что ей нужно в области социальной на основе компромисса с побежденным или полупобежденным старым классом. Третий этап—это когда буржуазия у власти и становится сама реакционным классом, когда под влиянием самостоятельного пролетарского движения она поворачивает оглобли назад и в идеологической области.

Какому же из этих этапов соответствует Кантовская мораль? Несмотря на то, что Кант выступил в тот период, когда английская буржуазия уже более столетия стояла у власти, а французская буржуазия в борьбе с аристократией и церковью дошла до крайних материалистических выводов в области философии и до аморализма [1]) в области морали, его теория морали с точки зрения социально-исторической является по своим выводам более отсталой, чем соответствующие построения английских моралистов, а тем более французских материалистов-аморалистов. Кант, как мы уже указали выше, отрицательно относился и к философии эгоизма, и к философии альтруизма [2]), несмотря на то, что последнего придерживались такие мыслители, как Болингброк, Шефтсбери, Герчизон, представлявшие в этой области компромисс дворянства с буржуазией, а другие—компромисс буржуазии с дворянством. Но анализ самой кантовской морали осложняется тем, что Кант на иероглифическом философском языке выражал стремления отсталой немецкой буржуазии и вместе с тем представлял на территории Германии мелко-буржуазную струю всего освободительного движения XVIII века.

Так, во Франции это мелко-буржуазное течение отражали произведения Руссо и отчасти моральные взгляды Дидро. А, согласно признанию самого Канта, Руссо имел на него огромное влияние [3]).

---

1) Под аморализмом здесь, как и впредь, мы понимаем отрицание не морали вообще, а отрицание той официальной христианской морали, которая выдавалась церковью за общечеловеческую мораль, абсолютную, вечную и самую истинную.

2) По поводу представителей философии эгоизма Кант говорит („Обосн. метаф. нравов“): „...во все времена были философы, которые решительно отрицали действительность такого настроения в человеческих поступках (т.-е. стремления совершать их из сознания долга. *И. В.*) и приписывали все более или менее утонченному эгоизму“ (стр. 26). По мнению же Канта, когда говорят о „моральной ценности“, то речь должна идти „не о действиях, которые мы видим, но о тех внутренних принципах действий, которых мы не видим“ (там же, стр. 27).

3) В „Антропологии“ К а н т говорит: „Руссо вернул меня к истине“.

В Англии соответствующее течение было представлено левеллерами; но последними гораздо больше это направление было представлено в области политики, нежели морали. В этом смысле не только Кант и Руссо, но и Робеспьер были в известной степени единомышленниками. Характерно также, что Кант, несмотря на умеренность своих моральных и религиозных взглядов, проявлял глубокий интерес Великой Французской революции. В этом как будто внешне-кажущемся противоречии и выступает на самом деле истинный характер того класса, представителем которого был Кант. Этот класс всегда уходит гораздо дальше в области политики, чем в области морали, религии и т. п. Он способен теоретически и практически сокрушать монархии, оставляя неприкосновенным и считая абсолютным данный мещанский быт. Умеренность же в данных областях взглядов Канта, как представителя немецкой буржуазии, объясняется еще специфическими условиями, в которых находилась Германия в ту эпоху. На это очень правильно указал Плеханов в вышеприведенной нами цитате (из „Людв. Фейербаха") и Л. Аксельрод в своих „Филос. очерках" [1]).

У Канта, например, не столь резкий разрыв с религией проявлялся и в том, что он принимал моральные заповеди из евангелия и мотивировал их, главным образом, в „Критике практич. разума" [2]).

Уже из той главы, где нами была изложена теория морали Канта, мы видели, что главная характерная черта последней заключается в том, что Кант считает принципы своей морали абсолютными, вечными и обязательными для всех разумных существ. И в этом пункте Кант не расходится с основным типом мышления всей буржуазии той эпохи. Ибо мы ведь знаем, что даже французские мыслители эпохи просвещения, как бы крайни не были их выводы и в области политики, и в философии, и в морали, ни были в общем диалектиками, а метафизиками.

Нужны были десятки лет социально политического развития для того, чтобы буржуазная идеология в лице Гегелевской философии в Германии, ряда историков времени реставрации во Франции и на основе успехов естествознания вознеслась до диалектического и эволюционного понимания развития природы и исторического процесса.

Но, с другой стороны (т.-е. кроме „метафизического способа мыш-

[1]) „Само собой разумеется, что половинчатость и нерешительность мысли этих людей (предст. просветительного движения в Германии. *И. В.*), их неспособность довести великое дело критики до естественного логического конца явилось не следствием недостатка в гениальности, а обусловливалось той ближайшей исторической обстановкой, в какой они черпали содержание и вдохновение для своей умственной реформаторской деятельности (Л. Аксельрод. Философские очерки. Госиздат, 1923 г., стр. 65).

[2]) Приводим тут для наглядности хотя бы некоторые места оттуда; так на странице 100 мы читаем: „Хотя мы законодательные члены возможного через свободу, представляемого нами путем практического разума и побуждающего нас к уважению царства нравственности, но, вместе с тем, мы здесь только подданные, а не верховный глава его, и поэтому непризнание нашей низшей ступени как творений и противодействия нашего самомнения уважению к нашему закону есть уже отступничество от него по духу, хотя бы буква закона была соблюдена. С этим вполне совпадает возможность такой заповеди, какова: люби бога больше всего, а ближнего твоего, как самого себя, ибо здесь ставится, как заповедь, уважение к закону, который заповедует любовь, а не предоставляет произвольному выбору каждого делать это своим принципом"... „В этом смысле любить бога, значит, охотно исполнять его заповеди, а любить ближнего, значит, охотно исполнять по отношению к нему все свои обязанности" („Критика практического разума", стр. 100). И далее: „Этот закон всех законов, как всякое моральное предписание евангелия, представляет нравственное настроение во всем его совершенстве, так как он, как идеал святости, недостижим ни для одного существа, но это первообраз, приблизиться к которому мы должны стремиться, чтобы достигнуть его в непрерывном, но бесконечном прогрессе" (Там же, стр. 101).

ления"), абсолютная кантовская мораль отражает застойность общественных отношений Германии его времени. Это роднит его мораль с консервативно-аристократической моралью Сократа и Платона [1]), по отношению к которым релятивистские взгляды софистов („человек есть мера всех вещей") и эгоистические взгляды эпикурейцев означали определенный прогресс.

Кант подметил существование моральных норм, регулирующих поступки людей часто вопреки их субъективным склонностям и узколичным интересам, но не сумел объяснить их происхождение и социальное значение. В действительности же этот формальный нравственный закон, „стоящий у него вне времени и пространства", диктует поведение членам общества, находящегося и во времени и в пространстве. В сущности, абстрактность и всеобщность морального закона есть на самом деле гегемония интересов общих над частными. Все требования свои закон диктует не обществу, а отдельной личности—притом в виде императива: „Ты должен" [2]). И характерно, что все конкретные примеры, которыми оперирует Кант для доказательства своих обще-моральных принципов, удивительно совпадают с тем, что нужно было для современного Канту буржуазного общества. Например, самоубийства (прив. цитата со стр. 46 „Обосн. метаф. прав."), которые могли участиться среди разорившегося, пресытившегося и сходящего со сцены класса дворян, должны были, естественно, порицаться молодым классом, т.-е. восходящей буржуазией, смотревшей на мир сквозь розовые очки. Далее приводит Кант в виде другого примера максиму, которая не может лечь в основу закона нравственного—брать деньги в долг, когда нет уверенности в возможности вернуть. Конечно, торговой буржуазии, отдававшей деньги в рост феодалам, было бы весьма невыгодно, если бы принцип „бери в долг без отдачи" определял моральный закон для должников. И таких примеров можно было бы привести великое множество.

Характерно при этом то, что решительно во всех случаях, где Кант излагает сущность морального закона и поступков, диктуемых этим законом, находящимися вне всякого влияния материальных интересов, Кант приводит такие примеры, которые в общем и целом характеризуют расхождение между личными, преходящими интересами отдельного индивидуума и интересами общества. Он делит все поступки на такие, которые совершаются из сознания долга, и на такие, которые совершаются из субъективной склонности. Таким образом Кант подметил эту зависимость между личностью и классом, но он не смог ее исторически объяснить. Кант в мистической форме выразил то, что характерно для отдельной личности в ее отношении к классу, когда он говорит, что поступок тот имеет нравственную ценность, который совершен не только в согласии с понятием долга, но из сознания долга, на самом же деле мы имеем здесь дело не с каким-то моральным законом потустороннего происхождения, а с весьма целесообразным приспособлением социальной борьбы: личность делает то, что нужно классу, и этим подчиняет свои индивидуальные интересы общественным. А отсюда: „поступай так, чтобы

[1]) Где тоже довлеет над всем формальный нравственный закон.

[2]) Меринг очень правильно указал на то, что в этом отношении „этика Канта одной ногой стоит еще на почве христианства" („История Германии с конца средних веков", Госиздат, перев. Степанова, стр. 78). Надо не забывать, что Кант сам был воспитан в благочестивом духе. Он окончил колледж Фридриха.

А Каутский говорит, что вышеуказанная часть этики „является философской формулировкой идеи о свободе, равенстве и братстве, уже давно развитой Руссо". Впрочем, мы с ней сталкиваемся уже в древнем христианстве. Канту и здесь принадлежит лишь особая форма обоснования этого положения (Там же, стр. 35).

человечество, как в своем собственном лице, так и в лице каждого, всегда служило для тебя и целью, а не только средством".

В этот период во Франции шла борьба за свободу, равенство и братство в общественной жизни, т.-е. в сущности за господство буржуазии в социально-политической жизни—за раскрепощение от опеки и авторитета церкви и абсолютизма. Можно ли проводить какую-либо параллель между этой формулой буржуазного освобождения и принципами кантовской морали? Несомненно, да. Автономия воли свободной личности (цитата, приведена выше из 104 стр. „Кр. практ. разума"), провозглашенная Кантом (вернее открытая им в человеке вообще, ибо исторический человек Канту не знаком)—это то же самое требование, лишь произносимое на языке морали [1]). Это простая потребность германского купца, ремесленника, владельца мануфактуры оградить себя от натиска сеньора и освободить крестьян из крепостной зависимости, которые были необходимы для промышленности, как „свободные рабочие", и отстранить от вмешательства в гражданские дела церковь, правда, уже отчасти побитую во время реформации.

Поскольку Кант является представителем прогрессивной буржуазии и прежде всего мелкой буржуазии своего времени, он должен был отдать соответствующую дань буржуазному индивидуализму. В то время, как это право индивидуума, т.-е. право индивидуального хозяина на свободу самодеятельности и независимость от опеки государства, во Франции было провозглашено в декларации прав и включено в конституции конвента 1793 года, у Канта все это фигурирует в отвлеченной моральной форме.

С этой точки зрения интересно будет привести одну цитату из Зиммеля, мнение которого неудачно оспаривает Arno Friedrichs [2]). Зиммель пытается отыскать социальные корни некоторых моментов философии Канта, что с методической точки является вполне правильным, хотя Зиммель при этом совсем упустил из виду влияние товарных отношений того времени на общий дух кантовской философии. „Трансцендентальная апперцепция, как и все мышление Канта, имеет свой корень в понятии индивидуальности, господствующей в XVIII столетии... XVIII столетие было эпохой, когда индивидуальные силы находились в невыносимых противоречиях с социальными и историческими условиями. Эти противоречия состояли: в привилегиях высших слоев, в излишнем политическом опекунстве над общественной жизнью со стороны государства, в ограничительных сторонах государственного устройства, далее в барщине крестьян и все еще сильных остатках цехового устройства и, наконец, в невыносимом гнете церкви.

Реакция по отношению к этому общественному устройству находит свое выражение в идеале свободы и равенства. В каждом индивидууме заложена основа, которая составляет сущность человека, и эта же сущность свойственна всем людям. С этого времени объектом интереса, изучения становится не отдельный человек, несравнимый в своем своеобразии с другими людьми, а всеобщий человек, человек вообще.

---

1) Меринг, говоря, что Кантовская этика одной ногой стоит на почве христианства, добавляет: „По другой ногой этика Канта стоит во всяком случае на почве французской революции, которую он признавал еще и после эпохи террора... и как раз то положение, ради которого безусловные почитатели Канта признают его „истинным и действительным отцом германского социализма", целиком входит в круг идей французской революции.

2) См. Arno Friedrichs, Klassische Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. S. 155.

Кант вполне принадлежит этому историческому течению, мышление которого ориентируется, с одной стороны, на естественные науки, а, с другой, на естественное право. Из этого понятия индивидуума (как о всеобщем человеке, который в то же время есть и отдельный индивидуум) образуется кантовское *Я*, которое выступает как единство мышления и объекта.

Абсолютной суверенностью обладает это *Я*. Это laisser faire, обнаруживающееся в экономическом идеале индивидуума того времени, стало эмблемой всего существеннейшего и глубочайшего. Это *Я* не имеет ничего над собой и ничего рядом с собой. Отсутствие качества делает это *Я* чистым.

Атомистический субъект естественного права, естественной религии был Кантом подхвачен и перенесен в трансцендентальную апперцепцию в виде действующей формы, благодаря которой и проявляются все определенности. Как в представлении того времени исторический, изменяющийся и качественно-индивидуализированный человек относится к человеку вообще, к чистому, всегда себе равному человеческому существу в нас об этом можно судить по абстрактному типу отношения между психологическим, субъективным, случайным человеком (которого Кант называет эмпирическим „Я") и нашим чистым „Я"; как в практически социальном представлении, так и тут в гносеологии в основу мира кладется „Я"—но Я, имеющее всеобщую ценность, т.-е. „разумная личность".

Кантовская мораль, как мы видели, объявляет всех людей равными: „смотри на своего ближнего, не как на средство, а как на самоцель".[1]) Если мы, однако, обратимся к той части „Метафизики нравов", где философ излагает свою точку зрения на право и специально останавливается на вопросах гражданского равенства, то мы придем к убеждению, что это равенство в кантовском понимании далеко от социального равенства. Здесь речь идет лишь об уравнении в правах буржуазии и феодалов (т.-е. прекращение бесчинств князей и привилегий феодалов), и затем равенство на рынке перед законами меновой стоимости и принципами купли и продажи.

В гражданское равенство Кант вносит ограничения, которые диктовались интересами индивидуального крепкого хозяина, который не склонен был признавать те же права за своим подмастерьем или поденщиком. Именно с этой точки зрения интересно связать „возвышенные" моральные законы Канта с более близкими к реальной земной жизни пунктами из его учения о праве.

„Только право подачи голоса представляет отличительный признак гражданства; но это право предполагает самостоятельность того, кто не только является частью целого; но также составным членом, т.-е. он может совершенно свободно по собственному желанию вступать в сообщество с другими, ему равными. Но этот признак требует различия между активными и пассивными гражданами. Хотя понятие о пассивном гражданстве находится в противоречии с общим понятием гражданства" [2]).

Но нижеприводимые примеры показывают, что это „противоречие" является мнимым; так Кант (там же) говорит: „ремесленный подма-

[1]) У самого Канта был слуга наемный. И Кант рассчитал его, когда тот стал стар и негоден. Правда, Куно Фишер, приводящий этот факт из жизни Канта, добавляет, что Кант очень был огорчен этой необходимостью расстаться со слугой и написал даже себе в записную книжку, что надо забыть об этом неприятном инциденте. Но это сути дела не меняет.

[2]) Imm. Kant, Metaphysik der Sitten, § 46, S. 136, Dritte Auflage, Herausgegeb. von Karl Vorländer.

стерье, торговый служащий, служитель (и не состоящий на государственной службе), несовершеннолетний, все женщины и вообще каждый, кто принужден снискивать себе средства к существованию (питание и безопасность), лишь выполняя распоряжения других, но не государства, тот лишен гражданской личности и его существование есть как бы придаток". „Дровосек, которого я нанимаю на своем дворе, индийский кузнец, который в поисках работы ходит по дворам со своими молотом, наковальней и горном, в сравнении с европейским столяром или кузнецом, самостоятельно продающим продукты своего труда в качестве товаров; домашний учитель в сравнении со школьным учителем, чиншевой крестьянин, как и арендатор, и тому подобное—все они играют лишь вспомогательную роль, так как действуют по приказам других, нуждаются в защите последних и поэтому не обладают гражданской самостоятельностью" [1]).

Как мы видим, Кант не признавал даже равенства между полами, потому что Кант держался в этой области архифилистерских взглядов, отвечавшим вполне требованию быта мелко-буржуазной Германии того времени (где женщина должна была знать только те четыре области, которые начинаются на букву *K*: Kinder, Kleider, Kirche und Küche). „Женщине,—говорит Кант,—не следует пахнуть порохом, а мужчине — мускусом" („Наблюдения над чувством прекрасного"). Несмотря на то, что философ провозглашает великий принцип о том, что человек — самоцель, а отнюдь не средство, это, оказывается, относится лишь к одной половине человечества—мужчинам, а не женщинам. Женщина рождена, оказывается, для мужчины и в этом ее назначение. „Содержание великой женской науки служит человек и среди людей — мужчина" (там же). И для вящего доказательства философ добавляет: „женщине так же прилично заниматься математикой или греческим языком, как носить бороду" (там же). Таким образом мы видим, что одной из характернейших черт кантовской морали есть тоже индивидуализм. Это вполне гармонировало не только с индивидуализмом буржуазии, но и индивидуализмом быта мелких самостоятельных производителей, из среды которых Кант вышел и с воззрениями которых он не порывал.

Далее. Кант, как мы уже указывали, был против морали эгоизма социально-сильной и политически победившей (в Англии) или побеждающей (во Франции) буржуазии. Здесь он не столько представитель еще слабой захолустной, провинциальной немецкой буржуазии, сколько выразитель настроений мелкого собственника, который против прожигания жизни и за умеренность, бережливость, устойчивую форму брака и которого пугает эгоистическая свобода крупных капиталистических акул, которые глотают не только поместья разорившихся дворян, но и мелкую рыбешку, самостоятельных „маленьких" собственников. В этом отношении Кант далек от настроений Энциклопедии и салона Гельвеция и Гольбаха, а всеми ногами стоит еще на почве мелко-буржуазного быта отсталой Пруссии.

Точно также и основной моральный принцип кантовской „Этики": „Поступай так, чтобы максима твоей воли стала всеобщим законодательством" есть лозунг мелкого буржуа—сам живи и другим давай жить.

Антиномия морали Канта, а именно противоречие между чувственным и интеллигибельным миром, может быть, пожалуй, объяснена

---

[1]) Imm. Kant, Metaphisik der Sitten, § 46, S. 136 — 137, Dritte Auflage, Herausgegeb. von Karl Vorländer.

также противоречием между закономерностями нарождающегося буржуазного общества со всеми присущими ему категориями и произволом и авторитетом еще сильных феодальных отношений и церкви. Что касается кантовского категорического императива, то наиболее характерная черта его состоит в том, что ему чаще всего приходится оставаться в качестве благого пожелания, очень мало осуществимого в жизни. Сюда же относится та бездна, которая отделяет у него сущее от должного. Естественно напрашивается здесь мысль о том, что это противоречие между сущим и должным в области морали отражало противоречие между должным и сущим в экономике и политике того времени.

Невольно напрашивается здесь и другая мысль: не отражает ли бессилие категорического кантовского императива политическое бессилие представляемого им класса в борьбе за то, что французская буржуазия могла формулировать как реальное жизненное требование третьего сословия и осуществить во Франции.

Блестящую оценку этого свойства кантовской морали дал еще Энгельс с следующих строках:

„Признано на словах, с тех пор, как—и потому что—буржуазия, борясь против феодализма и расчищая поле для капиталистического производства, вынуждена была уничтожить все сословные, т. е. личные привилегии и ввести равенство сперва в области частного, а затем и в области государственного права. Но для стремления к счастью идеальные права являются крайне недостаточной пищей. Оно питается больше всего материальными средствами, а с этой стороны капиталистическое производство не без успеха заботится о том, чтобы огромное большинство равноправных лиц имело лишь самое необходимое для самой скудной жизни. Таким образом капитализм вряд ли оказывает больше уважения к равному праву большинства на счастье, чем оказывало рабство или крепостничество". („Людвиг Фейербах", стр. 57).

И далее:

„С моралью Фейербаха случилось то же, что и со всеми ее предшественницами. Она выкроена для всех времен, для всех народов, для всех состояний, и именно потому она не приложима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив Канта" (Там же, стр. 58).

Характерно, что тот же класс, но гораздо более окрепший и дальше продвинувшийся по пути к власти, высмеивал в лице Гегеля свое собственное политическое бессилие, в котором расписался Кант своей философией.

„Противоречие в нравственности Канта заключается в борьбе между долгом и склонностью, в стремлении и долженствовании без конца.

„Ты можешь потому, что ты должен,—это выражение, которое должно говорить много, вытекает из понятия долженствования.

„Однако и обратное также справедливо: ты не можешь именно потому, что ты должен" [1]).

Гегель обвинял Канта в дуализме за это продолжённое в бесконечность и нерешенное противоречие.

Энгельс по этому поводу говорит:

Гегель резче, чем кто бы то ни было, критиковал бессильный кантовский „категорический императив" (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему

---

[1]) Том III: Граница и долженствование, стр. 133—139.

действительному); он злее всякого другого осмеивал насажденную Шиллером филистерскую наклонность помечтать о неосуществимых идеалах (см., например, „Феноменологию") („Людвиг Фейербах", стр. 43).

V. Заключение.

Мы рассмотрели в общих чертах сущность кантовской теории морали и ее социальный фундамент. Мы видели, что кантовская философия морали была тусклым и бессильным отблеском Французской революции и ее идеологии па немецкой почве конца XVIII века. Она отразила большое напряжение и большую силу теоретической абстракции, прямо пропорциональные политическому бессилию буржуазии того времени. Этот детский костюм кантовской морали оказался узок и тесен уже для немецкой буржуазии времени Гегеля. Это, однако, не помешало тому, что жалкие эпигоны немецкой классической философии из среды мелко-буржуазной филистерской интеллигенции Германии 90-ых годов, примазавшейся к социализму, вытащили этот изъеденный молью старомодный костюм кантовской этики, чтобы примерять его к могучим плечам немецкого пролетариата.

Мы позволим себе привести длинную цитату из статьи А. Иоффе А. Деборина в (сборнике „Этика и марксизм", стр. 194—198), в которой на наш взгляд дана великолепная оценка как „социализма" кантовской этики, так и ее последователей:

„Это не случайность, что ревизионисты являются приверженцами кантианства. Учение Канта есть не что иное, как компромисс между различными направлениями в философии. Кант занимал во всех вопросах срединную позицию. Как только материалисты и скептики разрушили веру в личного бога, в бессмертие души и проч., Кант, правда, пошел навстречу этому направлению, но одновременно он хотел спасти и достоинство авторитетов, т. е. старый порядок. Подобно нашим ревизионистам, и Кант хотел быть третейским судьей, посредником между реакцией и революцией, т. е. он стал на сторону реформистского течения. Изменение (неправильной) государственной конституции, которое подчас становится необходимым, может быть проведено только самим сувереном в порядке реформы, а не народом — путем революции". Мы полагаем, что из всех интерпретаторов Канта он сам все же должен быть признан самым верным. Учение о праве составляет часть его учения о нравственности. В „Критике практического разума" мы остаемся на высотах чистой абстракции, где нет отличительных признаков, где все коровы одинаково черны, и там очень легко Канта причислить к „социалистам", „анархистам" и пр.; но как только мы его теории перевели на язык практики и спросили, как Кант сам понимал свою теорию и как он применял свой нравственный закон на практике, то кантовский „социализм" проявляется очень ясно и недвусмысленно. В соответствии с потребностями своего времени Кант является поборником народного представительства, так называемых гражданских свобод; из них „свобода пера" рассматривается как „палладиум народных прав". Кантовский нравственный закон: „поступай так, чтобы человечество как в твоем собственном лице, так и в лице другого человека никогда не служило для тебя одним лишь средством, а всегда целью"—выражает сущность либерализма. Кантовское учение—это философия либерализма".

Германская буржуазия и германское мелкое бюргерство очень мало воспользовались идеологией кантианства в период непосредственной борьбы за власть, потому что для этого времени и этих

целей они имели лучших учителей и идеологов (младогегельянство французских материалистов и т. д.).

Они также оставили его в забвении в период увлечения естественно-научным материализмом уже после своей частичной победы.

Наоборот, когда развитие мощного пролетарского движения отбросило назад буржуазию в области политической, начался поворот к Канту в философии и морали. Мелко-буржуазные попутчики пролетариата [1]) вроде Эд. Бернштейна, Конрада Шмидта, Форлендера и др. также потянули „назад к Канту“ [2]).

Эта неокантианская реакция должна быть правильно оценена, чтобы такие тени моральной мифологии никогда не проникали в идеологию пролетариата. В борьбе за свое освобождение пролетариату не нужно морали, наоборот, ему нужно преодоление всякой морали, ибо мораль пролетариата—это его боевые нормы, тесно сплачивающие его в борьбе за коммунизм.

П. Виноградская.

---

[1]) Не говоря уже о буржуазии самой, которая, мечась под ударами пролетарских выступлений, готова найти забвение не только в этике Канта, но и в пессимизме Шпенглера.

[2]) Вышли даже специальные труды вроде: „Маркс и Кант“. Плеханов (а до него еще Энгельс) сказал уже, что с помощью эклектического мышления можно соединять Маркса не только с Кантом, но и с средневековыми мистиками, но людям последовательным незаконное сожительство Маркса и Канта должно представляться чем-то чудовищным.

По поводу статьи П. Хейля.

Статья П. Хейля интересна в том отношении, что автор подходит к теории относительности критически. К сожалению, на русский язык переводятся статьи исключительно хвалебные, из которых вытекает, что основы теории относительности ни в ком сколько-нибудь серьезных сомнений не вызывают. Таким образом русская популярная литература в далекой степени не передает того значительного перелома в отношении к теории Эйнштейна, который сразу бросается в глаза всякому следящему за научной литературой последних двух-трех лет. К числу достоинств печатаемой в настоящей книжке нашего журнала статьи относится очень наглядное разъяснение, на примере с плавающим на поверхности ртути или воды телом, взгляда Эйнштейна на тяготение, как на последствие „искривления" пространства. В самом деле, если мы представим себе какое-нибудь большое металлическое тело, плавающее на горизонтальной поверхности ртути, то это тело образует на поверхности ртути род впадины или чашки. Если мы себе представим маленькое тело в виде шарика, которое, получив толчек, двигалось „по инерции" по поверхности ртути по „евклидовой прямой" и которое попало в „чашку", образованную плавающим телом, то движение по прямой превратится в движение по кривой на вогнутой поверхности чашки, пока шарик не выскочит из чашки и не побежит опять по евклидовой прямой на гладкой поверхности ртути. На этом примере действительно легко объяснить ход мысли Эйнштейна. Физик, стоящий на почве классической физики, скажет: маленький шарик двигался по прямой, так как на него не действовали никакие силые. Но как только он попал в „сферу притяжения" тела большой массы, на него подействовали силы притяжения, которые искривили его путь. Движение будет под действием силы притяжения—это уже не движение по инерции.

Иначе говорит релятивист: никаких сил не существует, движение всегда происходит по инерции, но только вдали от больших масс имеет место евклидова геометрия. Как только мы приближаемся к большим массам, само пространство искривляется в нем, роль прямой линии будет играть некоторая кривая, а потому и движение по инерции будет также криволинейным. Таким образом

Эйнштейн отрицает существование сил и допускает одно движение по инерции, но считает, что пространство в различных местах мира различным образом искривлено. Математически это все очень хорошо, но с физической стороны это сплошная гипотеза и притом гипотеза пока, по крайней мере, не доказуемая. Хейль отзывается с большим восторгом о теории тяготения Эйнштейна. Он, быть может, многое в этом отношении преувеличивает. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что это лучшая часть теории Эйнштейна. Весьма наивны рассуждения Хейля об эфире. Он иронически отзывается о физиках, требующих существования эфира, раз доказано существование его волн. Он говорит физикам: нужно подлежащее к сказуемому „волноваться". Почему же,—говорит он далее,—им не удовлетвориться подлежащим „пространство" к сказуемому „изгибаться".

Совершенно основательно критикует Хейль теорию вращательных движений в принципе относительности. Он указывает, что здесь теория относительности поворачивает назад к Птоломею, и не только потому, что она ставит под сомнение открытие Коперника, но и потому, что она вводит усложнение не менее значительное, чем „эпициклы"[1]) Птоломея. Свою мысль он формулирует следующей шуткой: в области учения о вращательных движениях „Эйнштейн перептоломеил Птоломея"!

А. Тимирязев.

Здравый смысл теории относительности[2]).

В наше время нельзя произнести слово тяготение—без того, чтобы на ум не пришли имена Ньютона и Эйнштейна. Связь Ньютона с этим предметом привычна для всех; что же дал Эйнштейн, и почему его имя упоминается одновременно с именем Ньютона?

Напомним вкратце, почему по поводу тяготения вспоминают Ньютона.

Объяснение падения тел притягательной силой земного шара, без сомнения, не было у Ньютона оригинальным. Это представление было в ходу у Галилея; оно было известно и Аристотелю. И закон обратных квадратов вдохновил также не один ум до опубликования „Principia". Главной заслугой Ньютона в этом деле было установление и доказательство всеобщности тяготения по закону обратных

[1]) Птоломей предполагал, что планеты движутся по кругам вокруг земли, но тогда для объяснения т.-н. „попятных" движений планет приходилось допускать, что планета имеет сложное движение. Приходилось допускать, что по кругу вокруг земли движется центр маленького круга (эпицикл), по которому уже движется сама планета. Позднее число этих эпициклов было значительно увеличено.

[2]) Статья помещена в декабрьской книжке научного ежемесячника The Scientifi Monthly за 1923 год Нью-Йорке. Перевод Вл. Сомсиченко. *Прим. ред.*

квадратов, как вполне объясняющего, во-первых, движение луны вокруг земли, потом различных планет вокруг солнца и, наконец, по сделанной им законной экстраполяции для случая движения любого члена звездной вселенной.

Каждая гипотеза, как бы она ни была безупречна логически и хороша математически, по существу дела должна перед окончательным принятием подвергнуться испытанию на опыте. В применении к Ньютоновскому закону тяготения это испытание продолжалось многие годы и заключалось в продолжительном наблюдении движения планет. Из десятилетия в десятилетие наблюдалось, как эти тела с изумительной точностью следуют по путям, предписанным им законом обратных квадратов. С течением времени стали более совершенными не только употребляемые инструменты, но и промежутки времени, за которые сравниваются наблюдения, стали измеряться точнее. Однако Ньютон так точно определил эти пути, что протекло столетие прежде, чем стали заметны серьезные расхождения между наблюдениями и теорией. Наконец, в 1845 году Леверрье обратил внимание на то обстоятельство, что планета Меркурий обнаруживает незначительную неправильность в своем движении, противоречащую закону обратных квадратов, и слишком большую, чтобы быть объясненной ошибками наблюдения. Это расхождение было подтверждено новейшими астрономами. Серьезность, с которой в общем смотрели на это отступление доказывается тем, что после того, как все другие попытки выяснить эту аномалию оказались несостоятельными, было сделано радикальное предложение изменить слегка Ньютоновский закон, заменив показатель 2 на 200,00001612. Впервые это было предложено, открывшим спутников Марса, Азафом Холлом; и в продолжение некоторого времени Ньюком, не менее авторитетный в этом вопросе, сочувственно относился к этому, оставив такой взгляд только после того, как Броун показал, что движение луны не дает даже и столь слабого отклонения от целого числа 2. Таким образом аномальное поведение Меркурия осталось невыясненным. Простота Ньютоновского закона обратных квадратов и свойственная ему логичность и правдоподобие геометрических соображений перевешивали в его пользу тем более, что повторяющиеся неудачи объяснить неправильности в движении Меркурия присутствием неизвестных притягивающих эту планету скоплений материи вызывали в некоторых кругах склонность усомниться в реальности указанного расхождения.

Таково было положение дел, когда на сцену явился Эйнштейн с его знаменитым новым законом тяготения. Этот закон имеет немногое, что могло бы сообщить ему действительную привлекательность. В противоположность к той простоте, которая характеризует закон Ньютона, закон Эйнштейна является сложным до крайности. В то время, как закон Ньютона имеет форму простого дифференциального уравнения, закон Эйнштейна выражается целой компанией из десяти совместных дифференциальных уравнений, каждое из которых имеет

столь ужасный и чудовищный вид, что пришлось прибегнуть к совсем необычному и необыкновенно сокращенному методу обозначения, чтобы изобразить эту теорию в печати. Гораздо менее внушительные теории пали, благодаря собственной тяжеловесности, но теория Эйнштейна, несмотря на ее отталкивающую внешность, постепенно завоевала себе признание, только благодаря тому, что она смогла дать результаты.

Она не только также хорошо объясняет все объяснимое законом Ньютона, но и непринужденно выясняет большое затруднение, вызываемое неправильностью движений Меркурия [1]). Более того, она берется за занятие, всегда сомнительное,—за предсказания; она указывает существование явления, до сих пор еще не наблюдаемого, отклонение светового луча под действием интенсивных гравитационных сил, существующих вблизи солнца. Это предсказание недавно получило окончательный штамп экспериментальной поверки в результатах экспедиции Ликской обсерватории на солнечное затмение 1922 года. Этот результат имеет тем больший вес, что директор Кемпбэлл известен, как человек, не имеющий особенной склонности к Эйнштейну [2]).

Такие успехи части новой теории требуют для нее со стороны всех, кто занимается и называет себя физиком, серьезного внимания. Чтобы получить естественную перспективу для понимания этого предмета, для нас будет небесполезно вкратце обозреть историю теории тяготения.

Среди множества различных явлений, изучаемых физиками, тяготение, со времен Ньютона, стоит особняком. В остальном скоро произошло объединение всех физических явлений. Теплота потеряла индивидуальное бытие, как некая невесомая сущность (теплород) и стала одной из многих форм, непрерывно меняющейся, энергии. Были найдены соотношения между магнетизмом и электричеством и между электричеством и светом. Также и сама материя рассматривается теперь, как имеющая электрическое строение. Однако тяготение осталось в стороне, стойко опровергая какое-либо родство с другими физическими явлениями. Правда, здесь есть поверхностное сходство с притяжением наэлектризованных и намагниченных тел; но это сходство кончается законом обратных квадратов. Магнитное притяжение может быть уничтожено соответствующими экранами и в сильной степени зависит от изменений температуры [3]); и в электростатике мы

---

[1]) В настоящее время, оказалось, что подсчет наблюдений движений Меркурия, сделанный Леверрье и другими астрономами, не совсем точен и потому не получается такого хорошего согласия между теорией Эйнштейна и действительностью, как это думали раньше. *Прим. ред.*

[2]) На съезде в Бонне в сентябре 1923 года результаты этой экспедиции были подвергнуты сомнению, при чем было признано всеми, но исключая самого Эйнштейна, присутствовавшего на съезде, что об окончательной экспериментальной проверке говорить еще рано. *Прим. ред.*

[3]) Помещая магнитную стрелку в железный цилиндр, мы можем сделать ее почти нечувствительной к действию магнитов, расположенных вне цилиндра, чем и пользуются во многих физических приборах.

имеем дело с диэлектрической постоянной, эффектом промежуточной среды [1]). Ничего подобного не существует для тяготения. Много экспериментальных работ было сделано в надежде открыть что-нибудь влияющее на тяготение, но все результаты были отрицательными. Опыты с маятником в руках Ньютона и затем Бесселя показали, что тяготение не зависит от рода вещества. В опытах Бесселя точность достигала $\frac{1}{6.000}$. Интересно отметить, что между веществами, исследованными им, было метеорное железо и метеориты. Позднейшие опыты Этвеша с крутильным маятником довели точность до одной двухсотмиллионной. Недавние опыты Стандарт-Бюро показали с точностью до одной биллионной (10^{-9}), что тяготение не изменяется в зависимости от ориентации кристалла в гравитационном поле земли. Известно таким образом, что тяготение не является функцией температуры, и, вопреки некоторым недавним попыткам доказать обратное, кажется, можно считать хорошо установленным факт, что масса всей земли не производит ощутительного эффекта гравитационного заграждения. Действительно, тяготение, кажется, является функцией только действующих масс и пространственных координат системы.

Нельзя, однако, сказать, чтобы по этому поводу не делалось никаких гипотез. Ньютон официально в своем образцовом сочинении „не делает гипотез“, но его письма показывают, что частным образом он спекулировал охотно, как и надлежит каждому ученому. По поводу тяготения были предложены некоторые спекулятивные теории. Годичный Смитсоновский отчет за 1876 год содержит собрание всех гипотез подобного рода, числом двадцать пять или тридцать, которые нашли дорогу в печать со времен Ньютона. С того времени можно прибавить еще с полдюжины гипотез, подобных предложенной Осборном Рейнольдсом. Не стоит, пожалуй, даже и указывать, что все эти гипотезы имеют в настоящее время только исторический интерес.

Как общий результат всех этих теоретизирований и опытов, мы можем сказать, что в начале двадцатого столетия наши знания о тяготении были почти такими же, какими их оставил Ньютон. Здесь мы имеем изобилие отрицательных результатов и никаких положительных. Следовательно, теория Эйнштейна, дающая нам два упомянутых раньше важных результата, является первым несомненным успехом в теории тяготения за два столетия.

Теорию тяготения Эйнштейна можно сравнить с замками средневековой Европы. Их каменные стены были непоколебимы против средств нападения, известных в те дни, но эти твердыни всегда имели уязвимое место—ворота, через которые они сообщались с внешним

[1]) Притяжение двух наэлектризованных тел зависит не только от их заряда, но и от вещества, находящегося между ними, напр., в воде оно будет в 81,7 раз слабее, чем в воздухе. Число, показывающее, во сколько раз сила ослабляется в данном веществе, называется его диэлектрической постоянной. *Прим. перев.*

миром. Через эти ворота их обыкновенно атаковывали и часто завоевывали.

Так дело обстоит и с рассматриваемой теорией. Она является глубокой, логически последовательной и, я думаю, математически неуязвимой; однако она связана с миром физики основным постулатом, который, при окончательном анализе, должен быть поверен опытом. Если этот постулат ошибочен, то и вся теория ошибочна вместе с ним. Этот постулат называется принципом эквивалентности.

Я сказал, что тяготение стоит между физическими явлениями в особом разряде. Это не вполне верно, потому что Эйнштейн был первым, указавшим на то, что есть другое явление того же порядка, именно инерция, особенно в форме, известной под именем центробежной силы. Центробежная сила независима от рода вещества, она не является функцией температуры и не может быть уничтожена посредством какого бы то ни было заграждения. Действительно, центробежная сила, подобно тяготению, оказывается, будет функцией только действующих масс и пространственных и временных координат системы.

Исходя из этого параллелизма между явлениями, Эйнштейн формулировал принцип эквивалентности тяготения и инерции, тождество их природы и, как следствие, невозможность отличия между ними. За всю историю учения о тяготении умозрения были совершенно отличны от этого; эта идея является совершенно оригинальной. Все предшествующие теории пытались каким-нибудь образом учесть существование сил, сближающих притягивающиеся тела, обычно предполагая их извне сжимаемыми вместе каким-нибудь перехваченным потоком более или менее неопределенного вида. Эйнштейн принял абсолютно новые основания. Вместо того, чтобы пытаться заменить силу притяжения производящим ее механизмом, он отвергает существование подобной силы. По его теории между землей и солнцем больше не существует силы притяжения, земля удерживается на своей орбите центробежной силой отталкивания, мешающей ей упасть на солнце. Обе эти, так называемые, „силы“ являются математическими фикциями; обе есть различные виды единой сущности инерции.

Эйнштейн не делает этого нового допущения без известных экспериментальных оснований. Равенство или, по крайней мере, пропорциональность между инертной и тяготеющей весомой массой тел является в природе, как мы видели, одним из наиболее точно определенных фактов. Невозможность открыть какие-нибудь гравитационные отличия [1]) в кристалле, который во всех других отношениях кроме инерции является анизотропным, определенно ставит тяготение и инерцию в один разряд и все другие кристаллические свойства в

[1]) Свойства кристалла: теплопроводность, способность расширяться от тепла и упругость не одинаковы в различных направлениях. Это явление носит название анизотропии. Как подчеркивает автор кристалл к инерции относится иначе: здесь его свойства одинаковы во всех направлениях. *Прим. пер.*

другой. При законе Ньютона эта точная пропорциональность или равенство инертной и тяготеющей массы казалось только любопытным, но случайным совпадением. В теории Эйнштейна она является краеугольным камнем.

На формально-математическом языке принцип эквивалентности выражается иногда следующим образом: „Всякое естественное гравитационное силовое поле эквивалентно искусственному полю сил инерции, происходящему от соответствующего изменения координат“.

Это сказано довольно-таки хитро. Но ввиду важности дела стоит попытаться составить себе ясное понятие о том, что означают эти слова.

По интервью, опубликованному несколько лет тому назад в ежедневной печати, случайное обстоятельство направило внимание Эйнштейна в эту сторону. Эта история весьма любопытным образом подобна происшествию с Ньютоном и падающим яблоком. Оказывается, что Эйнштейн видел человека, упавшего с эстрады вниз на кучу хвороста и избежавшего серьезных ушибов. Эйнштейн, который производит впечатление человека наивного, интервьюировал жертву случая и спросил его, чувствовал ли он, когда свободно падал через воздух, тянувшее его вниз притяжение земли. Дисциплинированный наблюдатель мог весьма усомниться в том, что состояние духа при подобных обстоятельствах является годным для производства научных наблюдений; но этот человек принял вопрос Эйнштейна всерьез и уверял его, что не помнит ничего подобного. Этот ответ был таким, как ожидал Эйнштейн. „Ага,—сказал он,—координаты этого человека преобразовались от покоящейся к системе движущейся, как раз с такой степенью ускорения, чтобы нейтрализовать гравитационное притяжение земли“.

Другой иллюстрацией, могущей помочь нам уяснить эту связь, является подъемная машина—лифт. Вообразим лифт с плотными стенами, в котором находится наблюдатель. Сначала предположим, что лифт покоится. Если пуля пробивает извне стену лифта, путь пули будет казаться наблюдателю внутри прямой линией от стены до стены, однако не горизонтальной обязательно. То же самое будет верным и при равномерном движении лифта. Но, если лифт будет находиться в ускоренном движении, скажем вверх, путь пули не будет больше казаться прямой, но уже кривой линией выпуклой кверху. Наблюдатель может объяснить этот криволинейный путь, сказав, что пуля движется по равнодействующей двух сил: своего начального импульса, сообщающего ей прямолинейное движение от стены до стены, слагающегося с силой притяжения неизвестного происхождения, влекущей пулю вниз к полу подъемника.

Еще другая иллюстрация, использованная Эйнштейном—вращающийся диск. Вообразим большой горизонтальный диск, могущий нести на себе наблюдателя, вроде тех, которых можно видеть в увеселительных парках. Пусть диск покрыт большой куполообразной крышкой так, что наблюдатель внутри не может непосредственно отличать, вра-

щается ли диск или нет. Предположим, что диск сначала неподвижен. Наблюдатель, прогуливаясь от одной точки этого маленького мирка до другой, не обнаружит между этими точками различий. Но пусть диск будет вращаться, и, хотя наблюдатель не может прямо обнаружить вращения, он заметит некоторую разницу. В каждой точке этого пространства, исключая центра, он будет испытывать силу, отталкивающую его по радиусу наружу, и чем больше расстояние от центра, тем больше и сила отталкивания. Действительно, он будет жить в вывернутом некоторым образом наизнанку гравитационном поле. Однако эта „сила“ отталкивания по своей природе является чисто инертной. Кроме того эта сила, будучи пропорциональна квадрату скорости вращения, будет одинаковой—вращается ли диск в положительном или отрицательном направлении; но, если мы предположим, что диску сообщена мнимая скорость вращения $v\sqrt{-1}$, сила, испытываемая наблюдателем, будет теперь пропорциональна $(v\sqrt{-1})^2$ или $-v^2$; другими словами сила будет теперь притягивающей к центру, еще более похожей на тяготение, однако строго инерциальной по своему происхождению.

Как ни недостаточны эти иллюстрации для того, чтобы представить действительное гравитационное поле какого-нибудь тела, они тем не менее помогают нам понять, что думал Эйнштейн, говоря, что гравитационное поле эквивалентно полю инерции, получающемуся надлежащим изменением координат; однако ни один из этих примеров не доставляет нам изменения координат, вполне равноценного представлению о действительном трехмерном гравитационном поле частицы. Задача нахождения такой координатной системы, если она действительно должна существовать, может очень смутить даже лучшего математика: однако с высокой верой в свою интуицию Эйнштейн сам принялся за эту задачу.

И тогда произошло чудесное событие, потому что по ничтожным намекам и руководясь главным образом тем, что мы можем назвать интуицией гения, он добился успеха. Он нашел некоторое преобразование пространственных и временных координат, которое представляет действительные физические явления, в гравитационном поле тел даже более точно, чем закон Ньютона, которое согласуется точно и с особенностями в движении планеты Меркурий и с путем светового луча, близко подошедшего к солнцу; преобразование, которое вполне оправдывает смелое утверждение принципа эквивалентности, что естественное гравитационное поле может быть вполне заменено искусственным полем инерции, созданным заменой координат.

Какова природа этой новой системы координат? Такова ли она, как у падающего человека, подымающегося лифта или вертящегося диска? Нет, ни одна из этих, и не имеет даже отдаленного сходства ни с одной из них. Это понятие до крайности трансцендентальное, так как оно предполагает четырехмерное неевклидово по своему характеру пространство, искривленное или слегка покоробленное в пятом

измерении! Опять сильно сказано. Спустимся в мир двух измерений для того, чтобы сделать наши слова наглядными. Рассмотрим пространство двух измерений, искривленное в третьем измерении.

Вообразим бесконечных размеров горизонтальную поверхность спокойной воды, эта поверхность будет двухмерной, имея длину и ширину, но не толщину. Эта поверхность будет идеальной плоскостью, геометрия начерченных на ней фигур будет Евклидова, то-есть сумма углов треугольника будет точно равна 180° и через данную точку может быть проведена только одна линия, параллельная данной прямой. Но положим, что поверхность вместо того, чтобы быть плоской, является сферической, подобно поверхности океана, рассматриваемой на большом протяжении; геометрия фигур, начертанных на такой поверхности, будет значительно отличаться от геометрии фигур на плоской поверхности. Конечно, на сферической поверхности мы не можем провести прямую линию, в обычном смысле этого слова, но мы можем провести линию, удовлетворяющую определению Евклида: кратчайшее расстояние между двумя точками, и, как знает каждый мореплаватель, это будет дуга большого круга. Есть название, употребляемое вообще для всякой кратчайшей линии, начертанной на изогнутой поверхности любого рода: она называется геодезической линией. Ее истинная форма, конечно, зависит от того, каким образом изогнута поверхность, и от направления, в котором она идет. Например, на цилиндре геодезическими могут быть прямые линии, дуга круга или промежуточная форма, смотря по тому, направлена ли она параллельно, перпендикулярно или косо к оси цилиндра.

На нашей сферической поверхности три угла треугольника (построенного из геодезических линий) превышают 180° на количество, пропорциональное площади треугольника. Это называется сферическим избытком. На такой поверхности две дуги больших кругов всегда будут пересекаться при достаточном продолжении, то-есть через данную точку нельзя провести геодезическую (или „прямую"), параллельную (то-есть не встречающуюся) к данной геодезической. Поверхность, обладающая такими геометрическими свойствами, называется поверхностью положительной кривизны.

Плавающая на такой водной поверхности частица, если она приходит в движение и свободна от действия всех сил трения притяжения или еще каких-либо, будет описывать кратчайший „прямейший" путь, который можно найти по первому закону движения Ньютона с добавочным условием об ограничении движения сферической поверхностью; то-есть на изогнутой поверхности естественный путь тела, движущегося не под действием силы, будет геодезической линией.

Могут быть построены поверхности отрицательной кривизны, на которых является верной геометрия, противоположная геометрии поверхностей положительной кривизны; на такой поверхности отрицательной кривизны сумма трех углов треугольника меньше, чем 180°,

а через данную точку можно провести более, чем одну геодезическую линию, параллельную, т. е. не пересекающуюся с данной геодезической линией. Примером такой поверхности будет ножка бокала, седло или горное ущелье. Геодезические линии на такой поверхности с евклидовой точки зрения будут казаться курьезно извивающимися.

Подводя итог, мы можем сказать, что пространство является евклидовым, если геометрия фигур, находящихся в нем, подчиняется традиционным постулатам евклидовой геометрии и в частности предполагая, что через данную точку может быть проведена только одна линия, параллельная данной прямой. Если фигуры, перенесенные в это пространство, не подчиняются этому постулату, то пространство называется неевклидовым.

Вернемся теперь к нашей плоской водной поверхности и сделаем ее неевклидовой, искривляя совсем другим образом. При большой осторожности возможно положить на поверхность воды частицу тяжелого вещества, например, свинца или золота так, что она будет плавать [1]). Тогда частица лежит, поддерживаемая неразорвавшейся водной поверхностью, изогнутой давлением в виде лунки. Здесь мы имеем поверхность в нормальном состоянии двух измерений, изогнутую или деформированную слегка в направлении третьего измерения вблизи частицы материи. Если мы рассмотрим геометрию фигур, начертанных на искривленном участке водной поверхности, то мы найдем ее неевклидовой и имеющей отрицательную кривизну. Геодезические линии этой части поверхности будут кривыми линиями некоторого вида; но, если продолжать эту геодезическую линию в каком-нибудь направлении далеко от впадины, она скоро будет неотличима от обыкновенной прямой линии и геометрия на этой отдаленной части поверхности будет евклидовой.

Вообразим теперь сравнительно тяжелую плавающую частицу, образующую довольно глубокую и обширную впадину. На большом расстоянии в евклидовой области поверхности вообразим небольшую и более легкую частичку, которая едва образует впадину и двигающуюся свободно по поверхности в направлении, которое подведет ее на короткое расстояние к тяжелой частице, внутрь большей впадины. Путь движущейся частицы, сперва являющейся прямой линией, будет после того, как она войдет во впадину, постепенно принимать кривизну или форму геодезической линии, свойственную пространству, в котором она находится. Если не допускать существования между частицами силы притяжения, то движущаяся частица выйдет из углубления и ее путь снова сделается прямым; но, учитывая то небольшое искривление, которому подвергся ее путь при прохождении через углубление, конечная прямая часть его не будет в общем про-

[1]) Поверхностный слой жидкостей обладает свойствами упругой перепонки. Эта-то перепонка и будет поддерживать частицы металла, удельно более тяжелые, чем вода. *Прим. пер.*

должением начальной прямой части. Частица испытает известное отклонение.

Наблюдатель, следящий за движением частицы, можно сказать, через евклидовско-ньютоновские очки, которые не показывают ему кривизны водной поверхности, скажет: „Да, легкая частица, проходя мимо тяжелой, кажется, в некотором роде испытала силу притяжения и была отклонена от ее прямого пути“. Но замении его стекла другими, работы Эйнштейна, и он скажет: „Нет, я вижу, что здесь вовсе нет силы притяжения. Это была только инерция движущейся частицы, комбинированная с особой кривизной поверхности, через которую она прошла, вот что вызвало изменение в ее пути.

Так будет обстоять дело в двухмерной поверхности, изогнутой в третьем измерении. Уравнения Эйнштейна описывают аналогичное явление, встречающееся в пространстве четырех измерений, слегка изогнутом или образующем впадину около каждой материальной частицы в направлении пятого измерения. Луч света будет итти от звезды через миллионы миль пространства, далекого от материальных тел и которое, следовательно, будет „плоским“ или евклидовским. Путь светового луча через эту область является прямой линией. Но, если он случайно проходит вблизи солнца, огромная масса которого вызывает в пространстве значительное углубление или изгиб, делающий его в непосредственной близости неевклидовым, прямая линия закручивается в геодезическую линию, свойственную пространству данной кривизны; и когда она снова выпрямляется, она отклонится от своего первоначального направления.

Понятие о четвертом измерении было осмеяно физиками много времени тому назад, во дни Лобачевского, но оно снова возвратилось и теперь кажется укрепилось более прочно, чем раньше.

„Но к чему все это? — скажет кто-нибудь. — В вашем заглавии, которое заставило меня дочитать до сих пор, вы обещаете ограничиться здравым смыслом; а что же вы сейчас делаете?“

Теорию Эйнштейна называли многими дурными именами: „противоречащая здравому смыслу“—одно из самых мягких. Но мы можем в связи с этим напомнить, что есть некоторые теоремы, относящиеся к тяготению, или по крайней мере к центру тяжести, которые, несмотря на то, что считаются чем-то неоспоримым и ортодоксальным, если их понимать буквально, являются столь же абсурдными и нереальными и противоречащими здравому смыслу, как и некоторые положения Эйнштейна. При вычислении статического момента мы привыкли предполагать, что вся масса тела сосредоточена в его центре тяжести.

„Но,—скажете вы,—это только математическая фикция, упрощение. Тела ведут себя таким образом, как будто это было так, и каждый понимает это“.

Хорошо, но почему нужно быть немилостивым и не распространять такую же терпимость на Эйнштейна? Почему не сказать, что

тела ведут себя, как если бы пространство было искривлено, и тяготение было бы ничем иным, как инерцией? Но, если это предположение согласуется с фактами лучше, чем те, которые были предложены раньше? Смотрите на теорию Эйнштейна, если вы хотите, только как на математическую фикцию, позади которой не должна быть обязательно физическая реальность. Что реально? „Что есть истина?" Понтий Пилат был философ.

Это, я думаю, и является здравым смыслом теории относительности.

Я думаю, мы не только можем, но и должны рассматривать эту теорию именно таким образом. Пока мы рассмотрели эту теорию с наименее уязвимой стороны, мы показали наилучшие из ее достижений. Но у нас есть еще кое-что, о чем мы должны сказать.

Теория, приспособленная для объяснения явлений природы, очень похожа на эмпирическое уравнение естественной кривой. Не трудно дать уравнение для небольшой части этой кривой; иногда различные уравнения являются одинаково удовлетворительными; но, если нам нужно уравнение, обнимающее более широкую область, то получить его совпадающим со всеми точками кривой не всегда легко. То же происходит и с „кривой" природы. Мы желаем найти уравнение, которое по крайней мере в главном согласовалось бы с явлениями тяготения. Ньютоновское уравнение выполняет это требование почти идеально; но здесь в кривой есть небольшой излом, вызываемый планетой Меркурий, для которого уравнение Ньютона является слишком сглаженным, и когда мы идем по кривой дальше, в область, недавно еще не известную, мы находим, что Ньютоновское уравнение начинает отклоняться еще сильнее. Везде во всем этом пространстве уравнение Эйнштейна в совершенстве подражает кривой природы, согласуясь с небольшим изломом, происходящим от Меркурия, и точно смыкаясь с ней в недавно открытой области соотношений между светом и тяготением, где Ньютоново уравнение совершенно отрывается от действительности [1]).

Но кривая природы уходит в бесконечность; насколько далеко следует за ней уравнение Эйнштейна?

Может быть, ему и нет надобности итти много дальше.

Я говорил уже, что теория Эйнштейна берется за дело всегда сомнительное—предсказания; и в одном случае (гравитационное отклонение света) оно очевидно исполнилось. Но теория содержит и другое предсказание. Она указывает, что известные линии в солнечном спектре должны слегка сместиться. Величина этого смещения оказывается очень небольшой, и трудно с уверенностью выделить его при наличности смещения под влиянием давления, эффекта Допплера и других поправок. Пока окончательный приговор не вынесен, здесь

[1] Это не совсем так, отклонение луча света можно объяснить также исходя из Ньютоновой теории. *Прим. ред.*

имеются показания, несколько неблагоприятные для теории [1], и некоторые горячие последователи Эйнштейна подняли вопрос—является ли это положение действительно необходимым следствием теории. Однако сам Эйнштейн поддерживает взгляд, что это положение является столь существенным, как и другие, и что, если приговор опыта окажется окончательно неутешительным, это дискредитирует всю теорию.

Я думаю, мы можем видеть по этим словам Эйнштейна, насколько здраво смотрит он на это детище своего ума. Будучи математиком, он, естественно, признает только эмпирическое уравнение, подходящее к кривой, хотя и являющееся чем-то вполне отличным от истинного уравнения, и отбрасывает отклоняющееся от нее, если расхождение чересчур велико. „Целый ряд опытных данных не всегда может доказать мне правильность,—сказал сам Эйнштейн.—Но единственный опыт в то же время может доказать мне ошибку“.

Теория относительности показывает, однако, свою искусственность не в этой части, где она имеет дело с тяготением, а в старой или, как теперь ее называют, специальной теории, опубликованной приблизительно за десять лет до появления общей теории или теории тяготения. Эта часть доктрины Эйнштейна была вдохновлена отрицательным результатом опыта Майкельсона-Морлея [2]) и других подобных ему попыток открытия нашего абсолютного движения через эфир, и она основывается на постулате невозможности изобрести какой-нибудь опыт, который помог бы нам открыть абсолютное движение в пространстве. Физически это кажется истинным для переносного движения: вращательное движение имеет совершенно другой характер. Если бы земля была вечно окутана облаками, мы всегда могли бы открыть ее вращение при помощи опыта с маятником Фуко или гироскопом. Теория относительности имеет некоторые возражения против этого аргумента; но, как говорит Эддингтон, когда мы доходим до вращательного движения, теория относительности перестает объяснять явления и начинает их разъяснять.

Возражения релятивиста отбрасывают нас в этом случае назад к астрономии Птоломея. Там, где мы привыкли видеть вращающуюся землю, сопровождаемую полем центробежной силы, окруженную относительно постоянным миром звезд, релятивист видит покоящуюся землю и вращающуюся звездную сферу! Это совсем уж шаг назад к мрачному прошлому? Было бы еще хорошо, если бы уравнения Эйнштейна не показывали бы, что полое вращающееся тело будет действовать с очень небольшой силой на находящееся внутри него тело. Маятник, колеблющийся внутри массивного полого вращающегося

[1]) Добавочные доказательства, благоприятные для теории, были получены недавно St. John'ом, более ранние опыты которого являлись неблагоприятными. *Прим. автора.*

[2]) В 1922 г. опыт Майкельсона, повторенный Дейтон Миллером, дал положительный результат. Опыт в отличие от предшествующих был сделан на высоте 1.800 метров над уровнем моря. *Прим. ред.*

цилиндра, будет согласно уравнениям Эйнштейна отклоняться в направлении вращения, будучи слегка увлечен движущейся массой. И эти уравнения даже указывают на существование чего-то подобного центробежной силе в системе покоящейся внутри полой вращающейся массы.

Математически теория имеет таким образом ответ на это; но этому ответу, хотя и вполне совершенному математически, не достает одного очень важного свойства, которое Эддингтон называет „сходимостью".

Чтобы произвести этот центробежный эффект, который является ничтожным по величине, требуется чудовищная вращающаяся масса; и чем больше радиус вращающегося пустого тела, тем большая масса требуется. Если эффект центробежной силы, наблюдаемой на поверхности земли, происходит от вращения небесной сферы, то общая сумма масс неподвижных звезд, содержащихся там, должна быть огромной, далеко превосходящей всякую возможную оценку, которая может быть допущена. Число потухших солнц вселенной должно во много раз превосходить число видимых, почему мы должны приписать этот эффект более отдаленным и, следовательно, еще большим массам. Чем дальше мы откладываем расчет, тем больше нам приходится платить. По этой гипотезе вселенная подобна пирамиде, поставленной на вершину. Я думаю, здесь ясно сказывается природа теории относительности: пустая математическая шелуха, без реального содержимого; полезная, когда она согласуется с фактами, бесполезная в противном случае. В связи с этим я могу процитировать выразительную характеристику, данную неким лицом нашему общему другу: „Знаю ли я мистера X!—О, да; он вполне здоров постольку, поскольку он здоров".

Крайности, к которым может привести нас эта аргументация релятивистов, выясняются из рассмотрения нескольких тел, подобных земле A, B, C... Если эти тела отдалены друг от друга не более чем на световой год [1]), они практически могут быть рассматриваемы, как находящиеся в центре небесной сферы, если он вообще существует. Положим, на теле A проявляется центробежная сила, на телах B, C— нет: как мы можем ее учесть? Легко и просто, если мы предположим тело A вращающимся, а все остальные покоящимися; но не так просто, если мы предположим A покоящимся, а небесную сферу двигающеюся: чтобы избежать последующего возникновения центробежной силы на B, C..., релятивист должен допустить, что они также находятся во вращении. Как ни поразительно это объяснение, оно не является чем-то новым: потому, что первый из всех релятивистов объяснил кажущееся движение окружающих тел самым простым и успокаивающим душу способом: „все пьяно, кроме меня".

В этой статье, посвященной теории относительности, мы старались сохранить точку зрения здравого смысла.

[1]) Световой год—расстояние, проходимое светом в один год. *Примеч. пер.*

Прежде чем кончить, мы должны обсудить отдельные пункты, которые не относятся в точности ни к одной категории: мы должны защитить теорию относительности от нападений, которых она не заслуживает.

Одним из пунктов, о котором спорили очень много, является положение о том, что теория относительности показала, что материальная частица не может иметь скорость, превосходящую скорость света. Этого положения нет в оригинальных трудах Эйнштейна. Ошибочно оно приписано ему Куннигамом и Зильберштейном; оно упоминается, но в измененной и поэтому бесспорной форме, у Эддингтона. В последнем официальном произведении Эйнштейна (прэнстонских лекциях) это положение не появляется; оно находится в примечании, возможно имеющем иное происхождение. Оно встречается также в некоторых американских статьях.

Что инерция движущегося заряженного тела приближается к бесконечности, когда его скорость приближается к скорости света, было известно до Эйнштейна как следствие классической теории [1]), и экспериментальное подтверждение этого было найдено при изучении быстро движущихся электронов. Так как источником этой увеличивающейся инерции будет очевидно работа, затраченная на возбуждение движущегося электромагнитного поля, то это положение не возбуждает никакого антагонизма.

Одна из важнейших теорем старой или специальной теории относительности касается двух систем A и B, при чем B находится в движении относительно A, и обе системы сообщаются при помощи световых сигналов, отправляемых из A в B. Когда скорость B (относительно A) превышает скорость света, то эти формулы непригодны или дают мнимые значения. И кажется правдоподобным, что кто-нибудь, помня упомянутую раньше до-Эйнштейновскую доктрину о предельной скорости и смотря на формулы Эйнштейна больше с энтузиазмом, чем критически, заключил несколько поспешно, что между ними была некоторая связь. В действительности же есть или должно быть очевидно, что непригодность формул Эйнштейна не является чем-то более трансцендентальным, чем факт, что если B движется со скоростью большей, чем скорость света, то световые сигналы с A не могут догнать B и больше ничего.

Теория относительности была раскритикована за попытку убрать эфир, не предложив взамен него никакого объяснения механизма распространения света и, в частности, обходя глубоким молчанием вопрос об интерференции. Я думаю, на это релятивист может честно возразить, что теория рассматривает распространение света в широком аспекте, при его движении по „путям наименьшего действия“, геодезическим линиям изогнутого пространства, и явления, выводи-

[1]) См. статью А. К. Тимирязева в № 4 „Под знаменем марксизма“ за 1922 г.
Прим. пер.

мые из этой гипотезы. Что касается упразднения эфира, то этот процесс зашел уже так далеко еще до Эйнштейна, что не считалось неудобным определять эфир просто как „подлежащее глагола волноваться“. В действительности пространство Эйнштейна не совсем хуже современного понятия об эфире: оно равно хорошо может быть описано, как „подлежащее от глагола изгибаться“; и если оно может изгибаться, почему оно не может колебаться? Почему мы не могли бы иметь здесь волн, налагающихся на более широкие неподвижные изгибы основного вещества и распространяющихся по обычным законам распространения возмущений в упругой среде? По этому взгляду, выбор между старым и новым ограничен. Материя является статическим натяжением, а непрерывная деформация в пространстве—эфиром или чем-нибудь еще; и необходимо только наделить представление Эйнштейна о пространстве упругостью в такой же степени, как способностью к искривлению, чтобы иметь в руках окончательную структуру, пригодную для объяснения оптических явлений, о которых молчит теория относительности.

Другая вещь, которую мы не можем обойти здесь молчанием, сводится к некоторому необоснованному выводу, на основании которого на почве теории относительности легко сбить с толку самую здоровую голову. За это ответственен только один из последователей Эйнштейна. Замечательно, что именно тот, кто является наиболее блестящим истолкователем Эйнштейна и кто послужил для пишущего эти строки ключом для чтения иероглифов Эйнштейна, оказался объятым заблуждением, что, когда количество делается единицей, то оно теряет свою размерность. Математические следствия такой процедуры могут, как справедливо заметил Лодж, привести только к скандалу.

Может быть, эта статья приведет кого-нибудь к чтению или попытке чтения Эйнштейна. Нужно сказать, что он почти невозможен для чтения, даже для физиков с несколько более чем средним математическим багажем. Можно предложить, как комментарий, рекомендуемый во всех отношениях, математических и нематематических, небольшую книгу Фрейндлиха под заглавием „Основы теории тяготения Эйнштейна“ [1]). Старая или специальная теория здраво и просто изложена Куннингамом. Эддингтон блестящ: он стимулирует ум читателя в нематематической части изложения. Но его математические сочинения нельзя рекомендовать начинающим.

В качестве общей теории космоса теория Эйнштейна вдохновлена астрономией Птоломея. В свое время теория Птоломея была в почете. Она содержала неплохие мысли и отлично истолковывала различные астрономические факты, известные в то время. Но даже, если бы не было Коперника, теория Птоломея была бы отброшена после Фуко.

---

[1]) Есть на русском языке в серии „Современные проблемы естествознания“. Госиздат. 1924 г.

Это же и происходит с теорией Эйнштейна. По своей сложности она перептоломеила Птоломея; и, несомненно, некоторые из нас с удовольствием вспоминают слова невежественного, но практичного короля Альфонса, который по поводу Птоломеевской системы сожалел, что он не присутствовал при сотворении мира, ибо он смог бы предложить лучший план. Сейчас никто не предложил теории более удовлетворительной, чем теория Эйнштейна; но, без сомнения, может наступить и наступит час, когда появится подходящий человек и когда приспеет время. Ньютон чеканил так точно, что прошло два столетия, прежде чем Эйнштейн смог улучшить его формулу; и пока неизвестно, сколько времени пройдет, пока следующий поправочный член будет прибавлен к эмпирическому уравнению великой кривой природы.

Пауль Хейль.

Химическое сродство и валентность по новейшим исследованиям.

I.

В основу химии со времени Дальтона положена теория атомов. Согласно взглядам Дальтона, всякое вещество представляет собою собрание огромного количества чрезвычайно малых частиц — молекул, при чем каждая молекула представляет собою собрание нескольких атомов. Эта теория позволила охватить множество фактов и объяснить множество явлений, но она также выдвинула много новых вопросов. Чем объяснить прочность одних молекул и непрочность других? Почему атомы соединяются в молекулу, какие силы удерживают их друг возле друга? Силу, действующую между атомами, представляли подобной силе ньютоновского тяготения, которая на чрезвычайно малых расстояниях должна проявлять себя соответственно сильнее. Но эту молекулярную силу нельзя было отождествлять с тяготением, так как некоторые атомы притягиваются друг к другу очень энергично, другие же слабо. А именно вещества, наиболее несходные по свойствам, образуют наиболее прочные соединения; атомы же сходных веществ связываются между собою слабо. Силы, регулирующие образование химических соединений, были названы силами избирательного сродства, но природа их оставалась вполне неизвестной.

Но кроме сил сродства необходим еще и другой закон, который бы регулировал сочетание атомов. Пусть атомы будут неизменны в условиях химических превращений; но если бы атомы различных веществ сцеплялись в молекулу в любом неопределенном количестве, то не могли бы иметь место законы постоянства состава и кратных отношений; мы не могли бы тогда характеризовать химические соединения

целыми числами. Простые химические пропорции должны, следовательно, зависеть от законов сочетания атомов. Способность атома присоединять к себе определенное количество других атомов назвали валентностью, причем валентность водорода была принята за единицу. Так, например, хлор присоединяет к себе один атом водорода и, следовательно, является одновалентным; кислород присоединяет два атома водорода, азот — три, следовательно, они представляют собою соответственно двухвалентные и трехвалентные элементы. Сера в соединении SO_3 присоединяет три атома двухвалентного кислорода и, следовательно, является шестивалентной. Для объяснения валентности допускали, что многовалентный атом обладает не одним, а несколькими центрами притяжения, что сила сродства не разлита равномерно по атому, но сосредоточена на отдельных участках, и каждый такой центр притяжения может захватить по одному атому водорода или другого одноатомного элемента. Каждую такую „единицу сродства" условились обозначать посредством линий; каждая единица валентности и должна быть обязательно насыщенной. В результате получались структурные формулы, напр.: $H-Cl$; $\begin{matrix}H\\H\end{matrix}\!>\!O$; $N\begin{matrix}\diagup H\\ -H\\ \diagdown H\end{matrix}$; $S\begin{matrix}\diagup\!\!\diagup O\\ =O\\ \diagdown\!\!\diagdown O\end{matrix}$ и т. под.

Чем обусловлено такое устройство атомов, оставалось также совершенно неизвестным.

Согласно первоначальным взглядам, каждый атом имел вполне определенную и неизменную валентность. Однако накопление новых фактов показало, что такой взгляд не может удержаться. Оказалось, что многие атомы имеют переменную валентность и при различных условиях ведут себя различно. Медь, например, при одной температуре одновалентна, при другой двухвалентна; вторая единица валентности оказывается непостоянной. Первые сообщения о том, что одновалентный хлор в хлорной кислоте ведет себя как семивалентный элемент, показались абсурдом. Но потом оказалось, что даже такой элемент, как углерод, обнаруживает переменную валентность, бывает не только четырех-, но трех- и двухвалентным.

Таким образом учение о постоянной валентности должно было уступить место учению о максимальной валентности. Согласно последнему учению, каждый атом имеет свойственную ему наивысшую валентность, которую и проявляет при благоприятных условиях; при других условиях атом может проявлять низшую валентность. Учение о максимальной валентности было закреплено в периодической системе Д. И. Менделеева. Здесь каждая из групп характеризуется определенной максимальной валентностью.

Однако и теория максимальной валентности не могла охватить всех фактов. Например, мы имеем некоторое соединение с максимальной валентностью, казалось бы, вполне насыщенное, а между тем оно образует кристалло-гидрат, т. е. кристаллизуется с несколькими молекулами воды. Возможно построить структурную формулу соединения,

Это же и происходит с теорией Эйнштейна. По своей сложности она перептоломеила Птоломея; и, несомненно, некоторые из нас с удовольствием вспоминают слова невежественного, но практичного короля Альфонса, который по поводу Птоломеевской системы сожалел, что он не присутствовал при сотворении мира, ибо он смог бы предложить лучший план. Сейчас никто не предложил теории более удовлетворительной, чем теория Эйнштейна; но, без сомнения, может наступить и наступит час, когда появится подходящий человек и когда приспеет время. Ньютон чеканил так точно, что прошло два столетия, прежде чем Эйнштейн смог улучшить его формулу; и пока неизвестно, сколько времени пройдет, пока следующий поправочный член будет прибавлен к эмпирическому уравнению великой кривой природы.

Пауль Хейль.

Химическое сродство и валентность по новейшим исследованиям.

I.

В основу химии со времени Дальтона положена теория атомов. Согласно взглядам Дальтона, всякое вещество представляет собою собрание огромного количества чрезвычайно малых частиц — молекул, при чем каждая молекула представляет собою собрание нескольких атомов. Эта теория позволила охватить множество фактов и объяснить множество явлений, но она также выдвинула много новых вопросов. Чем объяснить прочность одних молекул и непрочность других? Почему атомы соединяются в молекулу, какие силы удерживают их друг возле друга? Силу, действующую между атомами, представляли подобной силе ньютоновского тяготения, которая на чрезвычайно малых расстояниях должна проявлять себя соответственно сильнее. Но эту молекулярную силу нельзя было отождествлять с тяготением, так как некоторые атомы притягиваются друг к другу очень энергично, другие же слабо. А именно вещества, наиболее несходные по свойствам, образуют наиболее прочные соединения; атомы же сходных веществ связываются между собою слабо. Силы, регулирующие образование химических соединений, были названы силами избирательного сродства, но природа их оставалась вполне неизвестной.

Но кроме сил сродства необходим еще и другой закон, который бы регулировал сочетание атомов. Пусть атомы будут неизменны в условиях химических превращений; но если бы атомы различных веществ сцеплялись в молекулу в любом неопределенном количестве, то не могли бы иметь место законы постоянства состава и кратных отношений; мы не могли бы тогда характеризовать химические соединения

целыми числами. Простые химические пропорции должны, следовательно, зависеть от законов сочетания атомов. Способность атома присоединять к себе определенное количество других атомов назвали **валентностью**, причем валентность водорода была принята за единицу. Так, например, хлор присоединяет к себе один атом водорода и, следовательно, является одновалентным; кислород присоединяет два атома водорода, азот — три, следовательно, они представляют собою соответственно двухвалентные и трехвалентные элементы. Сера в соединении SO_3 присоединяет три атома двухвалентного кислорода и, следовательно, является шестивалентной. Для объяснения валентности допускали, что многовалентный атом обладает не одним, а несколькими центрами притяжения, что сила сродства не разлита равномерно по атому, но сосредоточена на отдельных участках, и каждый такой центр притяжения может захватить по одному атому водорода или другого одноатомного элемента. Каждую такую „единицу сродства“ условились обозначать посредством линий; каждая единица валентности и должна быть обязательно насыщенной. В результате получались структурные формулы, напр.: $H - Cl$; $\begin{matrix} H \\ H \end{matrix}\!>\!O$; $N\!\begin{matrix} \diagup H \\ - H \\ \diagdown H \end{matrix}$; $S\!\begin{matrix} \nearrow O \\ = O \\ \searrow O \end{matrix}$ и т. под.

Чем обусловлено такое устройство атомов, оставалось также совершенно неизвестным.

Согласно первоначальным взглядам, каждый атом имел вполне определенную и неизменную валентность. Однако накопление новых фактов показало, что такой взгляд не может удержаться. Оказалось, что многие атомы имеют переменную валентность и при различных условиях ведут себя различно. Медь, например, при одной температуре одновалентна, при другой двухвалентна; вторая единица валентности оказывается непостоянной. Первые сообщения о том, что одновалентный хлор в хлорной кислоте ведет себя как семивалентный элемент, показались абсурдом. Но потом оказалось, что даже такой элемент, как углерод, обнаруживает переменную валентность, бывает не только четырех-, но трех- и двухвалентным.

Таким образом учение о постоянной валентности должно было уступить место учению о максимальной валентности. Согласно последнему учению, каждый атом имеет свойственную ему наивысшую валентность, которую и проявляет при благоприятных условиях; при других условиях атом может проявлять низшую валентность. Учение о максимальной валентности было закреплено в периодической системе Д. И. Менделеева. Здесь каждая из групп характеризуется определенной максимальной валентностью.

Однако и теория максимальной валентности не могла охватить всех фактов. Например, мы имеем некоторое соединение с максимальной валентностью, казалось бы, вполне насыщенное, а между тем оно образует кристалло-гидрат, т.-е. кристаллизуется с несколькими молекулами воды. Возможно построить структурную формулу соединения,

взятого самого по себе; но кристаллизационную воду не представляется возможным ввести в структурную формулу. Черточки, изображающие сродство, здесь становятся бесполезными. Подобным соединениям дали название молекулярных соединений, допуская, что здесь готовые молекулы соединяются посредством какого-то добавочного сродства.

Не меньшее затруднение представляют так называемые комплексные соединения. Например, насыщенные соединения одновалентного серебра и одновалентного калия соединяются между собой, образуя соединение $KCN + AgCN$. Это соединение рассматривали, как молекулярное. Но оказывается, что если это соединение растворить в воде, то оно распадается не на KCN и $AgCN$, но на положительно заряженный ион K и отрицательный ион $Ag(CN)_2$. Точно также соединения $AuCl_3 + KCl$ диссоциирует на ионы $K^{\cdot}$ и $AuCl'_4$. Таким образом необходимо было признать, что в так называемых молекулярных соединениях также действуют силы химического сродства. Учение о валентности становилось все более расплывчатым и запутанным.

Развитие теории электролитической диссоциации заставило исследователей искать в электрических процессах объяснения вопросов о сродстве и валентности; но причина распадения солей, кислот и оснований на заряженные ионы в водном растворе оставалась загадкой.

Над разрешением указанных проблем работали выдающиеся естествоиспытатели: Вернер, Аббег, Дж. Дж. Томсон, Штарк и друг. Наконец, в новейшее время Бору и Косселю не только удалось дать удовлетворительное объяснение явлениям, связанным с валентностью и сродством, но удалось объяснить и периодическую систему элементов, свести все ее закономерности к одному общему корню.

II.

Коссель исходит из модели атома, построенного Бором, согласно которой в центре помещается положительно заряженное ядро, а вокруг него вращаются, подобно планетам, отрицательные электроны. Коссель предполагает далее, также в согласии с теорией Бора, что электроны в атоме расположены в отдельные группы, при чем внутренние электроны, ближе расположенные к ядру, представляют собою устойчивую систему, нисколько не изменяющуюся при химических реакциях; группа внешних электронов является менее устойчивой; она связана с ядром менее прочно, и она-то обусловливает химические свойства атома.

Исходя из теории Бора, можно легко и наглядно представить себе образование молекулы. Например, атом натрия имеет ту особенность, что он легко теряет один из своих наружных электронов; строение атома хлора, наоборот, таково, что он может легко присоединять один электрон. Таким образом один электрон переходит от натрия к хлору; при этом натрий становится положительно заряжен-

ным, так как он лишается одного отрицательного заряда, а хлор заряжается отрицательно. Но положительно и отрицательно заряженные тела будут притягивать друг друга по законам электростатики и, следовательно, образовывать молекулу. Только таким путем можно представить себе образование молекулы, так как атом сам по себе нейтрален, он имеет столько же положительных, сколько и отрицательных зарядов, и как такой, во вне действовать не может. Только после переброски электронов, только отдавши заряд, или же приняв лишний отрицательный заряд, атомы могут вступать в соединения.

Но возникает вопрос, почему же натрий и хлор устроены подобным образом? Бросая общий взгляд на систему элементов, мы должны ожидать, что существуют атомы трех родов: во-первых, такие, которые устойчивы сами по себе, и не могут ни отдавать своих электронов, ни захватывать чужих; во-вторых, могут быть атомы, легко отдающие электроны, и, в-третьих, атомы, стремящиеся к захвату. Примерами атомов первого типа являются, без сомнения, атомы благородных газов: гелия, неона, аргона и др., так как эти газы химически недеятельны и неспособны к образованию соединений. Приведем для облегчения рассуждений первые элементы периодической системы.

I период.	II период.	III период.	IV период.
1 Водород	3 Литий	11 Натрий	19 Калий
2 Гелий	4 Бериллий	12 Магний	20 Кальций
	5 Бор	13 Алюминий	и т. д.
	6 Углерод	14 Кремний	
	7 Азот	15 Фосфор	
	8 Кислород	16 Сера	
	9 Фтор	17 Хлор	
	10 Неон	18 Аргон	

Исследования рентгеновых спектров показало, что порядковый номер элемента равен числу элементарных положительных зарядов ядра, а следовательно, равен также числу электронов, обращающихся вокруг ядра в нейтральных атомах (закон Мозэли). Так, водород имеет один электрон, гелий — два, натрий—11 электронов, фосфор—15 и т. д.

При взгляде на таблицу элементов прежде всего бросается в глаза особенная роль, которую играет в ней число 8. В самом деле, II и III группы имеют по 8 членов. Каждый восьмой элемент, считая от какого бы то ни было элемента, в значительной степени повторяет его свойства. Кроме того, сумма валентностей по водороду и кислороду также равняется 8. Например, для хлора: HCl и Cl_2O_7 $(1+7)$; для серы: H_2S и SO_3 $(2+6)$; для фосфора: PH_3 и P_2O_5 $(3+5)$ и т. д. Через семь элементов на восьмой повторяются благородные, т. е. недеятельные, газы: гелий, неон, аргон и др. Коссель объясняет все это тем, что восемь электронов образуют в атоме симметричную весьма прочную и устойчивую группу, неспособную ни терять, ни принимать электроны. Строение благородных газов по Косселю таково:

гелий имеет два электрона, которые образуют весьма прочную систему. В неоне такую группу из двух элементов окружает также прочная наружная группа из 8 электронов, а в аргоне эта вторая группа оттесняется к центру атома и прикрепляется к ядру, а снаружи находится еще группа из восьми электронов.

Элемент, следующий за неоном — натрий. Он имеет одним электроном более, нежели неон; этот „лишний" электрон нарушает прочную и симметричную группировку электронов неона; ему нет места среди устойчивых электронных орбит. Отсюда следует, что одиннадцатый электрон натрия связан очень слабо с ядром; натрий легко отдает свой одиннадцатый электрон и превращается в одновалентный положительный ион; натрий стремится таким образом путем отдачи лишнего электрона перейти к устойчивой конфигурации неона. Таким образом одиннадцатый электрон связан с атомом слабо; он движется в слабом силовом поле и значительно удаляется от центра: отсюда вытекает большой атомный объем натрия.

Хлор имеет 17 электронов; следовательно, ему одного электрона недостает до прочной конфигурации аргона. Таким образом хлор становится очень устойчивым, присоединив восемнадцатый электрон, и становится одновалентным, отрицательно заряженным ионом. Но хлор и иным способом может превратиться в устойчивую конфигурацию: он может отдать все семь внешних неустойчивых электронов и опуститься до конфигурации неона. При этом он становится положительным семивалентным ионом, как, напр., в соединении Cl_2O_7. Сера имеет 16 электронов, следовательно, ей недостает 2-х электронов до устойчивой конфигурации. Сера устойчива, следовательно, после получения двух отрицательных зарядов (напр., в соединении H_2S). Но сера может также отдать 6 электронов и будет опять устойчива с шестью положительными зарядами (в соединении SO_3). Точно также фосфор и азот могут или получить три электрона (PH_3) или отдать 5 (P_2O_5) и приобрести расположение или аргона или неона. Кремний и углерод могут отдать или получить 4 электрона; они находятся как раз на середине, на равных расстояниях от особо устойчивых конфигураций благородных газов. Этим объясняется их нейтральный характер. Магний и алюминий могут только отдавать электроны, но не получать их: при этом магний отдает два электрона, алюминий три. Таким образом становится понятно, почему магний и алюминий в соединениях с другими веществами действуют электроположительно с двумя и тремя валентностями.

Теперь рассмотрим, как теория Косселя объясняет важнейшие факты из области химии. Допустим, что в воде растворен гидрат окиси натрия ($NaOH$). Водород и натрий передали кислороду по одному отрицательному заряду. Точно также оба атома водорода в воде (H_2O) передали кислороду отрицательные заряды. Атом кислорода, заряженный двойным отрицательным зарядом, притягивает не только свои натрий и водород, но и положительно заряженные водородные атомы

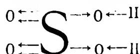
воды. При этом водородные атомы воды он притягивает с большей силой, нежели атом натрия; а так как между положительно заряженными атомами существует отталкивание, то натрий, как удерживаемый кислородом наиболее слабо, освобождается. Происходит так называемая электролитическая диссоциация, при чем получается положительный ион $Na^{\cdot}$ и отрицательный ион OH', вступивший в комплекс с водой (гидротизированный).

Почему же натрий притягивается слабее? Водород и натрий имеют одинаковые заряды, но атомный объем натрия значительно больше, нежели атомный объем водорода. Маленький атом водорода действует на меньшем расстоянии и, следовательно, будет значительно прочнее удерживаться кислородом.

Атомный объем играет большую роль в теории Косселя. Атомный объем равняется частному от деления атомного веса на удельный вес. С точки зрения строения атома, атомный объем представляет собою объем сферы действия внешних электронов. Поэтому наибольший атомный объем имеют щелочные металлы, которые имеют по одному лишнему электрону по сравнению с благородными газами. Атомы тяжелых металлов, хотя и содержат значительно более электронов, имеют, однако, малый атомный объем, так как их электронные орбиты ближе расположены к ядру.

$Mg(OH)_2$ представляет собою слабое основание, так как атом магния имеет меньший атомный объем по сравнению с натрием, и, кроме того, Mg несет двойной, а не одиночный положительный заряд. Магний таким образом труднее оторвать от кислорода. Атом алюминия несет тройной положительный заряд, поэтому гидрат окиси алюминия ($Al(OH)_3$) почти не диссоциирован.

Рассмотрим теперь раствор серной кислоты. Структурная формула строится так:



Стрелки показывают направление отданных отрицательных зарядов (электронов). Атом серы имеет шесть положительных зарядов, поэтому он прочно связан с кислородом. Наоборот, атомы водорода испытывают отталкивательное действие атома серы, и их связь с молекулами кислорода ослабела. Поэтому кислород воды легко их отрывает. Возникает диссоциация на ионы SO''_4 и гидратизированные ионы $H^{\cdot}$, т.-е. соединение ведет себя, как сильная кислота. Если HCl растворяется в воде, то кислород воды (два отрицательных заряда) отрывает H от Cl, так как Cl имеет только один заряд; получаются гидратизированные ионы $H^{\cdot}$, и следовательно, кислая реакция. Если же NH_3 растворяется в воде, то N (три отрицательных заряда) отрывает один атом водорода от воды; получаются ионы $NH^{\cdot}_4$ и OH', т.-е. щелочная реакция и т. д. Подобные соображения позволяют предвидеть свойства химических соединений.

Рассмотрим еще вопрос образования комплексов. Пусть в воде растворены соли KCN и AgCN. Калий имеет очень большой атомный объем, зависящий от слабой связи девятнадцатого электрона с атомом. Атом серебра имеет малый атомный объем, несмотря на свои 47 электронов. Серебро и калий отдают группам CN по одному заряду. Так как вследствие большого атомного объема калия его связь с группой CN наиболее слабая, то Ag притягивает обе группы CN и вытесняет калий. Получается распадение на ионы K˙ и $Ag(CN)'_2$. $AuCl_3$ образует более прочный комплекс с KCl, так как атом золота несет три положительных заряда и, следовательно, еще легче освобождает ион K˙ и образует прочный комплексный ион $AuCl'_4$. Таким образом из теории Косселя легко выводятся важнейшие факты, относящиеся к теории валентности и сродства.

Коссель исходил из первоначальных взглядов Бора. Он допускал, что группы электронов образуют кольца, т.-е. что они расположены в одной плоскости, образуя как бы фигуру многоугольника и вращаясь на одной общей орбите. Такой взгляд не позволял достигнуть детального объяснения свойств элементов, поэтому Бор изменил свою теорию, приняв пространственное расположение электронов и особую орбиту для каждого электрона. Но при этом орбиты электронов также распадаются на группы, при чем наиболее прочные и симметричные группы орбит имеют атомы благородных газов. Группировка и устойчивость электронных орбит определяется по данным исследования рентгеновых спектров атомов. Например, для того, чтобы изучить систему ядра с двумя электронами, необходимо обратиться к спектру гелия; для того, чтобы изучить, как ведет себя третий электрон, и что представляет собою его орбита, надо обратиться к литию и т. д. Выводы второй теории Бора не только не идут вразрез со взглядами Косселя, но подводят под них твердый фундамент, освобождая в то же время от гипотезы электронных колец.

В итоге теория Бора позволяет предвидеть важнейшие свойства элементов, а основывающаяся на ней теория Косселя позволяет предвидеть свойства химических соединений.

И. Орлов.

Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм [1]).

6. Великий эмпирический софизм А. Эйнштейна.

Историк физики Розенбергер делает в своей „Истории физики“ следующее замечание: „В настоящее время каждый немецкий физик считает своим долгом штудировать Канта“. Это верное замечание объясняет многое в современной физике. А. Эйнштейн вырос в атмосфере „физиков, штудирующих Канта“, и не только Канта, но и Маха, Авенариуса, Пирсона, Джемса, Пуанкаре, Шуппе, Шуберт-Зольдерна, Г. Когена и прочих философов идеализма. Отсюда ясен его подход к проблеме относительности. Он поступил в отношении физики Лоренца, как Кант по отношению к физике Ньютона, точнее к физике Бентли-Котса [2]). Когда опыт Майкельсона дал отрицательный ответ, Эйнштейн задал себе вопрос: „если опыт не может обнаружить существование эфира или если эфир таков, что изменяет длины и времена как раз так, чтобы не быть обнаруженным, если, следовательно, он никакой роли не играет в физике, то зачем он вообще нужен и нельзя ли его совсем устранить из области знания“. Конечно, вывести заключение о том, что эфир не играет никакой роли в физике мог только абстрактно-математический ум, вышколенный в атмосфере идеалистической философии, ибо всякий физик-реалист видит, что эфир играет огромную роль не только в физике, но и в технике и „без эфира не обойдешься“ (Г. Ми). В качестве иллюстрации абстрактно-математической тенденции ума Эйнштейна я приведу один замечательный пример. В статье о теории относительности, помещенной в Archiv de Sciences physiques et naturelles (1910, стр. 29) [3]), Эйнштейн приводит следующий поразительный аргумент против эфира: известно, что при движении магнита относительно замкнутой цепи в последней появляется индуктированный ток; при этом безразлично, движется ли магнит или катушка. Но с точки зрения теории Максвелла появление тока объясняется различным образом в зависимости от того, что движется. Если движется магнит, то, согласно Максвеллу, образуется электрическое поле, действующее на электричество проволоки, если же движется проволока, то электричество ее образует магнитное поле, взаимодействующее с полем магнита. Эйнштейн говорит: „для объяснения при помощи теории эфира двух опытов, которые ничем существенным друг от друга не отличаются, необходимо приписать эфиру два существенно различных состояния и такое раздвоение, чуждое природе вещей, вводится всякий раз, когда апеллируют к существованию эфира с целью объяснить явления, обязанные своим происхождением движению двух тел друг по отношению к другу“.

Истинно можно сказать, что эта знаменитая аристотелевско-схоластическая „природа вещей“ бессмертна. „Окружность,— рассуждает

---

1) Статья дискуссионная.

2) Теолог Рихард Бентли и математик Р. Котс непосредственно принимали участие в издании (2-м) „Начал“ и их фальсифицировании; как правильно указывает Максвелл (On Action at a Distance, Papers, ст. LIV): это было „скорее мнение Котса, нежели Ньютона“, которое распространилось по Европе.

3) Перевод см. „Новые идеи в физике“, сб. III.

Аристотель (трактат о „Небе"),—совершенная линия, светила совершенны, следовательно, они должны описывать окружность".

„Всякая вещь, производящая известное действие, сотворена ради этого действия; действие бога—вечность; другими словами—вечное существование, из которого необходимо следует, что божественное одарено вечным движением—небу присуще это качество, ибо оно тело божественное, и вот почему оно имеет сферическую форму, которая, по самой своей природе, вечно круговращается". Общеизвестно, что Кеплер затратил годы гигантского труда (вычисление орбиты Марса), чтобы опровергнуть вот эту природу вещей" и доказать, что планеты не круговращаются, а двигаются по эллипсам.

Когда Эрстед в 1820 году открыл действие тока на магнитную стрелку, то вслед за ним Ампер формулировал закон взаимодействия двух токов. Некоторые лица начали указывать, что в открытии Ампера нет ничего нового, ибо „естественно предположить (природа вещей!), что если из двух проволок каждая действует на магнит, то они должны действовать друг на друга. Ампер возразил: выведите-ка мне a priori направление действия токов из опыта Эрстеда. Спор был решен указанием: из двух кусков железа каждый в отдельности действует на магнит, но они совершенно не действуют друг на друга. Такова эта знаменитая—природа вещей". Если бы Эйнштейна спросили: вот человек, у которого 100.000 рубл.—скажите каким образом он оказался обладателем такого состояния? Эйнштейн, без сомнения, ответил бы: спекулировал на бирже, получил наследство от американского дядюшки, ограбил богача, выиграл на лотерее и пр. и пр. Он понимал бы, что в жизни один и тот же результат может получиться бесчисленным количеством путей. Но когда дело доходит до явлений „мертвой" природы, то тут не допускается возможности даже двух путей. Между тем, эти два пути не случайны—это понимал физик-реалист Максвелл, который не случайно, ad hoc, создал свою теорию. В самом деле, всякий, кто видел машину, знает, что благодаря взаимному сцеплению частей один и тот же результат может быть получен, действуя на различные части. Так, мы можем привести в движение паровоз, пуская пар, но то же самое движение получится, если действовать на колеса. Максвелл понимал, что природа—это материальная система, „механизм" с известным сцеплением частей [1]), что эти части весьма разнородны, но, что благодаря сцеплению, движение одних частей вызывает движение других. И подобно тому, как в паровозе, при одном и том же результирующем движении, небезразлично, прилагать ли силу к колесам (не мешало бы заставить злостных схоластов попробовать хоть на час проделывать этот опыт) или же пускать пар на поршень, подобно этому совсем не безразлично, двигаем ли мы магнит или же катушку, хотя результат один и тот же.

Итак, Эйнштейн решил отвергнуть эфир и принять за основание своей теории „абсолютно пустое пространство". Но как быть с теорией Лоренца? Схоластические адепты А. Эйнштейна любят восхвалять силу его логики. Но единственно логически-правильный вывод при допущении абсолютной пустоты—это возвращение к физике Бентли-

---

[1]) См. знаменитую модель электромагнитного поля Максвелла в 1 томе „Scientific Papers" или же модель Больцмана в „Лекциях по теории Максвелла" (ч. I). Между прочим, всякий, имеющий понятие об истории науки, знает, что этим именно путем Фарадей пришел к открытию электромагнитной индукции. Таким образом то, что, согласно Эйнштейну, не соответствует „природе вещей", обнаружило одну из величайших тайн природы, которая перевернула весь строй нашей жизни, а не только некоторые слабые умы, как это сделала специальная теория Эйнштейна.

Котса. Эйнштейн этого не сделал и сделать не мог, так как даже величайший из гениев не в состоянии вычеркнуть два столетия работы человечества. Оставалось одно—как-нибудь согласовать теорию Лоренца с абсолютной пустотой. И это сделал Эйнштейн. Школа Канта-Маха достаточно подготовила его к этому. Действительно, Кант учит, что пространство и время—это „априорные формы чистого воззрения", а Мах, что „пространство и время—это синтетическое единство наших ощущений" или просто особого рода ощущения.

И Эйнштейн сделал вполне естественное идеалистическое предположение: не являются ли те сокращения длин и изменения времен просто-на-просто „природой вещей" в переводе: „сокращениями и растяжениями" форм нашего воззрения или же наших пространственно-временных ощущений. Такое предположение кажется здравому смыслу чем-то чудовищным, если сопоставить его с простой гипотезой Лоренца-Фицжеральда. Но ведь давно сказано, что нет такого абсурда, которого нельзя было бы найти у философов, особенно идеалистов. Идеалисты готовы допустить какой-угодно абсурд, лишь бы сокрушить ненавистный материализм и внести путаницу в умы. Конечно, можно допустить, что ощущения пространства и времени зависят от движения, но в гипотезе Эйнштейна имеется нечто большее: формы нашего воззрения или ощущения сокращаются и растягиваются согласно точному математическому закону, данному в формулах преобразования Лоренца. И если даже допустить такие изменения сознания, то как объяснить изменения масс? Истинно говорит академик Хвольсон: все это нужно воспринимать, „как факт, не подлежащий ни объяснению, ни даже разъяснению, как свойство мира, в котором мы живем".

Раньше подобные изречения можно было встретить только в богословских трактатах, где обсуждались вопросы о создании мира из ничего, о догматах троицы, пресуществления, бессмертия души—ныне мы их встречаем в 4 томе „Курса физики", трактующего электромагнитные явления.

Необходимо, в интересах справедливости, заметить, что эта интерпретация Эйнштейна является истолкованием объективного философского (за который, конечно, Эйнштейн не ответственен)[1]) смысла вещей. Сам Эйнштейн дает иное словесное обоснование своей теории[2]). Он рассуждает о „двух произвольных гипотезах, содержащихся неявно в обычных понятиях времени и пространства"[3]). Эти произвольные гипотезы в том, что мы считаем, что кинематические время и длина ничем не отличаются от времен и длин неподвижной системы.

А. Эйнштейн решает реформировать или, как говорят о нем, революционизировать наши понятия пространства и времени. Но чтобы произвести хотя бы маленький „путч" в этой области необходим гений философа, а Эйнштейн, абстрактно-математический гений, в отличие от Ньютона, который был также великим философом. Поэтому он, следуя Маху, впал в то роковое заблуждение, которое недопустимо для философа: он смешал понятие пространства и времени с остальными нашими ощущениями. Такое смешение является основной задачей вырождающегося идеализма (Мах и пр.), в то время

---

[1]) Под объективным смыслом учения мы понимаем те неизбежные логические следствия, которые вытекают из системы. Поэтому слова: „Эйнштейн сделал... идеалистическое допущение..." необходимо понимать в условном смысле. Философская литература, посвященная специальному принципу, доказывает идеалистический характер системы.

[2]) См. Zur Electrodynamik bewegter Körper и др. работы.

[3]) § 5 статьи в „Новых идеях физики".

как классический идеализм, соответствующий апогею буржуазного развития, признает особенную природу понятий протяженности и времени, хотя толкует их идеалистически. Для всякого здравого ума ясно, что эти коренные понятия не являются чем-то случайным в нашем уме—они плод бесконечно долгого развития человека и его мышления. Только поверхностная философия, рассчитанная на невежество или глупость аудитории, может в качестве аргументов против наших понятий пространства и времени приводить аргумент, что „люди, мол, когда-то считали логически немыслимыми антиподов и сейчас они точно также логически отвергают революцию в основных понятиях“. Не говоря уже о том, что сам аргумент исторически ложен [1]), абсолютно немыслимо сравнивать частные заблуждения с вопросом об истинности наших понятий пространства и времени. Если существует внешний мир и если явления природы заключаются в строго закономерном движении, то пространство и время, как абсолютные реальности природы, являются вполне определенными. Утверждать можно, конечно, бесчисленное количество пространств и времен, но действительность только одна. И этот факт нашел свое отражение в наших понятиях. У нас имеются представления об идеальной линейке и идеальных часах в абсолютном пространстве. Оно, конечно, не обязательно Евклидово, но вполне определенное. Но как происходит практическое измерение пространства и времени? Максвелл в I томе „Электричества и магнетизма“, предложив в качестве эталонов—длину световой волны и время колебания светового атома, говорит с насмешкой: эти эталоны очень нужны тем, кто думает, что их сочинения будут живы еще тогда, когда погаснет солнце и, быть может, вся наша система разлетится в прах от столкновения. Действительно, для практических и научных целей вполне достаточны и возможны те относительные измерения, которые мы производим. Только безумство метафизиков может требовать абсолютных определений и только бессовестность схоластов может выставлять их невозможность, как доказательство бессилия нашего ума, как это правильно замечает Максвелл (цитировано выше).

В чем сущность новой теории Эйнштейна о пространстве и времени? Если бы существовал эфир (неподвижный), Эйнштейн поместил бы в нем идеальный метр и идеальные часы и с ними сравнивал бы единицы всех движущихся систем. Конечно, вопрос о том, как все это сделать—это сущий пустяк для теоретика относительности. Тем более пустяк, что сам эфир—это „абсолютный пустяк“. И вот возникает вопрос: как определить время и пространство на системе, которая движется? Для решения этого вопроса Эйнштейн исходит из двух принципов:

1. Принцип относительности движения (первая часть принципа Декарта—движение, как mode).

2. Принцип постоянства скорости света в пустоте.

---

[1]) Ибо точное исследование показывает, что все, кто только мыслил в древние и средние века, признавали возможность антиподов. И если приводились возражения, то они исходили не из соображений „логической немыслимости“, а из соображений богословских или метафизических. Из средневековых писателей, кажется, только Лактанций да несколько невежественных монахов называли антиподов логическим абсурдом, да и то к этому аргументу примешивали соображения о том, что если бы существовали антиподы, то им была бы неизвестна истина, открытая спасителем. Этот же аргумент приводился против множественности обитаемых миров. В народной даже поэме „Image du Monde“ (хранится в библиотеке Кембридж. Универс.), которая относится к 1300 г., имеется рисунок, доказывающий возможность антиподов вследствие притяжения к центру земли. Народ не столь глуп, как это обычно изображают—и сказка о немыслимости антиподов сочинена монахами

Я всегда был убежден, что А. Эйнштейн—гений, но окончательно я убедился в этом, открыв его популярную книгу о теории относительности на § 7. „Едва ли,—говорит Эйнштейн,—существует более простой закон в физике, чем тот, по которому свет распространяется в пустом пространстве. Всякий школьник знает, или по крайней мере думает, что он знает, что свет распространяется (в пустоте) со скоростью C = 300000 кил. в сек.“. Прочтя эти слова, я остолбенел от удивления, подобно философу Аристотеля. Как! всякий школьник знает, что такое постоянство скорости света в пустоте! Мне стало очевидно, что я много времени и труда напрасно затратил на изучение 37 теорий вот этой самой „пустоты“, о которой еще до сих пор хрипло спорят школы. Но это удивление сменилось другим: как могло бы быть, чтобы А. Эйнштейн не сказал этих слов. Гений—это, в конце концов, великая односторонность, тем более абстрактно-математический гений. Диоген—циник был также своего рода гений, и когда Зенон—элеец—доказал ему невозможность движения, он, в душевной простоте, встал и начал прохаживаться перед философом, полагая, что это и есть достаточное опровержение софизмов Зенона. 2000-летняя мысль человечества упорно работала над выяснением понятий пространства и времени; пришел Эйнштейн и заявил: всякий школьник знает, что это такое. Вот эта односторонность абстрактно-математического ума привела этот ум к тому, что по справедливости следует назвать „великим эмпирическим софизмом Эйнштейна“ и поставить на-ряду (по внешнему эффекту) с софизмами Зенона. Рассуждения Эйнштейна таковы: вот два тела, с двумя наблюдателями; тела движутся друг относительно друга; движение—относительно и, значит, всякий из них имеет право считать себя в покое; эфира, как „привилегированной системы“, не существует, т.-е. между наблюдателями—абсолютная пустота. Как наблюдатели будут определять одновременности и длины? Первый наблюдатель скажет: моя система в покое, я устанавливаю ряд часов и, посредством световых (почему световых?) сигналов, определяю одновременность и длины [1]). Но мой сосед „движется“ и так как он полагает, что он в покое, то делает ошибку в своих определениях. Войдя, однако, в сношения с соседом, неподвижный наблюдатель узнает, что последний считает себя также в покое, что и у него скорость света равна C (этого требует теория относительности!), отсюда он полагает, что линейки и часы первого наблюдателя неточны, изменяются. Но так как с точки зрения принципа относительности движения—каждый вправе считать себя в покое и у каждого должна фигурировать та же скорость света, то благоразумные наблюдатели, т.-е. идеалистические адепты теории относительности решают: природа вещей такова (и это не подлежит ни объяснению, ни даже разъяснению, как правильно говорит академик Хвольсон), что каждый из нас должен рассматривать длины и времена соседа, измененными согласно закону трансформаций. Всякий здравомыслящий человек сразу же видит, что это эмпирический софизм. Ибо то же самое рассуждение можно приложить к любой скорости и, следовательно, ни к какой, так как согласно правильной мысли Гегеля, абсолютно развитое понятие бытия тождественно с небытием. Если, напр., верно утверждение Лапласа о том, что скорость тяготения равна 10^8 C, то, применив рассуждения Эйнштейна, получим новые трансформации. И почему бы не

---

[1]) За подробностями читатель должен обратиться к популярной работе Эйнштейна, Борна и др.

взять в качестве сигналов скорость передачи водяного давления? Словом, Эйнштейновское мероопределение совершенно произвольно и можно придумать ряд „мысленных“ опытов не менее фантастических, чем те, которые часто фигурируют у адептов Относительности, для получения Абсолютного Времени.

Можно, конечно, заметить, что рассуждения Эйнштейна относятся к „видимым“ явлениям, т.-е. специально к опыту (оптическому) Майкельсона. Но нужно ведь именно доказать, что видимый результат относительного движения таков, как требует теория. А это доказательство и представляет софизм, так как оно основано на скрытом введении эфира Лоренца [1]). Если движение определяется, как чистая относительность, и желают сохранить скорость света „видимо постоянной“, то единственный логический путь—это возвращение к относительности Ньютона. Но Эйнштейн хочет, чтобы скорость света была „абсолютно постоянной в пустоте“, а это понятие имеет смысл только при введении эфира Лоренца, фигурирующего под видом „пустоты“. Введение к работе „Zur Electrodynamik bew. Körper“ очень наглядно показывает, в чем сущность софизма. Так как положение: „скорость света равна 300.000 килом. в сек.“ имеет или смысл отношения (Ньютонова относительность), или же абсолютный смысл (Лоренца), то Эйнштейн, отвергнув эфир, но желая сохранить последний смысл, начинает с определения одновременности. Одновременными, независимо от движения системы, необходимо полагать часы, регулируемые при предположении, что скорость света равна С, т.-е. как-будто наблюдатель находится в абсолютном покое в абсолютном пространстве. Определив время через С,—он заявляет: наблюдатель, пользующийся таким временем, должен получать постоянную скорость света С (порочный круг). Далее, так как каждый вправе считать себя в покое, то каждый вправе полагать, что другой должен получить иную скорость, нежели С. Но так как принцип относительности (скрыто вводящий эфир Лоренца) требует, чтобы каждый получал ту же „абсолютную скорость“, то отсюда каждый имеет право заключить о „кажущемся“ изменении масштабов и часов. Я назвал этот софизм „великим эмпирическим софизмом“, но не потому, что считаю, что по внутреннему значению он может быть поставлен на-ряду с софизмами Зенона. Последние имеют глубокое гносеологическое значение, в то время как софизм Эйнштейна построен на неопределенном словоупотреблении. Этот софизм „велик“ по тому внешнему эффекту, который он произвел, но его очень легко вскрыть. И если некоторые утверждают, что Эйнштейн революционизировал наши понятия пространства и времени (что, действительно, сделали софизмы Зенона), то с этим никак согласиться нельзя.

Внимательный читатель, полагаю, давно заметил, в чем схоластическая основа метода Эйнштейна.

1. Он не понимает, что эфир, т.-е. абсолютное пространство, именно „привилегированная система“, как мир „вне нашего сознания“.

2. Он усвоил только первую часть принципа относительности Декарта. Согласно Декарту, ни один из наблюдателей не вправе себя считать в покое, а каждый должен полагать, что

---

[1]) Единственным доказательством являются повидимому кинематографические ленты, на которых „видно“ сокращение длин и изменение хода часов. Никто не сомневается в том, что движение влияет на „видимость“ предметов, но вывод закона видимости софистичен. А как, далее, быть с „массой“, которая изменяется при движениях? Вопрос нелегкий для теории Эйнштейна. См. Дополнение (4).

как он, так и сосед движутся—иначе каждый рискует попасть в анекдот Вольтера с клонами.

3. Пользуясь тем, что всякий школьник знает „или по крайней мере думает, что знает“ [1]), что такое постоянство скорости в пустоте, А. Эйнштейн, фактически исходя из Лоренцовского эфира, дает идеалистическую интерпретацию теории, в чем каждый может убедиться, внимательно проследив эйнштейновский вывод трансформаций Лоренца. Но так как школьники страшно пугаются формул, то обычно за этими формулами не замечают действительности.

Подводя итог, скажем: специальная теория относительности Эйнштейна — схоластико-идеалистическая интерпретация теории Лоренца-Фицжеральда и, как таковая, должна быть отвергнута. Можно признавать или не признавать теории относительности, но если ее признавать, то только в материалистической форме физиков-реалистов. В заключение замечу, что А. Эйнштейн сделал много чисто-математических ценных выводов из теории относительности. Они составляют его неотъемлемую заслугу независимо от всякой интерпретации и являются, в сущности говоря, развитием теории Лоренца. Я остановлюсь на одном из этих выводов, на том, который привел к тому, что т. Гольцман потерял равновесие. Речь идет о формуле: $m = \frac{E}{c^2}$, масса это энергия. Но что такое энергия? Всякий, кто не подчиняется схоластической магии слов и за словами ищет их смысла, знает, что единственное понятное уму определение энергии—это движение материи, математически измеряемое формулой $\frac{1}{2} m . c^2 + \ldots$ Если в качестве энергии фигурирует еще: работа ($T \times S$), электрическая энергия ($U \times e$), тепловая (калория—426 килограметров) и др., то все это потому, что фактическое определение всех скрытых движений природы 1) чрезвычайно сложно, 2) практически ненужно [2]). Конечно, теоретически важно и интересно знать, что это за движение скрывается за „силами“ тяготения электромагнитного поля, теплоты и пр. Но что нужно сказать о человеке, который для того, чтобы взвесить фунт яблок, стал бы заниматься расчетом движения в эфире, движения, образующего „силу тяготения“?

Советую т. Гольцману прочесть упомянутые выше: 1) сочинения Декарта, 2) гидродинамические исследования Гельмгольца, 3) работы обоих Томсонов по теории вихревого движения, 4) последние главы (21, 22, 23) II тома трактата Максвелла. Из них он узнает, что представление конкретной материи, как сосредоточия громадного количества движения в виде „бесконечно-малых вихрей“—это представление, которое имеет за собою более чем 300-летнюю давность. И тогда он не будет считать схоластическую ложь за откровение „самой новейшей и современной физики“ и не так легко поддается схоластико-идеалистической провокации, жаждущей превращения материи в „энергию“ богов церковных теологий.

7. Общая теория относительности Эйнштейна.

Спустя 11 лет после появления „Специальной теории относительности“ А. Эйнштейн опубликовал „Основы общей теории относитель-

[1]) Удивительно иногда шутит природа! А. Эйнштейн, сам не подозревая, в этих словах формулировал основу успеха своей специальной теории.

[2]) Попытку определить до конца скрытый механизм тяготения делали картезианцы. Ньютон отказался от этой задачи; точно также Максвелл сначала следовал методу картезианцев, а потом Ньютона.

ности" [1]). При появлении этой теории немедленно же было указано, что она находится в противоречии с основами его специальной теории относительности. Эйнштейн это отрицает, но это несомненно так. Для того, чтобы убедиться в этом важном обстоятельстве и, следовательно, судить как следует о значении теории, достаточно посмотреть, что из основ специальной теории сохранено в общей.

Как указано выше, специальная теория относительности Эйнштейна покоится на двух постулатах:

1. Принцип чистой относительности движения (модальности).
2. Принцип постоянства скорости света в абсолютной пустоте.

В общей теории относительности Эйнштейн отказался от второго постулата, т.-е. от постоянства скорости света и от абсолютной пустоты.

Это дает возможность без лишних рассуждений немедленно же формулировать тезис об отношении общей теории относительности к материализму: так как схоластический (идеалистический) элемент учения Эйнштейна заключался во втором постулате, то с его устранением—это учение надо считать вполне согласующимся с принципами материализма, в том именно, что оно формально принимает первую часть, а фактически, как будет показано ниже, и вторую часть диалектического постулата Декарта: движение одновременно и модально, и реально. Конечно, хорошо было бы, если бы Эйнштейн субъективно был диалектиком, т.-е. имел в виду, что движение не только модально, но и реально. Но предъявлять подобного рода требование к ученому и притом гениальному, значит не понимать сущности научного гения. Как я указал, научный гений по необходимости односторонен—для выполнения трудной и кропотливой научной работы—эта односторонность прямо таки необходима. И нужно считать шагом величайшей философской и научной важности, с точки зрения диалектического материализма, что Эйнштейн объективно (фактически) проводит принцип реальности движения и что он поставил, наконец, на строго научную почву вопрос об изучении пространства Декарта, т.-е. пространства как физическаго тела. Это пространство изучается уже давно, ибо гидродинамика идеальной жидкости, электромагнетизм—не что иное, как изучение этого пространства. Но заслуга Эйнштейна, во-первых, в том, что он обратил внимание на наиболее загадочную область физики—область тяготения, во-вторых, что он изобрел новый метод изучения проблемы относительности и, наконец, в-третьих, что он ясно и отчетливо поставил вопрос. Последнее обстоятельство очень важно с философской точки зрения. То, что до сих пор гидродинамику идеальной жидкости и теорию электромагнетизма не называли теориями Евклидова пространства—это был большой плюс для схоластического идеализма. Как известно, Гаусс, который подходил к пространству, как к физическому телу, тщательно скрывал это воззрение, опасаясь криков „беотийцев". В данный момент, несмотря на вековые усилия схоластики, направленные против идеи Декарта, она, наконец, отчетливо формулирована и превращена в актуальную проблему науки. Когда размышляешь над этим, невольно приходишь к мысли, что существует какая-то необычайная логика вещей. В прошлом столетии жил каноник мантуйского кафедрального

[1]) Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie, Ann. d. Phys. 49, 1916.

собора Роберт Ардиго [1]). Этот ревностный монах задумал исправить печальные заблуждения современников, написав апологию Фомы Аквинского. Прошли годы тяжелого и ревностного труда—и в один прекрасный день каноник убедился, что то, что он считал святой истиной—не что иное, как самое роковое заблуждение и обман. И Ардиго из монаха превратился в философа-позитивиста.

Мне кажется, что то же самое случилось с А. Эйнштейном. Поставив себе целью написать апологию „абсолютной пустоте", он неожиданно для себя самого пришел к „абсолютному пространству, как физическому телу". Как же это случилось? Очень просто. Древний миф рассказывает, что Антей, прикасаясь к матери-земле, обретал новые силы. До тех пор пока А. Эйнштейн находился в сфере „абсолютной" пустоты и равномерно-прямолинейных движений, которые являются абстракциями и в реальной природе не существуют, все шло гладко. Но как только он прикоснулся к матери-природе, т.-е. к ускоренным движениям (прямолинейно-ускоренным и круговым) все изменилось. Логика вещей заставила изменить логику мышления и подчинила ее себе.

Перейдем, однако, к подробностям. К сожалению, понять как следует теорию Эйнштейна можно, только рассмотрев все детали этой теории. Ибо, в сущности говоря, теория Эйнштейна—это математический метод приложения принципа относительности к явлениям природы. Этот метод представляет собой очень сложный математический аппарат, требующий специальных познаний в математике, далеко выходящих за пределы даже обычного университетского курса. Остается, значит, изложить общие основания метода и дать несколько неточных, схематических иллюстраций.

Начнем с главного пункта—вопроса об абсолютной пустоте. Мы видели, что в первый период своего развития Эйнштейн приводил аргументы против эфира. В 1920 году в речи „Эфир и принцип относительности" он говорит: „Можно привести некоторый важный аргумент в пользу гипотезы об эфире. Отрицать эфир—это в конечном счете значит принимать, что пустое пространство не имеет никаких физических свойств" [2]). С таким воззрением не согласятся основные

[1]) Родился в 1828 г., в 1871 году сложил духовный сан и посвятил себя науке. Главное сочинение: „Об единстве познания", в котором он защищает принцип единства субстанции.

[2]) В дальнейшем изложении я совершенно не буду касаться вопроса о том, каковы специфические свойства эфира Эйнштейна. Замечу только, что его теория эфира аналогична теории эфирного шприца „Римана-Пирсона", именно Эйнштейн полагает, что тела — это „волны на трехмерной поверхности" четвертого измерения (точнее 5-го, так как 4-м считается время). Не следует, однако, думать, что Эйнштейн считает это 5-е измерение объективной реальностью. Тренировка у Маха привела к тому, что он рассматривает „пространство" как особое синтетическое ощущение. „Неевклидова геометрия" — это просто совокупность законов, „описывающих" такое ощущение, но не наука об объективной реальности. Но это, конечно, имеет чисто-словесное значение. Отсюда возникает, однако, следующая важная проблема: не является ли неевклидова геометрия Эйнштейна математическим просто аппаратом для овладения сложной действительностью. Этот вопрос подлежит тщательному изучению со стороны мыслителей-материалистов. Между прочим, сам Эйнштейн как-будто подтверждает такое заключение. В одобренной им и снабженной предисловием книге Фрейндлиха „Основы теории тяготения Эйнштейна" мы находим (стр. 71) следующие важные слова: „Альтернатива: евклидова или неевклидова геометрия не решается в пользу ни одной из двух; пространство, как нечто физическое с заранее данными геометрическими свойствами, вообще исключается из физических законов. „При непрерывном движении тел тяготение изменяется, а так как тяготение определяет пространство, то и последнее меняется". Ясно, что перед нами теория „движения материи". Некоторые последователи Эйнштейна (Вейль, Рейхенбахер, Эддингтон) стараются все физические явления объяснить чисто геометрически—на основании „кривизны" пространства. Но если эту кривизну не считать математической фикцией, то она сама требует объяснения. Сказать, что планеты обращаются по эллипсам, потому что пространство около солнца искривлено, еще

факты механики. В самом деле, механическое поведение некоторой свободно парящей в пустоте пространства системы тел зависит не только от относительных положений (расстояний) и относительных скоростей этих тел, но и от состояния вращения, которое невозможно характеризовать каким-либо признаком, связанным с системой. Чтобы можно было смотреть на вращение системы, по крайней мере формально, как на нечто реальное, Ньютон объективирует пространство. Тем, что он причисляет свое абсолютное пространство к реальным вещам, он принимает и вращение относительно абсолютно существующего пространства как нечто реальное. Ньютон мог бы с полным правом свое абсолютно существующее пространство назвать „эфиром“ [1]); ведь для того, чтобы смотреть на ускорение или вращение как на нечто реальное, существенно только на-ряду с наблюдаемыми объектами считать еще реальной некоторую другую чувственно воспринимаемую „вещь“. Насколько медленно эволюционирует мысль Эйнштейна, видно из того, что в основной работе 1916 года он несколько иначе отнесся к простой мысли Ньютона. Как известно, Мах предложил относить эффект вращения к видимым звездным массам. Это предложение не ново, так же как не нова философия Маха. Еще Эйлер называл „необычайно странным предложением“ приписывать закон инерции действию звезд, находящихся на неизмеримых расстояниях от земли. Конечно, предложение Маха находится в противоречии даже с его собственной философией. Ибо, если „пространство — ощущение“, то чем же оно хуже ощущения света звезд? Но Маху, как и всем философам-идеалистам, очень важно было поставить под сомнение объективную реальность пространства. И вот Эйнштейн, следуя Маху, заявляет в своей работе 1916 года, что пространство Ньютона это просто выдуманная причина (bloss fingierte Ursache) и что эффект вращения необходимо относить к объектам, доступным наблюдению (beobachtbare Tatsachen), т.-е. к видимым массам звезд. Удивительная философия! Даже Мах признал, что при всех человеческих наблюдениях одновременно наблюдается „пространство и время“, что нет такой вещи, которую мы наблюдали бы вне времени и пространства. И вдруг пространство оказывается „выдуманной причиной“. Да кто же его выдумал, если оно само подобно тени повсюду следует за вещами? В 1920 году Эйнштейн говорит: „Были попытки избегнуть необходимости принимать за реально существующее нечто недоступное наблюдению, принимая в механике вместо ускорения относительно абсолютного пространства среднее ускорение относительно всей совокупности масс, находящихся в мире (кто, спрашивается, наблюдал всю совокупность масс мира? *З. Ц.*). Но сопротивление инерции [2]) в случае ускорения относительно дале-

не значит объяснить явление. В самом деле, недостаточно указать на кривизну горного склона, чтобы объяснить, почему искривляется дорога путешественника, идущего по горной тропинке. Кроме геометрии для объяснения необходима физика (материя и движение).

[1]) Могу сообщить А. Эйнштейну, что Ньютон „фактически так и называл пространство, заполняя его „spiritus'ом“ — понятие, соответствующее эфиру современной физики, точнее эфиру вихревой теории Томсона и эфиру Лоренца. Подробные документы, касающиеся этого вопроса, я опубликую. Здесь замечу только следующее. Ньютон, как и многие другие мыслители, не мог освободиться от воспитанной древним чувственным мышлением привычки разлагать материю на две сущности: „абсолютное пространство“ и „материю“, которая находится в „пространстве“. Максвелл (Материя и движение) замечает, что хотя такое разложение „быть может ошибка ума и плод воображения“, но оно необходимо для „интересов науки“. Это замечание в известной степени верно. Разложение необходимо для развития „атомистического тезиса“ науки, но оно становится вредным при переходе к „антитезису непрерывности“. Это хорошо видно из судьбы самого учения Максвелла об электромагнетизме.

[2]) Читателю, плохо знакомому с терминологией, разъясню, что под сопротивлением

ких масс предполагает прямое действие на расстояние. Так как современный физик уверен в возможности обойтись без него, то он при подобном способе рассмотрения вновь приходит к эфиру, который должен явиться передатчиком действий инерции".

Но Эйнштейн идет еще дальше. Сам Мах, который постоянно колебался и поэтому высказывал нередко очень много важных мыслей (которые необходимо оценить, несмотря на идеалистическую тенденцию этого мыслителя), постепенно приходил к эфиру, который Эйнштейн назвал „эфиром Маха". Эфир Маха,—говорит Эйнштейн,—существенным образом отличается от эфира Ньютона, Френеля и Лоренца. „Эфир Маха не только о б у с л о в л и в а е т поведение инертных масс, но и сам в своем состоянии з а в и с и т от инертных масс". Эти слова являются полным торжеством диалектики в физике. Действительно, „тезисная" физика Ньютона рассматривала „инертные однородные атомы" как пассивное начало, а пространство (эфир) как активное, но действующее только через атомы, сообщая им как бы независимую активность. Антитезная физика Фарадея-Максвелла перенесла центр тяжести в эфир, рассматривая заряды как „концы силовых линий поля" или как „узлы" в эфире (электрон). Эйнштейн объединяет эти две точки зрения в едином синтезе, уничтожая твердый инертный атом, вводя эфир и полагая, что материя (весомая) — это не только узел в эфире, но и активное начало. Я уже указал, что этот синтез в области электричества был дан и Лоренцом. Эйнштейн распространил ее на всю материю (весомую). Недостатком теории является отрицание реальности движения и отсутствие принципа, определяющего такую реальность, вроде закона действия и противодействия [1]).

инерции понимается здесь центробежная сила, которая развивается при вращении. Согласно 1-му основному закону Ньютона (закон инерции), тело, на которое не действует сила, пребывает в состоянии покоя или равномерного движения. Если тело имеет ускорение, то, согласно 2-му закону, необходимо имеется сила. Источник этой силы в каком-либо другом теле (рука, вращающая тело). Вообразим теперь, что шар находится в пространстве на громаднейшем расстоянии от звезд. Если шар вращается, то возникает вопрос—что являются источником центробежной силы, которая вызывает центростремительное ускорение частей шара? В случае тела, вращаемого рукой, ответ ясен. Но в данном случае возможно несколько ответов: 1) собственное движение шара (Ньютон), 2) отдаленные массы звезд (решение Маха и первоначальное Эйнштейна), пространство, как физическое тело (второе решение Эйнштейна), которое является — „передатчиком действий инерции" — по выражению Эйнштейна. Решения Маха и Эйнштейна не исключают, конечно, решения Ньютона, но рассматриваются как равносильные. В этом именно сущность теории относительности. Об этом дальше. Замечу, что решение Ньютона в сущности сводится к решению Эйнштейна, но в иной интерпретации. Дело в том, что для того, чтобы шар сохранял вращение, необходимо наличие упругих „сил". Ньютон считал, что атомы обладают притяжением, источник которого в эфире, следовательно, упругие силы в конечном счете сводятся к эфиру. Генрих Герц в своей механике выставил так называемый обобщенный закон инерции, согласно которому не только равномерно-прямолинейное движение сохраняется, но и равномерно-ускоренное. Но он отказался от „объяснения" этого постулата, ссылаясь на опыт (например, сохранение вращения маховного колеса, если исключить трение). Вопрос этот — один из труднейших вопросов науки и философии. Между прочим, здесь заключается главный аргумент против абсолютного атома Демокрита и его пустоты: так как в таком атоме нет упругих сил, а пустота не может служить источником центростремительных сил, то атом Демокрита не может вращаться, подобно тому как он не может столкнуться с другим атомом (см. § 3).

[1]) Необходимо во избежание досадного недоразумения сделать следующее важное замечание: закон равенства действия и противодействия Ньютона обычно понимается слишком узко. Его толкуют в том смысле, что равенство действия и противодействия должно быть одновременным. Это действительно так в механике обычных тел (давление камня на землю, взаимодействие небесных тел и т. п.). Но в электродинамике и оптике, где встречаются „свободные волны" конечной скорости (света), закон действия и противодействия в этом смысле неприемлем. Если, скажем, колеблющийся электрон излучает волны и они поглощаются каким-либо телом, то это тело испытывает „действие", но в обычном понимании не оказывает на излучающее тело противодействия. Для сохранения закона необходимо поэтому рассматривать промежуточную среду (эфир) как источник „противодействия" при

И вот: „Согласно всеобщей теории относительности, пространство немыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не только не было бы распространения света, но не могли бы существовать масштабы и часы, и не было бы никаких пространственно-временных расстояний в физическом смысле“.

Эйнштейн прибавляет: „Но нельзя представить себе этот эфир состоящим из частей, которые можно исследовать во времени; таким свойством обладает только весомая материя; точно так же нельзя применять к нему понятия движения“.

Здесь он повторяет мысли некоторых древних физиков и некоторых мыслителей нового времени, о чем я уже упоминал. Для наглядности этого факта приведу слова Спинозы. Королларий к положению XII, кн. I [1]) гласит: „Из этого следует, что никакая субстанция и, следовательно, никакая телесная субстанция, насколько она—субстанция, не может быть делимой“.

В схолии к положению 15 Спиноза указывает: „Материя везде одна и та же“ и всякий, „кто умеет отличать воображение от разума“, должен понять, что и части ее различаются **только модально** (по способу существования), а не реально“.

Вопрос этот—труднейший вопрос гносеологии и о нем не место здесь распространяться. Будем довольствоваться пока тем, что Эйнштейн признал существование эфира, в котором так или иначе движется „весомая материя“, т.-е. некий „модус эфира“. Кроме вышеприведенных замечаний, сделаю еще одно. Когда древнее **арифметическое** мышление открыло, что диагональ квадрата несоизмерима с основанием, т.-е. существование „**иррационального**“ числа (непрерывности)—оно было в высшей степени поражено. Это число казалось древним „непостижимым“ и они отказывались считать его истинным числом, отличая с тех пор числа от величин. И лишь в 1544 году Michael Stiffel („Arithmetica Integra“) впервые признал иррациональные числа числами. Сейчас же любой школьник понимает или „думает, что понимает“, что такое иррациональное число.

Перейдем ко второму пункту теории Эйнштейна—к его методу приложения принципа относительности движения. Я уже указал, что понять, как следует, этот метод можно только углубившись в мате-

излучении. Электромеханика Максвелла-Герца, которая рассматривала „эфир“ как некое обычное „упругое“ тело, принимает поэтому III-й закон Ньютона. Но Лоренц, который рассматривает эфир как пространство, т.-е. абсолютно простое тело (упругость—это вторичное явление), не мог включить этот принцип в свою теорию. Сплющивание электрона, допущенное в теории относительности Лоренца, восстанавливает (по существу — формально же имеется усложнение, о котором не место здесь говорить) принцип Ньютона в теории Лоренца. Уничтожается ли этим его понимание эфира? Никоим образом. Необходимо только как следует понять смысл закона Ньютона, так, как его понимал сам автор. Тогда можно понять, что этот закон в обычном понимании может не иметь силы в теории, но в расширенном—имеет силу—и силу обязательную, как вытекающую из основного постулата относительности движения. Нет возможности в кратких словах объяснить сущность закона Ньютона. Ограничусь поэтому замечанием: так как движение не только реальность, но одновременно модальность, то оно подчиняется закону геометрического сложения; вот почему Ньютон поставил основное правило этого сложения—закон параллелограмма (изменение закона в теории относительности — это то усложнение Лоренца, о котором я упомянул) тотчас же вслед за III-м законом; не придать телу некоторое количество движения положительного направления все равно, что отнять такое же количество отрицательного направления. Если я тяну камень на веревке, то я придаю ему положительное движение определенного направления, но вместе с тем я как бы придаю себе такое же количество отрицательного движения. Электрон излучает в пространство движение положительного направления—иначе (как в отдаче пушки) как бы получает движение отрицательного направления. Световое давление Максвелла-Бартольди, подтвержденное П. Н. Лебедевым, показывает правильность этого воззрения.

[1]) „Этика“. Перевод В. Модестова, 1904 г., стр. 15.

матические детали. Поэтому я ограничусь здесь несколькими поясняющими примерами.

Первый пример—это знаменитый „умственный эксперимент“ Эйнштейна с ящиком. Вообразим себе герметически закрытый ящик, в котором находится наблюдатель. Так как ящик находится в „пространстве Галилея“, т.-е. бесконечно далеко от „тяжелых масс“, то в нем не наблюдается явления тяготения. Вообразим, однако, что ящик каким-то образом приведен в равномерно-ускоренное движение. Наблюдатель тотчас же замечает необычайные явления: появится „верх“ и „низ“, предметы начнут „падать“, груз, подвешенный на веревке, будет висеть вертикально. Произведя опыты с различными телами, наблюдатель обнаружит удивительный закон: все тела одинаково падают в пустоте. Допустим, что наш наблюдатель—это Ньютон. Еще до наступления странных явлений в ящике он создал „механику Ньютона“ и знает, что всякое тело оказывает ускорению сопротивление, которое он принимает постоянным и характеризует „инертной массой“ m_i, при чем „сила“ определяется как величина, пропорциональная массе и ускорению, т.-е. $F = m_i g$ [1]),—где g—обычное механическое ускорение. Первым естественным предположением Ньютона будет: какая-то „обычная механическая сила“ сообщает телам вертикальное ускорение, т.-е. кто-то схватил ящик и ускоренно приводит его в движение по направлению „к верху“. Эта гипотеза очень просто объясняет факт одинакового падения тел в пустоте. Ибо, если движется ящик, а „падающие тела“ в действительности неподвижны—ясно, что существует только одно ускорение—ускорение, именно, ящика, и форма, величина, состав тел не играют никакой роли в явлении. Чтобы убедиться в наличии гипотетической механической силы, Ньютон пробивает несколько отверстий. К своему великому удивлению он находит вокруг себя „абсолютную пустоту“. И так как его естественное мышление не допускает чудес, то он отвергает понятие „абсолютной пустоты“ и полагает, что источником силы, сообщающей телам ускорение, является окружающее пространство, как физическое тело или, по крайней мере, некоторые специальные части этого пространства (тела). Он вводит понятие „силы тяжести“. Так как он убежден, что „поскольку возможно должно приписывать те же причины того же рода проявлениям природы“ [2]), то он интерпретирует эту силу, согласно обычным механическим понятиям, т.-е. полагает ее пропорциональной „тяжелой массе“ m_g и ускорению свободно „падающих тел“ j, именно $F = m_g j$. Но так как опыт показывает, что j = постоянной (981 см/сек²), то Ньютон дает вышеприведенное объяснение равенства $m_i = m_g$, т.-е. на основании основных гипотез заключает, что нет двух „масс“, а что инертная масса то же самое, что весомая (материя = сумме однородных атомов).

Но вообразим, что Ньютон не имеет никакой возможности выглянуть из ящика—такова гипотеза А. Эйнштейна. Тогда, согласно Эйнштейну, наблюдатель никогда не сумеет решить, чему приписать явление ускорения—движению ли ящика или же действию „силы тяжести“, ибо как в том, так и в другом случае эффект один и тот же. В этом сущность метода Эйнштейна и в этом источник схоластического искажения его теории—искажения, которое мешает многим

---

[1]) Замечу, что эта простая формула верна для „абстрактной“ механики; в теории относительности она усложняется, $m \neq const$, как и другие величины.

[2]) 2-я основная гипотеза Ньютона („Начала“, изд. 1687 г., 3-я книга) или 2-ое правило умозаключений в физике („Начала“, перевод А. Крылова, стр. 449). Пояснение к правилу гласит: „Так, например, дыханию людей и животных, падению камней в Европе и Америке, свету кухонного очага и солнца, отражению света на земле и на планетах“.

видеть здоровое и важное зерно теории. Действительно, в специальном принципе относительности Эйнштейн выставляет тезис: всякое равномерное движение с точки зрения описаний явлений природы эквивалентно всякому другому равномерному движению, или пользуясь научной терминологией: все галилеевы системы отчета равноценны. Этот тезис, в форме, предложенной Эйнштейном, привел в восторг адептов идеализма, так как он изгонял эфир (реальное пространство) и будто бы превращал движение в абсолютную модальность.

Но так как для ускоренных движений подобный закон не имеет места, то Эйнштейн принялся искать, чему бы сделать эквивалентным ускоренное движение. „Случай" ему благоприятствовал в виде закона равенства тяжелой и инертной массы. Эйнштейн на основании этого закона сформулировал тезис: всякое равномерно ускоренное движение эквивалентно специальному (равномерно прямолинейному) полю силы тяжести. В специальной теории наблюдатель не в состоянии отличить одно равномерное движение от другого, в общей—ускоренного движения от „силы". И вот тут уже закон равенства инертной массы тяжелой объясняется иначе. В то время, как Ньютон видел в законе доказательство „однородности весомой материи", Эйнштейн усматривает в нем доказательство всеобщей относительности. Конечно, оба „объяснения" правильны, но их необходимо сложить для получения полного „объяснения факта". Природа, как доказывает закон равенства инертной и тяжелой массы, это однородная материя в движении, которое есть одновременно модальность и реальность. Но последнее понятие у Эйнштейна как бы отбрасывается, то-есть скрывается под термином „сила".

Здравомыслящему человеку, который разбирается в словах и ищет в них смысла, может показаться диким, что спустя более чем три столетия после Декарта нашелся мыслитель, который известное, простое, ясное и отчетливое понятие ускоренного движения может приравнять тому неизвестному, которое обозначается обычно словом „сила". Но для исследователя истории мышления—это самый обычный факт. Основная функция слов в системе схоластики—это вносить путаницу в умы. Если бы в ящике Эйнштейна сидел не мыслитель, отравленный ядом идеализма, а материалист, он сказал бы: 1) возможно, что наблюдаемое ускорение обусловлено простой механической причиной движения ящика, 2) но так как принцип простоты не распространяется на явления природы (которые очень сложны), а только на их элементы, то возможно, что наблюдаемые явления необходимо приписать более сложному движению; которое можно, как неизвестное, обозначить словом „сила" (x).

В. Джемс в „Прагматизме" определяет истину, как то, что хорошо работает для нас. Но так как всякая палка о двух концах, то то, что „хорошо работает для нас", т.-е. идеализма и фидеизма, хорошо „работает" и для других, т.-е. для истинной науки.

Субъективно Эйнштейн исходил из идеалистической концепции силы, но объективно он дал метод изучения этой силы на основании диалектического принципа относительности. Действительно, простой анализ метода Эйнштейна наглядно показывает, что это так.

Если считать тела „неподвижными", то необходимо приписать ящику равномерно ускоренное движение, но если считать ящик „неподвижным", то необходимо ввести понятие „силы тяжести". Но что такое сила тяжести? Это—результирующая некоторого „скрытого дви-

жения" (термин Герца), приложенная к телу. Так как форма этого движения не тождественна с формой движения, ящика, то этим самым уничтожается абсолютная модальность движения и движению приписывается известная реальность, реальность—пребывающая в окружающем физическом пространстве. Но если „силу" считать реальной, то отсюда уже недалеко от диалектического принципа относительности, т.-е. от положения, что во всяком теле пребывает известное „количество" движения, которое не только реально, но одновременно и модально.

Второй пример касается вращающегося диска. Эйнштейн формулирует тезис: **ускорение вращающегося движения равносильно специальному (равномерно радиальному) полю силы тяжести**. Т.-е. центробежные силы вращения могут быть заменены радиальным полем „тяготения".

Вышеприведенный анализ прямо указывает, в чем основное значение теории Эйнштейна. **Эта теория представляет собою математический метод исследования „силы тяжести" или точнее полей силы тяжести, т.-е. реального физического пространства.** Сущность метода в том, что с одной стороны Эйнштейн пишет комбинацию терминов движения, а с другой—эквивалентных сил. Получается необходимое ур-ие. Так как в природе нет „простых" полей, подобных вышеуказанному равномерно прямолинейному, то оказалось необходимым прибегнуть к аппарату неевклидового тензорного анализа. Но это не меняет сути дела. (Краткое и ясное изложение метода: Э. Фрейндлих—Основы теории тяготения А. Эйнштейна). Никогда со времени Декарта-Ньютона наука не делала столь важного шага по направлению глубокого проникновения в тайны природы. Правда, эффект дела Ньютона гораздо заметнее, так как его механика—это „механика малых скоростей", т.-е. обыденного опыта, но наступает время, когда человек из сферы обычного опыта все решительнее начинает переходить в область микрокосмоса и макрокосмоса, т.-е. в область бесконечно малого (электрон) и бесконечно большого (пространство), а здесь необходима уже „механика больших скоростей".

Поэтому, хотя формулы Эйнштейна (в приложении, например, к небесной механике) отличаются от формул Ньютона добавочными членами второго и выше порядков, т.-е. практически им эквивалентны, но все же они дают возможность сделать некоторые любопытные суждения о природе нашего пространства. Евклидово ли оно или не-Евклидово? Столь сложный вопрос не решается еще теорией Эйнштейна, но важно то, что он, наконец, поставлен.

Замечу, что в специальной работе [1] я показываю, как можно получить два основных результата теории Эйнштейна,—именно—движения перигелия Меркурия и отклонение луча света в поле тяжести—исходя из геометрии Евклида. Первый результат, как известно был получен за 20 лет до Эйнштейна (в 1898 г.) немецким ученым Гербером. Формула Гербера для движения перигелия Меркурия в точности та же, что и формула, полученная Эйнштейном. Как объяснить это удивительное совпадение? Некоторые поспешили обвинить Эйнштейна в плагиате. Но тот, кто глубже видит основы науки, легко поймет, что этот результат мог получиться просто потому, что оба мыслителя исходили из основного принципа познания природы—принципа относительности движения: теория деферентов и эпициклов Птоломея, если бы ее усовершенствовать помощью современ-

[1] Теория кинетического потенциала Неймана—Гельмгольца и общая теория относительности Эйнштейна.

ных средств математического анализа, могла бы для некоторых явлений привести к тем же формулам, что и теория Коперника. Поэтому Ленар справедливо ставит вопрос: не являются ли теории Гербера и Эйнштейна простым „математическим“ приспособлением к опытным фактам. Школа чистого описания, которая рассматривает математические теории, как инструменты описания, решает вопрос утвердительно, и с ее точки зрения не существует никакой принципиальной разницы между теорией Коперника и Птоломея, теорией Гербера и Эйнштейна. Существует только „маленькое практическое различие“: одна теория может оказаться „проще“, а по ому „практически удобнее“ другой, и в этом смысле теор и Коперника необходимо предпочесть теорию Птоломея и возможно теорию Гербера (более простую) теории Эйнштейна. Эта точка зрения школы чистого описания доказывает философское глубокомыслие этой школы. Что нужно сказать о человеке, который заявил бы: между этими двумя аэропланами нет никакой принципиальной разницы, за исключением маленького „практического удобства“: первый аэроплан способен летать, а второй к этому непригоден вследствие „маленького недостатка механизма“. „Истина наших мыслей познается из практики“—это великое изречение Карла Маркса—основа действительной гносеологии. Тот, кто полагает, что миром управляет случай, а не твердые законы природы, может полагать, что теория Коперника „случайно“ проще системы Птоломея, что Евклидово пространство „случайно“ проще и нагляднее не-Евклидова. Но тот, кто хоть немного мыслил о природе вещей (а не занимался схоластической игрой слов, обычно квалифицируемой, как философия и гносеология), понимает, что принцип простоты и наглядности основных элементов познания не случаен. Все величайшие мыслители древности и нового времени от Фалеса до Герца признавали необходимым полагать, что „природа проста и не роскошествует лишними причинами“ [1]), что она как бы решилась многое сделать посредством малого [2]), что та мировая субстанция (материя), которая образует основу всех процессов, не может не быть величайшей простоты, ясности и отчетливости для нашего познания [3]), что мы с полным правом судим о пригодности наших мысленных образов вещей (Bilder der Dingen) на основании того, насколько они просты [4]), что „природа, повидимому, воспроизводит все богатство физического мира из небольшого числа простых процессов в одной мировой субстанции“ [5]). „Вот принцип,—говорит Френель (автор изречения: „природа не боится трудностей анализа“),—который, благодаря усовершенствованию физических наук, беспрестанно подтверждается“. А так как истина—это то, что подтверждается практикой, то принцип простоты—несомненная истина. А так как истина выковывается в процессе борьбы, то она и получится в результате гигантского научно-философского сражения между физикой Евклида и не-Евклидовой физикой, на основании

---

1) Первая основная гипотеза „Системы мира“ Ньютона (изд. 1687 г.).

2) Френель, Мемуар о световой диффракции.

3) Заключительная мысль трактата Максвелла „Электричество и магнетизм“ Максвелл цитирует слова Торичелли: „Энергия—это квинтэссенция такой тонкой природы, что она не может заключаться ни в каком ином сосуде, как только в самой интимной субстанции материальных тел“.

4) Г. Герц. Механика. Введение (В III, § 28).

Г. Герц исходил из кантианской точки зрения, но у физика—кантианство—это опрокинутый на голову картезианизм (материализм).

5) Эти слова принадлежат известному современному физику Г. Ми, который называет себя, подобно Больцману, афилософом. См. заключение „Курса электричества и магнетизма“ Г. М-и.

принципа простоты. Наступает эпоха, когда обе точки зрения будут вести решительную борьбу за овладение природой и, если прошлые столетия ознаменовались борьбой между геоцентризмом Птоломея и гелиоцентризмом Коперника, то будущие столетия будут наполнены борьбой между более важными и всеобъемлющими концепциями физической субстанции (пространства).

Заключение.

Итог изложенного можно формулировать в следующих „тезисах об отношении теории относительности к диалектическому материализму“:

1. Основа диалектического материализма: а) в понятии единой реально протяженной материи (субстанции)—пространства, как физического тела, б) в понятии движения, как модальности и реальности (качества).

2. Постольку, поскольку „Специальная теория относительности“ в интерпретации Эйнштейна отвергает первое понятие, хотя частично признает второе—она является противоречащей диалектическому материализму.

3. Постольку, поскольку „Общая теория относительности“ признает первое понятие и фактически второе (формально лишь отвергая реальность движения) [1]—она находится в полном согласии с принципами диалектического материализма.

4. В интересах диалектического материализма желательно, чтобы дальнейшая эволюция Эйнштейна пошла по направлению формального (de jure!) признания реальности движения и этим уничтожила возможность схоластического использования авторитета этого мыслителя.

5. Независимо от этого теория Эйнштейна должна рассматриваться, как важнейший шаг по пути научного исследования природы пространства (материи и движения), подобно тому, как закон тяготения Ньютона, несмотря на мистико-идеалистическое его истолкование, рассматривался мыслителями как важное орудие познания, и привел к созданию „небесной механики“ [2].

Дополнительные примечания: 1) Опыт Майкельсона и эфир. 2) Что значит фраза: „материя превратилась в

[1] Что, конечно, является идеалистическим противоречием признанию первого понятия, что не трудно понять, если заметить, что реальность движения фактически скрывается за термином „сила“, как в физике Ньютона, искаженной Бэнтли-Котсом. Читатель, вероятно, заметил, что я не обсуждаю специального понятия времени. Это потому, что определенность этого понятия, т.-е. абсолютное время, связано с признанием реальности движения. Если мир есть процесс вполне определенного реального движения, то существует абсолютное время протекания этого процесса движения. Если мир—это только видимость“, то у каждой системы свое время. В этом именно идеалистическая тенденция Эйнштейна. Конечно, никто не отрицает, что наше „субъективное время“ зависит от движения и многого другого, что часы изменяют ход при движении и пр. Но это не нарушает понятия абсолютного времени.

[2] В 1740 году, в эпоху перелома от картезианской к ньютоновской физике, французской академией была предложена тема о приливе и отливе. Премию получили: Д. Бернулли, Маклорэн, Эйлер и иезуит Кавальери. Био (Précis de l'Histoire de l'Astronomie planétaire) указывает: Маклорэн—чистый ньютонианец, Бэрнулли—ньютонианец, который извиняется в том, что он покинул лагерь Декарта: Эйлер—картезианец по смыслу и ньютонианец по вычислению; иезуит чистый картезианец“. Подобно Эйлеру мы должны быть картезианцами по смыслу, а „эйнштейнистами“ по вычислению.

Так смотрят на теорию Лоренц и даже Ленар. Замечу еще, что Мах, признав специальную теорию, высказался против общей, что нетрудно понять из вышеизложенного. Нетрудно также понять последние „черносотенные“ выступления против А. Эйнштейна.

Кстати, по поводу „антисемитизма“ Ленара необходимо указать, что Ленар—ученик еврея Г. Герца и издатель его сочинений. Этот антисемитизм по этому, быть может, газетная сплетня.

электричество". 3) Движется ли земля. 4) Время в „Теории относительности" А. Эйнштейна.

Я хочу добавить к своей статье несколько замечаний, касающихся указанных в заголовке вопросов.

1. Опровергает ли опыт Майкельсона существование эфира? Некоторые думают, что да. Послушаем сначала, что говорит об этом сам автор опыта. В известном сочинении „Световые волны"[1] Майкельсон, вслед за описанием своего опыта, непосредственно подводит итог всему им изложенному (стр. 184). Этот итог начинается словами: „Из всего вышеизложенного вытекает с практической достоверностью, что должна существовать среда, настоящим назначением которой является распространение световых волн. Такая среда необходима также для передачи электрических и магнитных действий". Майкельсон высказывается за „теорию эфирных вихрей Томсона", хотя к 1912 году схоластика объявила, что эта теория „устарела" и может быть сдана в архив[2], Майкельсон цитирует Кельвина-Томсона: „Да, эфир является единственной формой материи, о которой мы вообще что-нибудь знаем". Майкельсон замечает: „Для меня лично данный опыт имеет исторический интерес, потому что интерферометр был придуман для решения именно этой задачи. Можно, я думаю, согласиться с тем, что задача, приведшая к изобретению интерферометра, более чем компенсировала то обстоятельство, что опыт сам по себе дал отрицательный результат". Вот и все заключение Майкельсона. Теперь по существу. Вообразим человека, который едет на равномерно движущемся пароходе и производит в каюте механические опыты, чтобы узнать, движется ли пароход или нет. Опыты дают отрицательные показания; согласно принципу относительности механики. Имеет ли право этот человек сделать заключение, что вокруг него—абсолютная пустота и что кроме него и его парохода—ничего не существует. Никоим образом. Как убедиться в этом? Очень просто—стоит только подняться на палубу и бросить взгляд на окружающий мир. Согласно принципу относительности механики опыт Майкельсона не мог дать положительного результата, ибо все явления природы—это движения материи, т.-е. подчиняются законам механики. Если физики думали иначе, то они плохо думали.

Но кроме опыта Майкельсона имеются тысячи других опытов (о которых, между прочим, говорит Майкельсон в своей замечательной книге), которые неопровержимо свидетельствуют о существовании эфира. Назову только: явление аберрации света, опыт Физо—в связи с общей теорией света и электромагнетизма, т.-е. таких тонких явлений, как явления интерференции, диффракции (простой и конической)[3], двойного преломления, поляризации световых и электромагнитных волн.

И лишь злостный схоласт или человек, страдающий болезнью абстракции, может на основании опыта Майкельсона говорить о том, что „доказательство того, что дело эфира обстоит до смешного плохо

---

[1] Перевод Р. Л. Гершуна, 1912 г.

[2] Кстати, книга Witte, которую усиленно рекламирует академик Хвольсон, которая как будто „окончательно доказала" невозможность механического объяснения электромагнетизма, вышла в 1906 и 1911 годах („К вопросу о современном состоянии механического объяснения электромагнетизма"). Как видно из теории Эйнштейна, „больной человек физики" столь же живуч, как и „больной человек" политики—Турция.

[3] Даже проф. Хвольсон вынужден признать (Курс физики), что открытие Гамильтоном конической рефракции доказывает, что теория Френеля—твердый фундамент науки.

именно там, где оно оказалось вернее всего, что это понятие не было ничем иным, как источником заблуждений (вот как!) и путаницы в мыслях, может послужить к ускорению сдачи эфира в ту пыльную кучу, где уже гниют флогистон и теплород" (физик Кемпбель, 1910 г.). Я очень извиняюсь за резкость, но заявление о том, что эфир был „источником заблуждений" (Декарта, Гюйгенса, Френеля, Фарадея, Максвелла, Герца, Лоренца, Эйнштейна II, наконец!) иначе нельзя назвать, как моралью готтентота: мавр сделал свое дело — мавр может убираться к чорту. Именно до „смешного плохо" обстоит дело с мозгами представителей современной вырождающейся буржуазии, о чем ясно свидетельствует „эфир" Эйнштейна.

В качестве любопытной исторической иллюстрации приведу замечание Маха — того самого, который не мало способствовал делу борьбы против эфира.

В добавлении 3-ем к механике, Мах пишет:

„Чтобы ясно представить себе, как медленно человек осваивался с новыми представлениями о воздухе, достаточно прочесть статью о воздухе, которую нашел нужным перепечатать из Энциклопедии в своем „Философском словаре" один из просвещеннейших людей своего времени, Вольтер, в 1764 г., т.-е. столетие спустя после Герике, Бойля и Паскаля и незадолго до открытий Кавендиша, Пристлея, Вольта и Лавуазье. Воздух-де невидим и вообще не воспринимаем; все функции, приписываемые воздуху, могли бы быть выполнены и воспринимаемы испарениями, в существовании которых сомневаться не было бы оснований. Как-де может воздух нам помочь одновременно слушать различные тона какого-нибудь музыкального произведения. В отношении достоверности своего существования воздух и эфир ставятся здесь на одну доску".

Истинно говорят, что правда глаголет иногда устами научных младенцев. Реальность эфира такова же, как реальность воздуха. Ф. Ленар выразил свое удивление тому, что противники эфира до сих пор не декретировали „отмены воздуха". Это доказывает, что эти люди не столь бессмысленны, как можно подумать. Схоласты имеют свои правила игры и употребляют только крапленые карты. Но природа и история смеются над их усилиями, и если они и имеют временный успех, то, подобно всяким шулерам, будут в конце концов изобличены, и им воздастся по заслугам. Знамения нашего времени показывают, что сроки эти не так уж далеки.

2. Материя и электричество. Что значит материя превратилась в электричество? Если слово „материя" употребляется в смысле философской категории, то это выражение с точки зрения материализма бессмыслица. Но если материя—это материя физиков (в каковом смысле ее и употребляют физики), то это выражение означает: в привычной и знакомой нам физической материи мы открыли частицы, которые мы называем ионами (положительное электричество) и электронами (отрицательное электричество).

В чем сходство и различие обычной (весомой) материи и электрической материи? В том, в чем заключается отличие частей организованного целого от этого целого. Сходство: 1) как обычная (весомая) материя, так и электричество протяженны и движутся. Это основное сходство. 2) Обе они подчиняются одинаковому формальному закону взаимодействия; закону Ньютона-Кулона, откуда замечательное тождество планетных орбит с орбитами электронов. 3) Как атом обычной материи, так и электрон обладают „массой" и инерцией (сохранение состояния покоя или движения при отсутствии силы), откуда

замечательное тождество явлений механической инерции и электромагнитной (самоиндукция). 4) Материя и электричество одинаково подчиняются законам сохранения: а) масс и электричества [1]), б) закону сохранения энергии. 5) Как атомы весомой материи, так и атомы электричества (электроны) обладают свойством непроницаемости [2]).

Таким образом все основные свойства „весомой материи“: протяженность, движение, взаимодействие, масса, инерция, сохранение, непроницаемость присущи электрону,— спрашивается — на каком это основании электрон объявляется какой-то особой сущностью на-ряду с „весомой материей“? И то и другое — „материя“, хотя эти материи различаются друг от друга подобно тому, как в весомой материи имеются различные сорта.

Вот основные различия:

1) Электронная теория допускает, что положительный и отрицательный заряды могут проникать друг в друга абсолютно (модель атома Томсонов, теория Лоренца). Весомая материя считается абсолютно непроницаемой; согласно моему предположению непроницаемость весомой материи имеет место только при **м а л ы х с к о р о с т я х**, о чем я уже упоминал выше.

2) Весомая материя, как целое, обладает обычно малыми скоростями движения; ее ускорение не вызывает „видимого“ излучения— электроны же встречаются со скоростями, приближающимися к скорости света (катодные лучи, радиевы лучи); ускорение электрона вызывает обычно электромагнитное излучение (свет и волны Герца); это связано с постоянством массы обычной материи и наблюдаемой переменной массой электрона.

Одно время полагали, что свойство излучения является кардинальным, но скоро пришли к необходимости разрушить эту стену между „весомой материей“ и электричеством. Именно: в знаменитой теории строения атома Бора-Зоммерфельда принято, что электрон, движущийся по своей орбите вокруг ядра, т.-е. ускоренно, не излучает энергии [3]). Из этой теории, которая представляет крупнейшее завоевание науки, особенно видно, что „электрон“, как часть весомой материи, очень похож на эту материю.

3) Равномерное движение весомой материи также не вызывает „видимого“ эффекта в окружающем пространстве, движение же электричества образует магнитное поле [4]).

4) Силы взаимодействия весомой материи являются консервативными (имеющими абсолютный потенциал, т.-е. зависящими только от

---

[1]) Математически закон сохранения электричества выражен формулой Лоренца: $\frac{\partial e}{\partial t} + div\,(v.e) = o$, где e — объемная плотность электронов, v — скорость их движения.

[2]) Для весомой материи непроницаемость объясняется просто как „непроницаемость“, для электронов же тем, что одинаковые заряды отталкиваются. Ясно, однако, что „непроницаемость“ весомой материи есть своего рода отталкивание, но действующее на значительно меньших расстояниях, нежели сила электрического взаимодействия. Так что и весомая материя, подобно электрической, имеет известную „отрицательную плотность“. Остается, правда, непонятным, каким образом материя, которая обладает свойством притяжения, обнаруживает свойство отталкивания (упругие силы отрицательного знака), но наше **н е п о н и м а н и е** не устраняет тождества фактов.

[3]) Между прочим, основной принцип Бора (Phil. Magaz. 1913 г.): „Электрическая система, замкнутая в себе самой — система консервативная“ является ничем иным, как знаменитым принципом механики Герца: Systema omne liberum in statu suo quiscendi vel movendi uniformiter in directissimum (каждая свободная система упорствует в состоянии покоя или равномерного движения по **п р я м е й ш е м у** пути).

[4]) Свойство образовывать поля при движении не является абсолютным свойством электричества. Без сомнения и „весомая материя“ вызывает возмущение в эфире при движении. Серьезность этого утверждения ясна из того, что этим вопросом занимался такой человек, как Михаил Фарадей.

положения, а не скорости и ускорения)—для них действителен закон сохранения энергии в форме, данной Гельмгольцем. Силы электрические (за исключением движений электронов по атомным орбитам) являются неконсервативными, т.-е. они обладают кинетическим (относительным) потенциалом, иначе говоря—действие одной частицы на другую зависит не только от расстояния (положения), но и от скорости и ускорения. Поэтому закон Гельмгольца в обычной форме неприменим. Замечу, что это различие разрушается весьма замечательной „теорией кинетического потенциала" Неймана-Гельмгольца, которой знаменитые авторы придавали огромное значение. На основании именно этой теории Гербер вывел известную формулу перигелия Меркурия, т.-е. показал, что силы взаимодействия „весомой материи" также обладают кинетическим потенциалом.

Можно было бы перечислить еще ряд сходств и различий, но это составило бы „Курс современной физики".

Ясно, однако, что электричество не что иное, как особого рода „материя" и, если говорить неопытному слушателю о том, что современная наука превратила „материю в электричество", необходимо разъяснить в чем тут дело, а не вносить идеалистическую путаницу в умы.

Укажем в заключение на мнение такого авторитета, как Зоммерфельд. На вопрос: Субстанционально ли электричество или энергетично, материя ли оно или сила, Зоммерфельд отвечает (Atombau und Spektlallinien, § 4, стр. 25—26, изд. 1922 г.): электричество более с у б с т а н ц и о н а л ь н о, нежели обычная материя, так как масса последней зависит от скорости. Электричество—„Универсальная материя" (Universelle Grundstoff).

3) Д в и ж е т с я л и з е м л я. Если открыть современный схоластический трактат по общей теории относительности (напр., Конфа—Теория относительности), то на первых же тах можно прочесть торжественное и радостное заявление о том, что теория относительности „неопровержимо доказывает", что „утверждение—земля вращается—не имеет никакого смысла"; что „все равно сказать: з е м л я в р а щ а е т с я и н е б о н е п о д в и ж н о или же сказать: з е м л я н е п о д в и ж н а, а в с е л е н н а я в р а щ а е т с я.

Пуанкаре еще в „Науке и гипотезе" сделал такое заявление. В „Ценности науки" (стр. 190, изд. 1906) он защищается от обвинения в том, что он будто бы склонен к „оправданию суда над Галилеом". Смысл всего этого ясен из следующего факта. Умирающий Коперник поручил издание своей книги епископу Tiedemann Giese, последний передал ее для напечатания в Нюренберге ученому Rheticus'y. Неизвестно каким образом дело печатания попало в руки лютеранского проповедника A. Hossman'a, латинизированное название которого Osiander. И вот этот самый Осиандер, преспокойно выбросив посвящение Коперника папе Павлу III, в котором Коперник говорил о вращении земли, как о научном факте, написал вместо него анонимное предисловие: De hypothesibus hujus operis, в котором от имени Коперника заявлял, что его учение—это „удобная математическая гипотеза" [1]). Если прочесть это предисловие Осиандера, то легко убедиться в том, где находятся корни „современной" философии чистого описания и „безголовия" Конфа.

Из всего вышеизложенного достаточно отчетлив ф и л о с о ф с к и й ответ на вопрос о вращении и движении земли. Я добавляю

[1]) См. N. C o p e r n i c. Opera. De Revolutionibus orbium coelestium, W. 1854 г. Латинский текст и польский перевод J. Baranowsk'ого, жизнь Коперника Bartoszewiecz'a. Первое издание вышло в 1543 году без посвящения Коперника, которое появилось лишь во втором базельском издании 1566 г.

только несколько замечаний о „научном“ ответе. Прежде всего вся психология ощущений (рефлексология) — доказательство существования движения, как реальности, и если, согласно Аристотелю, земля— это Zoon (животное), то оно возможно ощущает свое движение—внутреннее и внешнее. Далее: допустим, что мы наблюдаем ряд параллельных явлений: с одной стороны, 1) кажущееся перемещение предметов при движении вагона, 2) изменение формы воды в сосуде от вращения, 3) сохранение плоскости колебаний маятника при вращении на центробежной машине, 4) прецессию вращающегося волчка[1], 5) аберрацию дождевых струй[2], 6) паралакс дерева при перемещении[3], 7) образование из вращающейся в жидкости (смесь воды и спирта) капли прованского масла — системы, состоящей из центральной вращающейся части и „масляных планет“, обращающихся вокруг „масляного солнца“ (опыт Плато), с другой: 1) видимое движение небесного свода, 2) форму земли в виде сплющенного шара, пассатные ветры, вращение циклонов, 3) маятник Фуко, который, будучи подвешен к потолку высокого здания (опыт впервые произведен Фуко в 1854, кажется, году в Пантеоне) описывает в течение 24 часов круг, 4) прецессионное движение небесного полюса, в который упирается земная ось, 5) аберрацию света звезд, 6) паралакс звезд, 7) солнечную систему с вращающимся центром и ряда обращающихся вокруг него планет (Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), которые имеют спутников, подобно нашей луне. Спрашивается, что общего между явлениями, как связаны они между собою и какое заключение **необходимо** вывести из них?

Существует только один единственный ответ: если наука — это постижение взаимной связи явлений и ничем иным быть не может, если не желает уничтожить самое себя, то из перечисленных фактов можно сделать только одно **необходимое** заключение: земля имеет реальное двойное движение, вокруг оси и около солнца.

Пуанкаре, как известно, философ — не особенно склонный к материализму, но он ученый. И, как ученый, он не мог не признать с различными, правда, оговорками (пустыми оговорками, вроде: „земля вращается“ и „удобнее предположить, что земля вращается“, имеющими один и тот же смысл. Почему „удобнее“, до этого не дошла еще философская мысль Пуанкаре[4]), что „для последователя Птоломея все **эти явления ничем не связаны между собой; с точки зрения последователя Коперника они производятся одной причиной**“. „**В системе Птоломея движения небесных тел не могут быть объяснены действием центральных сил; небесная механика невозможна**“.

---

[1]) Когда вращающийся волчек находится под действием силы тяжести, его ось начинает описывать в пространстве конус — это движение называется прецессией.

[2]) Когда мы быстро двигаемся под дождем, то дождевые струи нам представляются наклонными, и мы вынуждены наклонять зонтик; это отклонение называется аберрацией (буквально: отклонение — aberratio).

[3]) Когда мы двигаемся мимо дерева, растущего у стены — нам представляется, что дерево смещается вдоль стены — это смещение называется паралактическим.

[4]) Кроме того: „абсолютного пространства“ нет. Поэтому с точки зрения кинематики из двух противоречивых положений „земля вращается“ и „земля не вращается“ одно не более верно, чем другое. Принимать одно, отвергая другое в кинетическом смысле, значило бы допускать существование „абсолютного пространства“. Вот где, значит, собака зарыта. Абсолютное пространство не дает спать Осиандеру и идеалистам. Удивительный, однако, этот философ Пуанкаре — потомок Декарта! Спустя 2 с лишним тысячи лет после Гераклита, Парменида и Зенона, через 300 лет после Декарта, спустя 1/2 столетия после Гегеля и т. д. он не подозревает о существовании диалектики. Не подозревает, что из двух „противоречивых“ положений ни одно не истинно в абсолютном смысле, а оба относительно истинны одновременно. Знайте же, философ Пуанкаре, что Ваш не менее знаменитый соотечественник Декарт учил: все движется, все вращается— и земля, и солнце, и звезды. Неподвижны лишь мозги метафизиков!

Прибавим, что теория относительности не колеблет этого заключения, хотя бы потому, что вынуждена прибегнуть к понятию „сила", за которым скрывается реальность движения. Это ясно из всего вышеизложеннаго.

Но довольно. Уэвель в „Истории индуктивных наук" указывает, что некоторые теологи и священники понимали неблагоразумие преследования учения Коперника.

Напомним теологам и священникам современности и их явным и тайным сторонникам, что еще более неблагоразумно возобновить эту борьбу сейчас. Это даже не в интересах, правильно понятых, церковных теологов Альфонс XII, говоря о системе Птоломея, выразился: если бы бог удостоил пригласить меня на совет при создании мира, я посоветовал бы ему устроить мир попроще. Король этот был объявлен богохульником, но несомненно, что его мысль не лишена „здравого смысла". Неужели опыт столетий никого не научил этому здравому смыслу? Если нет, то это чрезвычайно грозный симптом — но для тех, кто борется против освобождения человечества и подлинного знания.

4) Время в „Теории относительности". Затрону в заключение вопрос о времени. Легко понять, что эта проблема тесно связана с реальностью движения (качеством). Если движение—чистая относительность, то абсолютного времени не существует, и у каждого „свое время". Этим разрушается закон причинности и единство мирового целого. И в этом пункте главная схоластическая опасность отрицания Эйнштейном реальности движения. Но очень часто возражают не против этого, а против относительности наших субъективных временных переживаний. Между тем, эта относительность постоянно наблюдается. Для наблюдателя, который непосредственно находится в том месте, где сначала ударили в колокол, а затем зажгли огонь, эти явления происходят в обычном порядке, но наблюдатель, который находится далеко, сначала видит свет, а потом слышит звук. Гром и молния одновременны, но мы их воспринимаем в разное время. Если вообразить, что наблюдатель движется от грозовой тучи со скоростью, большей скорости звука, то он увидит молнию, но никогда не услышит грома и т. д. В теории относительности имеются некоторые парадоксальные заключения в сложении скоростей, о которых распространяться здесь не существенно, но и их, в конце концов, не трудно понять с точки зрения материалистической теории Лоренца-Фицжеральда. Все это необходимо иметь в виду и не смешивать схоластического элемента с самыми обычными явлениями. И, следовательно, не выплескивать вместе с водой и ребенка.

Точно так же никто не может спорить против изменения „видимости" предметов вследствие движения, хотя видимость часовой стрелки и массы тела не совсем понятны. Но дело не в этом, а в том, что наука трактует не видимости, а сущности. Вот почему здравая и естественная мысль Лоренца-Фицжеральда и всех физиков реалистов пошла не по линии видимости, а по линии реальности. Здесь мы сталкиваемся с гносеологическим фундаментом науки, с вопросом о том, что именно составляет предмет нашего познания. И так как философия материализма полагает, что наука исходит из объекта, то этим самым диктуется ясная точка зрения на смысл трансформаций Лоренца-Фицжеральда. Затрагиваемая здесь проблема—это проблема критического теоретико-познавательного анализа физики в ее историческом развитии. Такого анализа (объективно-материалистического) не существует, а он мог бы сильно помочь разобраться в запутанном узле теории относительности.

З. Цейтлин.

К вопросу о диалектике в истории естествознания.

Дискуссия, происходившая на страницах этого журнала [1]) по вопросам философии естествознания в связи с принципом относительности, по мнению автора этих строк, выяснила один существенный недостаток в рассмотрении спорных проблем. Именно мне кажется, что отсутствовала необходимая ясность методологической постановки вопроса. Одни подчеркивали, напр., идеологический момент принципа относительности, другие отрицали его или считали совершенно излишним и неправильным подчеркивание этого момента. Наконец, почти отсутствовала историческая точка зрения, казалось бы единственно правильная для разбиравшегося вопроса.

Поэтому вопрос о том, как конкретно прилагать историческую и философскую теорию Маркса-Энгельса к вопросам естествознания, приобретает весьма существенный интерес. Дело, к сожалению, усложняется тем, что, если приложение методологии Маркса-Энгельса к историческим и экономическим вопросам нужно считать достаточно разработанным, то нельзя того же сказать по отношению к вопросам естествознания.

Кроме „Анти-Дюринга", „Людвига Фейербаха", Энгельса, статьи Лафарга „Экономика, математика, естествознание", „Эмпириокритицизма" Ленина, писем Маркса и Энгельса, работ Каутского и некоторых других менее существенных произведений различных авторов мы почти ничего не имеем. Указанные же работы лишь в самой общей форме главным образом со стороны философии касаются вопросов естествознания. Но естествознание так же сложно в своих частях, как и экономика или исторический процесс в целом. Поэтому необходим детальный анализ состава и основных движущих причин в развитии естествознания.

Дальнейшее изложение является не столько разрешением, сколько попыткой поставить вопрос во всей его широте с точки зрения диалектического материализма.

Прежде чем перейти к изложению своих соображений, автор полагает интересным дать справку о том, как излагается история естествознания буржуазными учеными, какие методологические соображения кладут они в основу своих изысканий.

Как пишут буржуазные ученые историю естествознания?

Самым общим вопросом из истории естествознания является вопрос о связи развития естествознания с развитием общества. Для нас эта связь ясна и первенство в ней принадлежит развитию производительных сил: в зависимости от этого развития прежде всего и нужно рассматривать развитие естествознания [2]).

Все обстоятельства, все факты истории толкают на признание этой связи и буржуазных историков естествознания. Однако никакой ясности в этом вопросе мы у них не находим. Наоборот, вопрос безнадежно запутывается невольным стремлением доказать противное. Ниже будут приведены примеры лишь из двух буржуазных авторов;

[1]) См. статьи Тимирязева, Гольцмана, Максимова, Степанова, Невского и др.
[2]) О том, какого рода эта связь—см. ниже.

более подробное рассмотрение их точек зрения будет сделано в особой статье.

Даннеманн, автор „Истории естествознания“ [1]), так начинает свою книгу: „Развитие наук в общем шло параллельно с прогрессом человечества, поскольку этот последний выражается в подъеме всей культуры. Вследствие этого историю естественных наук приходится привести в связь со всеобщей историей; первая может быть понята лишь в том случае, если ее рассматривают в рамках последней“ (стр. 1).

Замечая такой „параллелизм“, Даннеман однако не решается ясно задать себе вопрос и так же ясно на него ответить, есть ли здесь какая-нибудь причинная зависимость? Ему это кажется лишь вероятным, да и то не во всех случаях. Так о влиянии великой французской революции он говорит следующим образом: „с коренными переворотами, произведенными французской революцией, совпадает по времени, а до известной степени пожалуй (хорошо это „пожалуй“! А. М.) и по причинной связи, начало последнего периода в истории естествознания. Не подлежит сомнению, что огромный прогресс, сделанный в этой области науки девятнадцатым столетием, в немалой мере обусловлен был тем политическим развитием европейских народов, сигналом для которого послужила французская революция. Одновременно с декларацией прав человека и гражданина в современном государстве мир получил в подарок новую силу природы в виде гальванизма“ (стр. 5).

В другом месте рассматриваемый автор находит, что первенствующую роль в влиянии на науку в древний период нужно приписать „складу ума“, „власти политических и религиозных условий“ (стр. 59).

Однако для Даннеманна не ясен механизм воздействия указанных факторов, он не может их разграничить и сваливает их в одну кучу. Причина этого прежде всего в непонимании хода самого исторического процесса развития общества.

Почему распалось царство Александра Македонского? Даннеманн отвечает: „Греки не были способны (!) к продолжительному властвованию над остальными народами“ (стр. 50).

Почему в древнем Риме не развилась наука? И тут, как возможное объяснение, Даннеманн допускает такое: „Римляне, хотя и явились в истории истинными наследниками греков, но в своем стремлении завладеть миром и властвовать над ним не имели ни времени, ни склонности (!) к занятию научными вопросами“ (стр. 59).

При такой „сумбурной“ точке зрения на исторический процесс неудивительно, что Даннеманн, в конце-концов, теряет из виду связь между „прогрессом человечества“ и „развитием наук“. Ему эта связь начинает казаться идущей в прямо противоположном направлении, чем она на самом деле есть. И в этом сказывается невольная склонность для буржуазного ученого протащить идеалистическую точку зрения на историю.

В древнем мире, по Даннеманну, „промышленная деятельность стояла еще на ступени ремесленной работы, не проникнутой научными принципами“. Отсюда он делает вывод, который менее всего можно было бы ожидать: „Отсутствие такой связи в древности (между наукой и промышленной деятельностью. *А. М.*) и было одним из условий того, что тогда могли происходить политические и религиозные перевороты таких размеров, какие по всей вероятности (!) не выпадут на долю нашей культуры, хотя последней, может быть, угрожают другие опасности“ (стр. 71).

---

[1]) См. Даннеманн. История естествознания, перевод с немецк., изд. Матезис, 1913 г.

Сколь жестокой насмешкой истории над историческими взглядами различных мещан—Даннеманнов—является мировая война!

Итак, наука охраняет от политических и религиозных переворотов. Более того, по Даннеманну именно наука движет вперед развитие общества. „Благодаря сильному интересу к науке, который проявлял Карл Великий, несмотря на многочисленные войны, развитие запада пошло несколько ускоренным темпом“ (стр. 87).

По поводу нового времени Даннеманн заявляет: „Наука создала технику“ (стр. 71), „упадок науки означал бы также и конец этой культуры“ (нашего времени. *А. М.*) (стр. 70).

Неудивительно, что после этого у Даннеманна получается вывод о независимости науки от общественного процесса.

Переходя в своей „Истории естествознания“ к рассмотрению естествознания в новое время, он говорит: „В новейшее время наука, достигнув известной высоты, стала оказывать благодетельное влияние и на политическую жизнь, от случайностей которой она раньше должна была освободиться“... И далее: „Для понимания истории науки мы до сих пор часто вынуждены были обращаться к ходу мировой истории; в дальнейшем же история наук по указанным причинам уже не находится больше в такой тесной зависимости от течения всемирной истории“ (101—102).

Таким образом наука оказывает „благодетельное“ влияние, но сама в зависимости от исторического развития общества не находится! Пояснять полную нелепость такого взгляда не приходится.

Еще один пример, более новый и российского происхождения. Госиздатом в Берлине в прошлом году издан был ряд биографий естествоиспытателей. В том числе—биография Галилея, написанная (в 1920 г.) академиком В. Стекловым [1]). В биографии повествуется о борьбе инквизиции с крамольной наукой и дается оценка исторической роли математики. Стеклов приводит пример в лице монаха Каччини, доказывавшего, что математика есть наука дьявольская и весьма зловредная. и так говорит по этому поводу: „И он был глубоко прав с своей точки зрения. Не будь этой зловредной и дьявольской науки, еще целые века висел бы над Европой мрак невежества и суеверий, а церковные и опиравшиеся на них светские владыки по-прежнему бесконтрольно господствовали бы над умами и телами безропотно подчинявшегося им стада. Да, эта „сатанинская“ роль математики и теперь еще не закончена“ (стр. 63).

В другом месте (стр. 75) Стеклов такую же роль приписывает книге Галилея „Разговоры о двух величайших системах мира, Птоломеевой и Коперниковой“.

Если математика противостоит невежеству, политической и религиозной надстройке, то очевидно, что и математики стоят выше „политики“, выше „заблуждений“. „Творческую работу мысли гениального человека“ (стр. 68) никакими внешними препонами остановить невозможно, „свободный ум точного исследователя и мыслителя никаким заранее определенным и всегда неподвижным лозунгам никакой партии никогда подчиниться не может“ (стр. 99),—заявляет Стеклов.

Отсюда вытекает нравоучение для политических деятелей: „С наукой дьявольской ни в каком отношении шутить нельзя и ей и ее служителям должна быть предоставлена полная во всех отношениях свобода и весь мир должен чутко прислушиваться к ее гениаль-

---

[1]) Академик В. Стеклов, Галилей, РСФСР. Госуд. Изд., Берлин 1923 г.

ным откровениям, которые проносятся над миром из века в век поверх всяких условностей данного исторического момента" (стр. 100).

Итак, и у Стеклова, как и у Даннеманна, зависимость между развитием общества и развитием естествознания искажается, затемняется и превращается в конце концов в утверждение, что не наука зависит от состояния развития общества, по нашему в первую очередь от состояния производительных сил, а, наоборот, развитие общества зависит от развития естествознания в целом или, как у Стеклова, даже от развития его части. Отсюда внеклассовая якобы позиция „ученых", вещающих миру истины и т. п.

Ясно, что при отсутствии понимания сущности, как исторического процесса в целом, так и движущих сил развития естествознания в частности, книги по истории естествознания нам мало могут помочь разобраться в разработке методологической стороны вопроса. Лишь фактический материал, собранный этими учеными в их книгах, может нами быть использован с пользою.

Поэтому я перехожу к основной части своей статьи, оставляя в дальнейшем изложении в покое буржуазных ученых.

Строение современного естествознания.

Для дальнейшего изложения необходимо, прежде всего, условиться о некоторой определенной терминологии, так как по отношению к естествознанию она еще не была сколько-нибудь твердо установлена. Это легче всего сделать при разборе строения современного естествознания. Это строение может касаться как отдельной дисциплины, так и всего естествознания в целом. Начнем с первого.

Строение отдельных естественно-научных дисциплин.

Было бы ошибкой, если бы мы считали, что естествознание есть или собрание идей или теорий, или вообще сумма одних лишь книжных знаний. Естествознание, как все на свете, есть нечто живое, развивающееся и отнюдь не бесплотный или книжный дух. Стоит лишь посмотреть естествоиспытателя в работе, чтобы убедиться в этом. Действительно естествоиспытатель не мыслим без двух вещей: без средств исследования и предметов исследования. Под средствами исследования я подразумеваю лаборатории, кабинеты со всем их инструментарием—приборами, аппаратами и т. д. Под предметами исследования я подразумеваю те объекты, которые исследует естествоиспытатель, — растения, животные, минералы, звезды, разные виды материи и процессов, в ней происходящих.

Непосредственным продуктом деятельности естествоиспытателей как ученых являются — факты, фактические знания о природе. Для точных наук это груды цифр, количественных характеристик предметов и процессов, исследуемых точными науками, для прочих наук—это качественные сведения, об изучаемых объектах [1]).

И, наконец, третьей составной частью любой естественно-научной дисциплины являются средства обработки, обобщения и объяснения, полученных естествоиспытателями, фактов. В качестве средств обобщения и обработки фактов служат, напр., матема-

---

[1]) Как пример собрания таких фактических знаний могут служить, напр.: Landolt-Bernstein, Physiko Chemische Tabellen, и любой курс систематики растений или описательной зоологии и т. п.

тика, статистика, систематика и т. д. В качестве объяснений фактов—теории и гипотезы,—они связывают факты в целое и дают им более или менее единое объяснение.

Вот три главнейших составных части современной естественной науки. Но не во всех науках эти части одинаково развиты. Так в математике число фактов, с которыми она оперирует, очень мало и они в основном общеизвестны, так что математики-ученые даже зачастую забывают о том, откуда они взялись. Это дает повод ученым математикам признавать положения своей науки за продукт творчества свободного разума и т. д. В другом же отношении мы в ней находим гипертрофированное развитие методов обработки тех немногих фактических данных, которыми математика располагает. Средства исследования в математике почти отсутствуют. В физике, химии и физиологии мы находим более или менее равномерно представленными все составные части. Особенно гармонически развитой наукой является астрономия.

В описательных зоологии, ботанике, минералогии и т. д. преобладают предметы исследования, фактические знания и слабо развиты средства исследования, теории и гипотезы.

Однако здесь нужно указать, что введенные понятия средств обработки, обобщения и объяснения фактических знаний не нужно рассматривать метафизически, как нечто раз навсегда данное. Во-первых, это нельзя делать потому, что, напр., математика, являясь, скажем, средством обобщения фактических знаний, напр., в химии, в то же время сама по себе является выражением и обобщением некоторых общих отношений (выражаемых числом) в природе и является уже сама по себе выражением определенного фактического знания о природе.

Поэтому то, что по отношению к одному случаю будет играть вспомогательную роль средств обобщения и объединения фактических знаний, в другом случае, по отношению к другой дисциплине или по отношению к самой себе, должно быть рассматриваемо не только как вспомогательное орудие знания, но и как нечто содержащее в себе уже запас фактических знаний.

С другой стороны, необходимо иметь в виду, что деление естествознания на отдельные дисциплины скрывает их связь. Правильное понимание взаимоотношений существующих между различными частями естественно-научной дисциплины получится лишь тогда, когда она рассматривается не изолированно, но как часть целого, всего естествознания, включая и технические знания.

Строение и классификация естествознания в целом.

Изложенные соображения о строении отдельной естественно-научной дисциплины дают нам возможность понять и суть классификации всего естествознания на отдельные науки. Действительно есть науки, которые носят свое название и определяются в своем содержании предметом исследования, свойственным им. Так ботаника, зоология, астрономия получили свое название потому, что одна исследует растения, другая—животных, третья—звездный мир. Есть науки, которые определяются по средствам исследования. Так физика и химия исследуют материю и процессы, в ней происходящие, и различие их состоит лишь в различии средств исследования: метод исследования физики отличается от метода химии не тем, что в основу их кладутся различные „соображения“, а тем, что у физики и химии различная аппаратура—отсюда и различие „соображений“.

Спектроскопия, как отдельная научная отрасль, носит свое название от главнейшего орудия исследования—спектроскопа. Анатомия употребляет метод механического (скальпель и пр.) разделения своих объектов, физиология—применяет физико-химические средства исследования, гистология—микроскоп и т. д.

Есть, наконец, третья группа наук, которые определяются методами обработки и обобщения своих фактических познаний. Так статистическая механика—носит название от статистического метода обработки фактов. Математическая физика—определяется математическим методом, в ней применяемым; систематика растений определяется также своим особым методом обобщения и обработки своих фактических сведений о своих объектах. Таким образом мы видим, что в классификации естествознания нет однородности.

Имея в виду указанное выше строение естествознания и введенную номенклатуру, я перейду к рассмотрению развития естествознания, к оценке различных факторов, влияющих на это развитие. Прежде всего я рассмотрю это развитие, отвлекаясь, пока, от влияния общественной жизни, т. е. рассмотрю элементы диалектики, присущие естествознанию, как таковому, и затем уже перейду к рассмотрению факторов, лежащих вне области собственно естествознания.

Развитие средств исследования и влияние его на науку.

В первобытном коммунистическом обществе мы не находим классов, нет там и особой касты ученых, нет и каких-либо средств исследования природы. Знания о природе создаются в процессе непосредственного производства потребительных стоимостей: процесс труда и процесс познания природы нераздельны.

С возникновением классового общества происходит обособление касты людей, занимающихся наукой: это в наиболее древние периоды обычно жреческая каста. Так обстоит дело, напр., в древнем Вавилоне и Египте. И уже в то время эта каста в своей работе по исследованию природы опирается на особые средства исследования, отдельные и отличные от средств производства, употребляемых для производства потребительных стоимостей. Так в Египте и в Вавилоне мы находим целый ряд приспособлений для наблюдения небесных явлений—звезд, планет и т. п., соответствующих по своей задаче современным астрономическим обсерваториям. Таким образом возникновение средств исследования мы открываем в столь древние эпохи, когда еще нет не только отдельных научных дисциплин, но и вообще наука не отделилась от религии.

От развития средств исследования зависит и развитие естествознания. Более того, оказывается, что развитие средств исследования есть основной, главнейший фактор в развитии науки.

Действительно окружающий человека мир дан ему вначале так, как он доступен его органам чувств. Число и подробности видимых предметов ограничены для невооруженного глаза человека; процессы природных явлений человек, не имея особых средств исследования, наблюдает только в той форме, которая встречается в природе, в форме зачастую очень осложненной и запутанной перекрещивающимся влиянием различных факторов и т. д. И лишь возникновение и развитие средств исследования двигает познание человека далеко за пределы, отведенные ему его физиологической организацией и физическими условиями окружающей среды.

Особенно наглядным примером развития познаний человека в

зависимости от состояния средств исследования является история астрономии. Действительно простым глазом можно видеть в обоих полушариях звездного неба не более 6.000 звезд. На одном горизонте их видно около 2 000. Не имея никаких приспособлений, невозможно иметь никаких точных представлений о расположении и движении звезд и планет. И вот развитие астрономии идет вперед в той мере, в какой развиваются средства исследования.

Ранее всего возникла потребность в наблюдении и более точном определении движения луны и солнца. Связь движения солнца с периодами времен года замечена была на самой ранней стадии развития человеческого общества. Однако непосредственное наблюдение глазами не дает возможности определить, скажем, момент летнего или зимнего солнцестояния, когда солнце „поворачивает“ от лета к зиме или наоборот. Нужны были средства исследования для определения этого момента.

Таким приспособлением является простой вертикально поставленный шест, который у греков назывался „гномоном“. По длине отбрасываемой тени можно было судить о моменте летнего или зимнего солнцестояния, когда отбрасываемая тень наибольшая или наименьшая. По отношению к китайцам достоверно известно, что они употребляли такое приспособление уже в XI веке до Р. X. Так было определено, что продолжительность года около 360 [1]) дней. Дальнейшим шагом вперед было введение в качестве инструмента круга, разделенного на части. Как раз число дней в году, приблизительно равное 360, послужило основанием к делению окружности круга на 360 частей. Изобретение инструмента с деленным на градусы кругом дало возможность для более точного определения высоты солнца, луны и звезд. Накопление сведений о движении солнца позволило определить наклон эклиптики к экватору и т. д. У греков такие инструменты употреблялись уже в VII в. до Р. X. Это дало возможность накопить наблюдения не только о движении солнца и луны, но и планет и определить пути их движения через созвездия.

С другой стороны, эти же инструменты дали возможность определить и размеры самой земли. Так Эратосфен (276 - 195 до Р. X.) определил величину окружности земли. Аристарх (род. 276 до Р. X.) определил расстояния луны и солнца. В то же время был составлен один из первых звездных каталогов.

Из греческих астрономов знаменит Гиппарх (работавший в период 160—125 г.г. до Р. X.), значительно усовершенствовавший употреблявшиеся тогда инструменты. Им, напр., для более точного визирования введены были в употребление перекрестные нити. Пользуясь своими инструментами, он определил положение более тысячи звезд и составил их каталог. Он же заметил неравномерность в движении солнца и луны. Более точно определил продолжительность года. Заметил так называемое предварение равноденствий или прецессию и т. д. Уже в этот древний период, благодаря тогдашним инструментам, был накоплен богатый фактический материал. Уже тогда умели, сравнительно, точно предсказывать лунные и солнечные затмения. Уже тогда выяснилась сложность движения солнца, луны и планет, требовавшая все более и более сложных объяснений. Календарь, употреблявшийся в России до последней революции, так называемый Юлианский, был введен еще в 46 году до Р. X. Все эти наблюдения не могли быть накоплены без астрономических инструментов.

---

[1]) Очень рано было определено, что эта продолжительность близка к $365\frac{1}{4}$ дней.

Конец средневековья и начало нового времени начинают в области астрономии свое движение почти с того же пункта, на котором остановилась древняя астрономия. Дальнейшее развитие ее еще более яркий пример зависимости развития науки от развития средств исследования.

Тихо Браге, знаменитый астроном (1546—1601), еще не знавший телескопа, употреблял совершенные инструменты, в принципе очень сходные с употреблявшимися в древности. Это дало ему возможность составить новый каталог звезд. Он же, измерив движение комет, первый доказал, что кометы не атмосферные явления, как полагали до него. Накопленный Тихо Браге фактический материал сыграл в дальнейшем развитии астрономии колоссальную роль.

Однако до тех пор, пока в качестве оптической системы во всех этих инструментах играл роль обыкновенный человеческий глаз, нельзя было итти дальше известного предела в накоплении фактических знаний. Скачком вперед в этой области является изобретение телескопа.

Галилею (1564—1642) приписывают славу первого применения телескопа для астрономических наблюдений. Сам, изобретя конструкцию трубы, названной по его имени, и совершенствуя ее, он сделал ряд крупнейших открытий. Так он открыл, что лунная поверхность покрыта горами, приблизительно определил их высоту, открыл солнечные пятна и вращение солнца вокруг оси; заметил, что Венера имеет фазы, как и луна; открыл четырех спутников Юпитера и первый наблюдал кольца Сатурна, хотя и не узнал действительное их строение. Число неподвижных звезд, видимых в его телескоп, увеличилось почти в десять раз. Вот краткий перечень открытий, связанных с первым наблюдателем в только что изобретенный телескоп. Дальнейшее совершенствование телескопа несло все новые и новые открытия. В 1781 году Гершель открыл планету Уран [1]). Все более и более накоплялись и делались все более точными наблюдениями.

Число видимых в телескоп „неподвижных“ звезд все увеличивалось и теперь оценивается, примерно, в 100.000.000 штук. Было подмечено и определено движение считавшихся ранее неподвижными звезд и определено расстояние их от солнечной системы и т. д.

Таким образом мы видим самую непосредственную зависимость развития астрономии от развития средств исследования. Хотя это развитие и не идет равномерно, и моментами замедляется или скачком движется вперед, мы можем проследить эту зависимость на таком протяжении, на каком ее нельзя проследить почти ни для какой другой науки. В этом отношении развитие астрономии является классическим.

Если в астрономии развитие средств исследования есть очень длинная цепь событий, то в некоторых областях знания о природе изобретение средств исследования есть достояние значительно более позднего времени и приводит к еще более бурному, еще более наглядному и до некоторой степени неожиданному развитию. Так микроскоп вызвал к жизни все учение о клетках и тканях. Спектроскоп дал возможность исследовать химический состав не только земных, но и небесных тел. Изобретение фотографической пластинки также имело чрезвычайно большое влияние на развитие различных областей знания.

---

[1]) Древние из планет и движущихся светил знали семь, видимых невооруженным глазом: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венеру, Меркурий и Луну.

Начало новейшего развития химии, как известно, связывается с применением точных весов и т. д. и т. п.

Из всех этих примеров с полной наглядностью и убедительностью вытекает положение о зависимости развития естествознания от развития средств исследования.

И нужно отметить, что эта зависимость настолько бросается в глаза, что ее в большей или меньшей степени подчеркивают и многие из историков естествознания, зачастую не стоящих на сколько-нибудь последовательной материалистической точке зрения. Так Агнеса Кларк, автор „Общедоступной истории астрономии в XIX столетии" [1]), хотя в последней главе своей книги все же отмечает, что „развитие до возможных пределов мощи телескопа является насущным вопросом, первым условием успехов современной астрофизики" (стр. 619). В другом месте она говорит: „Нет ни одного астронома, заведывающего обсерваторией, который не чувствовал бы себя связанным в своих планах, если только нет у него в распоряжении инструмента большего, чем 15 дюймов (38 см.) в отверстии; всякий астроном мечтает о лучших инструментальных средствах, не только ввиду возможности какого-либо открытия, но также и в целях систематической работы в избранном направлении. Постоянно составляются планы постройки телескопов громадных размеров и некоторые из них уже выполнены" (стр. 625).

Значительно более правильным с принципиальной точки зрения является взгляд авторов, занимающихся историей развития, именно средств исследования. Так Герлянд и Траумюллер в своей „Истории экспериментального искусства в физике" [2]) так оценивают роль научных приборов, которые они ставят на ряду с техническими орудиями и оружием: „познание природы достигается только с помощью орудий, с помощью инструментов разного рода; от их совершенствования зависит и развитие культуры" (стр. 1). История их развития—важная часть истории культуры вообще. До сих пор на это мало обращалось внимания, хотя это развитие и должно было бы быть центральным пунктом. „Поэтому,—заключают авторы,—если остается ощутительная прореха в нашем знании, когда мы не знаем средства, посредством которых достигнуты нами удивительные успехи, то и познание результатов естествознания очень несовершенно, если мы оставляем в темноте средство, их достижения. Полное знание истории физики требует таким образом истории физических приборов и их употребления". (стр. 2).

Не касаясь здесь вопроса о том, в каком отношении находятся между собой орудия техники и средства научного исследования, мы еще раз и на вышеприведенных цитатах видим подтверждение зависимости развития естествознания от развития средств исследования.

Теперь перейдем к вопросу о зависимости развития науки от развития средств обобщения, обработки и объяснения фактических знаний.

Развитие средств обобщения, обработки и объяснения фактических знаний и влияние его на развитие науки.

Непосредственным продуктом научной работы, экспериментирования или наблюдения с помощью данных средств исследования

[1]) Издана в русском переводе издательством „Матезис" в 1913 г.

[2]) Gerland und Traumüller Geschichte der physikalischen Exprimentier Kunst, Leipzig 1899.

являются фактические знания. Напр., наблюдая небесные явления, мы накопляем все больший и больший запас сведений о размерах и движении планет и звезд, об их расстоянии, химическом составе, температуре и т. д. Однако в том виде, в каком фактические данные зачастую получаются как непосредственный продукт работы ученого с средствами исследования, они мало пригодны для целей объяснения явлений и использования их для общественных потребностей. Эти непосредственные данные, для того, чтобы они сделались пригодными, нужно обработать, обобщить и объяснить.

Так, напр., отдельные данные, полученные из наблюдений движения планет, еще не дают никакого представления об этом движении; эти разрозненные данные нужно обработать, обобщить, связать воедино и объяснить. Для этой цели служит весьма сложный комплекс выработанных для этой цели наукой методов: математика во всех ее разветвлениях, систематика, с различными своими системами, теории, гипотезы и т. д.

Эти методы развиваются, изменяются и оказывают на развитие науки ускоряющее, а иногда и замедляющее влияние.

Все эти методы исходят из уже накопленных фактических знаний, основываются на них. В возникновении разбираемых методов первичным и по происхождению предшествующим являются фактические знания. Но, раз возникнув, методы обобщения, обработки и объяснения фактических знаний, в свою очередь, влияют на накопление фактических знаний и на развитие средств исследования. Получается взаимодействие, в котором роль основания, первичного фактора принадлежит процессу накопления фактических знаний.

Сначала посмотрим на развитие методов обработки и обобщения фактов и на влияние, оказываемое этим развитием на успехи естествознания.

Так, уже в древне-греческий период накоплен был значительный для тогдашнего состояния средств исследования запас фактических знаний по зоологии, ботанике, минералогии, астрономии и другим отраслям естествознания. Аристотелю и его ученикам принадлежит в значительной мере заслуга приведения в порядок, систематизации накопленных знаний.

Так, самим Аристотелем была произведена систематизация сведений о животных. Прежде всего он подразделил их на два крупных, главных отдела—на кровеносных и бескровных. Первый отдел он подразделил в свою очередь на млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, птиц, китообразных и рыб. Второй отдел на мягкотелых или головоногих моллюсков, на ракообразных, мягкотелых с твердой ломкой раковиной, куда относились моллюски, кроме головоногих; к этой группе примыкали морские ежи, актинии, асцидии, губки и некоторые др. животные и, наконец, ко второму же отделу Аристотель причислял насекомых, включая паукообразных и многоножек [1]). Произведя классификацию и систематизацию тогдашних знаний о животных, Аристотель описал около 500 различных видов животных. Такую же работу по отношению к ботанике и минералогии произвел ученик Аристотеля—Теофраст.

Не касаясь других попыток систематизации знаний в древние и средние века, мы бегло укажем на дальнейшее развитие систематики, начиная с XVI века. Конрад Геснер (1516—1565) произвел сводку материала по зоологии и ботанике. Он расположил животных

[1]) Названия взяты в соответствии с современной номенклатурой. См. Филиппов. Философия действительности, II. 1897, стр. 297 и сл.

в алфавитном порядке, что было шагом назад по сравнению с Аристотелем. По отношению к ботанике такую же работу произвели Бок (1498—1554) и Брунфельс. Несмотря на эти недочеты, на животных, растения, а также и ископаемые окаменелости, благодаря накоплению фактических сведений, стали смотреть более правильно, чем ранее. Этому пособляло также развитие анатомии и геологии.

Дальнейшее развитие систематики принадлежит по отношению к ботанике работам Рэя (1628—1705), введшим деление на двусемядольные, односемядольные и бессемядольные (тайнобрачные) и другие более мелкие подразделения. Большое значение для дальнейшего развития ботаники имело доказательство и ранее предполагавшегося факта о половой дифференцировке растений, т. е. существование мужских и женских органов или даже особей в растительном царстве.

Одинаковое значение как для ботаники, так и зоологии имело изобретение микроскопа, и благодаря последнему открытие микроскопической структуры животных и растений и мира невидимых не вооруженным глазом существ. Благодаря этим открытиям была выдвинута мысль [1], отвергавшая идеи древних и в том числе Аристотеля о самозарождении живых существ. Теперь пришли к убеждению о происхождении всего живого из яйца, произведенного животным того же вида, при чем основывались, прежде всего, на изучении эмбриологии живых существ. Твердое установление этого взгляда и детальное изучение видов животных и растений привело к устранению многих заблуждений, обильно встречавшихся в сочинениях древних авторов, пользовавшихся еще на заре нового времени огромным авторитетом. Поэтому вполне естественным является то, что в систематике XVIII века установился господствующий взгляд о том, что виды животных и растений неподвижны, не превращаются друг в друга.

В дальнейшем развитии систематики животных и растений большую роль сыграл Линней (1707—1778). Он установил удобную, простую номенклатуру (т. н. двойную), включающую в себя название рода и вида. В основу систематики растений он положил строение цветка: число и расположение тычинок. Все растения делились на две группы: явнобрачные и тайнобрачные (бесцветковые). Первая группа распадалась на 23 класса, вторая состояла из одного класса. Линней сам сознавал, что в основе его классификации лежит признак, не стоящий в полной и тесной связи с прочими свойствами и строением растения. Его классификация была поэтому искусственной. Однако сам Линней указал те группы растений, которые по его мнению не являлись искусственными. Тем не менее, Линней чужд был идее эволюции и утверждал, что „мы насчитываем столько видов, сколько их создало в начале божественное существо".

В зоологии Линней всех животных делил на шесть классов: млекопитающих, птиц, гадов, рыб, насекомых и червей. К последнему классу Линней отнес всех тех животных, которые не входили в предыдущие классы. Большим шагом вперед было то, что человек, как особый вид, был введен в систему животного царства и поставлен во главе отряда приматов.

Линней занимался также и систематикой минералов. Дальнейшее развитие систематики ботаники связано с работами Б. и А. Жюссье (1699—1777 и 1748—1836).

Первый из них установил деление растений на тайнобрачных и явнобрачных; последние делятся на однодольные, двудольные и хвойные. Второй из Жюссье далее разработал эту систему. Но ни Жюссье,

[1]) Сваммердам (1637—1685).

ни продолжателю их дела Декандолю (1778—1841) не удалось установить правильного взгляда на родство растений. Для этого все еще не хватало сведений по анатомии и эмбриологии растений, по фитопалеонтологии и т. д. Поэтому взгляд о неизменности видов все еще оставался непоколебленным, несмотря на то, что были защитники и противоположной точки зрения.

Идею эволюции для растительного и животного мира и родства между этими двумя царствами природы защищали, напр., Бюффон (1707—1788) и Ж.-С. Илер (1772—1844).

Напротив, распространение приобрели взгляды Кювье (1769—1832). Он был талантливым исследователем. Очень основательно изучил животное царство и пришел, между прочим, к убеждению, что соединяемые в один класс червей животные не являются одним классом, а несколькими. Особенно известен стал Кювье своими работами по изучению ископаемых форм животных. Он настолько хорошо изучил животный мир, что по отдельной кости вымершего животного восстанавливал весь его вид, всю его структуру. Сравнивая строение различных животных, Кювье положил основы сравнительной анатомии животных. На основании своих работ он не нашел единство животной организации и пришел к выводу, что все многообразие животных форм может быть сведено к нескольким основным типам строения, именно, к типам позвоночных, мягкотелых, членистых и лучеобразных.

Для объяснения же происхождения ископаемых форм, отличных от современных, он выдвинул теорию катастроф, по которой каждый период существования жизни на земле должен был заканчиваться катастрофой, уничтожавшей все живое. После каждой такой катастрофы новым творческим актом снова создавались живые существа по основным типам строения, остававшимся неизменными и как бы служившими образцами. Такой взгляд мог держаться благодаря тому, что палеонтология еще не была достаточно разработана и не были достаточно известны промежуточные формы между ныне существующими видами живых существ и между ископаемыми.

Однако развитие палеонтологии к половине XIX в. эти данные дало. К той же поре накопились богатые сведения по физиологии животных. Изобретение ахроматических линз двинуло значительно вперед микроскопические исследования и дало много новых данных о развитии растений и животных.

К тому же нужно прибавить все увеличивавшийся объем фактических знаний по систематике. Если Аристотель описал около 500 видов животных, то к 1850 году по тому же отделу животного царства, которое было описано Аристотелем, было известно уже около 100.000 видов. Число же всех известных видов животных к 1850 году достигало, примерно, 1.500.000 видов.

Только принимая во внимание этот долгий путь накопления и систематизации фактических знаний, в добывании которых участвовали различные дисциплины (в том числе и физика и химия—в лице физиологии и анатомии), мы поймем всю историческую неизбежность открытия Дарвина о происхождении и превращении видов. Помимо всех прочих знаний Дарвин привлек для своих выводов и выводы практического опыта по искусственному отбору в скотоводческих хозяйствах. Но раз установлена была идея превращения видов из одного в другой и развития животного царства от одноклеточных до сложнейших, то эта идея стала руководящей для систематики животного царства. Учение Дарвина, возникнув само из классификаций животных, явилось важным инструментом для поверки правильности

этих самых классификаций. Его учение требовало исправления классификаций там, где они не соответствовали учению об эволюции; там, где между родственными формами не хватало промежуточных звеньев, теория эволюции их предсказывала. Открытие, напр., промежуточных ископаемых форм между человеком и обезьяной было и подтверждением, и следствием теории эволюции.

Таким образом, рано ли или поздно систематизирование, обобщение, обработка фактических знаний приводит к объяснению явлений, а затем и к предсказанию.

Это еще лучше и нагляднее можно видеть на примерах из учения о неживой природе.

Систематика играла и играет большую роль также и в химии. Еще несколько столетий тому назад химики пытались располагать известные им вещества в таблицу по „сродству“, по способности к взаимным реакциям. С открытием элементов и установлением атомистической теории в современном ее виде эта же задача встала по отношению к элементам. Препятствием к успешному установлению системы элементов было, между прочим, и то обстоятельство, что не было исчерпывающего метода для определения атомного веса для всех элементов. Для некоторых элементов атомный вес определялся как кратное некоторого числа, однако не было методов, которые бы вне всякого сомнения давали бы необходимый множитель, определявший атомный вес. Поэтому до окончательного установления „естественной системы“ элементов в классификации руководствовались не только строго установленными данными, но и догадкой.

Так Деберейнер в 1829 г. указал на естественные группы таких элементов, как хлор, бром, иод; или сера, селен и теллур. В каждой такой триаде атомный вес среднего элемента есть среднее арифметическое двух других.

Особенным толчком к нахождению связи между атомным весом и свойствами элементов было развитие органической химии. В последней ее соединения могли быть расположены по „гомологическим“ рядам, при чем член каждого ряда мог рассматриваться как продукт закономерного усложнения из некоторого первоначального вещества. Взгляд на общее происхождение всех элементов из некоторого первичного вещества, именно водорода, был еще высказан Пру в 1815—16 году. Однако препятствием к проведению такой точки зрения на элементы являлось то, что атомные веса трудно было изобразить как кратные не только водорода, но даже нескольких обычно-гипотетических веществ. Такая попытка сделана была Дюма в средине XIX в.

Все более подробное изучение химических свойств элементов и их атомных весов накопляло материал для более удачных классификаций элементов. Так, Одлинг в 1864 г. опубликовал таблицу, в которой были расположены по свойствам и в зависимости от атомного веса около пятидесяти элементов.

Другие такие же попытки принадлежат Шанкуртуа (1862) и Ньюлендсу (1864). Последний расположил элементы по октавам. Однако система октав была отвергнута, так как в ней не оказалось места для вновь открытых элементов.

И лишь Менделееву в 1869 г. удалось подметить основную закономерность в зависимости между свойствами элементов и их атомными весами: свойства элементов являются периодической функцией атомных весов. Менделеев не остановился перед тем, чтобы усумниться в правильности определения атомных весов некоторых элементов и перенес их в своей системе туда, где им было место по их свойствам. В некоторых же местах системы он указал на пробелы.

Пользуясь своей таблицей элементов и на основании свойств известных элементов и их соединений, Менделеев предсказал существование и свойства трех неизвестных элементов и их соединений. Это предсказание в течение ближайших полутора десятков лет, после опубликования работы Менделеева, блестяще оправдалось, и было торжеством периодической системы.

Таким образом и здесь мы видим, что систематизация фактических знаний приводит к установлению естественной зависимости изучаемых объектов и к предсказанию и открытию еще неизвестных.

Гипотеза Пру не только устанавливала связь между атомными весами элементов, **но и объясняла** ее, считая водород первичной материей. Однако несогласие этой гипотезы с фактическими сведениями о величинах атомных весов делало ее неприемлемой. Менделеев был решительным противником идеи эволюции химических элементов. Он считал их индивидуально различными и несводимыми к какой-либо первоматерии.

Тем не менее, дальнейшее развитие физики и химии, учение о радиоактивных веществах и об электронном строении материи привело хотя и в новой форме к торжеству идеи Пру о взаимном превращении элементов и о первичной материи.

Учение о радиоактивных веществах и строении атома объяснило сущность периодической системы элементов.

Таким образом и здесь в конце концов обработка фактических знаний, их систематизация закончилась объяснением изучаемых явлений и объектов.

Еще один пример из астрономии о систематизации фактических знаний.

Уже ко времени Кеплера достаточно точно были определены расстояния планет от солнца. Сам Кеплер пытался найти закономерность между числовыми величинами этих расстояний. Другой попыткой был закон, установленный Тициусом в 1766 г. и являвшийся простым обобщением фактических данных. По этому закону расстояния планет выражались простым уравнением: $0{,}4 + 0{,}3.2^n$ (где n—числа 1, 2, 3 и т. д.) [1]. Подтверждением этой закономерности явилось открытие Урана. Но так как для случая, когда $n=3$, не оказывалось (между Марсом и Юпитером) планеты, то образовалось даже особое общество астрономов по разысканию предполагаемой и неизвестной до той поры планеты. В 1801 году такая планета была открыта Пиацци и окончательно доказана Цахом в конце того же года. После этого был открыт еще целый ряд малых планет, расположенных, примерно, на том же расстоянии [2].

Таким образом и здесь обобщение фактических знаний о расстоянии планет привело к установлению закономерности, на основе которой сделаны были предсказания и открытия.

Последний пример уже с достаточной наглядностью показывает роль математики, как средства обработки и обобщения фактов.

Именно, математика является наиболее совершенным и наиболее могучим и распространенным средством обработки и обобщения фактических знаний.

Благодаря тому, что в основе теории математики лежат самые общее свойства материи, что эти свойства проявляются во всех прочих явлениях, как бы сложны они ни были, именно это дает возможность

---

[1]) См. R. Wolf, Geschichte der Astronomie", 1877 г., стр. 683; то же у Лакур-Аппеля, Историческая физика, т. I, стр. 295.

[2]) Астероиды или малые планеты Паллада, Церера, Бручия и др.

прилагать математические операции ко всяческим явлениям. Для всех почти наук до сих пор [1]) не играл практической роли вопрос о о том, верны ли, напр., такие положения математики, как „целое больше своей части", или „сумма углов треугольника равна двум прямым" и т д., лежащие в основе математики. Эти положения, выражавшие фактические основы математики, принимались незыблемыми другими науками, и с этой точки зрения для них математика была и есть прежде всего метод счисления, метод или средство обработки и обобщения их фактических знаний.

Но отмеченное выше фактическое обоснование математики не есть, конечно, незыблемое, и основные ее положения подлежат такому же сомнению и экспериментальной проверке и изучению, как и в прочих экспериментальных науках.

Именно та часть математики, которая учит об ее основах (об основаниях арифметики, анализа, геометрии), ставит ее на-ряду с другими науками о природе и делает ее ветвью естествознания.

Но нас вданном случае интересует не вопрос о фактических основаниях самой математики (этот вопрос обширен и требует особого освещения ввиду своеобразия соотношений, встречаемых в математике), а вопрос о математике, как методе, как средстве обобщения и обработки фактических знаний.

Одним из существенных двигателей в развитии математики была именно потребность в обработке, в обобщении различных фактических знаний. Так, потребности астрономии вызвали к жизни тригонометрию, и в древности последняя считалась частью первой. Потребности торгового и иного счетоводства и учета были одной из причин развития арифметики. Землемерие создало в Египте геометрию и т. д.

Математика, как орудие счисления, вырабатывалась очень медленным и долгим путем, связанным с перипетиями всемирной истории. В настоящее время, напр., обозначение неизвестной величины через x, y или z вошло даже в разговорный язык. Однако до тех пор, пока Декартом (1596—1650 г.г.) было введено это обозначение, математика должна была проделать долгий путь развития. От счета по пальцам и на камешках медленно переходили к счету на цифрах. Самая цифровая символика потребовала многих столетий (или, вернее, тысячелетий), прежде чем она установилась в том виде, в каком она теперь существует в алгебре [2]).

Потребности счисления, особенно связанные с астрономией, вызвали еще в древне-греческий период составление первых тригонометрических таблиц, указывающих зависимость между хордой и углом (таблицы Гиппарха и Птоломея). В период средних веков и нового времени эти таблицы и сама тригонометрия были усовершенствованы. Та же потребность вычислений привела к созданию логарифмических таблиц.

Вместе с тем математика в лице арифметики, алгебры и геометрии все более развивала свои положения о зависимости изучаемых ими величин в виде теорем; совершенствовала способы своих доказательств.

Новое время ознаменовалось слиянием учения о раздельных величинах и сплошных в лице дифференциального и интегрального счислений.

---

[1]) По крайней мере до новейшего периода развития естествознания.

[2]) См. об этом, напр., Ф. Кэджори, История элементарной математики, Матезис, 1917 г. См. также очерк по истории математики в I томе Лоренца Элементы высшей математики.

Семнадцатый век был веком начала бурного роста естествознания. Накапливались все новые и новые знания о природе. В этом процессе и под влиянием его и создались дифференциальное и интегральное счисления. Исследование различных движений, их путей и скоростей, исследование всяческих процессов, выражаемых количественно, вычисление площадей и объемов криволинейных фигур и т. д., и т. п. не могло быть решено старыми средствами. Нужен был новый метод и его дал анализ.

Если дифференциальное и интегральное счисления в значительной мере создались под влиянием потребностей бурно разраставшегося естествознания, то в свою очередь, возникнув, анализ оказал колоссальное влияние на дальнейшее развитие естествознания.

Именно, анализ прежде всего дал возможность на основании немногих фактических данных, выраженных количественно, устанавливать общие законы явлений.

Так, Гаусс в конце восемнадцатого столетия показал, как на основании немногих данных вычислять орбиты планет, и его метод вскоре же был испытан и подтвержден на деле.

Приложение анализа к механике Лагранжем в конце XVIII в. подняло ее на современную высоту. Ту же благодетельную роль сыграла математика в дальнейшем в термодинамике, астрономии, электродинамике и т. д.

Если, связывая немногие фактические данные в общий закон, математика давала возможность выразить и предсказать все возможные случаи явлений, в ряду которых оказывались и наблюденные данные. то еще больший размах получило приложение математики там, где нужно было дать количественную картину мира, где на основании немногих допущений, выведенных из опыта, **объяснялся** целый отдел явлений природы.

На приведенных выше примерах уже было показано, как систематизация, обобщение и обработка фактических знаний приводят к объяснению явлений. Объяснение явлений особенно плодотворно в том случае, когда оно дает количественную картину явлений и сопровождается применением математики.

Однако теории и гипотезы, объясняющие явления и опирающиеся на математику, как средство обобщения и обработка своих данных, есть продукт лишь нового времени.

Вообще объяснение явлений возникает в человеческом обществе чрезвычайно рано. На самых первобытных стадиях развития человеческого общества фактическое знание природы сопровождается объяснением ее.

Однако чем дальше мы уходим в глубь времен, тем менее совершенны знания человека о природе и тем менее объяснения природы выражают действительные отношения. В самых ранних гипотезах наибольшее количество их содержания взято не из наблюдаемого явления, а из иной области (общественных отношений) [1]). Развитие фактических знаний заставляет, однако, отбрасывать одну гипотезу за другой, заменяя их все более совершенными, все более опирающимися на фактическое знание.

В свою очередь гипотезы, играющие малую роль в положительном развитии естествознания в древние периоды (что не мешает играть этим гипотезам существенную роль в мировоззрении, в философии своего времени), в новое время оказывают на естествознание

---

[1]) Об этом подробнее см. вторую часть статьи.

все большее и большее влияние, по мере того, как они охватывают все больший и больший запас фактических знаний.

Так, атомистическая гипотеза в древности опиралась на весьма несовершенные фактические знания и в большей части своей была умозрительной. Роль ее в древности не была господствующей. Аристотель, один из величайших естествоиспытателей древности, был противником атомистики.

Лишь накопление знаний химии к XIX столетию дало основы для современной атомистической гипотезы, и ее роль в естествознании чрезвычайно велика. Объяснив сущность кратных весовых отношений химических соединений атомным строением вещества, современная атомистическая гипотеза дала не только объяснение явлений, но руководящее орудие для понимания и предсказания их. Если мы имеем в органической химии соединения из атомов углерода (С) и водорода (Н), напр., CH_4, C_2H_6, C_3H_8 и т. д., то нам атомистическая гипотеза объясняет, почему всякое соединение такого ряда носит в общем формулу $C_n H_{2n+2}$ и предсказывает, пользуясь всем запасом химических знаний, все свойства еще не открытых соединений. Представление о пространственном расположении атомов объясняет нам, почему из одного и того же числа атомов могут быть образованы различные соединения и т. д. В десятках тысяч случаев атомистическая гипотеза служила и служит в химии руководящим орудием исследования, и при посредстве ее сделано огромнейшее количество предсказаний и открытий. История химии с начала XIX столетия есть история торжества атомистической теории [1]).

Приложение атомистической гипотезы к газам выразилось в кинетической теории газов. Эта теория, исходя лишь из представления о том, что газ состоит из отдельных частиц, движущихся по законам механики, объяснила как найденные ранее опытно закономерности, так и предсказала и объяснила ряд новых.

Так, напр., Максвеллом, одним из творцов кинетической теории, было предсказано, что так называемые внутреннее трение и теплопроводность газов не должны зависеть от давления. Это положение в дальнейшем было блестяще подтверждено опытом.

Как атомистическая теория в химии, так и кинетическая теория в физике служила и служит руководящим орудием в дальнейших исследованиях.

Точно так же, как атомистическое воззрение в химии и в физике, в астрономии оказала свое влияние теория тяготения Ньютона. Объяснив движение планет всемирным тяготением и осветив найденные наблюдением законы Кеплера, эта теория сделалась руководящим орудием в дальнейших исследованиях в руках астрономов и привела к ряду открытий. Одним из наиболее ярких открытий, предсказанных этой теорией, является открытие планеты Нептуна.

Изучение движения открытого Гершелем Урана показало, что это движение не подчиняется выводам, получаемым из закона тяготения. Нужно было или допустить неправильность этого закона, подтвержденного на множестве примеров, или допустить существование еще неизвестной тяготеющей массы, производящей отклонение в движении Урана. Адамсом в 1845 г. и Леверрье в 1846 году на основании такого допущения были произведены вычисления и указано было местонахождение на небе предполагаемой планеты. И действительно, примерно на указанном месте была открыта планета, очень

[1]) См., напр., Ладенбург „История химии от Лавуазье до нашего времени", Матезис, 1917 года.

медленно движущаяся (период обращения 165 лет) и ранее принимавшаяся за неподвижную звезду.

Во всех приведенных случаях математика играет роль могучего орудия.

Рассмотренные примеры говорят о положительном влиянии теорий и гипотез на развитие естествознания. Но не всегда это влияние бывает положительным. Раз возникнув, та или иная теория или гипотеза имеет стремление в лице своих приверженцев сохранять свое значение и тогда, когда она его уже не имеет. Причиной такого обстоятельства является то, что никакая теория или гипотеза не является полным и точным отражением действительно существующих отношений. Всегда между теорией и гипотезой и действительностью существует некоторое несоответствие. И именно в этом несоответствии объяснений природы наблюдаемым явлениям и кроется основное имманентное противоречие естествознания. И на основе этого противоречия и получается то обстоятельство, что теория или гипотеза, некогда игравшая роль положительного фактора в развитии науки, превращается в оковы этого развития.

Так, несомненно, в древности положительным достижением было объяснение движения планет, луны и солнца, как движения вокруг земли. По мере накопления фактических знаний эта геоцентрическая гипотеза получала все большие поправки.

Так, сначала полагали, что планеты движутся по кругам, в центре которых находится земля. В дальнейшем наблюдение неравномерности движения планет привело к допущению, что по кругу движутся не самые планеты, а центры кругов, по которым движутся планеты. Еще лучшие наблюдения заставили допустить, что земля находится не в центре, а эксцентрично и т. д., пока геоцентрическая теория не обросла целым рядом весьма ее усложнивших поправок и допущений. Переход к гелиоцентрической системе разрешил создавшееся противоречие. Но этот переход не произошел безболезненно, а в процессе жестокой борьбы [1]. И в этот период борьбы роль геоцентрической теории была уже не положительной, а отрицательной, она уже не способствовала развитию астрономии, а тормозила его.

То же мы имеем с другими теориями и гипотезами. Рано или поздно из положительных факторов они превращаются в оковы для развития естествознания и заменяются новыми. Но каждая такая замена не есть новая постройка на пустом месте. Наоборот, каждая новая теория включает в себя все положительное из старой и является лучшим и более точным отражением действительных отношений, чем прежняя теория или гипотеза.

Но если, таким образом, мы все более приближаемся к правильному пониманию и объяснению явлений природы, то все же между действительно существующими явлениями и нашим знанием о них, ввиду несовершенства наших орудий познания (и в первую очередь средств исследования), имеется некоторое несоответствие. Это-то несоответствие и дает возможность существованию в одно и то же время различных теорий и гипотез, объясняющих одни и те же явления. Противоречие между нашим знанием и действительностью, противоречие в смысле несовершенства знания, выражается в борьбе различных теорий и гипотез. И эта борьба есть основной двигатель в развитии естествознания как такового.

---

[1] Джордано Бруно, приверженец Коперниканской теории, был сожжен на костре в 1600 году. Галилей подвергся гонению и принужден был публично отречься от Коперниканской теории.

Развитие средств исследования ведет к накоплению фактических знаний; накопление же последних все больше и больше вскрывает несовершенство наших теорий и гипотез. Последние в лице своих приверженцев борются между собой, и таким образом выковывается все более совершенное знание.

Вот несколько примеров на эту тему из истории естествознания.

В древности явление света объясняли истечением маленьких телец, вылетающих из светящихся и видимых тел. Так смотрел, напр., Демокрит и ряд других древних философов.

Этот взгляд в дальнейшем в видоизмененном виде был положен в основу гипотезы, объясняющей явления света, Ньютоном. Последний (во второй половине XVII в.) полагал, что светящиеся тела испускают особые частицы различных размеров, которые, попадая в глаз, и производят ощущение света и цветов. Преломление и отражение света Ньютон объяснял частью притяжением, частью отталкиванием световых частиц частицами преломляющего или отражающего тела. Совершенствуя свою гипотезу и вводя различные другие допущения, Ньютону удавалось объяснять те оптические явления, которые были известны в его время.

Почти в то же время (в 1665 г.) в работах Гримальди и Гука защищалась иная гипотеза объяснения световых явлений—волнообразная. Борьба между этими двумя объяснениями продолжалась почти до половины XIX века.

Противниками теории истечения Ньютона были Гюйгенс, Эйлер, Йонг, Френель и многие другие видные ученые. И, однако, лишь большое число опытов и огромное накопление фактических знаний о световых явлениях, произведенные в процессе борьбы этих двух гипотез, привели в конце концов к победе волновой теории света, как находящейся в большем соответствии с опытными данными.

Именно недостаточность гипотезы истечения для объяснения явлений интерференции и диффракции было самой общей причиной ее падения. Предсказание же гипотезы истечения, что скорость света в преломляющих средах (вода, стекло) должна быть больше, чем в пустоте или воздухе, оказавшееся совершенно противоречившим фактам, доказанным в опыте Фуко с определением скорости распространения света в воде (в 1854 г.), было завершением окончательного поражения гипотезы Ньютона.

Во второй половине XIX в. и волнообразная теория Гюйгенса и других была значительно изменена, и в данное время учение о квантах приводит до некоторой степени к синтезу волнообразной теории с теорией истечения.

В области химии одним из ярких примеров борьбы различных гипотез является борьба флогистонной и кислородной гипотез объяснения явлений горения и окисления.

Как и в предыдущем случае, так и здесь господствовавшая гипотеза была в непосредственном родстве с древними взглядами. В древности полагали (Гераклит, Зенон и др.), что одной из первопричин всего сущего является огненная материя. Вместе с другими первоначалами (обычно—воздухом, водой и землей) эта огненная материя образует все сущее. Превращения сущего—это или соединение, или разделение первоначал.

Алхимики в соответствии с этими взглядами и в зависимости от них полагали, что одной из составных частей химических веществ является „флогистон“, т.-е. по-русски „горящий“, и обозначали этим именем огненную материю.

В виде определенной гипотезы это представление было выска-

зано в 1669 году. Непосредственный ученик и последователь основателя флогистонной гипотезы Бехера—Сталь (1660—1734) таким образом объяснял явления горения и окисления: когда вещество горит, оно выделяет флогистон; когда же образованный таким образом окисел (по теперешней номенклатуре) накаливается с углем, веществом, богатым флогистоном, то происходит передача флогистона окислу.

Итак, напр., металл—элемент по теперешним взглядам,—представителями флогистонной гипотезы считался за сложное вещество, а окисел—наоборот, за простое. То же с углеродом, серой и т. д.

Но именно потому, что представители флогистонной гипотезы сумели понять, что и горение, напр., дерева, и окисление металла есть по существу один и тот же процесс, и сумели объяснить это явление, именно это укрепило их гипотезу, и потребовались долгие годы борьбы противоположной точки зрения, чтобы ее свергнуть.

Торжеству флогистонной гипотезы не помешало и то обстоятельство, что с давних пор были указания на том, что продукт окисления или горения тяжелее исходного продукта.

Так, даже еще в VIII в. на это указывал Гебер. В 1630 г. вышла книга Ж. Рэя, который уже высказал взгляд, что увеличение веса при горении или окислении происходит за счет воздуха.

Ту же точку зрения в дальнейшем защищали Р. Гук (1665 г.) и затем Мейо (1674 г.). Последний уже указал на основании опытов, что воздух содержит особую составную часть, обусловливающую горение и т. д.

Однако флогистонная гипотеза приспособлялась к новым фактам введением различных допущений и в том числе введением допущения, что флогистон легче воздуха или даже имеет отрицательный вес. Такие взгляды господствовали еще в 1772 г., когда Лавуазье начал публиковать свои обстоятельные исследования в области газов. Лавуазье основательно изучил химию, а главное, применил новый метод количественного исследования посредством применения весов. Ему последовательно удалось показать образование углекислого газа при горении и окислении, показать, что продукты горения и окисления тяжелее исходных, что при этом участвует воздух, и в конце концов открыть кислород, как вещество, химическая деятельность которого обусловливала рассматриваемые явления. В течение двадцати лет Лавуазье вел энергичную борьбу против флогистонной гипотезы, прежде чем началось признание нового взгляда на явления горения. Большое значение в успехах Лавуазье по свержению флогистонной гипотезы играли его замечательные открытия в других областях химии и других науках.

Существенное значение, конечно, имела и та общественная предреволюционная атмосфера, в которой работал Лавуазье.

Чтобы закончить примеры о борьбе гипотез и теорий, укажу еще на происходящую сейчас борьбу между старой механикой Ньютона и новой, основанной на теории относительности. На страницах этого журнала достаточно писалось о том, насколько ожесточенно происходит эта борьба научных теорий, и как она переплетается с общественной борьбой классов.

Здесь мы переходим естественно к вопросу о зависимости развития естествознания от развития производительных сил и борьбы классов общества. Этому посвящается вторая половина этой статьи. Здесь же необходимо отметить еще следующее.

Рассмотренные вкратце случаи борьбы теорий и гипотез не есть случайные факты. Выше уже было отмечено, что на основе несовер-

шенства нашего знания зиждется основное присущее естествознанию, как таковому, противоречие, движущее его вперед.

Именно всякая теория и гипотеза рождается, живет и погибает в процессе борьбы. Борьба и для развития естествознания есть самая характерная черта. Все наши знания накоплены не только в борьбе с природой, как всегда и везде отмечается, но и в борьбе, происходящей в пределах самого естествознания.

Именно вот этот факт недостаточно освещается буржуазными историками естествознания. Вообще говоря, они наибольшее количество правильных мыслей и выводов высказывают, описывая имманентное развитие естествознания. Именно этому имманентному развитию и посвящаются все их труды по истории естествознания, в чем легко убедиться, перелистав хотя бы десяток-другой написанных ими историй естествознания. Но как только они переходят к вопросам, связанным с борьбой в области естествознания, тесно связанной с классовой борьбой и последней обусловленной, так начинается их грехопадение. Именно здесь, в описании борьбы, истории естествознания полны заблуждений и ошибок...

Чтобы подытожить произведенный выше анализ, посмотрим, к каким результатам внутри самого естествознания приводит очерченное выше развитие, и сделаем некоторые выводы.

Влияние развития естествознания на его строение и метод.

Выше было указано о классификации естественнонаучных дисциплин. Деление естествознания на отдельные дисциплины прежде всего вызывается практической потребностью разделения труда. Однако среди ученых представителей отдельных дисциплин весьма часто распространен взгляд, рассматривающий отдельные дисциплины как нечто резко и раз-на-всегда между собой разграниченное. Такое заблуждение обусловливается прежде всего непониманием происхождения и содержания отдельных дисциплин. В этом обстоятельстве проявляется своеобразный цеховой фетишизм ученых, свято охраняющих границы доставшейся им по наследству классификации естествознания.

В действительности таких постоянных и резко выраженных границ между отдельными естественно-научными дисциплинами нет. Их нет, во-первых, потому, что отдельные научные дисциплины как бы взаимно проникают друг друга. Химия в себе содержит многое, взятое из физики, физика—из математики, физиология—из химии и физики и т. д., и т. п. Каждая дисциплина есть в сущности продукт совместной работы различных дисциплин.

С другой стороны, между естественно-научными дисциплинами потому нет строгой границы, что эта граница все время подвижна: каждое новое крупное исследование грозит или уничтожить, или переместить границу между дисциплинами, или создать новую дисциплину.

Так, применение физических методов исследования к химии создало новую дисциплину, сделавшуюся мостом между физикой и химией,—физическую химию. Применение спектроскопа в астрономических исследованиях создало особую отрасль астрономии—астроспектроскопию. Точно также применение физических и химических средств исследования в биологии создало физиологию.

Такую же роль в создании новых дисциплин и в изменении классификации естествознания, какую играют средства исследования, играют и теории.

Так, электронная теория объяснила не только множество физических явлений, но и положила фундамент под химию, и таким образом сделала физику и химию как бы частями одного общего целого. Развитие теории относительности уничтожает границу между математикой (геометрией) и физикой, делая первую как бы ветвью второй, и т. д.

Точно также развитие вспомогательных методов—средств обработки и обобщения—меняет строение естествознания. Так, напр., применение статистического метода в механике астрономии создало статистическую механику и астрономию.

Указанное развитие не только изменяет весь строй естествознания, а также вскрывает единство естествознания, как учения о природе.

А. Максимов.

(*Окончание следует*).

Империализм и накопление капитала.

Вопрос об империализме есть одновременно и практический, и теоретический вопрос. Немудрено, что он привлекает к себе внимание и пролетарских, и буржуазных теоретиков. Понимание движущих сил современного капитализма, специфических методов его экспансии (расширения), роста его внутренних противоречий и т. д. есть непременная предпосылка для его теоретической критики, которая в руках пролетариата из оружия критики рано или поздно неизбежно переходит в критику оружием. В связи с теорией империализма находится и теория капиталистического крушения, а, следовательно, и взгляд на перспективы социалистической революции, правда, в наиболее абстрактной, алгебраической форме, которую каждый раз нужно уметь арифметически расшифровать, чтобы не наделать практических ошибок. Таким образом весь круг соответствующих теоретических вопросов имеет огромное практическое значение для борющегося пролетариата.

ГЛАВА I.

Расширенное воспроизводство в абстрактном капиталистическом обществе.

Маркс, как известно, наметил крупными штрихами ход всего общественного воспроизводства, исходя из целого ряда упрощающих дело предпосылок: капитализм при наличии только двух классов, при отсутствии внешних рынков, при условии равенства ценности и цены и т. д. Как возможно подвижное равновесие растущей капиталистической системы?—так был поставлен Марксом вопрос. В общем и целом это **наиболее абстрактное** (наиболее „теоретическое“) решение сводится к следующему:

пусть совокупный общественный капитал $= c + v$
приб. ценность . . . . . $= m$

Ценность всего продукта (при предположении, что постоянный капитал снашивается целиком в продолжение одного оборота, или, что не меняет дела, при условии, что c равняется только потребляемой части пост. капитала) будет тогда $= (c + v + m)$.

Этот продукт (и соответственно весь процесс общественного производства) распадается на два крупных подразделения: средства производства и средства потребления. Вводим соответствующие обозначения. Получаем:

A (производство средств производства) . . . . $c_1 + v_1 + m_1$
B (производство предметов потребления) . . . $c_2 + v_2 + m_2$

Если пред нами было бы простое воспроизводство, т.-е. если бы капиталисты проматывали всю прибавочную ценность m, равную $(m_1 + m_2)$, то условием правильного хода воспроизводства были бы следующие равенства:

1. Так как совокупный продукт подразделения A состоит сплошь из средств производства (машин, сырья и т. д.), которые не могут входить в индивидуальное потребление (их нельзя ни есть, ни надевать в виде костюма, ни дарить „прекрасному полу“), то они должны целиком уйти на возмещение постоянного капитала $c = (c_1 + c_2)$. Отсюда: $c_1 + v_1 + m_1 = c_1 + c_2$.

2. Так как совокупный продукт подразделения B состоит сплошь из предметов потребления, то ни одной частицы его нельзя употребить в качестве сырья или машин; он поэтому должен целиком быть „съеден“ рабочими и капиталистами обоих подразделений. Отсюда: $c_2 + v_2 + m_2 = v_1 + v_2 + m_1 + m_2$.

3. Так как первое подразделение само воспроизводит свой постоянный капитал (c_1) и должно заместить вещественную форму $(v_1 + m_1)$ „съедобной“ формой; так как, с другой стороны, второе подразделение само производит в натуральной форме элементы своего переменного капитала и прибавочную ценность капиталистов подразделения B и должно заместить вещественную форму c_2, то для правильного хода воспроизводства должно быть равенство подлежащих обмену частей. Отсюда: $c_2 = v_1 + m_1$.

Нетрудно видеть, что наши три равенства, в сущности, сводятся к одному. Вычитая в первом из обеих частей по c_1, а во втором по сумме $(v_2 + m_2)$, мы получаем наше третье равенство: $c_2 = v_1 + m_1$.

Это и есть условие гладкого хода при простом воспроизводстве: сумма доходов в первом подразделении должна быть равна постоянному капиталу во втором подразделении. Если это условие на-лицо, тогда в подразделении A мы имеем: произведенный in natura постоянный капитал, который остается в рамках этого же подразделения; переменный капитал, воспроизведенный в неподходящей форме, меняет костюм и может, вкупе и влюбе с постоянным капиталом, функционировать дальше; прибавочная ценность, сменив белье, исчезает бесследно, воспроизводя лишь живых персональных носителей и командиров своего подразделения.

В подразделении B мы имеем: произведенную в удобной форме прибавочную ценность, которая, не выходя за околицу этого подраз-

деления, ублажает своего хозяина и исчезает в недрах его аппетита: переменный капитал имеется в форме, которая позволяет ему превращаться в рабочую силу, не выходя за границы своего подразделения; постоянный капитал соединяется с переменным, лишь сменив свою вещественную мягкую потребительскую кожу на жесткую машинную. Таким образом и здесь производство может итти дальше, чтобы снова повторить тот же самый замкнутый круг.

Гораздо сложнее обстоит дело с *расширенным* воспроизводством, когда часть прибавочной ценности присоединяется к капиталу и начинает функционировать как капитал, когда воспроизводство идет не „по кругу, а по спирали“ (Маркс).

Предположим, что

$m_1 = \alpha_1$ (часть, идущая на личное потребление капиталистов) + β_1 (капитализируемая часть приб. ценности).

Соответственно

$$m_2 = \alpha_2 + \beta_2.$$

Предположим далее, что

$\beta_1 = \beta_{1c}$ (часть, подлежащая накоплению, как часть постоянного капитала) + β_{1v} (часть, подлеж. накоплению, как часть переменного капитала).

Соответственно

$$\beta_2 = \beta_{2c} + \beta_{2v}.$$

Общая формула продукта обоих подразделений примет тогда такой вид:

$$\frac{A \ldots \boxed{c_1 + v_1 + \alpha_1} + \overbrace{\beta_{1c} + \beta_{1v}}^{\beta_1}}{B \ldots c_2 + v_2 + \alpha_2 + \underbrace{\beta_{2c} + \beta_{2v}}_{\beta_2}}.$$

В нашем четырехугольнике замкнута, как легко видеть, проблема *простого* воспроизводства, которая уже решена выше [для этого нужно было бы, согласно предыдущему, чтобы c_2 равнялось $(v_1 + \alpha_1)$]. Следовательно, трудность возникает из-за *новых* величин, стоящих *за* пределами четырехугольника.

Что они представляют из себя? β_1 по своей *ценности* представляет ту часть прибавочной ценности, которая подлежит накоплению; по своей *вещественной* форме, т.-е. по своей *потребительной* ценности она является грудой разнообразнейших средств производства, машин, сырья, вспомогательных материалов и т. д.

Эта часть, однако, по правилу, не присоединяется к капиталу *в одной* форме, т.-е. либо в форме только переменного, либо в форме только постоянного капитала; она *разбивается* на две части, в определенной пропорции, в связи с органическим составом капи-

тала. β_{1c}, т.-е. часть, присоединяемая к постоянному капиталу, произведена в подходящей натуральной форме и поэтому она остается в подразделении A, не покидая его ни на минуту; наоборот, β_{1v} не может функционировать, как элемент переменного капитала, ибо носит на себе железную рубашку средств производства, а, следовательно, подлежит обмену на соответствующие продукты второго подразделения. β_{1v} должна таким образом бежать с места своего рождения.

β_{2v} произведена в такой форме, что может составить элемент добавочного переменного капитала во II подразделении и поэтому остается in natura на своей родине, т.-е. в том же самом подразделении; наоборот, β_{2c} имеет вещественную форму, которая делает технически невозможным функционирование этой части прибавочной ценности, как добавочного постоянного капитала. Поэтому β_{2c} должна быть обменена и перемениться костюмом с β_{1v}. Следовательно, в ценностном отношении β_{2c} должна равняться β_{1v}.

Итак. Поскольку мы имеем перед собой расширенное воспроизводство, постольку помимо условий равновесия, необходимых с точки зрения простого воспроизводства, распадение подлежащей накоплению прибавочной ценности в первом и втором подразделении должно совершаться в такой пропорции, чтобы добавочный переменный капитал первого подразделения был равен добавочному постоянному капиталу второго подразделения.

В целом относительно формулы расширенного воспроизводства мы будем иметь три, сводимых к одному, равенства, которые аналогичны трем равенствам простого воспроизводства.

1. Весь продукт подразделения A (средства производства) ни в одной своей части не может быть непосредственно употреблен, как доход. Следовательно, он должен равняться сумме постоянных капиталов обоих подразделений (вместе с добавочными постоянными капиталами). Для удобства сличения пишем одну сумму под другой.

$$\begin{aligned} &\text{Сумма средства производства (весь продукт подразделения } A) \ldots = c_1 + \boxed{v_1 + \alpha_1} + \beta_{1c} + \boxed{\beta_{1v}} \\ &\text{Сумма всех постоянных капиталов} \ldots = c_1 + \boxed{c_2} + \beta_{1c} + \boxed{\beta_{2c}} \end{aligned}$$

Легко видеть, что равенство это предполагает равенство внутри величин, заключенных в четырехугольники, при чем первый четырехугольник—это условие простого воспроизводства, второй—добавочное условие воспроизводства расширенного. Оба они сводимы, в свою очередь, к равенству: $v_1 + \alpha_1 + \beta_{1v} = c_2 + \beta_{2c}$.

2. Весь продукт подразделения B ни в одной своей части не может непосредственно, т.-е. в натуральной своей форме, быть употреблен, как постоянный капитал. Следовательно, он должен рав-

няться сумме всех доходов (включая и добавочный переменный капитал, превращающийся в доход добавочных рабочих) [1].

Сумма всех средств потребления (весь продукт подразд. B) . . . . . $= c_2 + v_2 + a_2 + \beta_{2c} + \beta_{2v}$

Сумма всех доходов (заработных плат и индивидуально потребляемой прибавочной ценности) . . . . $= v_1 + a_1 + v_2 + a_2 + \beta_{1v} + \beta_{2v}$

Легко видеть, что это равенство сводимо к тому же равенству, которое мы вывели выше, а именно: $c_2 + \beta_{2c} = v_1 + a_1 + \beta_{1v}$.

3. Это же равенство мы могли получить и непосредственно.

Напомним еще раз схему.

$$A.\quad c_1 + v_1 + a_1 + \beta_{1c} + \beta_{1v}$$

$$B.\quad c_2 + v_2 + a_2 + \beta_{2c} + \beta_{2v}$$

В первом ряду может остаться, в силу своей натуральной формы, которая соответствует необходимой экономической функции $(c_1 + \beta_{1c})$; наоборот, $\left[(v_1 + a_1) + \beta_{1v}\right]$ должно быть обменено. На что? На то, что не может из-за своей вещественной формы функционировать во II подразделении. Это—$(c_2 + \beta_{2c})$. Отсюда равенство: $(c_2 + \beta_{2c}) = (v_1 + a_1 + \beta_{1v})$. Это равенство лучше теперь выразить так: $(v_1 + \beta_{1v} + a_1) = (c_2 + \beta_{2c})$. Другими словами: весь новый переменный капитал I подразделения и подлежащая непроизводительному потреблению часть прибавочной ценности того же подразделения должны равняться новому постоянному капиталу второго подразделения.

Таким образом положение дел в I подразделении (A) приняло следующий вид: к постоянному капиталу c_1 непосредственно присоединилась, т.-е. присоединилась, не выходя из границ подразделения A, новая добавочная величина β_{1c}. Следовательно, постоянный капитал вырос: он был равен c_1, теперь он—$(c_1 + \beta_{1c})$. Переменный капитал получился путем воспроизводства старого переменного капитала v, который может функционировать, лишь сменив предварительно свою вещественную оболочку; он это делает вместе с „проедаемой“ прибавочной ценностью; $(v_1 + a_1)$ меняются местами с c_2.

Кроме того, появился путем обмена с подразделением B добавочный переменный капитал. Таким образом переменный капитал вырос с v_1 до $(v_1 + \beta_{1v})$. Часть прибавочной ценности, подлежащая „съедению“, после того, как она приняла соответствующую

[1] Или в добавочную зарплату старых, которые должны в таком случае выжимать из себя большую сумму простого труда, будь это в форме интенсификации труда, удлинения рабочего дня или повышения квалификации рабочей силы и труда.

форму, т.-е. прогулялась по полям II подразделения, выпала из процесса воспроизводства: она воспроизвела лишь капиталистов I подразделения. Итак, новый кругооборот начинается в подразделении *A* с увеличенным постоянным и увеличенным переменным капиталом.

То же происходит и во II подразделении. Постоянный капитал здесь воспроизвелся по ценности, но должен был переменить свою форму; кроме того, к нему присоединилась—тоже переменившая свою вещественную оболочку—добавочная ценность β_{2c}. Таким образом постоянный капитал вырос с c_2 до $(c_2+\beta_{2c})$; переменный капитал вырос с v_2 до $(v_2+\beta_{2v})$, при чем обе части нового переменного капитала не нуждались в маскараде [1]). Наконец, прибавочная ценность, в той ее части, которая подлежала „проеданию", не меняет своей формы, выпала из процесса воспроизводства, воспроизведя лишь носителей капитала во втором подразделении. Итак, и здесь новый кругооборот начинается с возросшим постоянным и возросшим переменным капиталом.

В следующем периоде воспроизведется старый капитал, увеличится (впервые) потребляемая непроизводительно часть прибавочной ценности, еще больше увеличится аккумулируемая ее часть и так далее.

Другими словами: растет постоянный капитал общества; растет потребление рабочих; растет потребление капиталистов (все мы берем в ценностях); в какой пропорции происходит этот рост различных упомянутых ценностных величин—в данной связи мы далее не анализируем: этот вопрос подлежит особому разрешению. Здесь важно еще бегло отметить следующие обстоятельства: на-ряду с ростом производства растет и рынок этого производства: увеличивается рынок средств производства, растет и потребительный спрос (так как—в абсолютных числах—увеличивается и потребление капиталистов, и потребление рабочих). Другими словами, здесь дана возможность равновесия между различными частями совокупного общественного производства—с одной стороны, возможность равновесия между производством и потреблением—с другой. При этом равновесие между производством и потреблением само обусловлено производственным равновесием, т.-е. равновесием между различными частями функционирующего капитала и различными его отраслями.

В вышеприведенном анализе мы пока отвлекаемся от ряда существеннейших, специфически-капиталистических моментов, напр., от денежного обращения. Это было бы абсолютно недопустимо, если бы мы вечно оставались на данной, наиболее абстрактной, ступени анализа. Ошибка школы Рикардо, а затем Сэя, как раз и состояла в том, что они возвели в догмат положение, будто продукт

1) Маскарад, в сущности, происходит, но в пределах отдельных меновых актов (в пределах II подразделения).

меняется на продукт, а деньги являются „медиумом“ — и только „медиумом“—в этой сделке, а не „существенной и необходимой формой бытия товара, который должен проявить себя, как меновая ценность, как всеобщий общественный труд“ [1]). Отсюда ряд грубейших ошибок, отсюда отрицание капиталистических противоречий, а затем и прямая апология капиталистического режима, апология, которая хочет „научно отбрехаться“ („wegräsonnieren“, как выражается Маркс) от кризисов, перепроизводства, нищеты масс и т. п. „Никогда не следует позабывать, что при капиталистическом производстве речь идет не непосредственно о потребительной ценности, а о ценности меновой, и особенно об увеличении прибавочной ценности“ [2]). А так как движение капитала сопровождается и такой его фазой, когда он выступает, как денежный капитал, то, совершенно естественно, нельзя ни на минуту позабывать об этом. Но это вовсе не значит, что мы не имеем права временно выключить вопрос о деньгах, как мы сделали это выше, разобрав процесс воспроизводства и с точки зрения возмещения и возрастания ценности, и с точки зрения возмещения и превращения материальной формы элементов капитала. Если бы этот анализ показал, что воспроизводство или расширенное воспроизводство вообще невозможно, то оно было бы тем более невозможно при включении денежного момента. Если он—как это получилось у нас,—показывает, как возможно расширенное воспроизводство, то требуется дальнейший анализ, следующая, более конкретная, ступень теоретической абстракции.

Такой метод мы применяем еще и потому, что тов. Роза Люксембург в своей критике марксовой теории накопления постоянно перепрыгивает с одного „критического“ мотива на другой, при чем одна линия „критики“ развивается в связи с денежным моментом, другая—вне этой связи, а обе они находятся в подчас причудливом „органическом сплетении“.

Мы разберем сперва наиболее абстрактную аргументацию тов. Р. Люксембург. Это тем более целесообразно, что у самой Розы Люксембург мы находим следующие строки:

> Анализ Маркса пострадал, — пишет автор „Накопления капитала“,—между прочим, от того, что он (Маркс. *Н. Б.*) пытался разрешить проблему, неправильно поставив ее форме вопроса о „денежных источниках“. На самом деле, речь идет о фактическом спросе, о сбыте товаров, а не об источниках денег для их оплаты. Относительно денег, как посредника обращения, мы должны здесь, при рассмотрении процесса воспроизводства, взятого в целом, принять, что капиталистическое общество всегда имеет в своем распоряжении такое количество денег, которое необходимо для его процесса обращения, или что оно умеет создавать для

[1]) Marx, Theorien über den Mehrwert, II², S. 275.
[2]) Ibid., 266.

этой цели суррогаты. Что подлежит объяснению, так это те крупные общественные акты обмена, которые вызываются реальными экономическими потребностями. То обстоятельство, что капиталистическая прибавочная стоимость, прежде чем подвергнуться накоплению, должна безусловно пройти через денежную форму, не может быть оставлено без внимания. Однако мы отыскиваем экономический спрос на прибавочный продукт, не интересуясь при этом вопросом о происхождении денег. Ибо, как говорит в другом месте сам Маркс, „деньги на одной стороне вызывают при этом расширенное воспроизводство на другой стороне, потому что возможность его имеется уже без денег, которые сами по себе не составляют элементов действительного воспроизводства" (Капитал, т. II, стр. 480) [1]).

Итак, **пока** мы оставим вопрос о деньгах, с согласия „критика", в стороне.

Тов. Р. Л. выдвигает в этих пределах своей критики такой аргумент. Схемы—чисто бумажная операция. Они упускают существеннейший вопрос, а именно: **для кого** производится расширенное производство, **кто** является потребителем накопляемой прибавочной ценности, **куда** можно сбыть этот излишек. Сама она считает, что в пределах капиталистической схемы таких покупателей нет и быть не может. Отсюда вывод: капитализм не может существовать вне „некапиталистического окружения". „Третьи лица" наших народников, Сисмонди, Мальтуса и К-о должны притти на помощь „абстрактному капитализму" в трудном деле реализации прибавочной ценности. А для конкретного капитализма это означает империалистскую политику. Таков основной корень империализма.

Но не будем забегать вперед и присмотримся более внимательно к критическому анализу тов. Люксембург.

В самом „Накоплении капитала" одним из центральных мест, которое увязывает в один узел основные критические мысли автора, является нижеследующее место, которое мы должны процитировать целиком (объектом рассмотрения берутся у Розы Люксембург схемы II тома „Капитала" [2]). Итак, слово принадлежит автору „Накопления":

> Капитализированная часть прибавочной стоимости, соответственно с предположением Маркса в I томе „Капитала", появляется на свет сразу в виде дополнительных средств производства и средств существования рабочих (в наших схемах $\beta_{1c}+\beta_{1v}$ и $\beta_{2c}+\beta_{2v}$. *Н. Б.*). И то и другое служит для все большего расширения производства в подразделениях I и II. **Для кого** (наш курсив. *Н. Б.*) происходит это прогрессирующее расширение производства—это на основании предпосылок марксовой схемы определить невозможно (!). Правда (поистине замечательно это „правда"! *Н. Б.*), одновременно с производством расширяется и потребление общества: повышается потребление

---

[1]) Р. Люксембург, Накопление капитала, т.т. I и II, 2-е изд., Гиз, стр. 145.

[2]) Мы брали вместо арифметических примеров алгебраические, т. к. арифметические цифры имеют свою арифметическую логику, которая подчас создает трудности, не вытекающие из существа дела и затемняющие основные вопросы.

капиталистов..., повышается и потребление рабочих... И тем не менее, если оставить в стороне все прочее (?), возрастающее потребление класса капиталистов, во всяком случае, не может быть рассматриваемо, как цель накопления; наоборот, поскольку потребление имеет место и растет, накопление не происходит, личное потребление капиталистов подходит под точку зрения простого воспроизводства. Спрашивается, для кого же капиталисты производят, когда и поскольку они не потребляют, а проявляют „подвиги воздержания", т.-е. накопляют? Еще меньше может быть целью накопления капитала содержание все возрастающей армии рабочих. Потребление рабочих с капиталистической точки зрения является следствием накопления и ни в коем случае не его целью и предпосылкой; в противном случае основы капиталистического производства были бы поставлены на голову. Во всяком случае рабочие могут потребить только часть продукта, соответствующую их переменному капиталу, и ни на йоту больше. Итак, кто реализует постоянно возрастающую прибавочную стоимость? Схема отвечает: сами капиталисты, и только они. Что же они делают со своей возрастающей прибавочной стоимостью? Схема отвечает: они употребляют ее для все возрастающего расширения своего производства. Эти капиталисты являются, стало быть, фанатиками расширения производства ради расширения производства. Они строят новые машины, чтобы ими опять-таки строить новые машины. То, к чему мы таким образом приходим, является не накоплением капитала, а расширяющимся производством средств производства без всякой цели; и только смелости и любви Туган-Барановского к парадоксам свойственно принимать эту неустанно вращающуюся в пустом пространстве карусель за верное теоретическое отражение капиталистической деятельности и за действительный вывод из марксова учения [1]).

В этом отрывке сконцентрировано и „накоплено" так много ошибок и противоречий (отнюдь не диалектических), что разбор их делается настоятельно необходимым.

Пункт I. Прежде всего, можно ли ставить вопрос с точки зрения субъективной (хотя бы и субъективно классовой) цели? Что это за телеология в общественной науке? Ясно, что сама постановка вопроса методологически неправильна (если только перед нами серьезная формулировка, а не метафорический оборот речи). В самом деле. Возьмем такой, признаваемый и т. Розой Люксембург, экономический закон, как закон падения нормы прибыли. „Для кого", т.-е. в чьих интересах, происходит это падение? Вопрос явно нелеп. Его нельзя ставить. Ибо понятие цели здесь заранее исключено. Отдельный капиталист стремится получить дифференциальную прибыль (и иногда ее получает), другие его догоняют, а в результате мы имеем общественный факт—падение нормы прибыли. Таким образом здесь т. Р. Л. сходит с рельсов марксистской методологии, отступая назад от строгих контуров марксова анализа.

Пункт II. Сформулировав вопрос („для кого") и предвкушая при

[1]) „Накопл. капитала", т. I, стр. 339.

этом отрицательный ответ („не для кого“), тов. Л. тотчас же вслед за этим, „просто так“, en passant, замечает: правда, при этом расширяется потребление и капиталистов и рабочих; „при этом“ товарищу Розе Люксембург и невдомек, что тем самым она указывает, для „кого“ расширяется производство. Ибо ее вопрос, заданный в субъективной форме и потому с точки зрения анализа объективных связей капиталистического производства бессмысленный, имеет смысл лишь в объективной формулировке. А именно. Всякая растущая общественная система, в какой бы историко-экономической обстановке она ни существовала, какие бы противоречия она ни развивала, какими бы мотивами ни руководствовались в своей хозяйственной деятельности ее агенты, предполагает совершенно объективную (хотя бы и не прямую) связь между производством и потреблением, при чем рост потребления в результате роста производства, как другая сторона этого роста производства, является основной предпосылкой для роста всей общественной системы. Указывая на рост общественного потребления, Р. Л. отвечает, сама того не понимая, положительно на свой, извращенно поставленный, вопрос.

Пункт III. Это не мешает ей, в конце приведенного абзаца, обвинить марксовы схемы в туган-барановщине, специфическая особенность, „сущность“ которой состоит в отрыве производства от потребления и полном его (производства) обособлении („расширяющееся производство средств производства без всякой цели“ и т. д.).

Пункт IV. Признав рост потребления „собирательного капиталиста“ в связи с накоплением, тов. Р. Л. тотчас же стремится теоретически опорочить этот факт: „поскольку потребление имеет место и растет, накопления не происходит“ и т. д. Этот софизм, действительно, как небо от земли, далек от какой бы то ни было диалектики. Ибо всякому ясно, что рост потребления, как постоянного и непрерывного явления, не мог бы быть без соответствующего его накопления. Ошибка тов. Люксембург довольно элементарна. Она покоится на смешении статической величины с процессом. В самом деле. Пусть перед нами прибавочная ценность, равная некоторой величине M. Пусть потребляемая часть M равна m_1, аккумулируемая часть равна m_2, так что $M = m_1 + m_2$. Тогда ясно, что, при данном не изменяемом M, чем больше m_1, тем меньше m_2, и наоборот. Пределом увеличения m_1 будет M, пределом соответствующего уменьшения m_2 будет 0. В этом „лучшем“ с точки зрения минуты (т.-е. данной и неизменной величины M) случае мы возвращаемся к постоянному воспроизводству, т.-е. к топтанию на месте (в действительности же, так как в конкурентной борьбе топтаться на месте нельзя, к попятному движению и к гибели). Наоборот, при увеличении доли накопления и прогрессивно возрастающем капитале, увеличивается с каждым оборотом вся сумма вновь производимой прибавочной ценности, что дает возможность даже при

долевом росте накапливаемой прибавочной ценности, постоянного и непрерывно усиливающегося возрастания потребляемой ее части. Другими словами, потребляемая часть прибавочной ценности есть функция накопления. Отрывать одно от другого бессмысленно и вдвойне бессмысленно как раз с точки зрения процесса воспроизводства.

Проблема может иметь иной смысл. Если речь идет не об объективных результатах накопления, а о движущих мотивах капиталистов (что, как мы видели, далеко не всегда является равнозначущим), то вопрос о „накоплении" оборачивается своей другой стороной: капиталисты накопляют, чтобы накоплять еще больше; ибо—в этом-то и заключается специфическая особенность капиталистических „мотиваций"—для капиталистов накопление является самоцелью; с этой точки зрения вопрос о цели накопления („потребление капиталистов, во всяком случае, не может быть рассматриваемо, как цель накопления") является, так сказать, категорически беспредметным.

Пункт V. Таким же неудачным являются и рассуждения Розы Люксембург относительно увеличивающегося потребления рабочих. „Еще меньше может быть целью накопления содержание все возрастающей армии рабочих". Замечательная истина! Но вот (с точки зрения капиталистических мотивов) „содержание все возрастающих рабочих" само может иметь—и обычно имеет—своею целью накопление. Понять это вовсе не трудно. Для этого часть накопленного в одном обороте капиталист должен в следующем обороте превращать в переменный капитал, в добавочную функционирующую рабочую силу. В результате у него оседает еще бо́льшая величина прибавочной ценности и т. д. „Потребление рабочих с капиталистической точки зрения является следствием накопления и ни в коем случае не его... предпосылкой". Иначе, видите ли, основы капитализма были бы поставлены на голову—так пугает нас т. Р. Л. И тем не менее она „ни в коем случае" не права. Потребление рабочих есть, как это твердо известно еще со времен появления первого тома „Капитала", не что иное, как производство рабочей силы. Производство же рабочей силы есть несомненная предпосылка производства материальных ценностей, прибавочной ценности, капитала. Производство добавочной рабочей силы есть несомненная предпосылка для роста накопления. И тут, следовательно, „сплошное недоразумение".

„Во всяком случае,—уже с отчаянием в голосе говорит т. Л.,—рабочие могут потребить только часть продукта, соответствующую их переменному капиталу (что это за их „капитал"? Нужно было сказать „их доходу", который равен переменному капиталу. *Н. Б.*), и ни на йоту больше". Роза Люксембург имеет, очевидно, в виду прежний кадр рабочих, прежнюю ценность рабочей силы и, следовательно, прежний размер переменного капитала. Но предполагать это, значит наперед исключать расширенное воспроизводство. Исключив рас-

ширенное производство в начале логической цепи рассуждений, нетрудно получить его исключение в конце ее по той простой причине, что здесь неизбежно будет просто-на-просто простое воспроизводство простой логической ошибки. А, в конце концов, дело, действительно, проще простого. Ибо наем добавочных рабочих создает добавочный спрос, который и реализует часть подлежащей накоплению прибавочной ценности, именно ту ее часть, которой необходимо превратиться в функционирующий добавочный переменный капитал. Следовательно, и здесь „критическая мысль“ тов. Р. Л дает осечку, а Маркс оказывается прав целиком и безусловно.

Пункт VI. Но—о, ужас!—в таком случае „капиталисты являются, стало быть, фанатиками расширения производства ради расширения производства“, а вся „карусель“—„не накоплением капитала, *а* расширяющимся производством средств производства без всякой цели“ (Курсив наш. *И. Б.*).

Разберем, и эти два аргумента, хотя уже даже при поверхностном взгляде достаточно виден их риторический характер.

В связи с этими последними „критическими“ выстрелами Розы Люксембург мы позволим себе процитировать одно место из Маркса.

> Промышленный капиталист... как персонифицированный капитал производит ради производства, хочет **обогащения ради обогащения**. Поскольку он является простым функционером капитала, следовательно, носителем капиталистического производства, речь идет для него о меновой ценности и ее увеличении, а не о потребительной ценности или о увеличении последней. Речь идет для него об умножении абстрактного богатства, о растущем присвоении чужого труда. Над ним господствует целиком тот же самый абсолютный побудительный стимул обогащения (absoluter Bereicherungstrieb), как и над собирателем сокровищ (wie der Schatzbildner), с той только разницей, что он удовлетворяет его не в **иллюзорной форме образования золотых и серебряных кладов, а в образовании капитала, которое есть действительное производство**. Если излишнее производство со стороны рабочего (Ueberproduktion des Arbeiters) есть производство для других, то производство со стороны нормального капиталиста, капиталиста, каким он должен быть, индустриального капиталиста, есть производство ради производства.
>
> ...Он остается, несмотря на всякую расточительность, скупцом, подобно собирателю сокровищ... Промышленный капиталист делается в большей или меньшей степени неспособным выполнять свою функцию, поскольку он сам выступает представителем потребительного богатства (den geniessenden Reichtum), поскольку он хочет накопления наслаждения вместо наслаждения накоплением. Он, следовательно, точно также является производителем **излишнего производства, производства для других** [1]).

---

[1]) K. Marx. Theorien über den Mehrwert, I, S. 378 (Adam Smith und der Begriff der produktiven Arbeit). Курсив—Маркса; двойной курсив—наш. *И. Б.*

И когда, после этого, тов. Роза Люксембург, испугавшись „фанатиков производства“ и пугая ими других, делает круглые глаза и восклицает: „И это вывод из марксова учения!“, то ей нужно ответить, что это вовсе не „вывод“, а составная часть учения, его деталь, сделанная еще опытными руками своего великого мастера.

Вообще говоря, если анализировать мотивы капиталиста, то с этого вола можно драть одну из трех шкур: либо, что он имеет целью потребление; либо, что он стремится к обогащению в „иллюзорной форме“ денег; либо, что он пожираем страстью к обогащению в форме „накопления капитала, которое есть действительное производство“. Так как Роза Люксембург отрицает первую и третью „шкуру“, то ей остается на потребу только одна, с ее „иллюзорной формой“. Но в таком случае Р. Люксембург превращает „нормального капиталиста“ в средневекового менялу и ростовщика, в пушкинского „Скупого рыцаря“ или, в лучшем случае,—в денежного капиталиста. Что это будет совершенно логичным выводом из аргументов Розы Л.,—в этом не приходится сомневаться в такой же степени, как и в том, что ее аргументы ни в какой мере не отражают объективной действительности.

„*Не* накопление капитала, *а* бессмысленно расширяющееся производство средств производства—вот что получается у вас“,—говорит т. Р. Л. Но, во-1-х, тут есть маленькая передержка, так как почему-то исчезло все производство средств потребления, потребления, от которого, в конечном счете, зависит целиком и производство средств производства. Другими словами, т. Р. Л. заранее остригла и обкарнала Маркса, выщипала ему бороду и надела на него очки господина профессора и министра Туган-Барановского, чтобы тем легче объявить марксовы положения туган-барановщиной. Если сперва тихонько уничтожить разницу между Марксом и Туганом, а потом громко закричать, что никакой разницы нет, то среди некоторого круга людей можно кое-кого и зацепить на эту удочку. Во-2 х: как можно противопоставлять накопление расширяющемуся воспроизводству? Эта мистика доступна, очевидно, лишь автору „Накопления“.

Если субъективный смысл расширенного воспроизводства, смысл с точки зрения командующих агентов капиталистического производства, состоит в производственной форме обогащения, то это отнюдь не есть отрицание объективного результата этих субъективных тенденций, результата, который состоит в удовлетворении растущих потребностей всего общественного целого, несмотря на антагонистический характер этого последнего. Ибо,—как мы указывали выше,—это есть основное условие общественного развития, вне зависимости от того, какую конкретно-историческую оболочку носит на себе данное общество. Маркс пишет: „Кроме того, как мы видели (книга II, отдел III), совершается непрерывное обращение между постоянным капиталом и переменным капиталом, которое в первое

время независимо от личного потребления в том смысле, что оно никогда в него не входит, но которое в **конечном счете ограничено личным потреблением**, потому что производство постоянного капитала никогда не совершается ради него самого, но совершается только потому, что его более потребляется в тех отраслях производства, продукты которых входят в личное потребление" [1]).

Тов. Р. Л. приводит эту цитату и с торжеством заявляет: „это место" „отчетливо показывает, что Маркс был совершенно чужд мысли Туган-Барановского о производстве ради производства". Наш анализ показал, что есть фаготы и фаготы. Р. Люксембург остается только сконструировать новое „противоречие" у Маркса, противоречие между III томом и „Теориями приб. ценности" подобно тому, как она открывала противоречие между II и III томами, а буржуазная наука, задолго до нее, открыла еще более „значительное" „противоречие" между I и III томами. Тогда мы будем иметь такое накопление противоречий, что бедному Марксу действительно не поздоровится. Счастье его, однако, в том, что это „накопление" имеет еще более „иллюзорную форму", чем накопление капитала в представлении Р. Люксембург.

Итак, мы исчерпали до дна основную аргументацию тов. Розы Люксембург, поскольку она развита в „Накоплении капитала".

Той же проблемы, на таком же (или, вернее, **почти** на таком же) уровне теоретической абстракции, т. Л. касается и в своей „Антикритике". Следуем за нею по пятам и в эту область.

Слово принадлежит „критику".

> Представим себе, что все производимые в капиталистическом обществе товары ежегодно складываются на одном месте; в одну большую кучу, чтобы, как совокупная масса, быть использованной обществом. Мы тогда сразу же увидим, что вся эта товарная масса ясно распадается на несколько больших частей разного рода и разного назначения [2]).

На той же странице, тотчас вслед за приведенной цитатой, т. Люксембург насчитывает в своей „куче" 2 части: во-первых, „средства существования в самом широком смысле слова", во-вторых, „новые средства производства для возобновления использованных" (кстати: если речь идет только о „возобновлении использованных", то неоткуда получиться добавочному постоянному капиталу. Но это между прочим). „Соответственно с этим" она различает далее в вышеуказанной куче уже **три** части: а) часть, возмещающую постоянный капитал; в) часть, возмещающую переменный капитал—с одной стороны и содержащую потребляемую непроизводительно долю прибавочной ценности—с другой; с) наконец, часть прибавочной ценности, подлежащую накоплению (кстати: совершенно ясно, что это деление совершенно не симметрично с первым и в „общей товарной

[1]) **Маркс**, Капитал, III, Гиз, общ. ред. Д. Рязанова и И. Степанова, стр. 289.

[2]) „Накопление капитала", т. II (Антикритика), стр. 547.

куче" может быть произведено лишь idealiter, т.-е. с помощью абстракции).

Р. Люксембург ставит далее вопрос о том, кто же является покупателем каждой из этих трех частей. Она легко разрешает этот вопрос относительно первой и второй части нашей всеобщей „кучи" и затем подходит к вопросу о третьей части, т.-е о подлежащей капитализации доле прибавочной ценности. Здесь необходимо передать ее несравненную аргументацию по возможности текстуально:

> ...Мы в нашем воображаемом едином складе капиталистического общества должны найти еще третью часть товаров, которая не предназначена ни для возобновления использованных (наш курсив. *Н. Б*) средств производства, ни для содержания рабочих (?!! *Н. Б.*) и капиталистов... Это будет часть товаров, содержащая... прибыль, предназначенную для капитализации, для накопления. Какого это рода товары и какая часть общества в них нуждается (наш курсив. *Н. Б.*), то есть (?!) кто покупает их у капиталистов, чтобы, в конце концов, дать им возможность превратить важнейшую часть прибыли в чистое золото? (курсив наш. *Н. Б.*) [1]).

И дальше:

> Здесь мы подошли к существу проблемы накопления и должны рассмотреть все попытки ее решения.
>
> Быть может, покупателями последней части товаров общественного склада являются рабочие? Но, ведь, рабочие, кроме полученной ими от предпринимателя заработной платы, не владеют никакими покупательными средствами [2])...
>
> Но, может быть, сами капиталисты, расширяя собственное частное потребление, могут явиться покупателями?.. Однако, если бы сами капиталисты без остатка покупали всю выжатую из рабочих прибавочную стоимость, то накопления никакого не было бы [3])...

Отсюда заключение:

> Итак, кто же является покупателем, потребителем той части всех общественных товаров, продажа которых только и делает возможным накопление? Ясно одно: этими покупателями не могут быть ни рабочие, ни капиталисты [4]).

Еще одна возможность:

> „Но разве нет других слоев, вроде чиновников, военных, духовенства, ученых, художников, которых нельзя отнести ни к рабочим, ни к капиталистам?" Однако „эти слои... не обладают никакими самостоятельными источниками покупательной силы, и... в качестве сотрапезников обеих частей общества—капиталистов и рабочих—уже подразумеваются, когда мы говорим о потреблении этих двух классов" [5]).

---

1) Ibidem, стр. 552.
2) Ibidem, стр. 552. Здесь и ниже курсив наш. *Н. Б.*
3) Ibidem, стр. 553.
4) Ibidem, стр. 554.
5) Ibidem.

После перечисления всех этих возможностей, автора „Накопления“ вдруг осеняет трезвая мысль, которую он, впрочем, чрезвычайно быстро гонит прочь.

> Есть, наконец, простой выход из затруднения. Может быть, мы уподобляемся тому всаднику, который безнадежно разыскивал коня, на котором он сидел? Может быть, капиталисты сами покупают друг у друга этот остаток товаров, и при том не для того, чтобы прокутить их в свое удовольствие, а затратить именно на расширение производства с целью накопления? Ибо что такое накопление, как не расширение капиталистического производства? Но (откуда это „но“? и по какому случаю? *Н. Б.*) для того, чтобы удовлетворить этой цели, указанные товары должны состоять не из предметов роскоши для частного потребления капиталистов, а из разного рода средств производства (нового постоянного капитала) и средств существования рабочих.
>
> Пусть это будет так. Но подобное решение лишь переносит затруднение с данного момента на следующий. В самом деле, допустив, что накопление началось и что расширенное производство в следующем году выбрасывает на рынок еще бо́льшую массу товаров, чем в этом году, мы снова наталкиваемся на вопрос: где же мы тогда (курс. автора. *Н. Б.*) найдем покупателей для еще более возросшего количества товаров?
>
> Если нам ответят, что это возросшее количество товаров и в следующем году будет обменено капиталистами между собой и затрачивается ими всеми опять-таки для расширения производства, и так из года в год—то мы будем иметь перед собой карусель, которая вращается сама собой в пустом пространстве. Это будет в таком случае не капиталистическое накопление, т.-е. не накопление денежного капитала, а нечто противоположное (!!! *Н. Б*): производство товаров ради производства, стало быть (!) с точки зрения капитала, совершенная бессмыслица. Если капиталисты, как класс, всегда лишь сами являются покупателями всей своей товарной массы (за исключением той части, которую они постоянно должны уделять рабочему классу на его содержание), если они сами должны собственными деньгами (о, ужас! *Н. Б.*) постоянно покупать товары и превращать в золото заключающуюся в них прибавочную стоимость, то накопление прибыли, накопление классом капиталистов, как целым[1]), невозможно.

Наконец, отсюда узловое, решающее заключение, которое начинает собою уже другую тему:

> Если мы хотим, чтобы накопление имело место, то необходимо, чтобы для той части товаров, в которых заключается предназначенная для накопления прибыль, нашлись совсем другие покупатели,—покупатели, которые черпают свои покупательные средства из самостоятельного источника, а не из кармана капиталистов... Стало быть, это должны быть покупатели, которые получают покупательные средства на

[1]) Ibidem, 554, 555. В тексте ошибочно сказано: как „целого“.

основе товарного обмена, следовательно, от производства товаров, которое имеет место за пределами капиталистического товарного производства[1]).

Разберем и этот логический танец т. Люксембург пункт за пунктом:

1. Характеристика „третьей части“ „товарной кучи“. Здесь необходимо обратить серьезное внимание на следующий, на первый взгляд пустяковый, факт. Определяя пресловутую „третью часть“, тов. Р. Л. утверждает, что она (эта часть) „не предназначена ни для возобновления использованных средств производства, ни для содержания рабочих“ и т. д. Почему нужно было сказать об использованных, и именно об использованных, средствах производства, а не вообще о средствах производства? Потому что, поскольку капитализируемая прибавочная ценность состоит из средств производства, постольку эти средства производства являются добавочными средствами производства. Они „новы“ не потому, что они становятся на место старых, использованных (эту функцию выполняет первая часть товарной кучи): они новы, потому что они играют роль нового, добавочного капитала, величина которого прилипла к его прежней величине. Но как обстоит дело с рабочими? Правда, что ни одна часть „третьей части“ не идет на содержание рабочих, как сказано у тов. Розы Люксембург? Нет, неправда. Ни один атом ценности не возмещает здесь „использованного“ переменного капитала,—это верно. А нет ли здесь, не может ли здесь быть „нового“, т.-е. добавочного переменного капитала, точно так же, как мы имели добавочный постоянный капитал? Ведь, a priori ясно, что если признать добавочный постоянный капитал, то нужно признать и нарастание (как бы оно мало ни было) также и переменного капитала. Но элементы этого добавочного переменного капитала уже заранее таинственно исчезли из товарной кучи, из чего, несмотря на отрицание накопления, тов. Р. Л. тотчас же стремится извлечь соответствующий профит.

2. Рабочие, как возможные покупатели. Это (т.-е. получение профита) случается как раз при анализе вопроса о рабочих, как возможных покупателях. Они, по мнению тов. Люксембург, уж никак не могут быть покупателями „излишка“, так как, как всем известно, капиталисты держат их в черном теле, и покупательная способность рабочих ограничена заработной платой. Здесь можно ответить, как в известном анекдоте: „Что рабочие живут плохо,—это я верю; и что их покупательная способность ограничена заработной платой,—этому я тоже верю. Но что рабочие не могут быть покупателями ни одного атома веществ, в которых воплощена подлежащая капитализации часть прибавочной ценности—это уж пусть верят сто-

[1]) Ididem, 555—556.

ронники товарища Люксембург". В самом деле, о каких рабочих идет речь? Что это за постановка вопроса о рабочих „вообще"? Если речь идет о старых рабочих со старой рабочей силой и т. д. и со старой оплатой труда, то, ведь, в этих предпосылках уже заранее заключен отрицательный ответ. Неизменность переменного капитала предполагает неизменность спроса со стороны рабочих, отсутствие добавочных рабочих, словом, сохранение всех прежних условий касательно живой рабочей силы. Но это, по правилу (т.-е. когда не вся капитализируемая прибавочная ценность присоединяется к постоянному капиталу), заранее предполагает и отсутствие накопления.

Таким образом данный пункт, в котором ошибка Розы Л. удивительно хорошо гармонирует с ошибкой предыдущего пункта, по существу является развернутой тавтологией. В действительности же капиталисты панимают добавочных рабочих, которые и представляют добавочный спрос.

3. Капиталисты, как возможные покупатели. Здесь прямо приходится удивляться аргументации тов. Розы Люксембург. Исследуя условия общественного равновесия, она потеряла здесь всякое равновесие. В самом деле, как она подходит к проблеме? Ее вопрос (мы извиняемся за повторение цитаты): „Может быть, сами капиталисты, расширяя собственное частное потребление, могут явиться покупателями?" Ее ответ: „Если бы сами капиталисты без остатка прокучивали всю... прибавочную стоимость, то накопления никакого не было бы".

Другими словами:

— Если капиталисты всё индивидуально потребляют и ничего не накопляют, то как возможно накопление?

— Накопление невозможно, потому что, чтобы накоплять, нужно накоплять.

Тов. Роза Люксембург отлично понимает, что капиталисты должны предъявлять в данном случае производительный спрос. Но она готова ограничиться самой безвкусной, до наивности грубой, тавтологией, лишь бы только уйти от правильной постановки вопроса. Итак: и здесь т. Р. Л. уже в самый вопрос заранее включает недопустимые предпосылки. Немудрено, что она получает и недопустимый ответ. В действительности капиталисты именно потому, что они накопляют, предъявляют добавочный спрос. Нужно все время помнить, что ценностные элементы добавочного капитала целиком, а вещественные элементы—частью, с самого начала принадлежат капиталистам. Следовательно, если речь идет о спросе капиталистов на то, что они уже имеют, то перед нами обмен внутри класса капиталистов. Только поняв это, можно понять, что означает покупка у себя самого: покупка со стороны класса капиталистов есть лишь обозначение взаимных торговых сделок внутри этого класса.

Однако этим дело отнюдь не исчерпывается.

Ценностные элементы добавочных капиталов (и постоянного и переменного) с самого начала уже находятся в руках капиталистов. А вещественные? И да, и нет. В результате производственного процесса на руках у капиталистов имеются средства производства, с одной стороны, средства потребления—с другой. Но если в следующем производственном кругу (как и вообще в любом производственном процессе) средства производства могут фигурировать in natura, то того же нельзя сказать о средствах потребления. Производственный процесс состоит в динамической связи не между средствами производства и **средствами потребления**, а между средствами производства и **живой рабочей силой**. Производство же рабочей силы есть процесс потребления рабочего класса, процесс, который отличается тем, что он проходит вне фабрик, вне капиталистической команды и состоит только в переносе уже имеющихся ценностей (ценностей средств существования).

Все это выражается в том простом, основном и элементарном факте, что акты обмена, необходимые для воспроизводства, включают не только обмен между капиталистами двух подразделений, когда они (капиталисты) противостоят друг другу, как непосредственный продавец и покупатель, но и меновые сделки между капиталистами и рабочими.

Возьмем, например, проблему реализации прибавочной ценности, подлежащей накоплению. Имеем:

$$A \ldots\ldots\ldots \beta_{1c} + \beta_{1v}$$
$$B \ldots\ldots\ldots \beta_{2c} + \beta_{2v}$$

Как проходит дело конкретно? Главное условие, как мы видели, заключается в равенстве: $\beta_{2c} = \beta_{1v}$, при чем части этого равенства должны поменяться местами. Тогда в первом подразделении у нас имелась бы сумма средств производства и средств потребления, при чем последняя по своей ценности равнялась бы необходимому добавочному переменному капиталу. То же мы имели бы и во втором подразделении. Однако не нужно смешивать общественного **продукта** и его вещественной формы с общественным производительным **капиталом** и вещественной формой этого последнего. **Продукт** состоит из средств производства и средств потребления. **Капитал** в его производительной форме состоит из средств производства и живой рабочей силы.

„Рассматриваемый с точки зрения **стоимости**, он (переменный капитал. *Н. Б.*) равен стоимости общественной рабочей силы,... следовательно, равен сумме заработной платы... Расматриваемый с **материальной стороны, он состоит из самой рабочей силы, проявляющейся в деятельности**, т.-е. из живого труда, приводимого в движение этой капитальной стоимостью" [1]).

[1]) **Маркс**, Капитал, т. II, стр. 370. Последний курсив наш. *Н. Б.*

Следовательно, должны быть на-лицо акты обмена, в которых средства производства (собственник-капиталист) превращаются в живую рабочую силу. С другой стороны (здесь мы вынужденно забегаем вперед), капиталист не может, в силу общественной структуры, отдавать средства производства непосредственно, in natura. Отсюда добавочные акты обмена между рабочим и капиталистом.

Итак:

Капиталисты *A* авансируют денежную сумму добавочным рабочим *A*, равную β_{1v} (нанимают добавочных рабочих).

Добавочные рабочие *A*, имея эту сумму на руках, покупают средства существования у капиталистов *B* на всю эту сумму. Так как $\beta_{1v} = \beta_{2c}$, то у капиталистов *B* исчезает вся часть, равная β_{2c}, зато появляется ценностно равная денежная сумма [1]).

Капиталисты *B* покупают на эти деньги у капиталистов *A* средства производства. Следовательно, у капиталистов *B* появляется добавочный постоянный капитал в подходящей форме средств производства, у капиталистов *A* исчезает β_{1v} в средствах производства, но зато возвращается назад авансированная ими в начале процесса денежная сумма.

Обозначим капиталистов *A* через *KA*, рабочих *A* через *PA* соответственные обозначения в подразделении *B* будут *KB* и *PB*.

Тогда цепь актов купли-продажи, рассматриваемая с точки зрения не ценностей, а контрагентов сделок, схематически изобразится следующим образом:

KA — PA — KB — KA (звенья цепи: *KA — PA*; *PA — KB*; *KB — KA*).

В результате все вещественные элементы стоят теперь на своих местах. Деньги же возвратились к своим владельцам, сыграв роль средства обращения и опосредствовав правильную расстановку вещественных элементов капитала.

Мы предположили, что деньги были авансированы капиталистами *A*. Но мы можем предположить, что они текут из карманов капиталистов *B*. Тогда будем иметь такой ряд: *KB* покупают у *KA* средства производства, авансируя на это сумму, равную $\beta_{2c} = \beta_{1v}$; *KA* нанимают добавочных рабочих *PA*; добавочные рабочие *PA* покупают у *KB* средства потребления. Деньги возвращаются на свое место, вещественные элементы капитала взяты в надлежащей связи.

Цепь актов купли-продажи будет:

KB — KA — PA — KB (звенья цепи: *KB — KA*; *KA — PA*; *PA — KB*).

Возвращаемся теперь к нашему вопросу. Итак, совершенно ясно, что капиталисты **могут** предъявить и **предъявляют** добавочный спрос частью **непосредственно** (на средства производства),

---

[1]) В сущности здесь необходима гораздо меньшая денежная сумма, в силу того, что одно и то же количество денег опосредствует **ряд** товарных сделок. В **данной** логической связи это обстоятельство не имеет значения. Однако, оно является **решающим** в другой логической связи. Об этом ниже.

частью, фигурально выражаясь, через посредство рабочих (спрос на предметы потребления), авансируя рабочим деньги.

Итог совершенно очевиден. Покупателями добавочных средств производства являются сами капиталисты; покупателями добавочных средств потребления являются добавочные рабочие, которые получают деньги от капиталистов, покупающих рабочую силу этих добавочных рабочих.

А тов. Роза Люксембург, выставляя на-показ свою смехотворную тавтологию, заключает: „Ясно одно: этими покупателями не могут быть ни рабочие, ни капиталисты“ (554)!

4. Но самое замечательное следует дальше. Тов. Люксембург, перебрав в числе прочего ряд невинных возможностей и победоносно их „опровергнув“, вплотную подходит к правильной постановке вопроса. Она спрашивает себя (под самый конец!), не может ли исходить спрос со стороны капиталистов, и притом спрос не личный, а производительный. Она при этом, как мы видели, совершенно правильно предполагает, что предметы спроса должны в таком случае состоять из средств производства и из средств существования рабочих. И что же? Подойдя к решению проблемы, она вдруг разражается уже приведенной нами тирадой: „Пусть это будет так. Но подобное решение лишь переносит затруднение с данного момента на следующий“. Позвольте, но если это „так“ (а это „так“ есть вынужденная уступка, ибо против того, что это „так“, у Розы нет ни единого аргумента), т.-е. если покупатели нашлись, то в чем же „затруднение“, которое „переносится“ на „следующий момент“? В том, что и в следующий момент продажа предполагает покупку, и покупщики опять найдутся? Ведь, затруднение состояло в том, что покупатели куда-то запропастились. Но раз они нашлись, раз, следовательно, затруднение оказалось лишь „идеальным“ затруднением, т.-е. затруднением Розы при анализе воспроизводства, а не затруднением самого процесса воспроизводства, то в чем же дело? Из затруднительного положения тов. Л. пытается выбраться при помощи излюбленной детской забавы, а именно, при помощи карусели, которая должна вывозить т. Люксембург наиболее удачным манером.

„Карусельный“ аргумент должен, очевидно, содержать в себе два довода: во-первых, — повторение „затруднения“; во-вторых, „бессмыслица с капиталистической точки зрения“.

Если речь идет о повторении „затруднения“, то мы на это уже ответили. В том же, что процесс носит циклический характер, нет ничего предосудительного ни с капиталистической, ни с какой бы то ни было иной точки зрения. Слово же „карусель“ и соответствующий ярмарочный образ ни в малой степени не являются доказательством.

Рассмотрим еще раз аргумент от „бессмыслицы“, так как он приводится здесь в гораздо более резкой и несколько отличной от прежнего формулировке.

Итак, перед нами „карусель“. „Это будет,—пишет, как мы уже видели, Роза,—не капиталистическое накопление, т.-е. не накопление

денежного капитала, а нечто противоположное: производство товаров ради производства, стало быть, с точки зрения капитала, совершенная бессмыслица".

Тут опять целый пук ошибок и противоречий.

Во-первых. Противоположностью денег является, как известно, товар, а противоположностью денежного капитала — товарная его форма. Следовательно, здесь у Розы только простое воспроизводство одного еврейского анекдота: „Вы ушиблись?" „Нет, совсем наоборот". Промышленный же капитал, который воплощает „действительное воспроизводство", в своем кругообороте объединяет все три фигуры кругооборота. „Действительный кругооборот промышленного капитала в своей непрерывности является... не только единством процесса обращения и процесса производства, но и единством всех его трех кругооборотов" [1]).

Во-вторых. Если тов. Л. признала, что „это—так", т.-е. что покупатели нашлись, и производство может начаться снова, то, как бы она ни квалифицировала этот процесс,—процесс фактического расширенного (и, очевидно, не социалистического все же) воспроизводства, она тем самым признала, что он прошел и через свою денежную фазу (выше мы конкретно показали, как это происходит).

В-третьих. Но тов. Люксембург этим отнюдь не удовлетворяется. И она этим не удовлетворяется потому, что имеет совершенно чудовищное представление о капиталистическом накоплении. Она отождествляет накопление совокупного общественного капитала с накоплением денежного капитала! Если на основе ее первой работы („Накопление") можно было об этом лишь догадываться, то здесь, в „Антикритике", она делает его сама, и притом expressis verbis. Деньги, как самоцель,—вот, по ее мнению, цель капиталистов. Если деньги оказываются лишь фазой в движении „действительного производства", то тогда не может быть и речи о капиталистическом накоплении.

Точное описание такого процесса есть у Маркса. „Товар продается не для того, чтобы купить другие товары, а для того, чтобы заместить товарную форму денежной. Из простого посредствующего звена при обмене веществ эта перемена формы становится самоцелью. Вместе с тем деньги окаменевают в виде сокровища, и продавец товаров становится собирателем сокровищ" [2]). „За известными исключениями, чрезмерное по сравнению со средним уровнем накопление свидетельствует о застое товарного обращения или о приостановке течения товарных метаморфоз" [3]).

Неужели эти процессы прикажете считать за тип расширенного капиталистического воспроизводства?..

Мы приведем, наконец, одну цитату, которая попадает прямо в сердце „розистской" аргументации:

[1]) Маркс, Капитал, II, 76.
[2]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 98.
[3]) Ibidem, 115.

В противоположность стародворянскому принципу, который по справедливому замечанию Гегеля, „состоит в потреблении имеющегося в наличности“ и особенно ярко проявляется в роскоши личных услуг, буржуазная политическая экономия считала существенно важным неустанно проповедывать накопление капитала, как первый долг гражданина: не может накоплять тот, кто проедает весь свой доход вместо того, чтобы добрую долю его расходовать на наем добавочных производительных рабочих, приносящих более чем они стоят.

С другой стороны, политической экономии приходилось бороться с народным предрассудком (слушайте, товарищи-„розисты“! *Н. Б.*), который смешивает капиталистическое производство с накоплением сокровищ.

...В действительности изъятие денег из сферы обращения было бы прямою противоположностью их употребления в качестве капитала, а накопление товаров в смысле собирания сокровищ—бессмыслицей [1]).

И еще:

Накопление ради накопления, производство ради производства, этой формулой классическая политическая экономия выразила историческое призвание буржуазного порядка [2]).

Но—скажут нам сторонники тов. Р. Л.—автор „Накопления“ вовсе не смешивает накопления денежного сокровища и накопления капитала. Однако что-нибудь из двух: или мы считаем, что процесс накопления есть присоединение к прежнему капиталу добавочного капитала в денежной форме только для того, чтобы эта форма тотчас же сменилась формой производительного капитала; или мы „рассудку вопреки“, отрицаем это.

Если мы это признаем, то для нас будет совершенно ясно следующее: в каждый данный момент совокупная, подлежащая накоплению прибавочная ценность, реально находится в разной форме: и в форме товара, и в форме денег, и в форме функционирующих средств производства, и в форме рабочей силы. Поэтому никак нельзя отождествлять прибавочную ценность в денежной форме с совокупной прибавочной ценностью. Весь класс капиталистов в целом, при наших предпосылках, может реализовать свою совокупную прибыль, но этот процесс есть ступенчатый процесс. Поэтому прибавочная ценность каждого капиталиста, капиталистов каждой производственной отрасли и, следовательно, всего класса капиталистов проходит через денежную фазу своего развития. По Розе Люксембург, однако, выходит, что, если прибыль, подлежащая накоплению, скинула с себя денежный костюм, она уже не есть накопленная прибыль; но тогда пусть сторонники т. Розы Люксембург объяснят нам методы и приемы непорочного зачатия этой части капитала.

Самое комическое во всей этой талмудической софистике следующее пикантное обстоятельство. Предположим, что совокупная подле-

1) Капитал, I, 574.
2) Ibidem, I, 581.

жащая накоплению прибыль, согласно всем, как смутным, так и довольно отчетливым, желаниям т. Р. Л., состоит в данный момент из золота. Каждый капиталист в отдельности и все они, взятые вместе, одновременно реализовали свой соответствующий продукт (т.-е. средства производства и средства потребления), что могло случиться к великой радости Розы Люксембург, только при условии сбыта на чужой рынок. Прекрасно. Но что же дальше? Если не настаивать на том, что наши капиталисты—собиратели сокровищ, скупердяи etc., то им золото нужно превращать в производительный капитал. Они хотят купить добавочные средства производства. Но этих вещей нет (ведь они сами их продали). Они покупают их снова за границей. Пытаются нанять рабочих. Нанимают. А тем есть нечего. Тогда рабочие выписывают из-за границы продукты потребления. И так дело идет каждый раз. Сперва капиталисты продают товар за границу, потом его же покупают [1]). И каждый раз вопрос „накопления“ разрешается таким же манером.

Вот это не карусель! Вот это не бессмыслица!

В сущности говоря, на этом можно было бы покончить с вопросом о накоплении в его самой абстрактной постановке. Мы видим, что Р. Л., которая начала с того, что выключила вопрос о деньгах etc., отступая, стала опираться только и исключительно на этот, первоначально отвергнутый, момент. В основе мы вскрыли ошибку автора „Накопления“ и здесь. Но для полноты аргументации и для того, чтобы доставить удовольствие товарищам-„розистам“, мы разберем вопрос о роли денег в процессе воспроизводства в следующей главе.

ГЛАВА II.

Деньги и расширенное воспроизводство.

В предыдущем изложении мы видели, как т. Роза Люксембург, „начав за упокой“ деньгам и их роли в анализе совокупного общественного воспроизводства, кончила „здравицей“ в их пользу, как раз тогда, когда не стало хватать аргументов для поддержания здравия собственной концепции тов. Розы Люксембург. Оказывается, что именно здесь-то и зарыта собака, ибо схемы Маркса „действительны“ и „доказательны“ только потому, что в них мало обращается внимания па денежную форму капитала. Автор „Накопления“ издевается над этими схемами, где „мы, чувствуя себя господами положения, при помощи чернил и бумаги выводим один под другим ряды чисел, с которыми можно превосходно производить математические операции, и в которых мы совершенно не принимаем во внимание денежный капитал“ [2]).

---

[1]) Кстати сказать: во втором случае заграница должна быть другой заграницей.

[2]) Р. Люксембург, Антикритика, стр. 574. Курсив наш. *Н. Б.*

Посмотрим, однако, насколько обязательна для нас потеря „господства", если мы—правда, тоже при помощи бумаги и чернил—уделим „денежному капиталу" подобающее и приличествующее ему внимание.

В процессе общественного воспроизводства каждый атом индивидуального капитала, каждый индивидуальный капитал и, следовательно, совокупный общественный капитал, должен проходить через денежную фазу своего развития, т.-е. периодически принимать форму денежного капитала, которая, несмотря на свой „иллюзорный характер", так же необходима для движения промышленного капитала, как и производительная форма этого последнего, воплощающая „действительное производство".

В связи с этим мы должны поставить и разрешить следующие вопросы:

1. О конечном источнике денег.

2. О количестве обращающихся денег в связи с процессом общественного воспроизводства.

3. О накоплении денежного капитала.

Ad 1. Как и всякий товар, деньги являются продуктом труда, т.-е. должны быть произведены. Если для простоты анализа отвлечься от различия между золотыми деньгами в собственном смысле этого слова и золотым денежным материалом, то производство денег будет соответствовать определенной производственной отрасли, а именно золотопромышленности. В том, что деньги не падают с неба, а должны быть произведены на нашей грешной земле, так же мало чего-либо таинственного, как и в том обстоятельстве, что железная руда добывается в горной промышленности, рожь—в сельском хозяйстве, а машины выделываются в машиностроительной индустрии. Следовательно, с этой точки зрения, нет никакой принципиальной разницы между вопросом, откуда у совокупного класса капиталистов есть на руках деньги, и вопросом, откуда у него есть средства производства. Исторически развившиеся общественные свойства денег отнюдь не отрицают того, что деньги суть продукт производства. „Чтобы функционировать в качестве денег, золото должно, конечно, вступить в каком-нибудь пункте на товарный рынок. Этот пункт находится *у источника его производства*,—там, где оно, как непосредственный продукт труда, обменивается на другой продукт труда той же стоимости. Но, начиная с этого момента, оно занимается лишь тем, что непрерывно выражает в себе реализованные цены товаров" [1]).

Таким образом, если мы рассматриваем движение совокупного общественного капитала с точки зрения материальной формы, т.-е. вещественных пропорций, которые необходимы для взаимной замены вещественных элементов („обмена веществ" внутри „общественно-

---

[1]) К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 76. Курсив наш. *И. Б.*

производственного организма") и опосредствующих материальных звеньев этой замены,—то мы придем к заключению, что для капиталистического строя существует такая же принудительная общественная необходимость производства денег, как и вещественных элементов производительного капитала. Т. о., если с чисто-производственной точки зрения воспроизводство денег и не входит, как составной элемент, в процесс „действительного воспроизводства", то оно является необходимым с точки зрения специфическо-исторической формы капитала. При всем том, однако, ни в коем случае не нужно позабывать, что товар, так сказать, предсуществует по отношению к деньгам. „Как мы видели, уже в самом простом выражении стоимости: x товара $A = y$ товара B, та вещь, в которой выражается величина стоимости другой вещи, обладает, повидимому, своей эквивалентной формой независимо от этого отношения, обладает ею, как некоторым от природы присущим ей общественным свойством. Мы проследили, как укрепляется эта иллюзия. Она достигает наивысшего развития, когда форма всеобщего эквивалента срастается с натуральной формой определенного товарного вида, или откристаллизовывается в денежную форму. При этом создается впечатление, что не данный товар становится деньгами потому, что в нем выражают свои стоимости все другие товары, а, наоборот, эти последние выражают в нем свои стоимости потому, что он—деньги" [1]. Расщепление чисто-товарной и денежной функции золота находит свое главное и основное выражение в том, что продукт золотопромышленности поступает, с одной стороны, как сырой материал для промышленных целей, с другой—превращается в деньги и функционирует в совершенно особой форме всеобщего товарного эквивалента.

Итак, производство денежного материала входит в состав общественного производства в его целом, а фигура золотопромышленника настолько же таинственна, насколько таинственна фигура металлургического заводчика, фабриканта ваксы или „короля цыплят". На вопрос: „откуда вообще появляются деньги в стране" не может быть другого ответа (мы, как читатели знают, имеем все время в виду абстрактное и изолированное капиталистическое общество), кроме весьма элементарного и простого ответа: из той отрасли промышленности, где происходит добыча золота.

Ad 2. Если деньги, как таковые [2]), являются при капитализме общественно-необходимым элементом процесса воспроизводства, это не значит, что они не играют в этом процессе особой, совершенно специфической роли. Эта специфичность заключается в том, что они не образуют элемента „действительного воспроизводства" и, следо-

---

[1]) Маркс, Капитал, т. I, стр. 60—61.

[2]) „Золото может быть и не быть деньгами, как бумага может быть и не быть банкнотой"—цитирует Маркс показания Оверстона. См. „Капитал", т. III[1], стр. 419.

вательно, живут все время в сфере обращения. Деньги неустанно бегают из одного кармана в другой и ведут кочевой образ жизни подобно цыганам среди цивилизованных жителей Европы. Поэтому совершенно нелепо представление, по которому любое новое приращение товарной ценности должно, с точки зрения капиталистического воспроизводства, сопровождаться таким же приращением ценности, заключенной в таинственную золотую оболочку. Точно так же, как на спиритических сеансах один и тот же медиум может последовательно „обрабатывать“ сотни дураков, медиум в виде золотой единицы может последовательно обслуживать бесчисленное множество товарных сделок: „...поскольку деньги обращаются, как покупательное или платежное средство, безразлично, в какой из двух сфер и независимо от их функции реализовать доход или капитал,— законы, ранее развитые при исследовании простого товарного обращения (книга I, глава III, 26) сохраняют свою силу для количества обращающихся денег. Степень быстроты обращения, т.-е. число повторений одной и той же монетой в данный промежуток времени одной и той же функции покупательного и платежного средства, количество одновременных покупок и продаж или платежей, сумма цен обращающихся товаров, наконец, платежные балансы, которые в одно и то же время следует покрыть, в обоих случаях определяют массу обращающихся денег, currency. Представляют ли функционирующие таким образом деньги для плательщика или получателя капитал или доход, это безразлично, ровно ничего не изменяет в положении дела. Масса денег просто определяется их функциями как покупательного и платежного средства“ [1]).

Ad. 3. От роста массы денег, имеющихся в обращении, массы, которая растет—но ни в коей мере не эквивалентно росту действительного воспроизводства, нужно отличать накопление денежного капитала, как специфической формы капитала, которая обособилась в своей функции и получила свое самостоятельное движение. Если всю массу вновь производимой прибавочной ценности отнюдь нельзя отождествлять с вновь наросшей суммой денег, так как процесс реализации отнюдь не нуждается в такой сумме, то, с другой стороны, нельзя смешивать накопления капитала с накоплением денежного капитала: „Что касается... части прибыли, не предназначенной для потребления в качестве дохода, то она превращается в денежный капитал лишь в том случае, если она не может быть непосредственно употреблена на расширение предприятия в той сфере производства, в которой она создана“ [2]).

[1]) Маркс: Капитал, т. III[1], стр. 431—432.

[2]) К. Маркс, Капитал, т. III[2], стр. 45. Курсив наш. Речь идет здесь не о технической невозможности, а о насыщении данной отрасли капиталом или о недостаточной порции, которую представляет прибыль. *Н. Б.*

Во второй части III тома „Капитала“ (главы 30, 31, 32: „Денежный капитал и действительный капитал“) Маркс дает также и подробный анализ соотношения между накоплением денежного капитала и накоплением действительного капитала. Его общее заключение таково: „Этот процесс (накопления ссудного капитала. *Н. Б.*) совершенно отличен от действительного превращения в капитал; это только накопление денег в такой форме, в которой они могут быть превращены в капитал. Но накопление это может... служить выражением моментов, весьма отличных от действительного накопления. При постоянном расширении действительного накопления, это расширенное накопление денежного капитала отчасти может быть его результатом, отчасти — результатом моментов, сопровождающих его, но совершенно от него отличных, отчасти, наконец, даже результатом приостановки действительного накопления“ [1]).

Итак: добавочные деньги, вновь произведенная прибавочная ценность, подлежащая накоплению, накопление „денежного капитала“,—все эти три величины отнюдь и ни в коем случае не покрывают друг друга.

После этих предварительных замечаний мы можем перейти к разбору положений т. Розы Люксембург. Однако здесь мы не будем заранее обрисовывать существа ее позиции, так как аргументирует она до крайности сбивчиво, и подоснова ее ошибок может вырисоваться лишь в ходе анализа ее отдельных критических замечаний. Поэтому мы начнем с контр-атаки по различным направлениям ее разбросанного фронта, и уже потом перейдем к увязке всех основных возражений с нашей стороны.

Полемизируя с г. С. Булгаковым, которого Р. Л. обвиняет в том, что он „рабски“ следует Марксу (вот, ведь, грех какой, подумаешь!), автор „Накопления“ так формулирует позицию Булгакова:

> „Его“ решение вопроса ни на шаг не подвинулось вперед по сравнению с анализом, выполненным Марксом. Оно сводится к следующим трем чрезвычайно простым положениям: 1) Вопрос: сколько нужно денег, чтобы реализовать капитализированную прибавочную стоимость? Ответ: столько, сколько нужно согласно общему закону товарного обращения. 2) Вопрос: откуда у капиталистов берутся деньги для реализации капитализированной (?) прибавочной стоимости? Ответ: они должны их иметь. 3) Вопрос: откуда деньги вообще берутся в стране? Ответ: от золотопромышленника [2]).

После этого—саркастическое замечание:

> Метод объяснения, который по своей исключительной простоте скорее подозрителен, чем соблазнителен [3]).

---

[1]) К. Маркс, Капитал, III[2], стр. 46.

[2]) Р. Люксембург, Накопление, стр. 301.

[3]) Ibidem, 301.

Но так как на одном сарказме не уедешь, то тов. Р. Л. пробует аргументировать, приставляя одобрительные возгласы и восклицательные знаки к цитатам из Булгакова. Центром нападения служит несчастный „золотопромышленник".

„Итак,—цитирует Р. Л. г. Булгакова,—не может ли оказать золотопромышленник услугу, покупая у II всю (наш курсив. *И. Б.*) накопляемую им приб. стоимость и уплачивая ему за нее золотом, которое II потом и употребит на покупку средств производства у I и на добавочный переменный капитал при расширении производства, т.-е. на покупку добавочной рабочей силы. Истинным внешним рынком таким образом является золотопромышленник. Но это—совершенно абсурдное предположение. Признать его—значит поставить расширение производства в зависимость от расширения производства золота (браво!). Это предполагает, в свою очередь, такой рост золотого производства, который совершенно не соответствует действительности... все золотое производство должно принять прямо чудовищные размеры (браво!)... достаточно указать на один факт, который сам по себе уже достаточно уничтожает это предположение. Факт этот—развитие кредита, сопровождающее развитие капиталистического хозяйства (браво!)... Таким образом сделанная гипотеза стоит в прямом и очевидном противоречии с фактами и должна быть отвергнута" [1]).

Далее Роза: „Браввссимо! Очень хорошо! Но этим Булгаков сам отверг свое единственное прежнее решение вопроса, как и через кого реализуется капитализированная прибавочная стоимость. Впрочем, он в этом самоопровержении изложил только несколько подробнее то, что сказал уже одним словом Маркс, когда он назвал „нелепой" гипотезу о золотопромышленнике, поглощающем всю (наш курсив. *И. Б.*) общественную прибавочную стоимость" [2]).

Итак, что считал „нелепым" Маркс, и что же, в конце концов, „отверг" г. Булгаков („рабски следуя Марксу" и в этом случае?). Гипотезу, что золотопромышленник непосредственно покупает всю накопляемую прибавочную ценность II подразделения (как это формулирует точно, не в пример т. Р. Л., Булгаков). Нужно ли отвергнуть эту гипотезу? Конечно, нужно, потому что такого раздувания золотой промышленности предполагать нельзя даже при гипотетическом абстрактном капитализме. Накопляемая прибавочная ценность должна обязательно пройти через денежную фазу своего движения но она реализуется не сразу, а частями, не сплошной товарной кучей, которая противостоит такой же сплошной денежной куче, а путем громадного количества сделок, в которых одна и та же денежная единица реализует одну за другой множество товарных порций, каждая из которых ценностью равна этой денежной единице.

Если бы каждая денежная единица делала только один оборот; если бы не было кредита; если бы увеличение быстроты

[1]) Булгаков, О рынках etc., 132; цит. у Р. Л., ibid., стр. 302.
[2]) Р. Люксембург, l. c., 302.

оборота было невозможно; если бы не было погашения взаимных платежей; если бы производство золота было совершенно идентично с производством денег; если бы не было денежных сокровищ, исторически возникших; если бы немыслим был лаж на золотую монету и т. д., и если бы предполагалось при всем этом чистое золотое обращение, то тогда реальностью была бы именно „нелепая“ гипотеза, производство и его расширение зависели бы от производства золота, производство золота чудовищно бы росло, и параллельно росту товарной кучи Розы Люксембург вздымалась бы огромная и все увеличивающаяся гора золота.

Нелепость, следовательно, заключается в том, что не учитывают быстроты оборота, что отрицают кредит и т. д.; другими словами, нелепо представление о золотой куче, которая эквивалентна куче товарной. Но отнюдь не нелепо предположение, что добавочные деньги идут от золотопромышленника; отнюдь не нелепо, что они опосредствуют добавочные меновые сделки, если только экономия на средствах обращения и увеличение быстроты оборота не компенсируют и не покрывают возросшей потребности в деньгах.

Таким образом т-щу Р. Л. отнюдь не удалось отделаться парой поощрительно-иронических восклицаний. В этой стычке истина отнюдь не на ее стороне и неудивительно, что после своего „опровержения“ Булгакова, она тотчас меняет постановку вопроса и ставит вместо вопроса о деньгах пресловутую загадку: „Для кого?“,— загадку, которую мы решили уже в предыдущей главе.

Однако в арсенале тов. Р. Л. имеется по поводу этого решения еще один аргумент, который выставляется ею, правда, в другом месте, но примерно в той же логической связи. Тов. Р. Л. пишет:

„Если мы рассматриваем весь общественный продукт (капиталистического хозяйства) просто, как товарную массу определенной стоимости, как Warenbrei („товарную кашу“), и при условиях накопления видим только прирост этой недифференцированной „товарной каши“ и массы ее стоимости — тогда нам придется констатировать, что для обращения этой массы стоимостей требуется соответствующее количество денег, что это количество денег должно расти, когда растет масса стоимости, и если при этом ускорение обращения и его экономизирование не уравновешивает приращения стоимости. И на последний вопрос: откуда же, в конце концов, берутся все деньги?—можно вместе с Марксом ответить: из золотых рудников. Это тоже точка зрения, именно точка зрения простого товарного обращения. Но в таком случае не нужно вводить таких понятий, как постоянный и переменный капитал и прибавочная стоимость, которые относятся не к простому товарному обращению, а к обращению капитала и общественному воспроизводству; в таком случае не нужно ставить вопрос: откуда берутся деньги для реализации общественной прибавочной стоимости, и при том 1) при простом и 2) при расширенном воспроизводстве. Такие вопросы с точки зрения простого товарного и денежного обращения не имеют никакого

смысла и никакого содержания. Но раз эти вопросы поставлены, раз исследование постановлено с точки зрения обращения капитала и общественного воспроизводства, то нечего искать ответа в пределах простого товарного обращения, чтобы—так как проблемы *здесь* не существует и на нее нельзя дать ответа—потом заявить: на проблему уже давно дан ответ—ее вообще не существует" [1]).

В этой тираде, которая должна казаться формально убедительной и, так сказать, методологически проникновенной, на самом деле скрывается одна крупнейшая теоретическая ошибка. А именно: тов. Роза Люксембург, которая все время апеллирует к специфически-историческому, особому, своеобразному и т. д., не видит, как раз, специфических особенностей денег и их роли.

$$A \ldots\ldots\ldots c_1 + v_1 + \alpha_1 + \beta_{1c} + \beta_{1v}$$
$$B \ldots\ldots\ldots c_2 + v_2 + \alpha_2 + \beta_{2c} + \beta_{2v}$$

Какие закономерности выводили мы с точки зрения движения совокупного общественного капитала? Мы имели ряд равенств, которые сводились к равенству: $v_1 + \alpha_1 + \beta_{1v} = c_2 + \beta_{2c}$.

Поскольку речь идет об элементах „действительного воспроизводства", и поскольку предполагается экономическое равновесие, взаимная определенность различных производственных отраслей выражается в противопоставлении одних произведенных товарных (и в то же время ценностных) масс другим. Отсюда и вышеприведенные уравнения.

Положим теперь, что мы имеем *третий* ряд, который соответствует производству золота, resp. денежного материала, resp. денег. Возможны были бы уравнения *того* же типа *здесь*? На этот вопрос можно было бы ответить положительно только в одном случае: если бы на-лицо была предпосылка, в силу которой золотая „куча" противопоставляется товарной „куче" и обратно. Но как раз этой-то предпосылки и *нет*, ибо движение денег *не* таково, как движение товара; ибо общественный спрос на деньги имеет *другую* структуру, чем спрос на любой товар; ибо в „обмене веществ" деньги играют совершенно *особую* роль.

Если в нашей формуле общественного воспроизводства, рассматриваемой с точки зрения „действительного воспроизводства" $(v_1 + \alpha_1)$ создает спрос на c_2; c_2 создает, обратно, спрос на $(v_1 + \alpha_1)$, если β_{1v} создает спрос на β_{2c} и обратно; если, следовательно, в целом $(v_1 + \alpha_1 + \beta_{1v})$ создает спрос на $(c_2 + \beta_{2c})$, а $(c_2 + \beta_{2c})$, в свою очередь, создает спрос на $(v_1 + \alpha_1 + \beta_{1v})$, то спрос на *деньги* будет определяться по **другому типу**. Это вздор, что здесь совершается переход на точку зрения простого товарного обращения, которая *отлична* от точки зрения движения капитала. Здесь принимается во внимание то *специфическое*, что отличает движение денег в процессе воспроизводства всего общественного *капитала* от движения любой

[1]) Р. Л., l. с., стр. 155—156.

материально определенной формы товара. Никто—даже сам Маркс—не может быть ответственным за тот элементарный факт, что общественная необходимость денег и, следовательно, спрос на них определяется не тем, что что-то нужно заместить или увеличить в области производственной, а той функциональной ролью, которую деньги играют в совершенно специфической сфере—сфере обращения [1]). Из этой особой роли денег вытекает и все остальное. Например:

> ... совершенно неправильно превращать различие между обращением, как обращением дохода и как обращением капитала, в различие между обращением и капиталом. Такой оборот речи происходит у Тука потому, что он просто становится на точку зрения банкира, выпускающего собственные банкноты. Сумма его банкнот... ничего ему не стоит..., однако (банкноты. *И. Б.*) приносят ему деньги... Но они отличны от его капитала... Отсюда для него вытекает специальное различие между обращением и капиталом, которое, однако, не имеет ничего общего с значением этих понятий самих по себе и всего менее с тем значением, какое они получили у Тука.
>
> Различие назначений денег—функционируют ли они как денежная форма дохода или капитала—ближайшим образом ничего не изменяет в характере денег, как средства обращения; они сохраняют этот характер, выполняют ли они ту или другую функцию [2]).

Итак, и этот „принципиальный" аргумент тов. Розы Люксембург падает.

Теперь мы переходим к центральной аргументации т. Р. Л., аргументации, которую она развивает уже не по линии вопроса, для кого производится накопляемая прибавочная ценность, а по совершенно другой линии: каким образом возможно накопление, которое есть, согласно учению т. Р. Л., накопление денежного капитала. Здесь, в целях точности и ясности—с одной стороны, в целях предупредить возможные обвинения в том, что мы приписываем тов. Р. Люксембург небылицы—с другой, мы предварительно должны точно процитировать наиболее важные относящиеся к делу места из самой Розы. Да не посетует на нас за эти необходимые длинные выписки читатель.

Вспомним сперва одно место, которое мы уже приводили:

> „Если капиталисты, как класс, всегда лишь сами являются покупателями всей своей товарной массы (за исключением той части, которую они постоянно должны уделять рабочему классу

---

[1]) Упрек Марксу со стороны Розы Люксембург здесь („зачем, мол, ставить сложные вопросы, когда хочешь прийти к довольно простому ответу"), как и в других местах, часто исходит из непонимания характера положений II тома. Маркс, работая для себя, все время „примеривал", делал предварительные наметки, набрасывал ориентирующие вопросы, и т. д. Вот этого т. Р. Л. совершенно не принимает во внимание, в особенности, когда „играет словами".

[2]) Маркс, Капитал, т. III[1], стр. 431 (Средства обращения и капитал; воззрения Тука и Фуллартона). Курсив наш. *И. Б.*

на его содержание), если они сами должны собственными деньгами постоянно покупать товары и превращать в золото заключающуюся в них прибавочную стоимость, то накопление прибыли, накопление классом капиталистов, как целым, невозможно [1]).

Эту тему автор „Накопления" развивает особенно подробно и наиболее концентрировано в следующем месте:

Накоплять капитал не значит производить все большие горы товаров, а превращать все больше товаров в денежный капитал. Между накоплением прибавочной стоимости в товарах и применением прибавочной стоимости для расширения производства мы имеем всякий раз решительный скачок, salto mortale товарного производства, как называет его Маркс,—продажу за деньги. Быть может, это имеет значение лишь для отдельного капиталиста, а не для всего класса, не для общества в целом? Отнюдь нет... Таким образом накопление прибыли, как денежного капитала, является именно специфической и весьма существенной чертой капиталистического производства. Сам Маркс при рассмотрении накопления совокупного капитала отмечает образование нового денежного капитала, сопровождающее действительное накопление и обусловливающее его при капиталистическом производстве (Капитал, т. II, стр. 499—500)...

Капиталист *A* [2]) продает свои товары *B*; он получает, следовательно, от *B* прибавочную стоимость в деньгах. *B* продает свои товары *A* и для превращения в золото собственной прибавочной стоимости получает обратно деньги от *A*. Оба они продают свои товары *C* и, следовательно, получают от того же *C* деньги и за их прибавочную стоимость. Но откуда получает их *C*? От *A* и от *B*.

Ведь других источников для реализации прибачной стоимости, т.-е. других потребителей товаров, согласно предпосылке, не существует. Но может ли таким образом иметь место обогащение *A*, *B* и *C* в виде образования у них нового денежного капитала?.. Пусть процесс эксплоатации закончен и пусть возможность обогащения, накопления на-лицо. Но для того, чтобы эта возможность превратилась в действительность, необходим обмен, реализация возросшей новой прибавочной стоимости в возросшем новом денежном капитале. Nota bene, мы не спрашиваем здесь (!), как это многократно делает Маркс во II томе Капитала: откуда берутся деньги для обращения прибавочной стоимости?—с тем, чтобы, в конце концов, ответить: от золотопромышленника. Напротив (!!), мы спрашиваем: как новый денежный капитал (откуда он? *Н. Б.*) попадает в карманы капиталистов, раз они (если не считать рабочих) являются единственными покупателями товаров? Ведь, денежный капитал постоянно переходит здесь из одного кармана в другой.

---

[1]) Антикритика, 555. Курсив наш. *Н. Б.*

[2]) В примере Р. Л. капиталист *A* производит уголь, *B*—машины, *C*—средства существования: „эти три лица представляют собой совокупность капиталист. предпринимателей (570).

И опять-таки: может быть, мы такими вопросами только сбиваемся с пути? Может быть, накопление прибыли и заключается в этом процессе постоянного перехода денег из одного капиталистического кармана в другой, в последовательной реализации частных прибылей, при которой общая сумма денежного капитала вовсе не должна возрастать, так как (!?! *Н. Б.*) нечто такое как „совокупная прибыль“ капиталистов существует только в „серой“ теории?

Но увы! Сделав такое допущение, мы попросту бросили бы в печку третий том „Капитала“, ибо в центре его стоит, как одно из важнейших открытий экономической теории Маркса, учение о средней прибыли (курсив автора. *Н. Б.*)... Совокупная капиталистическая прибыль на деле является гораздо более реальной величиной, чем, например, общая сумма выплаченной за данное время заработной платы...

Итак, мы остаемся при старом: совокупный общественный капитал приносит постоянно и притом в денежной форме—совокупную прибыль, которая в целях совокупного процесса накопления должна постоянно возрастать. Но как эта сумма может возрастать, если слагаемые только путешествуют из одного кармана в другой?

По крайней мере совокупная товарная масса, в которой заключена прибыль, может, повидимому, как мы принимали до сих пор, расти, и только доставание денег готовит затруднение, которое, быть может, является лишь техническим вопросом денежного обращения. Но и это лишь видимость (курсив мой. *Н. Б.*), получающаяся при поверхностном рассмотрении. Совокупная товарная масса вовсе не будет расти, и расширение производства вовсе не будет иметь места, так как с капиталистической точки зрения (курсив автора. *Н. Б.*) их предпосылкой с первого же шага является превращение в деньги, всесторонняя реализация прибыли. *А* может продавать возрастающую массу товаров *В*, *В—С* и *С* снова *А* и *В*, и все они могут реализовать прибыль только в том случае, если, по крайней мере, один из них, в конце концов, найдет сбыт вне этого замкнутого круга. Если этого не будет, то карусель после пары поворотов со скрипом остановится“ [1]).

Такова аргументация т. Р. Л. Эта аргументация, несмотря на свою сбивчивость, все же имеет некоторый твердый логический стержень, а именно: накопление капитала невозможно, ибо оно должно быть накоплением денежного капитала совокупного капиталиста, тогда как схемы Маркса предполагают переход денег из кармана в карман, что отнюдь не может служить основанием для реализации совокупной прибавочной ценности.

Разберем и эту аргументацию тов. Р. Люксембург, идя и здесь шаг за шагом за нею, следя за ее доводами, не пропуская ни одного мало-мальски важного логического звена.

1. Определение накопления. Накопление состоит, по

[1]) Роза Люксембург, l. с., 571—573. Все курсивы, кроме тех, где есть специальная оговорка, сделаны нами. *Н. Б.*

Розе, не в производстве все больших гор товаров, а в превращении все большего количества товаров „в денежный капитал", т.-е. в производстве все больших золотых гор. Так как, однако, т. Р. Люксембург нисколько не отрицает того факта, что расширенное воспроизводство означает все увеличивающуюся массу товарных ценностей (и, следовательно, еще большую массу потребительных ценностей, т.-е. продуктов in natura), то весь процесс общественного воспроизводства приобретает у нее характер параллельного производства товарной горы и горы золотой, при чем накопление золотой горы и составляет действительную сущность капиталистического производственного процесса. Это представление лежит у нее в основе всех последующих рассуждений и проявляется, между прочим, в определении накопления, как накопления денежного капитала. Накопление капитала никак нельзя смешивать с одной функциональной формой последнего (денежная фаза кругооборота капитала); еще менее, как мы видели выше, можно смешивать накопление капитала с накоплением обособившейся функциональной формы его, т.-е. с накоплением денежного капитала в собственном значении этого слова, капитала, приносящего проценты („moneyed capital в английском смысле"). То, что движение совокупного общественного капитала сопровождается накоплением денежного капитала (как правильно отмечает Маркс) вовсе не означает, что накопление капитала равняется накоплению денежного капитала, что оно идентично (тождественно) с этим последним. „Salto mortale" имеет значение для каждого капиталиста, так как каждый капиталист должен так или иначе продать свой товар, чтобы превратить вырученные деньги в вещественную форму производительного капитала. Если „salto mortale" существенно важно, даже необходимо, для любого капиталиста, то, следовательно, оно важно и необходимо для всех капиталистов, т.-е. для совокупного капиталиста, т.-е. для всего капиталистического общества. Но это отнюдь не значит, что совокупный капиталист одним махом реализует свою прибавочную ценность, сразу меняя груду товаров на ценностно-эквивалентную груду золота. Такое („розистское") представление абсурдно.

2. Махинации капиталистов *A*, *B* и *C*. Здесь у Розы три отрасли производства, символизирующие совокупное общественное производство, а именно — производство угля (*A*), производство машин (*B*), производство средств потребления (*C*). Предпосылкой является также определенная денежная наличность, которую эти капиталисты попеременно пускают в обращение и затем „вылавливают" из обращения. Как возможно здесь накопление, т.-е. „образование у них (у капиталистов) нового денежного капитала?" — формулирует свой вопрос Роза. И отвечает: „Это невозможно". Ergo — невозможно накопление.

Нетрудно, после всего вышесказанного, опровергнуть эту наивную софистику. Если в условиях абстракции (совершенно необходи-

мой) от внешнего рынка, заранее исключить производство золота, то, конечно, добавочное золото с неба не упадет, это поймет даже ребенок. После оборота капитала останется ровно такое же количество денег, какое было до рассматриваемого оборота. Это золото, эти деньги „помогли" новой вещественной расстановке элементов производительного капитала так, что новый цикл может начаться на новой расширенной основе. Что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что действительное накопление возможно без накопления в „иллюзорной форме" денег, т.-е. без „образования нового денежного капитала", как выражается тов. Роза Люксембург. Заметьте: каждый из капиталистов проделал здесь то самое „salto mortale", о котором говорит тов. Роза Люксембург. Следовательно, это „salto mortale", которое есть, действительно, conditio sine qua non капиталистического производства, проделано последовательно всеми капиталистами, а следовательно, и совокупным капиталистом, т.-е. капиталистическим классом в его целом.

Но так как Р. Л. этим, очевидно, не удовлетворяется, то приходится сделать отсюда (это вытекает с железной логикой из всей ее аргументации) тот вывод, что под денежным капиталом она разумеет не денежную форму капитала, которую принимает движущийся промышленный капитал, а денежный капитал, как moneyed capital, который, действительно, накапливается как деньги и только как деньги. Но это есть reductio ad absurdum всей позиции тов. Розы Люксембург.

Конечно, вовсе не обязательно, чтобы количество обращающихся денег оставалось тем же самым. Это последнее возможно лишь, если рост товарной массы с точки зрения ее ценностного определения компенсируется экономией на средствах обращения (быстрота оборота, кредит и т. д.). Поскольку такой компенсации не происходит, добавочные деньги поступают из той самой золотопромышленности, к которой тов. Люксембург питает такую, совершенно несправедливую, ненависть. Тогда нетрудно ответить на вопрос Р. Л.: „Как новый денежный капитал попадает в карманы капиталистов". Он попадает к ним потому, что *c*, *v*, и *m* золотопромышленника должны быть обменены на средства производства и рабочую силу (а через посредство рабочих—на средства существования). Впрочем, уже с самого начала, этот „новый денежный капитал" был у них в „совокупном кармане", т. к. наш золотопромышленник, по всем божеским и человеческим правам, принадлежит к классу капиталистов (Кстати сказать, золотопромышленник, с точки зрения тов. Люксембург, является существом одновременно и бессмысленным, и противоестественным, ибо он постоянно отторгает от себя золотую форму своего продукта. Не этим ли объясняется нелюбовь к нему со стороны тов. Розы Люксембург?). Итак, здесь „новый денежный капитал" поступает, как это ни не нравится автору „Накопления" из золотопромышлен-

ности. Если же никакой золотопромышленности нет, то вопрос, который ставит т. Люксембург (не как ставит Маркс, а „напротив": „напротив, мы спрашиваем: как новый денежный капитал попадает в карманы капиталистов"), просто бессмыслен, так как никакого „нового" „денежного капитала" нет, а, следовательно, он никуда не может и попадать.

3. Накопление капитала и „средняя прибыль". Тут тов. Люксембург почти подходит к правильному решению проблемы, но тотчас же отскакивает от этого решения, точно хороший резиновый мяч от каменной стены. Мы видели выше, как она задает себе вопрос о частичных реализациях; но она и ставит его нелепо, и еще более нелепо отвечает на него. В самом деле, посмотрим еще раз на то критическое место, где Роза Люксембург проделывает свое логическое salto mortale.

Вопрос: „Может быть, накопление прибыли и заключается... в последовательной реализации частных прибылей, при которой общая сумма денежного капитала вовсе не должна возрастать, так как нечто такое, как „совокупная прибыль" капиталистов существует только в „серой" теории. Ответ: нет, ибо „средняя прибыль" стоит в центре III тома „Капитала"; „учение о „средней прибыли" придает реальный смысл теории стоимости первого тома" и т. д. и т. д. [1]).

Здесь мы имеем целый букет неточностей и ошибок.

Во-первых, Р. Л. спутывает реализацию и накопление. Реализация есть превращение товарной формы в денежную—и только. Реализация есть таким образом предварительное условие накопления.

Во-вторых, нельзя говорить о реализации прибыли, потому что прибыль получается в результате реализации; реализации же подлежит прибавочная ценность.

В-третьих, накопление спутано с увеличением денежного капитала; действительно накопленная прибавочная ценность, находящаяся уже в форме производительного капитала, как бы не считается уже элементом накопления, хотя это и есть составная часть действительного накопления.

В-четвертых, неясно поставлен вопрос об „общей сумме денежного капитала". Здесь могут быть следующие случаи: количество денег уменьшается (когда экономия на средствах обращения существеннее, чем прирост товарных ценностей, тогда возможен и этот случай); количество денег остается прежним (увеличение товарной ценностной массы компенсируется экономией в средствах обращения); количество денег увеличивается, но вовсе не настолько, насколько увеличивается ценность совокупной товарной массы („нормальный" случай); количество денег увеличивается ровно настолько, насколько увеличивается ценность товарной массы. Последний случай,—это как

[1]) Роза Люксембург, l. c., 572.

раз тот абсурдный случай, который лежит в основе „розистской“ теории. Если бы Р. Л. точно формулировала этот пункт, абсурдность ее положений выступила бы с полной очевидностью.

В-пятых, совершенно произвольным является со стороны т. Розы Люксембург соединение абсолютно-правильного взгляда на ступенчатый характер реализации с совершенно вздорным взглядом, отрицающим реальность совокупной прибыли капиталистов. Эту связь („так как“) тов. Роза Люксембург „примыслила“, alias приеочинила, чтобы тем легче опровергнуть возможную аргументацию своих возможных противников. Но этим самым она сделала невозможным действительное разрешение проблемы.

„Совокупная прибыль капиталистов“ есть величина объективно реальная. Но это вовсе не значит, что она мыслится, как единовременно существующая золотая куча—вот этого никак не усвоит себе товарищ Роза Люксембург. Материально она существует в каждый данный момент не только в золоте и не столько в золоте, так как накопление как раз и состоит в присоединении прибыли к капиталу, который должен надеть на себя свою настоящую прозодежду, т.-е. принять форму производительного капитала, что только и обеспечивает суть дела, т.-е. процесс возрастания ценности. Идеально, т.-е. в счетных единицах, она существует как денежная величина. Но ее величина имеет значение для объективных законов движущегося общества.

Поясним это тем самым примером, который—так неудачно для себя—выбрала тов. Роза Люксембург. В центре „важнейших открытий экономической теории Маркса“ стоит, по Розе Люксембург, учение о средней прибыли. Прекрасно. Но всякому экономисту известно, что средняя прибыль сама есть производная величина, ибо она определяется средней нормой прибыли (кстати: это-то и есть „центр“ вышеупомянутых открытий, а вовсе не средняя прибыль; это для характеристики точности экономических формулировок у тов. Р. Л.): „Прибыль, падающая согласно этой общей норме на капитал данной величины, каков бы ни был его органический состав, называется средней прибылью“ [1]). Но норма прибыли есть отвлеченное число, дробь $\frac{m}{c+v}$, где m есть общественная прибавочная ценность (*resp.* сумма прибыли), а $c+v$—совокупный общественный капитал. В каком смысле эта норма прибыли объективна? Она объективна, как общественный закон, а не как твердый сундук с деньгами, о косяк которого можно разбить себе лоб. Точно так же обстоит дело и с совокупной прибылью. Ей вовсе не нужно находиться в любой момент, так сказать, всеми своими частями, в денежной форме для того, чтобы быть в этой форме представленной, или для того, чтобы играть объектив-

[1]) Карл Маркс. Капитал, т. III, кн. I, стр. 135.

ную роль в процессе движения капитала. Но и этого совершенно не понимает товарищ Роза Люксембург.

4. Совокупный общественный капитал и совокупная прибыль. После всего вышеразобранного, т. Р. Л. подводит итоги: „Итак, мы остаемся при старом: совокупный общественный капитал приносит постоянно—и притом в денежной форме—совокупную прибыль, которая в целях совокупного процесса накопления должна постоянно возрастать. Но как эта сумма может возрастать, если слагаемые только путешествуют из одного кармана в другой?"

Теперь нам тоже не трудно подвести совокупный итог этому совокупному накоплению ошибок, которые путешествуют у тов. Розы Люксембург с одной страницы на другую и, тем не менее, все увеличивают сумму этих ошибок, подхватывая к себе и присоединяя все новые неточности, промахи, прямые неправильности.

Правильно, что совокупный общественный капитал приносит постоянно совокупную прибыль.

Неправильно, что совокупная прибыль существует только в денежной форме, если речь идет о форме реального бытия в данный хронологический момент.

Правильно, что прибыль притекает к капиталисту в денежной форме, как реализованная прибавочная ценность.

Неправильно то, что реализация эта происходит, как однократный акт, относящийся к совокупной прибавочной ценности.

Правильно, что обычно возрастает количество обращающихся денег.

Неправильно, что накопление капитала обязательно предполагает их увеличение.

Правильно, что накопление проходит через денежную форму капитала.

Неправильно, что накопление капитала есть накопление денежного капитала.

Правильно, что накоплению капитала в общем и целом соответствует накопление денежного капитала.

Неправильно, что накопление капитала равняется или эквивалентно накоплению денежного капитала.

И так далее, и тому подобное.

5. Заключительная карусель тов. Р. Люксембург. В заключение автор „Накопления" прибегает, как и в своей заключительной аргументации относительного того „для кого" происходит расширенное воспроизводство, к пресловутой карусели, которая должна „со скрипом остановиться". Почему? Не только потому, что „доставание денег готовит затруднение", но и потому, что товарная масса не будет расти, ибо рост товарной массы сам предполагает „всестороннюю реализацию прибыли" (нужно сказать: „прибавочной ценности". *Н. Б.*). Здесь мы должны повторить выписку, так

как в ней содержится, па-ряду с атакой, и беспорядочное бегство. Тов. Р. Л. пишет:

„A может продавать возрастающую массу товаров B, $B-C$ и C снова A и B, и все они могут реализовать прибыль только в том случае, если, по крайней мере, один из них, в конце концов, найдет сбыт вне этого замкнутого круга. Если этого не будет, то карусель после пары поворотов со скрипом остановится“ (573).

Если бы быстрота оборота или рост кредита etc. увеличивались так же быстро, как и товарная масса, то никакой остановки, как мы видели, не было бы. Нужная реализация происходила бы при помощи того же количества денег, которые бегали бы гораздо быстрее—только и всего. Но нас интересует здесь другой вопрос. Здесь Р. Л. полагает, что если один капиталист реализовал свою прибавочную ценность вне „круга“, тогда задача может быть решена с ее точки зрения. Каким же образом?

В самом деле. Пусть у нас будут капиталисты A, B, C, D, E, F и т. д. Пусть подлежащая реализации приб. ценность будет у них соответственно a, b, c, d, e, f и т. д.

Следовательно, мы имеем ряд:

A . . . . a
B . . . . b
C c
D . . . . d
E . . . . e
F . . . . f
. . .

Совокупная приб. ценность $= a+b+c+d+e+f+ \ldots\ldots$

Предположим, что один из капиталистов, скажем F, выбился из „круга“ и реализовал „на стороне“—величину f. Сумма же подлежащей реализации прибавочной ценности равна $(a+b+c+d+e+f+\ldots)$. Каким же образом могут капиталисты реализовать эту сумму? (А Роза, ведь, написала, что могут, если хоть один из них выйдет из круга.) Если Роза ответит, что это возможно потому, что f будет бегать из кармана в карман, то она тут же сдаст свою основную позицию. Ответить же что-либо другое немыслимо, невозможно, ибо другого ответа не может быть. Это и есть линия бегства, линия отступления. Ибо против такого решения можно сызнова привести всю аргументацию т. Р. Л., что здесь реализует свою приб. ценность отдельный капиталист и не может ее реализовать класс капиталистов и т. д. и т. д.

Вопрос имеет и другую сторону. Если, действительно, быстрота оборота etc. не компенсирует роста товарной массы, то добавочные

деньги вступают в каналы обращения через золотопромышленника, у которого продукт (и прибавочный продукт) носит натуральную форму золота. Это и будет прорывом круга, поскольку, действительно, такой прорыв необходим. Но, как мы видели выше, и как это непосредственно следует из настоящего изложения,—абсурд, абсурд и паки абсурд предполагать, что добавочное количество денег должно равняться добавочному количеству производимых товаров.

Итак: основная ошибка тов. Розы Люксембург заключается в том, что она рассматривает собирательного капиталиста, как капиталиста единичного; она гипостазирует этого собирательного капиталиста. Поэтому она не понимает, что процесс реализации есть ступенчатый процесс; поэтому она представляет накопление капитала, как накопление денежного капитала.

Но именно из этой, по нашему мнению, центральной и основной ошибки тов. Розы Люксембург вытекает и ее объяснение империализма. В самом деле, если совокупный капиталист должен рассматриваться по типу одного капиталиста, то, разумеется, он не может продать самому себе; если количество добавочного золота должно быть эквивалентно по ценности добавочной товарной массе, то (так как предположение соответствующего золотого производства бьет в глаза своей нелепостью) это золото можно получить только извне; если все капиталисты должны сразу (без беганья одной и той же суммы из одного кармана в другой, что строго воспрещается) реализовать свою прибавочную ценность, то им нужны „третьи лица". И так далее.

В 1-й главе мы разбирали теорию Розы в наиболее абстрактной, самой абстрактной, постановке вопроса. Там еще не было денег. Там критический вопрос Р. Л. гласил: „Для кого?".

Мы показали, что на этот вопрос можно дать вполне удовлетворительный ответ.

Во 2-й главе мы уже спустились на ступеньку ниже, ближе к конкретной действительности. Мы разобрали вопрос о деньгах. Здесь тов. Люксембург спрашивала уже: кто платит и почему он может платить. И на этот вопрос мы нашли вполне удовлетворительный ответ, показав и основную, и частные ошибки тов. Р. Л. на этой, второй, ступени абстрактного анализа.

В следующей главе нам нужно спуститься еще ниже, т.-е. еще ближе к конкретной действительности, и рассмотреть те нарушения равновесия, которые имманентны движущейся капиталистической системе нарушения, вытекающие из противоречий капитализма, от которых мы пока абстрагировали.

Н. Бухарин.

(Продолжение следует).

Шарль Фурье о положении женщины, любви и браке.

1. Социально-экономическая сущность брака в строе цивилизации.—Недостижение им своих целей.—Отрицательные экономические и моральные стороны семейного строя для индивида и коллектива.

В предыдущей статье мы пытались отыскать в воззрениях Фурье элементы, сближающие их с современным научным социализмом; мы видели, какое значение Фурье придает экономическому и в особенности производственному фактору при изображении социальной эволюции и в частности механизма строя цивилизации в его 3-ей и наступающей 4-ой фазе, т.-е. строя капитализма; какое влияние он приписывает крупному капиталу на государственный строй и политику, общественную мысль, мораль и науку этого строя. На той же экономической и материалистической почве Фурье остается при рассмотрении вопросов о положении женщины, любви и брака.

Рассматривая цели брака и семейного союза в современном строе, Фурье прежде всего отмечает хозяйственное значение брачно-семейной ячейки и именно значение ее как производственной единицы. Он различает трудовую организацию двух родов—раздробленную и комбинированную. „Существуют две системы труда,—говорит он,—система раздробленности или работа изолированными семейными ячейками (des ménages incohérents), как это наблюдается ныне, и система ассоциации... Первая представляет бездну абсурдов, вторая—океан совершенств“.

Как видно из его дальнейших объяснений, он под раздробленным трудом или под работой семейными ячейками подразумевает с одной стороны, мелко-буржуазную крестьянско-ремесленную организацию труда, а с другой—труд наемных рабочих, смешивая таким образом две разнородные категории и объединяя их под понятие индивидуального неассоциированного труда. Несмотря на указанную ошибку, вытекающую прежде всего из состояния производства во Франции той эпохи, нужно признать, что Фурье ясно понял характер буржуазного брака, имеющего прежде всего экономическую цель.

Не менее рельефно отмечает Фурье вторую цель брака.

„Брак,—говорит он,—является в низшем порядке (ordre mineur) тем же, что индустрия в высшем порядке (ordre majeur). Вторая (т.-е. индустрия) имеет целью производство и заготовление средств существования, первый—воспроизводство и воспитание работников (reproduire et éduquer les industrieux)“ [1].

---

[1]) Th. de l'Unité univ., II, стр. 86.

Указанную двойную связь между современным браком и индустрией Фурье анализирует неоднократно, чтобы доказать, насколько в строе цивилизации главные цели брака не достигаются, несмотря на то, что цивилизация к ним всемерно стремится, и насколько, наоборот, в строе Гармонии любовь и индустрия будут взаимно благоприятствовать друг другу, несмотря на то, что в этом строе любовь будет совершенно свободна от всяких меркантильных целей.

Фурье доказывает отрицательные стороны семейного производства, т.-е. что брак не достигает главной из своих целей—образования основной ячейки хозяйственно-производственной организации.

Он перечисляет следующие недостатки индивидуального или обособленного труда семейной ячейки: 1) смерть работника, прерывающая и уничтожающая полезные предприятия человека; 2) личное непостоянство, заставляющее человека бросать одну работу и браться за другую; 3) контрасты в характере отца и сына, приводящие к тому, что работа, начатая одним, приостанавливается или совершенно изменяется другим; 4) отсутствие механической экономии, возможной только при массовом производстве; 5) обман и общее недоверие, вследствие эгоистических стремлений каждой ячейки: 6) перерывы в работе из-за недостатка работы, материалов или орудий производства; 7) вредные последствия конкуренции; 8) наемный труд — косвенное рабство: 9) противоречие между индивидуальным и коллективным интересом; 10) отсутствие единства плана и исполнения [1]).

В „Новом индустр. и сосьет. мире“ он подробнее останавливается на некоторых из указанных недостатков.

„1. Непрочность. Индустрия цивилизованных,—говорит он,—лишена всякой прочной основы. Случайная смерть главы семьи может повести к дезорганизации всех его предприятий. Раздел наследства, несходство характеров отца и сына, различие знаний, тысяча других причин способны разрушить все труды отца. Его сельскохозяйственные предприятия будут заброшены, земля раздроблена, оставлена без ухода; в его мастерских воцарится беспорядок; библиотека будет продана букинисту, картины—старьевщику. Совершенно иное мы видим в светских или религиозных ассоциациях; там все поддерживается в порядке и улучшается; непостоянство или смерть индивида ни в каком отношении не нарушают правильного хода существующих предприятий.

„2. Неприятности с потомством. Человек, занятый промышленным делом, хотел бы иметь хотя бы одного сына, который явился бы его заместителем и продолжателем его работ, но по воле судеб в законном браке он имеет только дочерей, а мальчиков - от незаконной связи, осуждаемой нашими кодексами. Таким образом его имя должно исчезнуть. Или представим себе другой случай, что сыновья отказываются следовать примеру отца, неспособны продолжать его дело и т. п. Часто также обильное потомство и расходы по его воспитанию парализуют предприятия главы семьи; его заработка не хватает на то, чтобы образовать и устроить детей. А в награду за его труды и заботы многие из них жаждут его преждевременной смерти, чтобы получить поскорее в свое распоряжение наследство.

„3. Другие неприятности семейные и домашние. Человек, занимающийся промышленным делом, может быть выбит из колеи дурным поведением своей жены или некоторых из детей, мошенничествами своих помощников, клеветой и ябедничеством завистников, потерей ребенка, на которого он возлагал все свои на-

[1]) Там же, ч. IV, 127.

дежды... Современная семья представляет собой настоящую западню; это ящик Пандоры. Можно ли предполагать, чтоб бог хотел основать индустрию на базе столь шаткой для тех, кто ею управляет, и еще более шаткой для лиц подчиненных.

„4. Промышленная западня. Политика и мораль, неспособные создать влечения к индустриальному труду, прибегают к хитрости. Они прославляют прелести безденежного брака; они всячески к этому поощряют бедняков, чтобы, обремененные детьми, они были поставлены в необходимость трудиться для их пропитания. Вот почему все отцы, принадлежащие к бедному классу, т. е. $^{7}/_{8}$ отцов, могут воскликнуть: на какую каторгу я попал! Ввергнуть людей в эту западню есть тайная цель моралистов, восхваляющих прелести брака. Они на это толкают народ, чтобы иметь толпы осужденных, т. е. семейных рабочих, готовых трудиться за самую ничтожную плату для обогащения нескольких предпринимателей" [1]).

Попутно с указанными отрицательными сторонами современной организации производства, затрагивающими индивидуальные интересы производителя и предпринимателя, Фурье, как мы видим, отмечает также отрицательные общественные стороны этой организации, каковы: отсутствие механической экономии, возможной только при массовом производстве, вредные последствия конкуренции, наемный труд—косвенное рабство. Эти и другие пункты Фурье подвергает подробному и, нужно признать, отнюдь не поверхностному рассмотрению в разных местах своих сочинений в связи с критикой коммерции (и, следовательно, роли торгового капитала в промышленности) и выяснением положительных сторон ассоциированного производства.

Современный брак не достигает и второй цели воспроизводства и воспитания работников.

Прежде всего нерасторжимый брак, заключаемый на всю жизнь, часто не достигает указанной цели, вследствие бесплодия того или иного супруга. Это зло может быть исправлено или внедрением в семью чужеродных отпрысков (измена жены), или прижитием незаконных детей (измена мужа); в том и другом случае наносится тяжелый удар семейному принципу цивилизации. Но если даже предположить, что деторождение удовлетворительно обеспечено современным браком, то нет сомнения, что современная семья и содействующая ей школа не в состоянии надлежащим образом воспитать будущих работников. Воспитательные методы цивилизации,—как отмечает Фурье,—противоречат требованиям природы, ослабляют и подавляют способности детей и в большинстве случаев, за редкими исключениями, не достигают той цели, к которой стремятся, и не дают человеку возможности выполнить свое призвание. „Если ваша звезда предназначила вас быть поэтом, то уроки морали и сыновнего долга сделают из вас, как из Метастаза, не поэта, а портье, и все усилия философской мудрости будут направлены к тому, чтобы отклонить вас от того назначения, которое вам дала природа. Почти все цивилизованные имеют право на эту жалобу" [2]). „При современных методах,—говорит в другом месте той же книги Фурье, несмотря на все благие намерения, умеют только воспитывать легионы малых вандалов, которые ищут случая, чтобы что-нибудь разрушить или уничтожить вместо того, чтобы создавать, и которые, достигши юношеского возраста, составят, под эгидой морали, легионы взрослых вандалов, грабящих,

[1]) Nouv. Monde industr. et soc., изд. 1870 г., стр. 246.
[2]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 3.

разрушающих, сжигающих, убивающих для защиты священных доктрин коммерции и совершенства метафизических абстракций".

Семейная обстановка, как доказывает Фурье, совершенно не годится для правильного воспитания ребенка; она развращает ребенка, начиная с колыбели, когда мать, потворствуя его капризам, прививает ему множество порочных привычек; в дальнейшем ребенок становится баловнем родителей, тетушек, бабушек и кумушек, что столь же вредно отражается на его характере и развитии. Для правильного развития ребенка нужны общественная обстановка, общество подобных ему детей. На это могут возразить, что и теперь дети обучаются в школах в обществе товарищей. Это так; но современная школа, говорит Фурье, как раз развивает не те способности и задатки, которые нужно развивать, чтобы привить ему влечение к индустриальному труду; современная школа стремится сделать из ребенка скороспелого ученого; она сковывает его по рукам и ногам во время урока, заставляя его слушать болтовню учителя, в то время как он рвется к движению, к практической деятельности. Таким образом заглушаются естественные наклонности детей, в них развивается лень и отвращение к учению. Еще хуже обстоит дело, если дети обучаются в семье, изолированные от сверстников и товарищей; при такой обстановке отрицательные стороны современного воспитания выявляются резче. Воспитываемые при указанных условиях дети превращаются в маленьких заговорщиков, которые ждут не дождутся, пока уйдет учитель или ментор, чтобы скорее приняться за какую-нибудь практическую работу, за какую-нибудь подвижную физическую деятельность. Но так как они не приучены к производительному физическому труду, то их практическая физическая деятельность направляется на разрушение. В результате, современное воспитание, протекает ли оно целиком в семье или довершается в школе, превращает ребенка не в полезного работника, а в члена цивилизованного общества, т.-е. в торговца или эксплоататора, бездельника или чиновника, философа или моралиста—одним словом, в индивида, мало способного содействовать созданию действительных, а не мнимых богатств, и таким образом быть полезным для своего собственного и общественного счастья [1]).

Таковы экономические основы брака и семьи, еще хуже их моральные основы. Фурье перечисляет 16 отрицательных сторон современного брака и семейной жизни и 14 пунктов (или, как он выражается, гамму) раздоров между родителями и детьми.

16 отрицательных сторон современного брака, перечисляемых Фурье в вышеуказанной таблице, носят преимущественно моральный характер; но вместе с тем они очень чувствительно ударяют по тем экономическим целям, которые себе ставит современный брак. Вот перечень этих отрицательных сторон в формулировке, даваемой им Фурье:

1. Случайные несчастия, т.-е. несчастия от неудачного брака и беспокойства, испытываемые от этого заранее.

2. Неравенство вкусов и характеров

3. Привходящие (усложняющие) неприятные обстоятельства, каковы, например, те, которые проистекают от обманов при выдаче условленного приданого.

---

[1]) Свою теорию воспитания Фурье строит на вполне экономико-материалистической базе. Целью воспитания он считает создание всесторонне развитого индустриального работника; средством воспитания у него является производительный труд; обучение должно быть наглядным и находиться в тесной связи с различными сторонами и фазами производительного труда. Учение Фурье о воспитании мы рассмотрим в отдельной статье.

4. Слишком большие расходы и возникающие на этой почве ссоры между супругами.

5. Необходимость наблюдать за домом и хозяйством, вследствие легкомыслия и расточительности жены.

6. Монотонность семейной жизни, вследствие которой мужья, несмотря на целый день занятий, бегут в места развлечений — клубы, кафе, театры.

7. Несогласия в вопросах воспитания.

8. Расходы, лишения и хлопоты, связанные с устройством сыновей и накоплением приданого для дочерей.

9. Разочарование вследствие неприятностей со стороны родственников жены или мужа.

10. Многочисленные неприятности, вследствие недостаточной осведомленности относительно прошлого невесты и ее семьи.

11. Адюльтер, называемый во французском театре „наставлением рогов".

Стержневые (наиболее характерные и важные) отрицательные стороны: 12. Бесплодие, грозящее разрушением семейного счастья. 13. Ложное отцовство, вследствие обманов жены. 14. Сиротство и 15. Вдовство [1]).

Рассмотрим подробнее некоторые из приведенных пунктов.

Лучшим доказательством нелепости современного брака служит то обстоятельство, что этот союз, заключаемый на всю жизнь и имеющий большое значение для экономического и морального существования обоих заключивших его индивидов, целиком зиждется на случайности и гадательности. Фурье называет буржуазный брак азартной игрой. „Есть ли азартная игра более ужасная,—говорит Фурье,—чем нерасторжимый союз, при заключении которого тянут жребий на счастье или несчастье всей жизни. Мы часто видим мужчин и женщин, начинающих беспокоиться о вопросах брака за несколько лет вперед, и они правы. Какая бессмыслица подчинить всю свою будущность самому неверному из всех шансов" [2]).

„Каковы мотивы пышных празднеств, которыми сопровождается у нас заключение брачного союза?—спрашивает Фурье в другом месте. — Чем вызвано это ликование всех родственников и знакомых?.. Надежда на счастье брачущихся? Но кто может быть уверен в том, что через какой-нибудь год они не возненавидят друг друга, что их союз не станет причиной их обоюдного несчастия? На этих празднествах, даваемых со смутными надеждами всякого рода, участвующие в них семьи похожи на легкомысленного человека, который, приобрев лотерейный билет, вдруг задал бы соседям грандиозную пирушку, заранее радуясь предстоящему выигрышу в двести тысяч. Не подражаете ли вы такому сумасшедшему, когда даете пышные празднества по поводу бракосочетания, которое можно приравнять к лотерейной игре и даже поставить ниже ее, ибо брак может привести к большому несчастию вместо ожидаемого счастья?" [3]).

Продолжая свое сравнение буржуазного брака с азартной игрой, Фурье утверждает, что в этой игре, в этой сделке, требующей хитрости и ловкости, больше шансов на стороне людей, опытных в умении обманывать женщин, нечестных, небрезгающих самыми безнравственными средствами для достижения своей цели; наоборот, несчастный

---

1) Th. de l'Unité univ., ч. II, стр. 69.
2) Там же.
3) Th. de quatre mouv., стр. 259—260.

или неудачный брак большей частью выпадает на долю честного и доброго человека.

„Брак, кажется, специально изобретен,—говорит наш автор,—для премирования наименее честных. Чем лучше мужчина одарен способностью к коварству, интриге, обольщению, тем больше у него шансов добиться посредством брака богатства и общественного уважения. Если вы пользовались самыми постыдными средствами, чтобы добиться богатой партии, то с момента, когда вы этого достигли, вы становитесь своего рода святым, нежным супругом, образцом добродетели. Приобресть сразу громадное состояние за труд обладания молодой особой, это такое удачное и приятное достижение, что общественное мнение прощает все молодцу, которому удалось обделать такое делишко. Все в один голос объявляют его прекрасным супругом, добрым сыном, отличным братом, превосходным зятем, редким родственником, преданным другом, невидапным соседом, добродетельным гражданином и честнейшим республиканцем... Таково же отношение общественного мнения к какому-нибудь рыцарю из промышленной среды, которому удалось загрести солидный денежный куш. Женитьба на богатой, подобно крещению, с мгновенной быстротой смывает с новобрачного все следы прежней грязи" [1]).

Если мы рассмотрим все пункты приведенной выше таблицы невзгод брачной и семейной жизни, то убедимся, что многие из них являются существенной угрозой семейному счастью; но особенно Фурье подчеркивает стержневые особенности этой таблицы, а именно: бесплодие, ложное отцовство, сиротство и вдовство, ибо эти отрицательные явления, связанные с браком, или вытекающие из него, грозят его экономическим устоям.

„Бесплодие,—говорит Фурье,—грозит всему плану семейного счастья: оно расстраивает супругов, их родителей и прочих восходящих родственников, грозит переходом наследства в боковую линию или к самой отдаленной родне, жадность и неблагодарность которой приводят в отчаяние наследодателя; он проникается антипатией к бездетной супруге и к брачному союзу, обманувшему его надежды".—„Ложное отцовство или внедрение в семью чужеродных отпрысков может повести к распаду семьи, так как, помимо ревности и позора измены, глава семьи не может примириться с переходом его состояния, плодов его труда, к чужому, ворвавшемуся в семью, благодаря обману его жены, живому доказательству нарушения его брачных прав и осквернения брачного ложа".—„Вдовство низводит положение отца семьи на роль каторжника. Отец, даже богатый, попадает в положение арестанта, когда он остается вдовцом с несколькими детьми на руках, которым он желает дать хорошее воспитание и образование. Он должен или отказаться от своих дел и предприятий, или оставить детей без наблюдения и присмотра. Если отец умирает до их совершеннолетия, то сознание, что они попадут в продажные руки, перспектива разорения и лишений, которые ожидают его детей, отравит горечью последние минуты несчастного".—„Обеспечение счастья детей является главной радостью родителей; между тем современный брачный строй ни в коем случае не дает этого обеспечения сиротам. Установление опеки и попечительства ни в коем случае не достаточно, чтобы оградить сироту от потерь и расхищения его имущества. Ребенок часто бывает сиротой в переносном смысле, в случаях—очень частых—когда неудачники-родители расточают имущество, которое должно было бы ему достаться после их

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 164—165.

смерти. Из сказанного явствует, что современный семейный строй подвергает ребенка риску двойного сиротства в прямом и переносном смысле".

„Подводя итог всему сказанному,—говорит наш автор,—спросим себя, найдется ли хоть один человек, способный избегнуть все изображенные выше невзгоды, из которых нередко одной достаточно, чтобы отравить всю жизнь? Из ста человек, состоящих в браке в продолжение 10 лет, вы найдете ровно 99, которые имеют основание жаловаться на две или три из них. Какая ограниченность политического и морального гения в этом изобретении, которое, взамен мучительного для женщин гарема строя варварства, создает союз не менее мучительный уже не для одних женщин, а для обоих полов. Отсюда еще раз следует, что цивилизация воспроизводит в сложном виде недостатки, которые в варварстве существуют в простом виде".

„В награду за все эти неприятности семейной жизни, число которых можно было бы удвоить и утроить,—говорит далее Фурье,—мораль обещает супругам родительские радости. Но где гарантии ее обещания? Возьмем разросшуюся семью в полном составе; посмотрим, какие неприятности грозят родителям такой семьи. Об этом можно судить по следующей „синоптической таблице причин раздоров между родителями и детьми", создаваемых цивилизацией в странах, превозносимых за их мораль и здравые воззрения, каковы страны современной Европы, древняя Греция и Китай, столь расхваливаемый аббатом Рейналем"[1]).

В приводимой им таблице Фурье верно подметил вечные раздоры между отцами и детьми на почве различных взглядов и стремлений, и страдания, причиняемые родителям неудачными детьми. Немало столкновений и неудовольствия возбуждает родительский гнет или существование любимчиков в семье и связанные с этим несправедливости, как, например, лишение наследства одного в пользу другого, а иногда всех детей в пользу одного; с другой стороны, следует констатировать неблагодарность детей по отношению к родителям и бессердечие, выражающееся часто в том, что дети с нетерпением ждут их смерти для скорейшего получения наследства. Немаловажным фактором столкновений между родителями и детьми является неодинаковая степень привязанности обеих сторон друг к другу, иначе говоря, тот чрезвычайно печальный для родителей факт, что дети не питают к ним даже и „третьей части" (по определению Фурье) того чувства, которое они питают к детям. Немало горя причиняет родителям разлука с детьми, которые в своем стремлении уйти из-под ферулы родителей нисколько не считаются с причиняемым ими огорчением.

„Замечательно то,—отмечает Фурье в заключение своей характеристики,—что сами цивилизованные считают брак и семью „коробом несчастий", ловушкой и западней для неопытного человека. Если порасспросить их, то вы услышите от $^7/_8$ жалобы на невзгоды брачной жизни, в особенности, если вы поговорите с бедняками, для которых эта жизнь—непрерывный ряд бедствий. Но если вы обратитесь даже к богачам, которые не имеют оснований жаловаться ни на свои денежные дела, ни на плохой характер жены, ни на обман в приданом, то вы от большинства все-таки услышите: какая бессмыслица, какая каторга эта семейная жизнь! Ах, если б можно было вернуться назад, то меня уже не заманили бы в эту ловушку!"[2]).

---

[1]) Th. de l'Unitéun., ч. II, стр. 68—75 и Th. de quatre mouv., стр. 162—170.

[2]) Th. de l'Unité univ., ч. II, стр. 75.

И вот этой брачно-семейной системе, отрицательные стороны которой так велики, что их трудно перечислить, подчинено в строе цивилизации положение целой половины человеческого рода—женщин и самая сильная, привлекательная и изящная из всех человеческих страстей—любовь.

2. Двойственность цивилизации в ее отношениях к женщине и в вопросах любовной морали.

Известно, что Фурье связывает социальную эволюцию с радикальными изменениями в положении женщины. Согласно его схеме каждому социальному периоду соответствуют известные характерные для этого периода особенности в положении женщины, а „общественный прогресс и смена периодов совершаются в связи с постепенным раскрепощением женщины". Еще резче подчеркивая эту идею, Фурье утверждает, что одного только изменения в положении женщины достаточно, чтобы человечество перешло из одного периода в другой. Так, „если бы варвары ввели у себя единобрачие, они в самое короткое время стали бы цивилизованными только благодаря этому новшеству. И, наоборот, если б мы стали применять у себя заключение женщин в гаремы и продажу их на рынках, то в такое же короткое время мы превратились бы в варваров только благодаря этой мере; а если б мы ввели у себя любовные гарантии в такой форме, в какой они будут существовать в 6-м периоде, то благодаря одному только этому преобразованию, мы нашли бы выход из цивилизации и вступили бы в 6-й период" [1]).

Но, как нами было указано в предыдущей статье, эта концепция в дальнейшем у Фурье ослабевает, и во всех других рассуждениях о социальной эволюции он выдвигает, как один из наиболее решающих моментов, экономический и в частности производственный фактор. Таким образом от его формулы остается только первая половина, а именно, что расширение прав женщины есть основная принадлежность всякого общественного прогресса и что характер того или иного строя можно определить по положению в нем женщины. В такой формулировке с некоторыми оговорками идею Фурье можно считать принадлежностью современного научного миросозерцания.

Под углом этого экономико-феминистического взгляда на социальную эволюцию Фурье изображает, как, вместе с переходом из одного периода в другой, изменялось положение женщины и любовные нравы. В первый период—период первобытных серий—не было экономической неволи не только потому, что общественный строй был основан на свободном влечении страстей, но и потому также, что не существовало индустрии: женщина была тогда свободна и равноправна с мужчиной. В диком состоянии, благодаря распаду серий, образовались семьи, и положение женщины сильно ухудшилось, вследствие господства более сильного, т.-е. мужчины; но и в этот период оно было еще не так плохо, так как у дикарей нет индустрии, и они пользуются естественными благами природы. Положение женщины ухудшается в период патриархата с возникновением мелкой семейной индустрии, во главе которой стоит мужчина, порабощающий женщину, как объект любви и как работницу; еще хуже

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 131—132 и 195—196.

становится положение женщины в период варварства, когда ее запирают в гарем [1]).

Каково же положение женщины в период цивилизации? С одной стороны, этот строй характеризуется признанием некоторых прав женщины [2]), а с другой—он вместе с семейным строем заимствует от патриархата и варварства всевозможные формы порабощения женщины, которое для нее тем тягостнее, что она, несмотря на общественный прогресс, продолжает оставаться в противоречивом положении неполноправного существа. Таким образом женщина очутилась в противоречивом положении, характерном для современного строя.

Если Фурье прав, утверждая, что характер каждого социального периода сильнее всего отражается на положении женщины и формах любовных отношений, то в положении женщины и любовных отношениях строя цивилизации со всей силой сконцентрировались все пороки этого строя; эти пороки имеют одну общую черту двойственности (duplicité d'action).

Фурье с присущей ему силой диалектики изображает порочный круг, в который ныне втиснуты любовно-брачные отношения, порочный круг, который сами цивилизованные стремятся порвать, но не могут, потому что главные нити его сходятся в экономике [3]).

Этот общий порочный круг или основное противоречие распадается на ряд частных противоречий.

Двойственное отношение к женщине в строе цивилизации (порабощение и лесть). Фурье не мог не отметить прежде всего того характерного для современного положения женщины факта, что она в одно и то же время раба и госпожа; что она подчинена мужчине и в то же время властвует над ним. Такого факта нет в периоде патриархата или варварства, хотя женщина там отнюдь не лишена своих любовных чар и даже, наоборот, особенности ее, как орудия любви, там наиболее культивируются. Этот язык лести, которым в настоящее время говорят с женщиной рабой-госпожей, Фурье называет подслащиванием горькой микстуры, которую ее заставляют пить.

„Чем отличается рабство женщины у нас от рабства при строе варварства?“—спрашивает Фурье и отвечает: „Тем, что у варваров существует откровенное порабощение женщины, между тем как у цивилизованных это порабощение прикрывается разными льстивыми фразами, измышляемыми философами и писателями. Пример—Дидро, сказавший следующую нелепость: „Чтобы писать женщине, нужно обмакнуть перо в радугу и посыпать написанное пылью с крыльев бабочки“. Женщины могли бы ответить на это философу следующее: „Ваша цивилизация начинает нас преследовать, лишь только мы обнаруживаем склонность слушаться велений природы; нас заставляют

---

1) Как было указано в предыдущей статье, варварство хотя и является у Фурье прогрессивной ступенью в социальной эволюции (развитие средней и отчасти крупной индустрии), но в то же время и тупиком, где социальная эволюция застаивается (ordre stagnant), ибо варвары, как и дикари ни за что не хотят выйти из своего состояния и перейти в цивилизацию; вот почему для перехода в 5-й период он создает вспомогательный полупериод—„сложный патриархат“.

2) Как и другие социальные мыслители его эпохи, Фурье приписывает улучшение в правовом положении женщины в период цивилизации влиянию христианства.

3) Фурье, как отчасти явствует из предыдущего и как мы увидим из дальнейшего, признавал, что для каждого периода существует свой закон любви и брака и что цивилизация, пока она остается такой в наиболее характерной своей части—в организации производства и обмена,—должна оставаться при моногамном браке со всеми сопровождающими его явлениями.

быть притворщицами, итти путем, противоположным нашим желаниям. Чтобы заставить нас повиноваться подобным внушениям, вы прибегаете к языку лжи и лести, как вы делаете с солдатом, которого вы убаюкиваете лаврами и обещанием бессмертия, чтобы заставить его забыть свое несчастное положение". Если б ему действительно сулили счастье, с ним говорили бы языком, простым и правдивым, которым с ним в настоящее время остерегаются говорить. Точно так же обстоит дело с женщинами. Если б они были свободны и счастливы, они не были бы так падки на лесть и мечты, и чтобы писать им, не было бы надобности прибегать к радуге и пыли с крыльев бабочки. Но если солдат и женщина, и весь народ являются жертвами постоянного обмана и эксплоатации, то в этом вина философов, которые не сумели организовать этот мир иначе, как на злополучии и рабстве; и если они глумятся над пороками женщины, они глумятся над самими собой, ибо они—причина всех пороков социальной системы, которая, подавляя способности женщин с детства и в течение всей жизни, заставляет их прибегать к обману, чтобы отдаться естественным побуждениям" [1]).

Двойственность „женской натуры". Чтобы оправдать свое отношение к женщине, философы стремятся изобразить ее в виде двойственного существа: с одной стороны, они отмечают ее добродетели—материнское самопожертвование, религиозность и пр., а с другой—изображают коварным, лживым существом. Коварство и лживость они считают характерными особенностями женской натуры. Факты сами по себе верны. Действительно, в женщине строя цивилизации можно констатировать двойственность, доходящую иногда до чрезвычайной степени порочности. Но здесь, как и во всем прочем, философы неспособны проникнуть в сущность вещей; они не понимают, что коварство и лживость, это—орудия борьбы женщины против насилия. В основе природа женщины так же проста и естественна, как и природа мужчины; взятая вне существующего строя природа женщины, как и природа мужчины, это—природа человека вообще. Для того, чтобы понять эту природу, нужно к ней подойти без философских предрассудков, беря ее страсти и инстинкты, как они есть, не считая пороками то, что является основой и принадлежностью самой природы.

„Судить о женщине по тем порочным чертам, которые она обнаруживает в цивилизации,—говорит наш автор,—это все равно, что судить о природе человека по характеру русского крестьянина, который не имеет ни малейшего представления ни о чести, ни о свободе, или судить о бобре по тому отупению, в которое он впадает в прирученном состоянии, между тем как на свободе и в сообществе с себе подобными он становится самым разумным из всех четвероногих. Та же разница будет существовать между порабощенной женщиной цивилизации и свободной женщиной строя Гармонии; она превзойдет мужчин в трудолюбии, преданности существующему порядку и возвышенности души. Но вне свободы и строя Гармонии женщина, подобно прирученному бобру и русскому крестьянину, представляет собой существо, стоящее настолько ниже своего назначения, что мы склонны ее презирать, когда судим о ней поверхностно и по внешним данным... Когда с такой поверхностной точки зрения смотреть на женщин, то кажется, что они больше нуждаются в господине, чем в свободе. Разве они не отдают обыкновенно предпочтение любовникам, менее всего заслуживающим этого? Но как может жен-

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 216—217.

щина быть свободной от рабских наклонностей и измены, когда воспитание с детства заставляет ее подавлять свои естественные качества, чтобы склониться перед первым пришедшим, которого случай, интрига или жадность назначат ей в мужья!

„И вы, поработители женщин, разве вы не превзошли бы ее в недостатках, за которые вы ее теперь упрекаете, если б рабское воспитание внушило вам, как и ей, что вы автоматы, созданные, чтобы повиноваться предрассудку и чтобы ползать на коленях перед господином, которого вам дал случай? Разве мы не видим, как ваши претензии на превосходство были растоптаны царицей Екатериной, сумевшей заставить мужчин ползать у ее ног? Создавая титулованных фаворитов, она влачила в грязи мужчин и доказала, что они, несмотря на принадлежащую им свободу, могут быть еще большими рабами, чем женщины, раболепие коих вынуждено и, следовательно, извинительно. Для свержения тирании мужчин, нужно было бы существование третьего пола—мужского и женского одновременно,—более сильного, чем мужчина. Этот третий пол с хлыстом в руке доказал бы, что мужчина создан для его удовольствия точно так же, как и женщина; тогда мужчины наверно возопили бы против тирании гермафродитов, доказывая, что сила не должна быть единственной основой права. Но если так, если они, борясь против этого предполагаемого третьего пола, наверно требовали бы себе прав и независимости, то почему они в том же отказывают женщине?" [1]).

Двойственность любовной морали в строе цивилизации. Сама двойственность современной женщины находит прочную опору в двойственности морали и обычаев.

Фурье констатирует, что в цивилизации существуют две любовные морали, совершенно противоположные по своим тенденциям: одна—унаследованная от патриархально-гаремного периода, а другая—создаваемая индивидуальной полусвободой строя цивилизации,—которые тем не менее уживаются рядом друг с другом. Молодая женщина идет в церковь, где священник с кафедры внушает ей, что она должна быть верна и покорна мужу, что нарушение этой верности—тяжелый грех, за который ее ожидает ужасная кара в загробной жизни и пр., и пр. Выйдя из церкви, она отправляется в сопровождении мужа или друга дома в театр, где ей со сцены преподают, как наилучшим образом обманывать мужа с другом дома. Здесь адюльтер изображается как наилучшее средство жить весело и приятно; обманутый муж является предметом самых злых насмешек; жена, дурачащая добродушного мужа, вызывает сочувственные аплодисменты публики. Какая же из этих двух моралей берет верх? Можно, не задумываясь долго, ответить: конечно, вторая. И факты это подтверждают на каждом шагу. Мужчина, известный своими победами и связями с красивыми женщинами, т.-е. заведомый развратник, разрушитель семейного счастья многих людей, из коих большинство—его приятели, такой развратник становится идолом женщин и предметом зависти мужчин.

„Если б заняться описанием любовных похождений одних только парижан,—говорит наш автор в другом месте,—то пришлось бы заполнить десять больших томов, из коих читатель увидел бы, что эта жизнь—ряд преступлений против нравственных и религиозных законов. Несмотря на то, что каждый парижанин в отдельности является участником этих преступлений, все они вкупе, т.-е. „свет", возмущаются этими непрерывными нападениями на его устои, на все,

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 217—220.

что религией и моралью объявлено неприкосновенным. Как можно, при виде всех этих явных и тайных нарушений моральных и политических устоев общества медлить с признанием, что или наш любовный строй находится в противоречии с истиной и моралью или, если подобный любовный строй неразрывно связан с цивилизацией, сама цивилизация является полным отрицанием морали и истины" [1]).

Другие противоречия любовной морали и брачного законодательства. Фурье остроумно отмечает те противоречия, в которых запутались мораль и законодательство современного буржуазного строя, т.-е. строя, жизненным принципом которого является противоречие.

„В нашем обществе,—говорит Фурье,—принято издеваться над обманутым мужем; из него делают смешную фигуру в жизни и на сцене, хотя, как наш автор замечает саркастически, в подобном положении суждено очутиться раньше или позже подавляющему большинству мужчин. Но если мы присмотримся ближе,—рассуждает далее Фурье, то убедимся, что действительно смешным и унизительным является не положение обманываемого, а обманывающих, т.-е. не мужа, а жены и любовника".

„Если в любви дело чести,—говорит наш автор,—состоит в исключительном обладании, то очевидно, что обманываемый муж, не знающий своего несчастия, спасает свою честь, между тем как соблазнитель сознательно позволяет ее топтать. Он унижается, выслушивая безропотно со стороны мужа угрозы по своему адресу, потому что муж неоднократно рассказывает ему о своем намерении переломать ребра негодяю, который покусится соблазнить его жену. Унижаясь перед мужем, он должен чувствовать себя не менее униженным обманами своей любовницы, уверяющей его, что она совсем не живет со своим мужем. Чтобы оградить свое самолюбие, он притворяется, что верит ей. Но кому неизвестно, что женщина, изменяющая мужу, удваивает свои ласки, чтобы таким образом замаскировать свою интригу и поставить себя вне подозрений в случае беременности. Одна эта предосторожность заставляет жену искать сближения с мужем в тот самый момент, когда она собирается уступить исканиям поклонника, которому она отдается, имея под сердцем залог близости с своим, законным супругом. Положение не особенно лестное для любовника. Он не может не поморщиться от отвращения, когда его знакомят с этими бесспорными истинами. Он поневоле должен себя чувствовать смущенным такой победой и едва ли станет уверять, что не замарал своей чести в подобном любовном похождении...

„Когда рассматриваешь поближе все эти подвиги соблазнителей чужих жен, то убеждаешься, сколько в них унизительного для самих соблазнителей, хвастающих такими вещами, которые честного человека должны заставить покраснеть от стыда".

„Я достаточно рассмотрел вопрос,—заключает Фурье,—чтобы доказать, что цивилизация смотрит на вещи с извращенной точки зрения... Из интриг, соединенных с подвигом соблазна чужой жены, можно ясно видеть, насколько в цивилизации ошибочно судят по всем важнейшим вопросам. Если общепринятый взгляд на рассматриваемый вопрос так сильно расходится с здравым смыслом, то это происходит от того, что мы потеряли способность к правильному мышлению, благодаря мизерности и грубости удовольствий, доста-

[1]) Th. de l'Unité un., ч. III. стр. 64.

вляемых нам строем цивилизации. Какое печальное мнение должны были бы получить цивилизованные о своих любовных удовольствиях, если б я нарисовал перед ними только картину любовной жизни 7-го периода, который, представляя собой зародыш комбинированного строя, имеет свойство уничтожать повсюду болезненные элементы, вносящие у нас столько осложнений в любовные связи, даже самые свободные" [1]).

Теперь посмотрим, как относится наше законодательство к обманутому мужу? Конечно, оно целиком на его стороне, стремясь защитить святость семейного очага. Но, стремясь к этой благородной цели, оно приходит в противоречие с самым принципом, им защищаемым, устанавливая следующее правило: Is pater est, quem nuptiae demonstrant, т.-е. отец это—тот, на кого указывает брачная запись. Это правило, освященное римской мудростью, считается незыблемым даже тогда, когда сама наружность ребенка указывает на его действительного отца. Благодаря этой нелепой презумпции, в буржуазную семью внедряются чужеродные отпрыски, на плечи обманутого мужа взваливается воспитание чужих детей и таким образом наносится самый тяжелый удар, материальный и моральный, тем самым целям, которые ставятся браку и семье в строе цивилизации.

Прочие противоречия цивилизации в вопросах любовной морали и в отношениях к женщине. Одно из самых лицемерных и несправедливейших требований современной любовной морали заключается в том, что от женщины требуют до брака полного воздержания, между тем как мужчине в этом отношении предоставляется полная свобода. Но, установив это требование от женщины и защищая его крайне бессердечно по отношению к провинившейся, цивилизованное общество должно было бы дорожить своими девственницами, вознаграждать их за твердость характера и перенесенные лишения особыми преимуществами и почетом. Между тем мы наблюдаем как раз обратное.

„Если современная девушка,—говорит наш автор,—несмотря на все соблазны и подавляя голос природы, достигла двадцатипятилетнего возраста, не выйдя замуж и не вступив в незаконную связь, то к ней начинают относиться пренебрежительно, как к испортившемуся товару, ее начинают осыпать грубыми насмешками, становящимися с каждым днем все невыносимее. Ведь кличка „старая дева", т.-е. слово, говорящее о девственности, одна из самых обидных. Так вознаграждает цивилизация девушку, часто красивую и даровитую, за юность, полную лишений, за жертву, которую она сама от нее требовала. Это вполне соответствует нравам, господствующим в цивилизации, которая, со свойственным ей бессердечием вознаграждает девушку, следующую заветам морали, одними оскорблениями и издевательствами. В праве ли мы удивляться и тем более негодовать, когда девушки, за которыми нет достаточного надзора, только носят маску невинности, не желая за такую награду жертвовать прекрасной порой юности и ее утехами. Да и кому нужна эта вечная девственность? Она напоминает плод, которому дали испортиться, не воспользовавшись им. И более всего имеет право грустить об этом ее обладательница и раскаиваться в том, что она следовала чудовищной морали строя, гордящегося своей наукой и мудростью, но в действительности прогнившего во всех своих устоях" [2]).

Фурье, хотя и мимоходом, касается вопроса об экономическом

---

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 189—191.
[2]) См. Th. de l'Un. un., ч. IV, стр. 242—243.

положении и умственных интересах современной женщины, указывая, как противоречиво третирует в этом отношении женщину современное общество. С одной стороны, оно презрительно относится к женским занятиям, хотя в семье, в особенности трудовых слоев, женщина часто выполняет самые тяжелые хозяйственные обязанности. С другой стороны, если женщина стремится выйти из своего подневольного состояния и занять в экономическом и умственном отношении положение, более ей соответствующее, как человеческому существу,—само это общество не только не оказывает ей в этом никакого содействия, но осыпает ее за подобную попытку презрительными и ядовитыми насмешками.

„Каковы источники самостоятельного существования незамужних женщин, лишенных собственного состояния? спрашивает ваш автор.—Ткацкий станок и домашние услуги или их собственная красота, если они одарены таковой? Да, проституция, более или менее замаскированная, вот их главный рессурс, которого философия, под предлогом усовершенствования их личности стремится их лишить, вот омерзительная участь, до которой их низводит цивилизация; столь же омерзительно и брачное рабство, против которого они еще не пытаются протестовать... Их равнодушие к своему положению является добавочной причиной, увеличивающей презрение к ним мужчин. Презрение со стороны господина к рабу увеличивается, когда последний своей слепой покорностью убеждает его, что его жертва рождена для рабства.

„Но если женщина обнаруживает стремление выйти из отведенного ей узкого круга, если она делает попытку нарушить запрет и избрать для себя отрасль труда, более соответствующую ее вкусам, способностям и человеческому достоинству, то цивилизация обрушивается на нее с гневом и издевательствами; особенно яростно нападают моралисты на женщин-писательниц; философия не хочет их удостоить академических почестей, презрительно отсылая на кухню [1]).

—

Воспламененный негодованием против угнетателей-мужчин, наш мирный утопист призывает женщин к борьбе. Он обращается к ученым женщинам; он призывает их бросить бесполезное сочинительство и заняться изысканием средств освобождения своего пола из-под тяжелого ига.

„Но разве в своем афронте не виноваты сами ученые женщины? Раб, стремящийся подражать своему господину, заслуживает от него только взгляд, полный презрения. Зачем им банальная слава сочинительства и много ли пользы в том, если они прибавят еще несколько томов к существующим уже миллионам бесполезных сочинений? Женщины должны были бы выделить из своих рядов не сочинительниц, а освободительниц, политических Спартаков, гениев, которые нашли бы средства вывести их пол из порабощения, ибо **женщины более всех страдают от цепей цивилизации и потому первые должны повести против нее борьбу** (Курсив наш. *А. Д.*).

„Ученые женщины, вместо того, чтобы задуматься над средствами для освобождения своего пола, унаследовали философский эгоизм; они закрывают глаза на порабощение своих сестер, печальную судьбу которых им удалось избежать... Изучение способов освобождения женщин,—вот задача, которая стоит перед учеными женщинами; пренебрегши ею, они умалили и помрачили свою литера-

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 221—222.

турную славу, и потомству остается упрекать их за эгоизм и самоуничижение, ибо, если женщины-писательницы сумели освободиться от предрассудков и прожить всю свою жизнь, то за это они также немало подверглись осуждению и поношению. Эта тирания общественного мнения достаточна, как мне кажется, чтобы вызвать возмущение честных женщин и заставить их начать борьбу с предрассудком не посредством бесполезных словоизвержений, но путем нахождения плана преобразований, которые могли бы освободить оба пола от ужасных и унизительных условий брачной жизни [1]).

3. Обоснование свободы любви на анализе человеческой природы и социальной эволюции.—Существование особого закона любви для каждого социального периода.—Фактическое существование свободы любви в строе цивилизации.

Что Фурье должен был быть сторонником свободы любви или, вернее, говоря, противником всякого вида насилия и принуждения в этой области,—это можно сказать a priori, зная основные принципы его социальной системы. Более неожиданным является то, что наш утопист при обосновании своей теории любви и построении форм ее свободы исходит не только из априорного принципа, но в значительной степени из объективной необходимости, выводимой им из особенностей человеческой природы и из властных велений социальной эволюции.

Исходя из анализа человеческой природы, Фурье приходит к выводу, что современная моногамия противна человечеству, которому она навязана насилием. Опираясь на данные социальной эволюции, он доказывает, что свободная любовь, лежащая в основе первобытных серий, должна возродиться в усовершенствованном виде в строе Гармонии, т.-е. в строе усовершенствованных серий; связывая формы любви с прогрессом индустрии, он утверждает, что свобода любви есть плодотворнейший стимул для ее расцвета.

Известно, что из трех „верховных связующих“ страстей—кабалиста, папильона и композита—Фурье наибольше значения придает папильону, т.-е. страсти к порханию или разнообразию, которую он называет связующим звеном для двух других страстей и, следовательно, главной в троице „верховных“ страстей.

Разнообразие—вот психофизиологический стержень механизма воздвигаемой Фурье системы „страстных серий“. Соревнование (интриги) и энтузиазм—крайне необходимые для нее двигательные силы; но без последовательно проведенного принципа разнообразия они теряют все свое значение; вот почему Фурье называет разнообразие „душой интриг“.

На разнообразии основана организация труда в сериях, смена трудовых сеансов, переход от сельско-хозяйственной работы к ремесленно-фабричной, от работы в мастерских к работе в поле и саду; на разнообразии основано участие каждого члена фаланги во множестве (до 30—50) групп; на разнообразии основана гигиена труда и, следовательно, здоровье труженика. Без разнообразия невозможно осуществление идеи привлекательного труда и, следовательно, всей социальной системы Фурье. Тому же принципу разнообразия подчинена и индивидуальная жизнь человека—питание, развлечения, наслаждения,

[1]) Там же. стр. 222—223.

для которых однообразие—губительный яд. Наконец принцип разнообразия лежит в жизни всей природы.

„Однообразная 12-ти часовая работа,—говорит наш автор,—повторяемая изо дня в день иногда в продолжение многих лет, является причиной отвращения к труду. Такая работа во многих случаях ведет к профессиональным болезням; например, некоторые химические заводы являются настоящими бойнями для рабочих, но если работа на них будет происходить не более 2—3 раз в неделю, продолжаясь не более 2—3 часов в день, то причиняемый ими вред мог бы быть избегнут. Но даже в обыкновенных безвредных производствах двенадцатичасовая работа вредна, во-первых, тем, что она не упражняет всех органов человеческого тела, и, во-вторых, вследствие пребывания в закрытом помещении, если работа не производится на открытом воздухе при благоприятной для здоровья температуре и погоде. Однообразие безделия, наблюдаемое среди богатых, служит причиной ожирения, нарушения равновесия организма и губит здоровье".

Происхождение некоторых пороков в строе цивилизации Фурье объясняет отсутствием разнообразия в удовольствиях и развлечениях. Вследствие этого отсутствия разнообразия и уменья его организовать, люди предаются целиком одной страсти—обжорству, пьянству, разврату, игре в карты и пр. В строе Гармонии принцип разнообразия будет основой развлечений и удовольствий его членов. Здесь дело будет поставлено так, что удовольствия будут организованы сериями; участники развлечений получат несколько удовольствий одновременно по принципу композита, т.-е. соединения чувственных удовольствий с эмоциональными и духовными, или перехода от одного удовольствия к другому (parcours). В качестве примера Фурье сначала приводит удовольствия и развлечения, обычные в строе цивилизации. На званых обедах в высшем обществе царствует убийственная скука, вследствие монотонности и этикета; в низшем обществе вся цель подобных обедов—обжорство, совершенно чуждое всякого понятия о гастрономии; здесь люди превращаются в скотов. На собраниях ученых или педантов мозг стынет от однообразия сухой ученой пищи, подносимой в громадном количестве без всякого соображения с законами человеческой психологии. Совершенно иная получится картина, если обед, помимо прекрасной сервировки, вкусных блюд, тонких вин, будет происходить в обществе прелестных женщин, сопровождаться легкой остроумной беседой, прерываемой музыкой, небольшими представлениями на сцене или балетными танцами. Здесь более высокая форма удовольствия явится результатом разнообразия в единстве. С другой стороны, в строе Гармонии ни одно отдельное удовольствие не будет продолжаться больше 1—1½ часов, сменяясь другим с соблюдением принципа разнообразия. Таким образом само разнообразие будет препятствовать зарождению порочных наклонностей и злоупотреблению тем или иным видом удовольствия.

„Стремление к разнообразию или непостоянство,—говорит в другом месте Фурье,—может быть пороком только в цивилизованном обществе, которое во всем идет вразрез с природой, но в действительности эта страсть является потребностью для всех ее царств. Расы и народы нуждаются в перемене, разнообразии, скрещивании,—в противном случае они вырождаются. Почвы тоже нуждаются в плодосмене; хлебный злак не уродится надлежащим образом в следующем году на той же почве и даст лучший урожай на новой ниве. Желудок тоже подвержен этой страсти к непостоянству; периодиче-

ские перемены блюд обостряют аппетит и облегчают пищеварение. Точно так же сердца подвержены этой потребности в разнообразии, и если мораль уверяет, что это—порок, то опыт с несомненностью подтверждает обратное, а именно, что это—потребность" [1]).

Да, закон разнообразия властвует над человеком в деле любви не меньше, если не больше, чем в других областях. Цивилизованные не потому отказываются от следования этому естественному зову, что предпочитают моногамию, но потому, что этого требуют их экономические интересы, положение в обществе, условия семейной жизни; одних удерживает от нарушения супружеской верности страх огласки, других—опасение болезней, третьих—отсутствие средств, четвертых—страх перед женой. Освободите людей от всех этих внешних пут,—и вы увидите, с каким восторгом они отдадутся той свободе любви, к которой их влечет страсть. Солидные голландцы, отличающиеся у себя на родине образцовой нравственностью, заводят в колониях гаремы из женщин всех национальностей... Нередко можно видеть, как женатый человек, обладающий красавицей-женой, одаренной к тому же прекрасными душевными качествами и хозяйственными способностями, разоряется для какой-нибудь потаскушки, не обладающей и десятой долей физических и духовных качеств его законной жены. В чем причина этого парадоксального и нелепого на первый взгляд явления? Причина в том, что ему надоело долго кушать одно и то же блюдо... Внимательное изучение феномена любви показывает, что основная его пружина—стремление к разнообразию.

Фурье рисует картину тайных похождений парижан, чтобы показать, на какие низости и коварства толкает людей—безразлично мужчин и женщин—современный брак, создающий уродливые условия для удовлетворения потребности любви, потребности, в основе которой лежит стремление к свободе и разнообразию.

Но вот в дело вмешиваются философия и мораль, стремящиеся изменить человеческие страсти и убедить людей, в особенности женщин, что их назначение—верность в браке; что к этому назначила нас природа, что это соответствует правилам высшей человечности, что за это нас ждут награды в загробной жизни.

„Теперь, говорит Фурье,—вообразим себе, что можно было бы найти средство заставить всех женщин без исключения соблюдать требуемое от них целомудрие, так чтобы ни одна женщина не могла предаваться любви до брака и принадлежать после брака никому кроме своего мужа; это значило бы, что всякий мужчина, в продолжение всей своей жизни, мог бы обладать только одной женщиной—своей законной женой. Интересно было бы выслушать, что запели бы мужчины перед такой перспективой быть вынужденными пользоваться всю жизнь любовью одной только женщины, которая с первого дня брака может возбудить в них отвращение? Я уверен, что всякий мужчина в глубине души склонен был бы подать голос за умерщвление автора подобного проекта, грозящего уничтожением любовных связей, и наиболее пылкими противниками данного порядка оказались бы сами философы, большие любители адюльтера и запретной любви. Ясно, что все мужчины крайне враждебны к требуемым моралистами правилам целомудрия и что счастье мужчин находится в прямой зависимости от степени выполнения или невыполнения женщинами предписаний морали и супружеской верности. Их строгое соблюдение привело бы в отчаяние всякого мужчину, не исключая и философов, которые, будучи большими прелюбодеями, чем прочие

[1]) Th. de l'Unité un., ч. III, сноска на стр. 410.

мужчины, более всего пострадали бы от торжества сочиненных ими любовных запретов, как они пострадали в 1789 году от приложения на практике их политических систем".

Если, таким образом, требование разнообразия и свободы любви с необходимостью вытекает из свойств человеческой природы, то с неменьшей необходимостью оно диктуется социальной эволюцией.

На заре человечества люди жили сосьетарным строем, но более упрощенным в сравнении с аналогичным строем грядущего; этот строй „черновых серий" (seriés ébauchées), Фурье, как известно, называет эденизмом. Люди в ту эпоху были мощны, сильны были их страсти; жизнь длилась около 150 лет, из коих более ста люди могли отдавать любви. При таких условиях не могло быть речи о принудительном сожительстве с одной женщиной или одним мужчиной в продолжение всей жизни. Периоды, сменившие эденизм, были, с одной стороны, прогрессом, а с другой—деградацией; прогресс заключался в развитии промышленности, деградация—в ухудшении всех форм общественных отношений индивидуальной жизни. Первобытная социальная свобода заменилась социальным насилием, женщина попала под гнет мужчины, потом в гарем и, наконец, в двойственное положение рабы-госпожи нашей эпохи: свобода любви исчезла, заменившись сначала многобрачием, затем гаремным строем, наконец, двойственностью любовных отношений нашего времени, представляющих наружно единобрачие, а в скрытом виде—многобрачие. Во все эти периоды любовь находится под знаком насилия, извращающего ее проявления, вредно отражающегося на жизни обоих полов, но преимущественно женщины. В грядущем сосьетарном строе человечество вернется к первоначальной свободе любви, но эта свобода будет красивее и изящнее первобытной свободы, так как она будет иметь своей базой всестороннее развитие индустрии и все, что может дать культура для ее украшения и утончения.

Фурье несколько раз—правда, вскользь—высказывает ту мысль, что каждому строю соответствует свой закон любви или своя любовная система, и что этот закон или систему нельзя нарушить, пока существует строй, их поддерживающий.

Так, возражая тем, которые с религиозной точки зрения оспаривают его взгляд на любовь и брак, Фурье рассуждает следующим образом:

„Единобрачие и семья установлены богом для строя цивилизации; но это не значит, чтобы подобные отношения бог захотел сохранить и тогда, когда мы выйдем из строя „лжи и раздробленной индустрии" и перейдем в сосьетарный строй, т. е. в строй господства истины и индустриального единения. Предполагать подобные вещи,—говорит Фурье,—значит ставить границы всемогуществу бога. Во-вторых, те, которые утверждают, что богу угоден только моногамный нерасторжимый брак, не знают путей божьих в этом вопросе. Разве он не разрешил патриархам конкубинат и свободу развода, равную полигамии? Затем он на горе Синае дал евреям другой закон, приспособленный к жизни евреев в тот период. Позже он прислал мессию, чтобы изменить еврейские обычаи, каковы обрезание и др., которые уже перестали соответствовать его взглядам. Отсюда можно заключить, что и ныне, при переходе от цивилизации к сосьетарному строю, бог может захотеть изменить отношения любви и брака, установив порядок, соответствующий новому строю".

Из сказанного следует, что если бог запретил в цивилизации непостоянство и множественность любви, то это не значит, что подобные любовные отношения ему абсолютно противны, так как он их

разрешил Якову и другим патриархам, жившим при другом социальном строе, а потому весьма возможно, что когда мы выйдем из строя цивилизации, бог нас освободит от законов, предписанных им для этого строя и восстановит любовные обычаи, которые он считал допустимыми в первобытные времена.

Фурье идет еще дальше. „Что может быть богопротивнее, чем кровосмешение,—спрашивает он.—Однако бог допустил кровосмешение при самом сотворении мира, когда поставил Каина, Авеля и Сета в необходимость жениться на родных сестрах; если б он в ту эпоху считал кровосмешение таким грехом, он бы с самого начала создал, кроме Адама и Евы, еще одну человеческую пару, дав таким образом возможность детям Адама и Евы иметь жен, происходящих от других родителей. Значит, для первого периода жизни на земле бог предпочел в любовных отношениях кровосмешение. Не станем вдаваться в мотивы, которыми при этом руководился творец; достаточно для нас, на основании всех приведенных фактов заключить, что по мысли бога все любовные обычаи (как и другие удовольствия) суть только временные, изменчивые и переходные формы“ [1]).

Ту же мысль, хотя и в косвенной форме, Фурье высказывает в следующем отрывке, где он говорит о воспитании женщины

„В каждый период,—замечает он,—молодежь должна получить воспитание, соответствующее этому периоду, так чтобы она относилась к существующим нелепым сторонам жизни с должным уважением. Поэтому в строе варварства приходится женщину воспитывать, как животное, внушая ей, что она не имеет души, дабы она не противилась продаже ее на рынке и запиранию в гареме. Точно так же в строе цивилизации нужно притуплять ум женщины с детства, чтобы приспособить ее к философским догмам, брачному рабству и к той степени унижения, которая требует, чтобы она покорялась игу супруга, характер которого совершенно расходится с ее собственным. Поэтому я бы не одобрил варвара, который стал бы воспитывать своих дочерей для строя цивилизации, в котором они не будут жить, и не менее отрицательно отнесся бы я к цивилизованному отцу, который стал бы развивать в своих дочерях склонность к духу свободы и разума, которые будут господствовать в 6-м и 7-м периодах, в которые мы еще не вступили“ [2]).

Излагая свои любовные реформы, Фурье не раз подчеркивает, что эти реформы соответствуют периодам, в которых производство и распределение материальных благ, управление, воспитание, одним словом, все стороны жизни организованы на совершенно иных, чем у нас, началах, и что „если обычаи комбинированного строя кажутся в некоторых отношениях странными, то нужно знать обстоятельства, произведшие эти обычаи, столь отличные от наших“.

Итак, насколько мы могли убедиться из вышеизложенного, Фурье, при обосновании своей теории любви, исходит, во-первых, из анализа человеческих страстей и, во-вторых, из социальной эволюции, выдвигающей те или иные формы любовных отношений, сменяющиеся в зависимости от характера социального строя данного периода.

У Фурье, наконец, есть еще довод, который, по его мнению, с несомненностью подтверждает, что моногамия, существующая ныне благодаря особенностям нашего социального строя, совершенно про-

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. III, стр. 79—84.
[2]) Th. de quatre mouv., стр. 220.

тивна человеческой природе. Этот довод очень прост. Свободная любовь, несмотря на все запреты законодательства, морали, религии и общественного мнения, фактически существует в строе цивилизации правда, в уродливых, иногда курьезных, чаще, трагических формах, но все же существует. Но во что, обходится подобная „свобода“ человечеству, в особенности, женской его половине,—вот вопрос, который не может не волновать всякого члена современного общества, в большей или меньшей степени являющегося ее жертвой.

Фурье отводит много страниц изображению уродливостей современных любовных отношений как „законных“, так и „незаконных“, и нужно признать, что, после критики торговли, это—самое остроумное и саркастическое из всего им написанного [1]). Небольшие отрывки из этой области приведены в предыдущем параграфе настоящей статьи. Не имея возможности останавливаться здесь более на этой части его критики строя цивилизации, отсылаем читателя, желающего подробнее с нею познакомиться, к сочинениям нашего автора [2]).

4. Любовные реформы для переходного периода.—Любовное совершеннолетие.—Любовные корпорации.—Прогрессивный семейный строй.—Любовь в строе Гармонии.—Дамуазелат и весталат.

Фурье не только среди утопистов, но и среди всех писателей, пропагандировавших идею свободной любви, замечателен тем, что предложил конкретные мероприятия для ее осуществления.

Как и в своих теоретических рассуждениях, Фурье и здесь стремится оставаться по возможности на объективной почве. Прежде всего он соблюдает постепенность в проектируемых им мероприятиях, предлагая сначала реформы для переходного периода, потом уже для строя Гармонии.

Переходный период, или период гарантизма, носит у него название полуассоциации, потому что семейная ячейка здесь не уничтожена окончательно, только путем кооперирования отдельных семей у нее отнята значительная часть хозяйственных и воспитательных функций. Этому периоду соответствует строй любовной полусвободы или любовных гарантий. Фурье, правда, при изложении своей любовной системы названного периода не показывает, насколько рекомендуемые им мероприятия вытекают из социально-экономической сущности этого периода. Он более оперирует с психологическими мотивами; но сама идея постепенности, так сказать, половинчатости этих мер им подчеркивается, как соответствующая половинчатости переходного характера социального строя.

Картина любви, набрасываемая им для строя Гармонии, как мы увидим дальше, очень красочна и даже остроумна, но в ней нет цельности: она дана нам в виде отдельных контуров и мазков, по которым, впрочем, не трудно воспроизвести целиком его художественный замысел и дорисовать недостающее. С первого взгляда может показаться, что Фурье не обнаруживает должной последовательности

---

1) „Анализ злоупотреблений, являющихся результатом коммерции (здесь под коммерцией, как видно из дальнейшего, Фурье подразумевает вообще хозяйственную жизнь) и брака,—вот двойной путь, открывшийся человеческому духу, чтобы подняться к гарантиям истины и справедливости“ (Th. de l'Unité univ., ч. III, стр. 85).

2) Вопросы любви и брака трактуются нашим автором главным образом в следующих местах его сочинений: Th. de quatre mouv., стр. 157—223 и 257—271; Th. de l'Unité univ., ч. III, до стр. 110, и ч. IV, стр. 214—235 Nouv. Monde ind. et soc., стр. 225—244.

в проведении идеи свободной любви, прибегая к „сдержкам“ и „противовесам“. Но в действительности это не так. Прежде всего нужно подчеркнуть, что Фурье является сторонником свободы любви, но не разнузданья любовной стихии; он поэтому выдвигал известную организацию этой свободы, без которой любовная свобода превращается в любовную анархию. Все создаваемые им „сдержки“ и „противовесы“ в форме различных корпораций с разными правами вытекают из общих принципов организации фаланги, где все проявления жизни заключены в однотипные ассоциации, между которыми игрой разнородных страстей поддерживается необходимое для равновесия целого притяжение и отталкивание.

Сознавая всю щекотливость своей задачи и исходя из принципа смены периодов, наш автор ищет ту лестницу постепенности, которая необходима для перехода к полной свободе любви сосьетарного строя. Заметим тут же, что в нижеприведенных мероприятиях для переходного периода он имеет в виду прежде всего освобождение женщины, потому что мужчины фактически свободны в рассматриваемом отношении. Конечно, это освобождение женщины должно сыграть громадную роль и в жизни мужчины, так как, благодаря предлагаемым реформам, мужчина будет получать честным путем и из чистого источника то, что он до сих пор получал или путем обмана и вероломства или с вредом для своего кошелька и здоровья из грязного источника откровенного или замаскированного разврата.

Анализируя отрицательные стороны современной любовной системы, Фурье приходит к выводу, что одной из главных причин, создающих эти отрицательные стороны, является „любовное смешение“. Под любовным смешением (confusion amoureuse) Фурье подразумевает существующий в цивилизации обычай, „согласно которому в любви не различают никаких градаций добродетелей и пороков“... „Например, если речь идет об адюльтере, то всякая супружеская неверность заслуживает одинакового наказания в глазах философов, призывающих громы небесные и земные на голову женщины за малейшую вину. Между тем в прелюбодеянии, как и во всем, существуют градации. Сближение с бесплодной женщиной или женщиной уже беременной, одним словом, всякое единение, результатом которого не является беременность, представляет собой только легкое прегрешение; нужно отличать эти нюансы от адюльтера действительно преступного, каков, например, адюльтер, приводящий к распаду семьи или к водворению в нее чужеродных отпрысков. Отказываясь от допущения таких различий, смешивая и осуждая целиком и огульно все виды адюльтера, их сделали все одинаково извинительными, на все их распространили снисходительность общественного мнения, заслуживаемую только некоторыми. Общественное мнение, преследуя насмешками обманутого мужа и окрестив его названием рогоносца, дошло до крайностей, относясь с извинением и покровительством к самым отвратительным проявлениям вероломства, которые законодательство смешивает с самыми легкими проступками в этой области. Цель таким образом не достигается, вследствие излишней несправедливости и притеснений в последнем случае. Такой образ действий приводит к торжеству в деле любви, лжи и испорченности. Если всякое внебрачное удовольствие, согласно взглядам философов, есть преступление, то не лучше ли обманывать без удержу... Между тем, если допустить градации добродетели и порока в любовных делах, то это привело бы к возникновению лойяльных нравов, способствующих торжеству правдивости и не препятствующих любовным удовольствиям“ [1]).

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 206—207.

Современный строй,—рассуждает далее Фурье,—не в состоянии вообще внести соответствующих градаций в любовную жизнь человека или, вернее говоря, в вопрос о нарушении любовной морали, начиная с зарождения в молодом человеке полового чувства. Таким образом, если мораль резонно воспрещает девушке-подростку любовную свободу, в ожидании пока, достигнув достаточной зрелости, она не соединится законным браком с человеком, которого она сама изберет или за которого ее выдадут родители, то запреты той же морали становятся вредными и даже преступными, если они распространяются на девушек, которые, выждав соответствующий период, все же не получили на свою долю законных мужей.

На основании вышесказанного Фурье предлагает для переходного периода следующие мероприятия.

В качестве первой меры он предлагает установление для девушки любовного совершеннолетия, которое начинается по достижении ею 18 лет. С указанной точки зрения все девушки делятся на две категории: несовершеннолетних или юниц (jouvencelles) до 18 лет и совершеннолетних или эмансипированных (emancipées) старше 18 лет.

„Первой мерой справедливости по отношению к женщинам,—говорит Фурье по рассматриваемому вопросу,—было бы признание за ними права на любовное совершеннолетие, чтобы освободить их с определенного возраста от унижения быть выставленными на продажу и лишенными утех любви до тех пор, пока не явится какой-нибудь неизвестный, чтобы прицениться к ним и совершить брачную сделку. Я того мнения, что женщин следовало бы с 18-летнего возраста объявить свободными, установив соответствующие правила, которым они должны подчиняться, пользуясь предоставленной им любовной свободой.

„До 18 лет женщина переживает 4 года половой зрелости. Этот срок, я полагаю, достаточен, чтобы мужчины, живущие в одном с ней городе или кантоне, могли обдумать, подходит ли она для них в качестве жены или не заслуживает этой чести.

„Раз мужчины, согласно закону более сильного, требуют, чтобы девушке было запрещено всякое наслаждение любовью, дабы она сохранила себя целомудренной для первого оболтуса, который захочет к ней прицениться, то не следовало ли бы установить выход из этого положения для тех, которые в конце концов не нашли приобретателя? Не следовало ли бы, после испытания в продолжение нескольких лет, пустить их в обращение, разрешив им позаботиться о себе, как они найдут нужным, и взять себе на законном основании любовника, которого они все равно берут без этого разрешения. Та, которая не нашла себе мужа в продолжение 4-х лет показывания себя на балах и гуляниях, на праздничных обеднях и проповедях, рискует навсегда остаться незамужней. Причины, вследствие которых она не привлекла благосклонности мужчин, в продолжение указанного испытательного периода, останутся неизмененными и после этого срока. Наконец, если брак в цивилизации считается полезным учреждением, то следовало бы к нему побуждать мужчин опасением, что все девушки, оставшиеся незамужними старше 18 лет, не принесут им в браке целомудрия.

„Это (т.-е. установление любовного совершеннолетия) была бы мера не только справедливая, но и целесообразная,—говорит далее наш автор.—Известно, что молодые девушки, не успевшие до 20 лет выйти замуж, делаются предметом насмешек со стороны мужчин. Над их одиночеством смеются, их осыпают сарказмами и двусмысленно-

стями; под влиянием общественного мнения они принуждены нарушить закон и взять себе любовника. Мужчины настолько злы, настолько несправедливы по отношению к женщинам, что преследуют их своими насмешками, безразлично, сохранили ли они свою девственность или потеряли это бремя в возрасте, когда нести его становится слишком тяжело" [1]).

Вторым мероприятием, предлагаемым Фурье, является учреждение любовных корпораций (corporations amoureuses).

Согласно вышесказанному, всякая женщина, достигшая 18 лет (любовного совершеннолетия), получает известную свободу в любовном отношении. Фурье предвидит возможность и необходимость градаций этой свободы и спешит урегулировать эти градации правилами закона и общественного мнения.

Поведение девушки, достигшей любовного совершеннолетия, может быть различно в зависимости от субъективных и объективных обстоятельств. Нужно считаться с различиями натур, склонностей, вариаций в любовной судьбе. Одни, более склонные к постоянству, однообразию и прочности семейной жизни, могут предпочесть брак; другие решатся на менее прочную связь, потому ли, что им не удалось найти постоянного мужа и закрепить его за собой законом, или потому, что они не захотят себя закабалить; наконец, третьи, склонные по своей натуре и особенностям своей половой сферы к более интенсивной любовной жизни, предпочтут отдаться более широкой любовной свободе. Ввиду указанных обстоятельств, Фурье предлагает всех достигших любовного совершеннолетия женщин разделить на три главные корпорации. Эти корпорации суть:

1. Супруги, живущие только с одним мужчиной, согласно с законами цивилизованных; 2. Дамуазели [2]) или полу-дамы, имеющие право менять своих сожителей, лишь бы они жили одновременно только с одним, при чем прекращение сожительства должно быть обставлено известными гарантиями, и 3. Галантные, для коих любовные правила отличаются еще меньшей строгостью.

Каждая из этих трех корпораций подразделяется на три разряда или оттенка, являющиеся как бы переходными ступенями из одной корпорации в другую. Каждый город или кантон ведет именные списки всех совершеннолетних женщин с распределением их по корпорациям и разрядам, как ныне ведутся метрические записи брачущихся. Каждая женщина имеет право по своему усмотрению оставить одну корпорацию и перейти в другую, подчиняясь ее правилам.

„Этот порядок,—говорит наш автор,—на деталях которого было бы слишком долго останавливаться, осуществил бы большинство реформ, которые мы безуспешно стараемся ввести в любовные отношения, например, он сделал бы невозможным обольщение девушек и оставление их без поддержки. Если мы видим такое большое число девушек, прозябающих всю жизнь в ожидании мужа, или предающихся необузданному разврату, то это происходит от того, что мужчины имеют возможность посредством бесконечных отсрочек женитьбы злоупотреблять нравящимися им девушками, которые этому покоряются, не видя конца своей печальной девственности. Но раз этот срок будет ограничен 18-летним возрастом, у обольстителя не будет шансов добиться преждевременно своей цели. Если какая-нибудь несовер-

---

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 197—198.

[2]) Damoiselle—устарелое французское слово, означающее „барышня благородного происхождения". Почему Фурье употребляет это слово в качестве термина для обозначения девиц, имеющих право менять своих любовников, это его секрет. Мы оставляем это слово, как и следующее „galantes" непереведенным.

шестнолетняя уступит исканиям своего поклонника, она будет отвергнута или взята под подозрение в бесчестии корпорацией юниц (jouvencelles). По достижении юницей 18 лет искатель должен будет определенно высказаться о своих намерениях, рискуя своим промедлением заставить девицу перейти в корпорацию дамуазелей, дающую ей право выбрать себе сожителя по своему усмотрению. Она, конечно, не изберет того, кто своим ухаживанием возбудил в ней ложную надежду на брак; это — обман, который молодые девушки не любят прощать.

„Благодаря описанному устройству адюльтер и обман в браке будут сведены к очень ничтожным размерам. Какой-нибудь волокита будет иметь ничтожный успех у замужних женщин, которые будут взяты под подозрение даже без материальных доказательств и отнесены в разряд „подозрительных“ или „сомнительных“ и, наконец, „вероломных“, если их неверность будет констатирована. Женщины, принадлежащие к разряду „супруг“, будут находиться под бдительным наблюдением корпораций „дамуазелей“ и „галантных“, вследствие чего ни одна женщина не осмелится вступить в брачный союз без твердого решения соблюдать верность. Вообще женитьба будет происходить в позднем возрасте, т.-е. в возрасте успокоения страстей, и брак будет сведен к своему главному назначению — быть опорой старости; брак будет уделением от света, союзом, основанным на разуме, созданным для пожилых людей, а не для молодежи.

„Вместе с водворением такого порядка,— продолжает Фурье, исчезнут предрассудки, осыпающие насмешками всякого женившегося на девушке, ранее принадлежавшей другому. С другой стороны, дамуазели не будут лишены уважения только за то, что имели любовников, ибо они оставались целомудренными до требуемого законом 18-летнего возраста; на них будут жениться столь же охотно, как и на вдовах, которые к тому же имеют нередко детей от первого брака. Если считать позорным быть в браке вторым обладателем, почему же мужчины так охотно женятся на богатых вдовах, беря на себя воспитание чужих детей, которые могут происходить от различных отцов, если вдова в первом замужестве не лишена была склонности к любовным интрижкам? С такими мелочами мужчины не считаются; за то они считают себя скомпрометированными, если женились на девушке, которая, как им после женитьбы фактически пришлось убедиться, имела раньше любовную связь, хотя и бездетную. Ясно, что наши взгляды на честь и добродетель женщины носят характер предрассудка, меняющегося по воле законодателей. Достаточно, таким образом, одного закона, чтобы вернуть наши взгляды на вопросы любви к требованиям природы и поместить в разряд благопристойных удовольствий любовные утехи, которые смешно называть пороками, когда их позволяют себе женщины, между тем как их считают простыми шалостями, если в них упражняются мужчины. Ведь мужчина лишен будет возможности упражняться в этих „невинных шалостях“, если женщина не захочет предаваться „ужасному пороку“. Какое смешное противоречие, которое, впрочем, не более смешно, чем другие обычаи и воззрения цивилизованных“ [1]).

Наиболее отрицательные стороны современного любовного строя вытекают, по мнению Фурье, из нынешнего исключительного (т.-е. заключаемого между двоими) нерасторжимого брака, брака-„лотереи“, брака-„ловушки“, как он его называет. В этой сделке пострадавшими могут оказаться обе стороны, но обыкновенно страдающей оказывается

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 208—210.

более слабая сторона, т. е. женщина. Фурье стремится создать гарантии преимущественно для женщин, а потому предлагает и в этой области свою систему постепенности.

Чтобы решиться на такую роковую сделку, как брак, определяющую на всю жизнь судьбу обеих сторон в зависимости от их здоровья, характеров, склонностей, способностей, одним словом, от всего физического и духовного склада каждой из них, нужно, чтобы обе стороны основательно изучили друг друга раньше, чем ее совершить. В настоящее время это „предварительное" изучение сторонами друг друга совершается или в виде более или менее длительного жениховства, или в форме наведения справок. То и другое совершенно неудовлетворительно, ибо в стадии жениховства обе стороны надевают на себя маски, а при наведении справок пускаются в ход всякие интриги и обманы. На следующий день после свадьбы новобрачный сбрасывает маску и оказывается грубияном, эгоистом, скрягой или жуиром; или, наоборот, жена оказывается фурией, неряхой, мелочной; иногда новобрачный проникается к молодой супруге нерасположением, потому что не нашел в ней тех женских прелестей, которые надеялся найти; это нерасположение с течением времени превращается в ненависть. Вскоре на сцену выступают дрязги, вследствие обмана в приданом и других столкновений с родственниками жены или вследствие больших расходов по дому, склонности жены к мотовству, светской жизни и пр., и пр. Наконец, брак может оказаться бесплодным, что способно ввергнуть в отчаяние обе стороны. Подобные явления происходят и в богатых семьях, и в народной среде с той разницей, что в последней они разыгрываются в более грубой форме. Только при длительном любовном сближении, когда любовники сбрасывают с себя маски и притворные нежности, они могут надлежащим образом узнать друг друга. Поэтому необходимо создать такой порядок, при котором, с одной стороны, брачная сделка не была бы непоправимым несчастием и, с другой стороны, общество не смотрело бы на женщину, разведенную или разошедшуюся с мужем, как на испорченный товар.

Как противоядие против исключительного нерасторжимого брака, Фурье выдвигает проект п р о г р е с с и в н о г о с е м е й н о г о с т р о я, сущность которого заключается в следующем.

Устанавливаются три брачных степени: ф а в о р и т о в (или фавориток), ж е н и т ё р о в (дословно „производителей") и с у п р у г о в. Фавориты не имеют друг от друга детей; женитёры имеют по одному ребенку, супруги не менее, чем по два. Только степень супругов дает исключительные права; этих прав у сторон не существует в период фаворитизма или женитёрства. Сойдясь, как фавориты, стороны могут легко разойтись, убедившись, что по тем или иным причинам не подходят друг для друга; если же их взаимная склонность становится более прочной после первой стадии единения, они переходят в степень женитеров и, наконец, супругов.

„В цивилизации,— говорит наш автор,— супруги получают друг по отношению к другу все права сразу и навсегда с момента совершения фатального обряда и на всю жизнь наслаждаются плодами своего лицемерия. Вот почему большинство мужей и жен с первых дней брака жалеют, что попали в ловушку, в которой им придется остаться на всю жизнь. Таких ловушек не существует в 7-м периоде; соединяющиеся пары только постепенно переходят из одной любовной степени в другую. Сначала они имеют только титулы фаворитов и фавориток с очень слабыми друг по отношению к другу правами, которых та или другая сторона легко может быть лишена вследствие неблагопристойного поведения. При таком порядке муж-

чина, желающий иметь ребенка, не рискует быть лишенным этого блага вследствие бесплодия своей моногамной супруги; женщина не рискует навеки остаться несчастной, вследствие ловкой игры своего жениха, который на следующий день их брака сбрасывает маску и оказывается жупром или грубияном или ревнивцем. Наконец, установленные выше любовные титулы приобретаются после достаточного испытательного периода и, не давая исключительных прав, становятся для объединившихся только стимулом, приманкой для более внимательного и деликатного ухаживания, но отнюдь не средством угнетения, каким является современный брак и то единообразие, которое современный строй устанавливает в любовных отношениях" [1]).

Подводя итог мероприятиям, рекомендуемым Фурье для переходного периода, мы видим следующее. Фурье не задается целью ввести в этот период что-либо абсолютно новое, реорганизовать любовные отношения на совершенно новых началах. Он не уничтожает брака и не освобождает женщину от обязанности соблюдать установленные законом и моралью любовные нормы. Он идет вслед за жизнью и стремится облечь в „законную" форму то, что и выдвинуто самой жизнью. Любовное совершеннолетие и любовные корпорации могут с первого взгляда показаться мероприятиями, переворачивающими вверх дном весь существующий уклад любовных отношений; но таковыми они могут показаться только с первого взгляда. Разве в цивилизации подавляющее большинство девушек, не вышедших по тем или иным причинам замуж, не вступает раньше или позже в запрещенные любовные связи, и разве замужние женщины сплошь и рядом не изменяют своим мужьям, посредством мимолетных или длительных любовных интрижек? И, наконец, разве и современном обществе не существует любовной разнузданности в форме тайной и явной проституции, этой гноящейся язвы в любовной системе современного строя? Вся разница в том, что в цивилизации совершается тайно и в обход закона то, что Фурье предлагает сделать обычным и урегулировать рамками закона и морали; тогда любовь, создающая ныне такую массу драм и страданий, физических и психических расстройств, дезорганизующая общество и деморализующая индивида, приблизится к своему истинному назначению. Фурье не без основания надеется, что его реформы положат предел всей противоестественности, эксцессам, порабощению и преступлениям, связанным с уродливостями системы любви нашего времени; очень вероятно, что он не далек от истины, когда уверяет, что степень вводимой им свободы не только не увеличит любовной разнузданности, но, наоборот, создаст для нее серьезную преграду в виде урегулированных законом более эластичных, чем ныне, форм любви и брака. Чтобы убедиться, что наш автор в своих реформах имеет под собой надлежащую социальную почву, вспомним, что он предлагает свои мероприятия для 6-го и 7-го периодов, когда путем реформ полукооперативного-полусоциалистического характера будет дана возможность женщине получать средства к существованию не только „посредством ткацкого станка, личных услуг или торговли своей красотой", и будут созданы более благоприятные условия для освобождения ее от отрицательных последствий современных неурегулированных любовных отношений.

В строе „Гармонии" Фурье создает все материальные предпосылки для освобождения любви от пут буржуазного строя. Он обеспечивает всех без исключения членов фаланги прожиточным минимумом и вводит общественное воспитание детей, таким образом совершенно осво-

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 186.

бождая женщин от необходимости продавать свое тело в форме ли проституции явной или проституции скрытой, т.-е. проституции современного буржуазного брака. Он далее делает женщину самостоятельным равноценным с мужчиной работником, отводя ей все сферы физического и умственного труда наравне с мужчиной; он делает ее, наконец, равной мужчине во всех остальных правовых и социальных отношениях. Таким образом он уничтожает возможность злоупотребления женщиной, как недоразвитым, неполноправным и несамостоятельным существом, и в то же время кладет конец тому женскому безделью более обеспеченных классов, которое невольно толкает женщину на путь пустой и, как следствие этого, нередко развратной жизни, превращая ее человеческую сущность в второстепенный придаток к ее половой сфере.

Но и здесь его любовный строй не представляет чего-либо однородного и аморфного. Фурье стремится использовать все особенности человеческой природы, чтобы создать своего рода любовные серии, т.-е. такие организации, где любовные крайности будут уравновешены противоположностями, градациями, интригами и соревнованием одновременно к пользе индивида и коллектива.

Анализируя особенности человеческой природы, Фурье констатирует, что не все молодые люди, достигшие любовного возраста (приблизительно 16 лет), чувствуют одинаковую склонность к половым наслаждениям; что среди них могут оказаться натуры холодные или менее страстные, существа с духовными наклонностями или молодежь, страстно увлекающаяся физическими работами, играми, спортом, одним словом, элементы, которые при известных условиях, способны продлить свою девственность без всякого насилия и принуждения, а единственно под влиянием своих субъективных телесных и духовных особенностей, получая моральную поддержку со стороны соответствующих организаций и всего общества, награждающего их за это отличиями и почетными привилегиями.

По мнению Фурье, среди молодых людей, достигших любовного возраста, две трети склонны к любовным наслаждениям и одна треть способна временно к половому воздержанию. Среди девушек, наоборот, только одна треть необузданно стремится к половым наслаждениям, а две трети способны временно к половому воздержанию. Поэтому наш реформатор вводит в своей фаланге следующие две корпорации: корпорацию воздержания—„весталат", состоящую на $^2/_3$ из девственниц-весталок и на $^1/_3$ из девственников-весталов, и корпорацию свободной любви—„дамуазелат", состоящую на $^2/_3$ из молодых людей „дамуазелов" и на $^1/_3$ из молодых девушек „дамуазелей".

„Весталат" требует от своих членов целомудрия, и поэтому каждый, вступающий в эту корпорацию, дает обет соблюдения целомудрия по крайней мере, до 18—19 лет; наоборот, члены „дамуазелата" могут свободно предаваться утехам любви с того момента, как почувствовали к этому склонность. Выбор той или иной корпорации совершенно свободен. Вступивший в ту или иную корпорацию может во всякое время из нее выйти; но всякий вступивший в одну из корпораций, в продолжение всего своего пребывания в ней, должен соблюдать правила и обычаи этой последней: целомудрие—в весталате, верность—в дамуазелате. Но,—замечает меланхолически наш автор,—так как молодые люди в большинстве случаев предпочтут любовь воздержанию, то число членов весталата будет немногочисленно (а не равно, по первоначальному предположению, числу членов „дамуазелата"); но зато это будут люди с твердой волей и возвышенными наклонностями.

„Гармоническое воспитание обанкротилось бы,—говорит наш автор в „Теории всемирного единства",—если б оно, развивая в ребенке до 15-летнего возраста принципы честности, стремление всегда поступать в согласии с правдой, с момента перехода в период зрелости ввело бы его в мир, где мужчины и женщины конкурируют друг с другом в практике разврата и где все выгоды в любовных делах как в отношении удовольствий, так и материальных благ, выпадают на долю лицемеров и лгунов. Так обстоит дело с любовью в цивилизации, насквозь пропитанной ложью, вследствие отсутствия действительной свободы, способной использовать для полезных целей любовь, которая в цивилизации отклоняет человека от индустриальных занятий и, во всяком случае, не способствует развитию склонности к ним. „Гармония же стремится прежде всего к увеличению общественного богатства и не отказывается для этого прибегнуть к такому могущественному рычагу, как любовь, пользуясь двумя корпорациями, которые разными путями идут, подобно маленьким ордам и маленьким бандам, к той же цели, а именно, к единению прекрасного с добрым и полезным" [1].

„Всякий индивид, достигший половой зрелости и перешедший из гимназического хора в юношеский, имеет право выбора между двумя корпорациями, как мы видели относительно маленьких орд и маленьких банд. Разница здесь только та, что для испытания способности к воздержанию рекомендуется всем начать со вступления в весталат, хотя бы для того, чтобы провести в нем несколько месяцев с правом немедленно оставить эту корпорацию, когда пребывание в ней окажется непосильным.

„Гармония предоставляет в этом отношении каждому полную свободу, но принимает необходимые меры для воспрепятствования всяким обманам в деле сохранения девственности. Всякий, нарушивший главный пункт устава весталата, должен немедленно покинуть эту корпорацию и перейти в дамуазелат. Это исключение из весталата не кладет на молодого человека и тени бесчестия и направлено не против свободы, а единственно против лицемерия и обмана, ибо всякий член корпорации должен свято подчиняться ее статутам. Таким образом в Гармонии нельзя будет играть роль невинности, не будучи таковой, как мы это наблюдаем на каждом шагу в строе цивилизации" [2].

Фурье нигде не дает более или менее подробного изложения правил „дамуазелата", как вообще не дает более или менее связного и обоснованного изложения своей любовной системы в строе Гармонии; вследствие этого мы остаемся в сомнении относительно целого ряда вопросов и прежде всего относительно того, имеют ли право члены дамуазелата на множественность связей. На этот вопрос мы находим косвенный ответ выше в замечании, что члены каждой корпорации должны строго соблюдать ее правила, а именно целомудрие—в весталате и в е р н о с т ь—в дамуазелате. Но на чем основано это требование верности и что грозит членам дамуазелата в случае ее несоблюдения? Некоторый свет на эти вопросы проливает

[1] Если мы возьмем детей, не достигших половой зрелости, в возрасте от 9 до 15 лет, то среди них, по мнению Фурье, $2/3$ мальчиков и одна треть девочек склонны к грубости, нечистоплотности, шуму, брани, сквернословию, упрямству; наоборот, к вежливым манерам, опрятности, изяществу склонны $2/3$ девочек и $1/3$ мальчиков. Основываясь на этих склонностях детей, Фурье образует две корпорации—маленькие орды и маленькие банды, из которых первую он утилизирует для выполнения грязных работ, а второй дает миссию следить за изяществом и красотой. Первая, по его словам, стремясь к полезному, достигает прекрасного: вторая, наоборот, стремясь к прекрасному, достигает полезного.

[2] Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 220—222.

описание жизни в индустриальных армиях, откуда мы узнаем о существовании корпораций вакханок, баядерок, авантюристок и пр., из чего заключаем, что Фурье мыслил в своей фаланге целый ряд любовных корпораций различного назначения. Нужно полагать, что Фурье, согласно общим принципам построения своей фаланги и главному из них—постепенности переходов, предполагал организовать несколько (девять) любовных корпораций, из коих дамуазелат, предназначенный для самой юной молодежи, был основан на принципе взаимной верности в продолжение известного времени.

Стремясь создать сдержки против раннего удовлетворения чувственности, Фурье старается унизить дамуазелат в глазах подростков; наоборот, весталат он окружает ореолом. Члены дамуазелата не имеют права являться на утренние собрания детей (происходящие по расписанию, установленному Фурье для фаланги, в 5 час. утра). Впрочем, они должны будут от этого отказаться, потому что посещают залы любовного ухаживания, где сеансы начинаются с 9 часов вечера, и вследствие этого не могут вставать рано, как дети и члены весталата, которые ложатся спать не позже 9 часов.

Вследствие оставления утренних собраний детей и стремления к уединению, вполне естественного для влюбленных пар, дамуазелат не будет пользоваться расположением со стороны детей и подростков, которые, наоборот, все свои симпатии отдают весталату. Все молодые хоры будут питать особое уважение к весталату и наоборот нерасположение к членам дамуазелата, которые в их глазах будут равны изменникам. В особенности сильно будет к ним нерасположение маленьких орд, которые смотрят на дамуазелат, как на павших ангелов, сторонников Сатаны; они, наоборот, с особенной помпой сопровождают колесницу весталок, занимающую самые почетные места во всех процессиях. Точно так же питают к весталату особенное расположение возрастные группы старше 20—30 лет. Таким образом весталат пользуется особенным расположением, с одной стороны, всех младших хоров, а с другой—всех людей зрелого возраста. Указанными преимуществами,—замечает Фурье,—весталат пользуется для привлечения членов фаланги к крупной индустрии и в индустриальные армии, о чем подробнее будет сказано дальше.

Весталки и весталы, как было сказано, имеют право покинуть свою корпорацию, когда они пожелают; но случаи преждевременного дезертирства будут очень редки, с одной стороны потому, что общепринятый срок пребывания в весталате очень короток, всего 2—3 года, а с другой—потому, что члены этой корпорации, не будучи стеснены ни в каком другом отношении, кроме любовной свободы, будут пользоваться большими привилегиями. Единственное их ограничение будет заключаться в том, что их жилища будут удалены от жилищ остального взрослого населения фаланги, чтобы не давать членам весталата повода к соблазну и сделать для них невозможной всякую любовную контрабанду. Но встреча с мужчинами будет разрешена и даже тем, которые будут чувствовать к ним любовное расположение, будет разрешено ухаживать за своим предметом, правда, не более чем в продолжение $^{1}/_{4}$ часа в день. Это будет разрешено „титулованным“ или признанным искателям, одному из коих данная весталка раньше или позже подарит свою первую любовь.

Звание „титулованного“ или признанного „искателя“ будет даваться тому или иному мужчине после обсуждения в весталате с участием наиболее достойных членов любовного совета. Здесь будет подвергнуто подробному рассмотрению поведение мужчины, ставящего свою кандидатуру в искатели. Ему не вменяют в вину

непостоянство, проявленное по отношению к другим женщинам, потому что непостоянство имеет в Гармонии свою положительную сторону; но зато стараются тщательно узнать, постоянно ли он обнаруживал в своих различных любовных связях уважение и лояльность по отношению к женщинам, дарившим ему свою любовь. И те, которые во Франции называются милыми повесами, люди, вся слава которых основана на ловком обманывании женщин, были бы не только отвергнуты, но этой участи подвергся бы всякий сколько-нибудь на них похожий.

Фурье отводит весталату исключительное место в фаланге, делает его предметом всеобщего поклонения, предоставляет его членам привилегию занимать первое место на всех парадах и торжествах. Подобно тому как в древнем Риме весталки были хранительницами священного огня, посредницами между человеком и божеством, подобно этому Фурье в фаланге им вверяет „хранение священного огня основных добродетелей, а именно дружбы, благородного честолюбия и любви“; он делает весталок и весталов предметом обожания, полурелигиозного культа; в будущем он им обещает любовь самых выдающихся мужчин. Всеми этими средствами он старается привлечь подрастающую молодежь к весталату, сделав из него добровольную сдержку, временный барьер для слишком раннего развития чувственности.

Фурье не сторонник идеальной любви наших романистов и поэтов. Он смотрит на любовную страсть глазами реалиста. Освобождая любовь от насилия и принуждения, он в то же время не стремится подчинить ее условностям любовного идеализма, законы которого требуют, чтобы любовное сближение было непременно результатом слепого болезненного влечения ,с стихийной силой бросающего одно существо в объятия другого. Он, конечно, ничего не имеет против подобного проявления любовной страсти, но он признает в этой области нюансы и переходные ступени. Поэтому он допускает любовные связи более легкие и временные, возникающие на почве ухаживания в форме оказания услуг, покровительства богатых бедным, сильных слабым, общности индустриальных, художественных и научно-литературных интересов.

Фурье не боится каких-либо вредных последствий от этого для нравов. Ведь женщина свободна и равна мужчине; следовательно, в этой плоскости не может произойти порабощение ее мужчиной. Тем менее должно бояться продажности любви. Известно, что продажность любви является результатом материальной нужды, а в фаланге все обеспечены сверх необходимого; к тому же брать плату за какие бы то ни было услуги будет считаться позорным, ибо все члены фаланги за свою работу и услуги будут получать соответствующую долю из общего дохода; было бы, следовательно, вдвойне позорнее брать деньги за любовь. Фурье поэтому без особой щепетильности допускает любовные отношения между двадцатилетним Себастьяном и семидесятилетней Целиантой.

Семидесятилетний возраст женщины в сопоставлении с словом „любовь“ может показаться ужасным в строе цивилизации, но отнюдь не в строе Гармонии. Во-первых, в строе Гармонии женщины в 70 лет еще будут очень далеки от той степени увядания, которого они становятся жертвой в настоящее время; они будут еще достаточно красивы и привлекательны, не хуже некоторых современных сорокалетних красавиц; а что возможно сохранение красоты и женственности до очень позднего возраста, доказательством служит знаменитая куртизанка Нинон, которая в 70 лет была предметом ревност-

вого искательства мужчин самых разнообразных возрастов. Фаланга с ее гигиенической жизнью, жизнью умеренного, разнообразного и привлекательного труда большей частью на открытом воздухе и, что важнее всего, жизнью беззаботной, когда женщина даже будет освобождена от труда воспитания своих детей, когда само деторождение станет гораздо реже вследствие значительного развития женского интеллекта и укрепления ее организма [1]),—фаланга при указанных условиях будет содействовать продолжительному сохранению здоровья и красоты как женщин, так и мужчин. Во-вторых, в строе цивилизации сближение молодого человека со старухой всегда происходит на почве материальных интересов, между тем в строе фаланги такое сближение возможно только на почве чувства, если не чистой любви, то признательности, как результат духовного сближения, заботливого покровительства и пр.

Почвой для любовного сближения в фаланге Фурье считает также оказывание друг другу всякого рода услуг в частной жизни. Для домашних услуг Фурье создает в фаланге серии пажей и пажесс, которые, как и все серии, получают свою долю из всего дохода фаланги на общих основаниях. Помимо обычных услуг, оказываемых всем по положению, пажи и пажессы будут оказывать особое внимание тем, к которым они чувствуют особое расположение; они будут стремиться к тому, чтобы сделать более приятной и легкой частную жизнь лица, к которому они неравнодушны. На этой почве возможны самые разнообразные виды сближения—от мимолетной связи до прочного союза, от легкого флирта до сильной любви [2]).

Мы приводим этот пример с пажами и пажессами, как характерный штрих, оттеняющий картину любви в строе (Гармонии), картину, которую Фурье дает только в незаконченных контурах и отдельных мазках. Сколько в этом примере жизненного и сколько утопичного, сколько достойного слова любви и сколько отдающего низкопробной обыденщиной нашей современной жизни,—предоставляем судить самому читателю [3]).

---

[1]) Фурье полагает, что слабые и малоразвитые в умственном отношении женщины более плодовиты, и потому видит одно из главных средств уменьшения деторождения в умственном развитии женщины и в постепенном увеличении крепости ее организма. Это, между прочим, послужит в значительной степени к разрешению проблемы равновесия народонаселения.

[2]) Вот один из примеров, приводимых нашим автором в „Новом индустриальном мире". Аминта, бедная молодая девушка (une pauvre jouvencelle), одна из наиболее талантливых членов серии цветоводства, увлечена Дамоном, богатым флориманом, работающим с ней вместе: она забывает его шестидесятилетний возраст, она видит в нем главную опору ее любимых культур. Она стремится стать к нему ближе и так как она состоит членом группы пажесс или камеристок, она берет на себя содержание в порядке его квартиры и заботу о чистоте и порядке его гардероба (функции мойки и чистки принадлежат маленьким ордам). Аминта таким образом становится домоправительницей Дамона из влечения к нему. Он ей за это ничего не платит; она считала бы для себя позором и бесчестием брать деньги за свои услуги; она, как и прочие пажессы, получает долю из общего расхода, приходящегося на ее группу, ибо она не служит одному Дамону, но ему она служит с особой любовью. Ее страсть к цветочной культуре распространяется и на Дамона, который благодаря своему образованию и богатству, является опорой этой хозяйственной отрасли.

Отсюда еще не следует, что Аминта должна стать любовницей Дамона; это совершенно не вытекает из характера ее услуг, но скорее всего нужно допустить, что между ними произойдет любовное сближение; но, если это даже не случится, Дамон все же будет пользоваться ее любезными услугами обеих указанных категорий и, наверно, сделает ее своей индустриальной дочерью, что обеспечит ей известную долю в его наследстве (Nouv. Mondo ind. et soc., стр. 277).

[3]) В пользу подобных любовных методов нашего автора, с первого взгляда кажущихся очень странными, чтобы не выражаться сильнее, можно сказать следующее: оказывание услуг, как форма ухаживания, явление вполне реальное и обыденное, и нет ничего странного в том, что Фурье старается использовать его для своей любовной системы. В то время, как

5. Свободная любовь, как фактор расцвета индустрии.— Любовь в индустриальных армиях.

Выше мы видели, как смотрит Фурье на брак в строе цивилизации. В этом строе брак, по мнению нашего автора, имеет двоякую цель: образование хозяйственной ячейки и воспроизведение и воспитание работника. Но, не достигая надлежащим образом указанных целей, современный брак ставит в неестественные извращенные условия удовлетворение той естественной цели, которой должно было бы служить любовное единение двух лиц противоположного пола, удовлетворение любовной страсти. В строе Гармонии, наоборот, любовь будет освобождена от всех стеснений и искусственных преград; ей не будет навязываться никаких меркантильных целей и расчетов; и именно поэтому, т. е. вследствие своей свободы и естественности, она будет содействовать всестороннему физически-духовному развитию работников и расцвету индустрии. К этому выводу Фурье приходит чисто-диалектическим путем; но в то же время он стремится подкрепить это утверждение рядом практических доводов.

С указанной точки зрения, ранний период любви у нашего автора является одним из воспитательных средств, продолжением того физического и духовного воспитания, которое индивид получает в воспитательных сериях, мастерских, в ордах и бандах, где целью воспитания является развитие индустриального влечения, подготовка всесторонне развитого работника, соревнование в общественных добродетелях (преимущественно хозяйственного характера) и подчинение своего личного интереса интересам коллектива. Поэтому у Фурье глава, трактующая о ранней любви, помещена в отделе о воспитании и в „Нов. индустр. мире“ озаглавлена „Education de l'enfance mixte“.

Что своевременное и достаточно полное удовлетворение любовной страсти способствует развитию и укреплению тела и духа, это, по мнению нашего автора, можно видеть, хотя и в несколько искаженном виде, из наблюдений над окружающей нас действительностью.

Констатируя, как много физического и нравственного вреда приносит женщине современные любовные запреты, наш автор спрашивает: „не лучше ли было бы попытаться ввести строй менее стеснительный и унизительный для женщины?“ —и отвечает: „Безусловно, да. Потому что свобода любви развивает самые драгоценные качества в женщинах, ею наиболее наслаждающихся. Этих женщин в настоящее время можно разделить на следующие категории: придворные дамы, светские куртизанки и незамужние мещаночки (мастерицы, продавщицы)“.

Оставляя в стороне придворных и великосветских дам, которых наш автор привлекает ради их „очаровательных и изящных любовных манер“ (противоставляя их буржуазкам, этим „заводным маши-

в цивилизации оно носит односторонний характер услуживания мужчиной женщине, как пережиток рыцарского служения даме, у Фурье оно становится взаимным, вследствие полного равенства обеих сторон и полной демократизации жизни в фаланге. Вполне естественное стремление стать ближе к нравящемуся существу в цивилизации встречает тысячу преград. Сколько мужчин согласились бы временно поступить лакеями, камердинерами и т. п. к женщине, которой они увлечены. Такие отношения, ныне совершенно неестественные, несогласуемые с классовым характером современного общества, недопустимые с точки зрения общественного мнения и трудно осуществимые в нашем обществе, Фурье делает вполне возможными, допустимыми и достижимыми в строе фаланги, где ни одно полезное для общества и индивида занятие не может быть унизительным или позорным и где различия между занятиями—и то только для целей вознаграждения—устанавливаются с точки зрения степени их полезности, трудности или легкости, приятности и т. п.

нам, умеющим только лгать узким душам, но знающим ни одной благородной страсти"), мы видим, что к остальным двум категориям он относит женщин, не связанных с одним только мужчиной или самостоятельных в материальном отношении, что дает им больший или меньший простор наслаждаться любовью по свободному влечению сердца. Эти две категории суть: женская молодежь мелко-буржуазного городского класса и „куртизанки хорошего тона".

„Мещаночки, продавщицы, мастерицы и пр., — говорит наш автор,—представляют собой категорию женщин, совершенно свободных до брака, в особенности в больших городах. Они совершенно открыто, на глазах у родителей, живут со своими любовниками, меняя их по своему усмотрению и держа про запас, на всякий случай; одним словом, они наслаждаются в избытке тем, что совершенно недоступно для девиц из „хорошего общества"; они проводят свою юность, переходя от одного мужчины к другому. От этого они только делаются энергичнее и способнее к труду и приобретают ловкость, необходимую для того, чтобы подцепить в мужья какого-нибудь неопытного юнца, когда они убеждаются, что их прелести пришли в стадию увядания. Нельзя не порицать их мании притворства, которую следует приписать плохому тону окружающих их мужчин. В общем у них приятные наклонности; они сверх того прекрасные хозяйки, одним словом, женщины, заслуживающие полного предпочтения перед барышнями из бель-этажа.

„Куртизанки хорошего тона, если отвлечься на момент от некоторых приемов, к которым их принуждает практикуемый ими род коммерции, отличаются очень благородными качествами. Они ласковы, услужливы, добродушны, ~~сердечны~~, одним словом, они обладают прекрасным характером, если доходы их находятся в хорошем состоянии. Доказательством может служить знаменитая Нинон. Благодаря жизни среди постоянных удовольствий, они теряют ту лукавость души, те тщательно скрываемые плотские вожделения, которые легко можно заметить у буржуазных дам, нашпигованных моралью; у этих ограниченных семьянинок сквозь показную благопристойность прорывается на каждом шагу плотская чувственность, которую они упорно стремятся скрывать, чувственность, которая не безобразит женщину, когда она находится в известной гармонии с более возвышенными душевными проявлениями, как это бывает среди дам, отдающихся любви свободно и без принуждения.

„Подводя итог сказанному,—заключает наш автор,—мы приходим к выводу, что можно было бы поднять до совершенства женский характер, если объединить качества всех трех вышеупомянутых категорий женщин, и к этому мы придем в социальном строе, где женщины будут наслаждаться полной свободой любви. Стремясь к одной цели сделать из женщины семьянинку и хозяйку, вы теряете в ней все, потому что стремитесь к слишком малому. Ваши молодые девушки, насквозь пропитанные предрассудками и наставлениями маралистов, исковерканные существа, постоянно съедаемые похотями; они вечно рассеяны, работают с отвращением, усвоивают поверхностно преподанные им искусства, забывают по выходе замуж все, чему их учили, становятся вскоре плохими хозяйками"[1]...

Каким же образом надеется Фурье использовать эти благодетельные результаты свободной любви для своей фаланги? Для уяснения этого необходимо обратиться к организации труда в фаланге. Известно, что основой этой организации является привлекательность труда.

---

[1]) Th. de quatre mouv., стр. 196—200.

Фурье стремится сделать труд в фаланге настолько привлекательным, „чтобы работа в группах и сериях была заманчивее самых интересных развлечений в строе цивилизации". Одним из стимулов этой привлекательности будет любовь. Фурье стремится превратить труд в фаланге в игру и флирт.

Как же он этого достигает?

Известно, что Фурье привлекает всех женщин к труду, освобождая их от воспитания детей и от всех специально женских обязанностей. Во всех работах женщина стоит в одинаковой плоскости с мужчиной. Правда, в первоначальный период водворения сосьетарного строя еще существуют специально мужские и специально женские работы, но с течением времени это различие сгладится. Дети без различия пола будут воспитываться в совершенно одинаковых условиях. Фурье нигде не говорит об особенном воспитании девочек. Воспитание не будет развивать особенности женского характера. Женщина превратится в работника, равноценного мужчине.

Таким образом мужчина и женщина, свободные в своих любовных стремлениях, будут встречаться постоянно за общей работой в мастерских, полях, садах, при чем интерес к этим встречам стимулируется их многообразием, так как каждый член фаланги ежедневно меняет до десятка групп, а в продолжение месяца—до пятидесяти.

К числу главных особенностей труда в фаланге принадлежат его неутомительность и разнообразие; одно связано с другим. Работа происходит сеансами, которые не должны быть продолжительнее $1^1/_2$—2 часов, но обыкновенно бывают короче, чтобы рабочий мог в продолжение дня переменить целый ряд групп. Работа в мастерских будет сменяться работами в поле. При таких условиях само разнообразие будет отдыхом, короткие сеансы работ сменяются общими трапезами, сервированными со всевозможным изяществом. Белоснежные скатерти, художественная посуда, вино, цветы, разнообразие вкусных блюд,— все служит к поддержанию повышенного бодрого настроения. При таких условиях легкость работ, непрерывное соревнование в наилучшем их исполнении, и изящество обстановки превратит труд в игру, а постоянное общение с женщинами, среди которых множество молодежи, внесет в эту игру черты флирта; и в результате работа в сериях „будет более интересна, чем самое интересное развлечение в строе цивилизации".

В строе цивилизации подъем духа и прилив энергии, создаваемые в молодом организме любовными переживаниями, или пропадают нецелесообразно, или, в лучшем случае,—содействуют увеличению личного благосостояния индивида. Чаще всего этого подъема не существует или во всей совокупности общественной энергии он нейтрализуется теми страданиями и бедствиями, которые любовь или стремления к ней приносят в цивилизации большинству индивидов. Если мы посмотрим, в какой обстановке и в каких формах теперь разыгрывается любовь, то увидим следующее. В народной среде она носит вообще полуживотный характер и лучшие ее проявления подавляются хозяйственным расчетом, изнурительным трудом, вечными заботами борьбы за кусок хлеба. В средних и высших слоях общества местами любовных интриг являются балы, вечеринки, пикники и всякого рода общественные собрания, где все носит условный и пошлый характер, где скука считается признаком и проявлением хорошего тона. И здесь таким образом драгоценная энергия, создаваемая любовными переживаниями, испаряется, пропадает бесследно. Фурье переносит любовные интриги и флирт из скучных зал и гостиных нашей цивилизации в трудовые группы и серии, в индустриальные армии, для правильного

и плодотворного функционирования которых необходим энтузиазм, одним из лучших возбудителей коего является любовь. Фурье стремится оплодотворить труд любовью и одухотворить любовь трудом.

Как ни утопична кажется в настоящее время подобная идея, в ее пользу можно сказать следующее. В обстановке современного труда едва ли возможно говорить о благотворном влиянии на работников и работниц изображенного нашим автором изящного сотрудничества обоих полов. Продолжительная, однообразная, отталкивающая, изнурительная работа в антигигиенических мрачных и гулких мастерских и фабриках или 14—16-часовой труд летом на нивах под палящим солнцем при скверном питании и с малоусовершенствованными орудиями не располагают к любовным переживаниям. У современного труженика только одна мысль—поскорее закончить полукаторжный труд и отдаться отдыху; но совершенно иначе будет обстоять дело в обстановке труда, изображаемой Фурье. При работе в изящно оборудованных и вполне гигиенических светлых и просторных мастерских короткими сеансами, превращающими работу в игру или приятное время препровождение, соприкосновение здоровых и бодрых мужчин и женщин будет содействовать развитию той энергии энтузиазма и творчества, которая, по мнению нашего автора, должна давать чудеса производительности. Нужно к тому же принять во внимание, что работа в фаланге происходит не столько в закрытых мастерских, сколько на лоне природы, по крайней мере в продолжение $^2/_3$ года, что еще более содействует бодрому и счастливому настроению членов фаланги.

Описанную роль любовного фермента будет играть в сериях дамуазелат, в индустриальных армиях—весталат. По вечерам происходят собрания в любовных залах, где представители обоего пола договариваются относительно встречи на следующий день в рабочих группах и относительно совместных работ мужских групп с женскими. Самым привлекательным элементом, в особенности для пожилого возраста, являются молодые хоры дамуазелата, который расточает свои чары для привлечения работников к наиболее трудным и полезным для фаланги работам.

Самым грандиозным поприщем единения труда с любовью являются индустриальные армии. Фурье мечтает заменить наши военные армии, набираемые для разрушения, индустриальными армиями, организуемыми для производства. Такие армии будут больше или меньше по своим размерам, смотря по тому, для каких целей они будут организованы. Несколько кантонов или фаланг могут организовать армии для сезонных работ, для исправления дорог, для очистки почвы, для осушки болот. Это будут малые армии; но возможны также грандиозные армии, организуемые фалангами всего мира, например, для проведения каналов, для устройства орошения в пустынях и даже для превращения Сахары в плодородную страну. Для этого понадобятся индустриальные армии в несколько миллионов человек. Фурье надеется производить набор индустриальных армий при содействии любовных чар весталата, куда, по его идеи, должна войти самая выдающаяся по красоте и талантам часть молодежи.

„Так как мои рассуждения о свободной любви в комбинированном строе,—говорит Фурье в „Теории 4-х движений",—должны возбудить гнев мещан и философов, то, чтобы их успокоить, я хочу им показать пользу свободы любви для материальных интересов—их единственного божка. Любовь, которая в цивилизации является источником всяких расстройств, безделия и больших издержек, в комбинированном строе становится источником добра и чудесных успехов в области индустрии. В качестве доказательства я возьму одну из наиболее слож-

ных отраслей экономического управления, а именно, набор индустриальной армии, производимой в комбинированном строе посредством любовной политики...

„Во главе индустриальных армий будут стоять избранная молодежь всех участвующих в них фаланг, т. е. весталат... Здесь (в индустриальных армиях) весталки и весталы будут переживать свою первую любовь. Каждый день, по окончании работ, индустриальные армии устраивают празднества, блеск которых будет тем сильнее, что в них участвует избранная ча ть молодежи, выдающаяся по красоте и талантам. Эти празднества дают широкий простор для ухаживания; претенденты и претендентки толпами окружают весталат, члены которого делают свой выбор в период индустриальной кампании, те из молодых людей, которые захотят себе взять по одному любовнику или любовнице, переходят в разряд дамуазелей и дамуазо и вступают в группу постоянства, которая является вторым из девяти любовных характеров; прочие, не имеющие склонности к постоянству, вступают в одну из остальных семи групп...

„Главным результатом этой любовной свободы является образование громадных индустриальных армий не посредством хитрости и принуждения, а единственно посредством публичного чествования той девственности, которую философы хотят спрятать от всего мира и окружить предрассудками и дуэньями"...

„Чтобы собрать армию, достаточно опубликовать таблицу кадрилей девственников и девственниц, которых каждая фаланга намерена туда выслать. Претенденты и претендентки должны будут последовать за ними в армию, где будет решаться выбор, происходящий, впрочем, тайно, без той скандальной публичности, которую вносит цивилизация в свои брачные церемонии, предупреждая целый город, что в такую-то ночь такой-то повеса или развратник лишит невинности такую-то молодую девушку. Нужно быть рожденными в цивилизации, чтобы спокойно переносить эти неблагопристойности, называемые свадьбами, где в интимное дело любви одновременно вмешиваются магистрат, духовенство и все шуты и пьяницы квартала. И для чего? Для того, чтобы после подлых интриг сводничества целого ряда кумушек, оформленных нотариусом, на всю жизнь сковать двух индивидов, которые, быть может, спустя один месяц, станут невыносимы друг для друга.

„В комбинированном строе празднование первой любви будет происходить только после ее вкушения. Там не будут подражать цивилизованным, которые сзывают весь мир для присутствования при брачной сделке. Каждая весталка делает выбор между своими ухаживателями, обнаруживающими свои достоинства в публичных играх и в работах армии. Число этих претендентов уменьшается по мере того, как те или другие убеждаются, что их шансы не значительны. Когда она, наконец, останавливается на одном из них, парочка ограничивается посылкой запечатанного заявления в канцелярию Высокой Матроны (которая является министершей любовных дел армии, поскольку они касаются весталата) или какой-либо из вице-матрон, заведующих любовными делами отдельных отрядов армии. Министерша любовных дел отдает распоряжения касательно устройства парочек, желающих тайно соединиться. Эти распоряжения приводятся в исполнение одной из чиновниц, которой вменяется в обязанность быть скромной. О состоявшихся соединениях объявляется на следующий день после того, как весталка заменила свою корону из лилий короной из роз и появилась в костюме дамуазели со своим любовни-

ком или дамуазо, если выбранный ею возлюбленный принадлежал к весталату.

„В индустриальных армиях каждую ночь совершается немало таких союзов, о которых возвещается на следующий день за завтраком или обедом. Обязанности вакханок и вакханов заключаются в том, чтобы „подобрать раненых“, т.-е. утешить отвергнутых претендентов и претенденток.

„Предположим, что весталка Галатея колеблется в выборе между Пигмалионом, Нарциссом и Поллуксом. Наконец, она останавливает свой выбор на Пигмалионе и тайно с ним соединяется. Сотня весталок в ту же ночь вкусила любовь со своими избранниками в здании, для этого предназначенном. На следующий день тысячи вакханов и вакханок данного отряда собираются на рассвете перед матроважем, где докладчица читает список любовью сочетавшихся в эту ночь, а затем список отвергнутых обоего пола, которых нужно утешить. В этом списке, между прочим, находятся имена Поллукса и Нарцисса. Тогда вакханки, имеющие основание думать, что они более других нравятся Поллуксу, отправляются к его жилищу; другие, считающие Нарцисса в числе своих приятелей, направляются к Нарциссу; аналогичным образом поступают вакханы по отношению к отвергнутым женщинам. Разбуженный вакханками, пришедшими с миртовыми ветвями в руках, Поллукс узнает о поступке Галатеи; они стараются облегчить его первое потрясение, когда из его груди вырываются крики негодования за измену и неблагодарность; а затем, чтобы его утешить, они расточают все свое красноречие и стараются воздействовать на него своими чарами..

„Цивилизованные, быть может, скажут, что вакханки не могут дать Поллуксу никакого утешения; что, если он влюблен в Галатею, он с негодованием отвергнет услуги бесстыдниц, пришедших ему их предложить. Таковы, действительно, обычаи любви в цивилизации. Поллукс в продолжение некоторого времени отвергал бы любовь всякой женщины, которая пыталась бы заменить ему Галатею. Более того, он, наверное, вызвал бы на дуэль Пигмалиона. В строе варварства Поллукс поступил бы иначе. Он сразил бы кинжалом Галатею и стал бы искать случая убить Пигмалиона, а в строе патриархата или дикости он поступил бы опять-таки еще иначе. Я отлично понимаю, что, согласно нашим любовным нравам, Поллукс должен был бы отнестись с презрением к вакханкам и их утешениям, но если вы хотите, сообразуясь с обычаями цивилизации, порицать Поллукса за то, что он утешился с вакханками, то не забудьте, что в варварском обществе над вами издевались бы, если б вы дали похитить свою красавицу, не отомстивши похитителю. Я вхожу в эти подробности, чтобы показать, что страсти в каждом социальном периоде имеют различное проявление; *и если обычаи комбинированного строя*[1]) *кажутся в некоторых отношениях странными, то нужно знать обстоятельства, произведшие нравы, столь отличные от наших* (Курсив мой. *А. А*).

„Такие поражения поклонников и поклонниц происходят в индустриальных армиях каждое утро к великому удовольствию вакханок и вакханов, которые извлекают пользу из этих любовных мученичеств, потому что обычное целительное средство от таких неудач будет состоять в том, чтобы в продолжение нескольких дней целиком отдаться безумствам разгула и любви с вакханками, авантюристками и пред-

---

[1]) Одно из многих обозначений, которые Фурье дает своей социальной системе.

ставительницами других корпораций, занимающихся любовной филантропией. Когда вы узнаете все детали механизма любовных серий и их функций в индустриальных армиях комбинированного строя, вы тогда убедитесь, как пресна, монотонна и жалка любовь у цивилизованных, и почувствуете, что не в состоянии прочитать ни одного романа, ни одной из нынешних пьес; вы убедитесь, что допущение в индустриальные армии будет своего рода милостью, что охотников вступить туда будет всегда в два раза больше, чем потребуется, что посредством одного только рычага любви можно будет привести в движение 120 миллионов легионеров обоего пола, которые выполнят работы, одно только представление о которых способно наполнить ужасом продажные души цивилизованных. Комбинированный строй предпримет, например, завоевание Сахарской пустыни; с разных сторон нападут на нее по 10 и 20 миллионов рук и, нанося новую почву, засевая ее, засаждая кустарниками, шаг за шагом укрепят ее пески, оросят ее—и в результате на том месте, где была пустыня, возникнут плодородные страны. Каналы для кораблей будут проведены там, где цивилизованные даже не мечтали об оросительных ручейках, и самые большие суда поплывут не только через перешейки, как Суэц и Панама, но также и внутри континентов, как, например, от Каспийского моря к Азовскому и Аральскому, от Квебека к пяти великим озерам"...

„Любовное ухаживание, ныне не приносящее никакой материальной пользы, станет одним из самых мощных рычагов социального механизма и, в то время как современный строй цивилизации с таким трудом и насилием собирает разрушительные армии, опустошающие периодически земной шар, комбинированный строй будет пользоваться влечением и любовью для создания творческих армий, которые, состязаясь друг с другом, воздвигнут пышные памятники культуры. Вместо того, чтобы в продолжение одной кампании опустошить 30 провинций, эти армии проведут 30 мостов через реки, покроют плодородной почвой 30 скалистых гор, пророют 30 оросительных каналов и высушат 30 вредных болот. Перечисленные индустриальные трофеи будут только частицей чудес, которыми мы будем обязаны свободе любви и гибели философии.

„В этих пустых, на поверхностный взгляд, рассуждениях об удовольствиях хорошего стола и свободе любви не нужно терять из виду, что главная цель комбинированного строя—вызвать индустриальное влечение. Все детали касательно этого строя, которые вам кажутся созданными только для удовольствия, на самом деле, подчинены двум основным требованиям, чтобы они вели к индустриальному влечению и экономии средств. Доказательством этого могут служить вышеуказанные мной банды странствующих рыцарей, объезжающих весь мир" [1])...

„Ввиду многочисленных приманок, представляемых армиями для молодежи, она вступает туда добровольно по первому зову. Мало того, допущение в армии является привилегией, приобретаемой после многих испытаний. Таким способом достигаются обе вышеуказанные цели—индустриальное влечение и экономия средств. Но не думайте, что странствующие банды представляют собой приятные прогулки. Нет, эти банды, как и все элементы комбинированного строя, должны содействовать вышеуказанным двум целям; мерами же,

[1]) Банды странствующих рыцарей—это индустриальные и артистические труппы, переезжающие из одной страны в другую.

ведущими к ним, являются великие и романтические наслаждения вроде тех, о которых я дал выше некоторое представление" [1]).

На этом закончим изложение теоретических воззрений и практических построений Фурье в области женского вопроса, любви и брака.

Если в вышеприведенных любовных проектах и реформах, в особенности там, где он развертывает картину любовной жизни индустриальных армий строя Гармонии, наш автор дает слишком много простора своей фантазии и слишком сильно забывает о нашей прозаической действительности, то нельзя не признать чрезвычайно оригинальной и даже плодотворной его идею—заставить любовную страсть служить индустриальному влечению, увеличению богатств фаланги. Такая постановка вопроса не только обнаруживает последовательного материалиста в том, якобы, идеалисте, каким многие считали Фурье, но лишний раз доказывает, как глубоко понимал Фурье, что правильное разрешение социального вопроса, вопроса об уничтожении эксплоатации человека человеком, следует искать в наилучшей организации производства. Стремясь поэтому к социализации производства, Фурье вместе с тем ставит ему цель создания такого обилия богатств, чтобы прожиточный минимум рядового члена фаланги представлял совокупность благ, значительно превосходящую жизненный уровень вполне состоятельного и даже богатого члена современного общества. Он выдвинул поэтому столь злободневный для нашего времени лозунг—все для производства и через производство—и стремился к наиболее полному его осуществлению, заставив этому служить не только все элементы своей организации, все пружины человеческих страстей, но самую изящную из них, многим кажущуюся самоцелью,—любовь.

Арк. А—н.

---

1) Th. de quatre mouv., стр. 257—267.

О действительном и недействительном изучении Гегеля.

Гегель отличался от своих учеников тем, что не опирался на невежество, как они.

Ф. Энгельс.

I.

Мы не брались бы за перо для того, чтобы писать о статьях т. Гоникмана в №№ 1 и 3 нашего журнала „Учение Гегеля о действительности“, если бы нас не побуждали к тому предмет и стиль его работы.

Тов. Ленин обязал „Под Знаменем Марксизма“ превратиться в общество материалистических друзей гегелевской диалектики. Тов. Гоникман один из первых, вслед за статьями А. М. Деборина „Маркс и Гегель“, взялся за изложение того рационального, что может быть взято диалектическим материалистом из гегелевой „Науки логики“. Завет великого мастера диалектического метода накладывает на каждого, кто берется за его изучение, обязанность особой добросовестности в исследовании и особой внимательности в выводах. И поскольку проблема отношения к Гегелю становится в наши дни одной из наиболее боевых проблем философии марксизма—особенно важно подвергнуть тщательной критике все, что относится к этому предмету.

В переживаемый нами период революции вновь выдвигаются вперед в порядке дня вопросы философии и марксистской теории. В результате переворота складываются новые, более или менее устойчивые общественные группировки, возрождаются в раскрепощенной ею стихии разбитые и распыленные старые классы. Высокие сферы идеологического творчества кажутся наиболее далекими от действительной борьбы классов и в них слабее всего чувствуется давление пролетарской диктатуры. Но именно здесь разыгрываются прелюдии грядущих и настоящих общественных боев. Здесь осознают себя, как особые силы с особенными интересами, различные общественные

группы. На почве всех этих движений растут, с одной стороны, враждебные нам воззрения, с другой—уродливые извращения в нашей собственной марксистской среде. Опаснее всего они бывают, когда выставляются под флагом „развития“, „углубления“ и т. д. марксистского мировоззрения. Марксизм по самой своей природе не есть что-то мертвое и навсегда застывшее. Он по самому существу своему есть орудие критики. Но надо уметь различать ревизионистское, делающее „эпоху“ „углубление“ марксизма, от ортодоксальной марксистской критики отживающих общественных форм. Ортодоксальная марксистская критика никогда не провозглашала даже свое несогласие в том или другом пункте со старой теорией указанием на какую-либо новую эпоху в ее развитии. Она всегда считала себя призванной не нарушить завет, а исполнить его. Развивать марксизм—это значит проверить его положения на современной нам действительности и современном нам знании, осознать их с его точки зрения.

Ленинизм в этом отношении означает новую эпоху в марксизме в очень определенном значении этого слова. Ленин стоит целиком и полностью на почве марксизма, применяя его к современной нам обстановке—периоду загнивания капитализма. Он приводит марксовскую теорию, очищенную от опошлений II Интернационала, в действие. Ленинизм, это—марксизм эпохи краха капитализма, переходного периода от капитализма к социализму. Это марксизм на практике пролетарской революции, для которой не было еще достаточных материальных предпосылок в марксовском Интернационале. Больше всего Ленин был бы удивлен, если бы ему сказали, что он открывает новую эру (?!) в марксизме. Но одно дело Ленин, другое—тов. Гоникман. Что не позволительно Юпитеру, то позволительно быку, сказали бы мы несколько изменив старую латинскую пословицу.

Но, прежде чем прийти к этому по счету первому (их не мало!) откровению т. Гоникмана, мы должны несколько остановиться на стиле его работы—второй причине нашего к ней внимания.

Говорят, что стиль—это человек. Это избитое положение для марксизма имеет несколько более глубокое значение, чем та разменная монета дешевой мудрости, какою оно является в устах обывателя—литературного критика. Стиль оказывается не только той формой, в которой своеобразно проявляется действительное содержание того или другого писателя или оратора со всеми его достоинствами и недостатками,—стиль обладает некоторым определенным общественным значением. И прежде всего это касается фразы.

Классическим периодом процветания фразы была Великая Французская революция. Стоит для этого прочитать хоть бы несколько речей ее деятелей. Но там она имела свое высокое оправдание. В ней кристаллизовался пафос революции, осуществляемой мелкой буржуазией, бессильной разрешить полностью задачу раскрепощения общества. Идеал и действительность были бесконечно далеки друг от

друга. Фраза о равенстве заменяла действительное равенство. Но она была орудием прогресса, и в этом было ее историческое оправдание.

Но еще Маркс говорил, что то, что является миру первый раз в виде трагедии, второй раз разыгрывается как фарс. Если тогда фраза заменяла собой недостаточность сил революции и ограниченность ее задач, то в наш век она отражает только ограниченность и недостаточность понимания ее адептов. Фраза оказывается призванной заменить конкретный анализ, изучение действительных отношений, отыскание действительных сил и причин явлений. Ничто так не чуждо пролетариату, как фраза. Не было больших ее врагов, чем Маркс и Ленин. Маркс любил яркие противопоставления в стиле Гегеля, но ничего так язвительно не осмеивал, как заменяющую конкретное изучение, точный анализ—фразу. Типичны у нас с их влюбленностью в фразу слащаво сентиментальные и возвышенно-ограниченные в своей мелко-буржуазности эс-эры и отчасти некоторые группы меньшевиков, ревизионисты с их нравственным пафосом долга и т. д. Нужно беспощадно объявить войну фразе в нашей среде. Если нет другого умысла и претензий на вымученное остроумие, то она почти всегда свидетельство недостаточного знания, заменяющего анализ и понимание словом, громопобедным откровением и фразой.

Т. Гоникман чувствует к ней влечение—род недуга. Поистине геркулесовых столбов достигает она в его статье о Гегеле.

Так, на первой же странице своей статьи, ничтоже сумняшеся, черным по белому он пишет: „Только безнадежно слепой человек не видит, что молекулярная работа, происходящая в наших вузах, кружках и школах, готовит новую эру в марксизме". К этим безнадежно слепым готов себя причести прежде всего пишущий эти строки, так как никакого геологического переворота в марксизме не видит, не предчувствует и готов все отдать, чтобы не увидеть. Опошления марксизма, всякие енчменизмы, кантианства и т. д., есть, к сожалению, и вероятно еще долгое время будут, но нужно смотреть на нашу жизнь поистине сквозь очки самовлюбленной фразы, дабы думать о новой эре (?!!), т.-е. о *радикальном изменении, перевороте в марксизме* в результате „молекулярной" работы наших вузов, кружков и т. д.

„Речь, конечно, идет не о ревизии". Да, конечно. И мы так думаем, хотя разве когда-либо ревизионисты говорили, что они хотят ревизии—они всегда тоже хотели лишь „углубить", „продвинуть" и создать „новую эру". Для ревизии условия еще не созрели, но они зреют, и т. Гоникману нужно во-время спохватиться, чтобы не оказаться в дурной компании.

Статья т. Гоникмана, начинающаяся с выше цитированной фразы о „новой эре", должна очевидно открыть ее в философии марксизма. Производит она эту операцию на изложении Гегелевского учения о „действительности", отвлекаясь часто в сторону, чтобы

дать выход всему накопившемуся разными путями в душе т. Гоникмана. Нельзя сказать, чтобы это способствовало стройности плана работы. Мы постараемся остановиться на самых основных из тех положений, которые нам кажутся либо пустыми, либо ошибочными [1]).

II.

Свое рассмотрение вопроса о задачах философии, как науки, т. Гоникман начинает с того, что заявляет, что провозглашаемое многими „как последнее слово марксизма снятие гносеологической проблемы" было дано еще Гегелем в его „Феноменологии духа". Это верно. Хотя так же верно, что и эта провозглашаемая с превеликим торжеством мысль так же стара, как марксизм. Зрелище становится еще занимательнее, когда в конце статьи т. Гоникман возглашает: „не только отрицание философии, но и подсовывание на ее место гносеологии, какой либо этической дребедени, вроде науки о поведении или действии [2]) и т. д.,—является реакционным шагом не только по отношению к Марксу-Энгельсу, но и Гегелю". Как бы вы думали, кто „подсовывал", выражаясь стилем т. Гоникмана, вместо философии—гносеологию (теорию познания) в марксизме. Почему тов. Гоникман не указывает имен делавших это марксистов? Уж не сам ли это т. Гоникман? И тогда в назидание читателю картина: раскаявшийся в грехах своей марксистской молодости т Гоникман публично самого себя сечет и требует при этом особого внимания читателя к этому действу. Поистине претензии непомерные. И нельзя же из-за давно известной и высокопарно преподнесенной мысли стулья ломать.

Однако, как и подобает всякому неофиту новой для него точки зрения ломясь в открытую дверь, т. Гоникман ухитряется при этом себе же разбить еще лоб. Т. Гоникман объявляет, что в своем „разоблачении" роли теории познания (гносеологии) для марксизма он делает шаг вперед по сравнению с Плехановым и Лениным. Он должен это делать—он, ведь, открывает новую „эру". Но от этого чрезвычайно важного для него обстоятельства в аргументации его ничего не прибавляется.

Положение о том, что марксизм не строит своей особой теории познания и в философии, является прежде всего как методология знания, надо уметь не только переписать, но и понять. А вместе с тем понять, что тут никакого особенного шага по срав-

[1]) Мы должны здесь же отметить, что некоторая часть положений, выставляемых в статье т. Гоникмана, мы бы сказали—большинство ее верных положений (как, например, о роли категории меры, об объективном значении качества и т. д.), впервые была выдвинута А. М. Дебориным, доклад в семинарии которого представляет самая статья т Гоникмана.

[2]) Как не трудно убедиться всякому мало-мальски сведущему читателю, в этой фразе т. Гоникман свал в одну кашу, по его излюбленному методу, этику, психологию и философию.

нению с Плехановым и особенно Лениным нет. Стоит сравнить это со следующим местом из статьи В. И. против Струве: „С точки зрения Маркса и Энгельса философия не имеет никакого права на отдельное самостоятельное существование, а ее материал распадается между разными отраслями положительной науки“ (Соч., т. II, стр. 80). Но как с этим, казалось бы, столь категорическим заявлением примирить место из письма В. И. Горькому, где Ленин называет материализм миропониманием, или те места, где он говорит о теории познания диалектического материализма? Тов. Гоникман разводит руками и делает шаг вперед. А прежде чем написать это, следовало бы немного подумать.

Верно, что вопрос о границах познания, роковой кантовский вопрос, снимается изучением истории развития познания. Верно, что, говоря словами Ленина, „уже психология дает положения, заставляющие отказаться от субъективизма и принять материализм“ [1]). Но задача привлечения самого опытного научного материала психологии, истории и т. д. для разрешения великой проблемы отношения мышления и бытия остается. Остается задача критики буржуазной, кантовской критики познания. Если эту проблему объявить просто по Енчмену эксплоататорским обманом, или по Гоникману „подсовыванием“ гносеологии — то что же остается от различия между материализмом и идеализмом, на значении которого так настаивал Энгельс? Таким образом гносеология не просто отменяется, а снимается, в гегелевском значении этого слова, в философии марксизма. Она оказывается лишь моментом общей методологии знания, разрешаемом на опыте положительной науки.

Но мало того. Как мы видели со слов Ленина, как сейчас увидим со слов Энгельса, диалектический материализм не только методология, но и целое миропонимание. Что это значит?

У Энгельса в „Анти-Дюринге“ мы читаем: „Это (современный материализм) вообще уже не философия больше, а простое мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить свою деятельность не в какой-либо особой науке наук, а в реальных науках. Философия, таким образом, „снята“ (aufgehoben), т. е. „одновременно преодолена и сохранена, преодолена по форме, сохранена по своему действительному содержанию“ [2]). В другом месте: „От прежней философии остается, в качестве самостоятельной науки, только учение о мышлении и его законах—формальная логика и диалектика. Все прочее входит в состав положительной науки о природе и истории“ [3]).

Таким образом философия марксизма оказывается и общей мето-

---

[1]) Здесь Ленин подтверждает мнение былого Струве. Соч., т. II, стр. 80.

[2]) Энгельс, Анти-Дюринг, изд. „Московск. Раб.“, 1924 г., стр. 159.

[3]) Там же, стр. 34.

дологией знания, и учением о мышлении, и мировоззрением. Но это **не исключающие друг друга определения, а одна и та же точка зрения.**

Философия марксизма есть учение о мышлении, поскольку она разрешает проблему отношения бытия и мышления материалистически, поскольку она тем самым свой материализм и материалистический метод противопоставляет идеализму и идеалистическому методу. Она общая методология знания, поскольку устанавливаемые ею общие законы движения применяются и к мышлению, и к природе, и к истории. Но эти диалектические законы не конструируются ею из головы, a priori, а познаются в конкретном научном исследовании. В этом смысле философия марксизма не какая-то особая наука наук, обладающая своим особенным от них методом, а душа и совесть этих наук, их собственный метод и критик. Ее содержание, завещанное ей старой философией, есть переведенная на материалистический язык диалектика. Этот метод диалектического материализма есть метод пролетариата. При помощи его пролетариат разрушает буржуазное мировоззрение, на основе его пересматривает современное ему знание. При помощи его осознавая свое действительное положение в обществе—пролетариат осознает себя как особый общественный класс и свою историческую роль. В этом смысле метод диалектического материализма выражает новое миропонимание, он есть миропонимание пролетариата. Как метод действия он есть метод класса, действенного по самой своей природе.

Таково положение философии в марксизме. Ее нет, поскольку она не предполагает никакого особого от положительных наук способа познания мира. Но она есть во всей глубине своего содержания, как метод нового общественного класса в изучении им и переустройстве мира. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает в марксизме.

А т. Гоникман тем временем, не дав себе труда продумать то, о чем берется писать, делает шаг вперед от Плеханова и Ленина. Мы боимся, что это не шаг вперед, а шаг в сторону. А на боку—кочки. Как бы не поскользнуться и не упасть в большую яму?

III.

Т. Гоникман взялся писать о значении некоторых категорий гегелевской логики для марксизма. Чтобы выполнить хоть сколько-нибудь удовлетворительно эту задачу, необходимо, во-первых, постараться понять Гегеля и, во-вторых, знать марксизм, хотя бы то, что на данную тему сказано его основоположниками. В этом отношении т. Гоникман, к сожалению, хромает на обе ноги.

Мы проходим мимо разделения т. Гоникманом категорий диалектики на категории изменения (качество, количество, мера) и категории отношения (категории действительности). Оно неверно, так

как все категории диалектики есть категории изменения, движения, становления. Отличительная черта категорий I части „Науки логики" у Гегеля та, что они категории перехода одного в другое, качества в количество и обратно. Что же касается категорий отношения, то здесь ошибка граничит с другой проблемой, на которой мы хотели бы остановиться немного дольше.

Верно, что категории II части „Науки логики", как это указывает сам Гегель, есть категории отношения. Но это относится не только к тому отделу у Гегеля, который носит название „действительности", а ко всем отделам учения о сущности (рефлексия, явление, действительность). То, что отдел о „действительности" есть тема работы т. Гоникмана, не есть еще достаточное основание для его привилегированного положения в системе логики. Между тем т. Гоникман настаивает именно на этом.

Не моргнув ни единым глазом, на стр. 85 он пишет: „Ни категории рефлексии, ни категории явления не имеют объективного существования. В мере логический процесс отделяется от действительности (?) и на протяжении первых двух отделов „сущности" витает в сфере исторической критики рассудочной теории познания". Невероятно, но факт,—именно это написано. И далее, на стр. 86: „категории рефлексий" и „явления", синтезируясь в „действительности", отменяются в ней не только, как самостоятельные сущности, но попросту как фикции" [1]).

Здесь целая куча грубейших ошибок. Если те категории, которые Гегель разбирает в отделах „рефлексии" и явления", попросту фикции, то как из их синтеза, синтеза фикций, появляются категории действительности?

Далее, это свидетельства полнейшего непонимания вообще значения всей гегелевской логики, в которой критика рассудочного знания совершается не путем пустого противопоставления ему другой точки зрения, а путем выяснения действительного значения той или иной категории и, тем самым, ее ограниченности. Низшие категории не отменяются, а снимаются, составляя необходимый момент в становлении высших, они не фикции, а моменты самой действительности.

Наконец, это заявление т. Гоникмана о значении категорий разбираемых в Гегелевских „явлении" и „рефлексии" прямо сногсшибательно по своей ошибочности в устах марксиста. Какие это категории? Возьмите просто оглавление „Науки логики", и вы там увидите категории: противоположности, противоречия, основания, условия, формы, содержания, вещи и ее свойств, закона, целого и частей, силы

[1]) А в примечании оговорочка: „это не значит, конечно (всегда конечно!), что эти отделы являются пустыми страницами для марксизма; и из них многое должно быть завоевано (??) для нашей диалектики". Что именно? В каком смысле не пустые страницы? Разве это не пустая оговорка без всякого конкретного содержания, дань добродетели, воздаваемая пороком.

и ее обнаружения, внутреннего и внешнего. Это все фикции, не применявшиеся Марксом и Энгельсом? Чепуха. С полным основанием можно сказать, что без этих категорий нет марксизма и никакого научного исследования. В частности **формы развития противоречия, показанные в отделе „рефлексии", есть душа марксистского метода.** Совершенно очевидно, что в данном случае т. Гоникман бухнул в колокола, не посмотрев в святцы. А между тем он нашел бы несколько поучительных строк в переписке Энгельса. Так в письме к К. Шмидту 1 ноября 1891 г. [1]) Энгельс пишет как раз об отделах гегелевской логики: „главная часть—это учение о „сущности". Раскрытие отвлеченных противоречий во всей их несостоятельности, при чем как только собираешься ухватиться крепко за одну сторону, так она незаметно превращается в другую" [2]) Т. Гоникман цитирует в своей статье место из письма Энгельса к Ланге, что настоящая натур-философия Гегеля во второй части „Науки логики", и цитирует довольно своеобразным образом. Ему нужно цитатой из Энгельса подтвердить его положение о том, что именно в учении о „действительности Гегель, как философ действительности, достигает своей кульминационной точки". Для этой цели он приводит место из Энгельса о значении гегелевских категорий причины, действия, взаимодействия, и на этом обрывает цитату, ставя „и т. д.". А в „и т. д." у Энгельса следует категория „силы", разбираемая Гегелем в отделе „явления", и по свидетельству Энгельса ее понимание Гегелем оправдывается современным Энгельсу естествознанием. Подобный способ цитирования, особенно классиков марксизма, в подтверждение своих „откровений" по меньшей мере недопустим. Это либо невнимательное чтение, мягко выражаясь, либо передержка.

Для того, чтобы писать о философии марксизма и значении для нее Гегеля надо добросовестно изучать марксизм. При всяком новом исследовании ошибки неизбежны, но они могут оправдываться лишь тогда, когда сопровождаются внимательным и добросовестным изучением предмета, прежде всего, своего собственного мировоззрения. Провозглашать же новую эру в марксизме и не знать самого марксизма, по меньшей мере, —нескромно. В этом именно смысле мы прежде всего пожелали бы т. Гоникману немного скромности.

Маркс был великим знатоком Гегеля, и смешно думать здесь о каком-то перевороте в марксизме в результате усвоения и нашим поколением богатств „Науки логики". Но теории диалектики, абрис которой собирался, но не успел дать Маркс, мы до сих пор не имеем. Надо разрабатывать ее. Надо искать. Изучать современное знание,

[1]) Которое т. Гоникману, очевидно, известно, так как из него он берет эпиграф к своей статье.

[2]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, изд. 1922 г., стр. 294.

современную действительность, марксизм, Гегеля—те элементы, из которых она должна сложиться. И каждый шаг добросовестного исследования в этом отношении будет действительным шагом вперед марксизма. Но на этом пути ни к чему никакие откровения, никакие фразы и никакие пророчества о „новой эре".

IV.

Уже заранее можно сказать, что и в области определений материи т. Гоникман, пророчествуя о „новой эре", не сможет удовлетвориться тем, что дает на эту тему классическая марксистская литература. Он призван, как древний мессия, изменить все. И поэтому он немедленно же заявляет, что определение материи, даваемое Плехановым, восходящее к французским материалистам XVIII в., „будучи само по себе верным, чересчур бедно и требует дополнений". Определение же Плеханова гласит, что материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, вызывает в нас те или другие ощущения.

В чем будет заключаться новый шаг вперед т. Гоникмана? Здесь тов. Гоникман решается опереться на Спинозу, которого как раз в разбираемом т. Гоникманом отделе критикует Гегель. В своей обычной манере писать путем откровений, т. Гоникман заявляет, что, вопреки мнению многих марксистов, „вся система Спинозы носит ярко-эмпирический характер". Доказательство: „утверждая множество атрибутов, Спиноза в самом деле чисто-эмпирически останавливается только на двух".

Гегелевская критика неподвижности субстанции Спинозы неверна.

Гегель бьет Спинозу не за мертвенность его субстанции, а за его материализм, примат у Спинозы протяженности над мышлением, чего не хотят, по т. Гоникману, понять „некоторые из современных марксистов". Критика Гегеля убеждает т. Гоникмана в том, что Спинозовское понимание субстанции является не только диалектическим, но и материалистическим, и что оно вполне приемлемо для марксизма". А что Спинозовская субстанция деятельна, есть „субъект в марксистском понимании этого слова", это следует из того, что она есть causa sui (причина самой себя), исключает всякую трансцендентность. Таков ход мысли т. Гоникмана. И опять удивляешься, насколько у него вымысел перепутывается с действительностью.

Начнем по порядку. Носит ли система Спинозы „ярко эмпирический характер"? Было бы очень интересно, если бы т. Гоникман это доказал. Это действительно создало бы некоторую „новую эру" в понимании Спинозы. Всеми историками философии он до сих пор относился к рационалистам. После революции, произведенной т. Гоникманом, его, очевидно, пришлось бы отнести к эмпирикам. Но такого доказательства т. Гоникман не даст. Думать, что эмпириче-

ский характер системы Спинозы свидетельствуется тем, что он разбирает только два атрибута, мышление и протяженность, а не все их бесконечное число, как этого требует система, есть простое недоразумение. Конечно, Спиноза говорил только о мышлении и протяженности, но ни о чем другом он и не мог говорить, так как других атрибутов в природе не существуют и никто не может их выдумать из своей головы во всей их конкретности. Это очевидно. Каждый идеалист себе противоречит в том смысле, что, провозглашая сверх-чувствительное бытие и сверх-чувствительные сущности, он вынужден бывает всегда подменять их на деле самыми земными реальностями. Но разве от этой своей непоследовательности он перестает быть идеалистом? Ошибка Спинозы в том, что, вопреки тому, что нам в действительности даны лишь два атрибута, он, побуждаемый рационалистическим методом построения своей системы, признал их множественность.

Значит ли это, что в системе Спинозы нет эмпирических элементов? Ни в малой степени. В системе Спинозы есть много эмпирических элементов. Но сказать, что **вся** система Спинозы носит **ярко**-эмпирический характер—это значит только привести к абсурду верное положение и расшибить себе лоб, ибо в методе Спинозы есть и другие неприемлемые для нас положения. Сюда относится прежде всего рационалистический критерий истины (истинно все постигаемое ясно и отчетливо), унаследованный от Декарта, сюда же относится имеющийся у Спинозы интуитивный метод познания, принять который мы, марксисты, не можем. Но как раз этот метод обусловливает собою все построение спинозовской „Этики". Таким образом ярким эмпириком Спиноза никогда не был, и выступление здесь т. Гоникмана надо признать по меньшей мере неосторожным.

Но был ли Спиноза материалистом? Для своего времени безусловно да [1]). Он сделал шаг вперед от Декарта к материализму.

Природа заменила бога в его мировоззрении, телеологию сменил последовательно проведенный детерминизм. В этом смысле мы—спинозисты. Для нас природа и закономерный ход ее развития есть единственная, абсолютная реальность. Но был ли Спиноза **последовательным** материалистом в **современном** смысле этого слова? Нет.

Тов. Гоникман не замечает здесь указанной еще А. М. Дебориным в своем „Введении" проблемы сочетания материализма и рационализма, правомерности этого сочетания. Он не понимает, что и в Спинозе, как и в Гегеле, надо уметь различать десницу и шуйцу их. По отношению к первой мы—спинозисты, как и гегельянцы, по отношению ко второй—мы современные диалектические материалисты, опирающиеся на весь ход общественного и научного развития, про-

---

[1]) Что, впрочем, утверждалось уже не раз философами-марксистами, начиная с Энгельса и Плеханова.

шедший с XVII ст. до наших дней. Понимая материалистически-прогрессивную роль учения Спинозы, мы вместе с тем постигаем и ее историческую ограниченность.

В особенности это относится к поднимаемому т. Гоникманом вопросу о характере спинозовой субстанции. Т. Гоникман утверждает, что критика Гегелем ее неподвижности неправильна и что в своей критике Гегель исходил лишь из идеалистических аргументов.

С этим нельзя согласиться. В критике Гегеля есть и неверные положения, идеалистические, и верные, приемлемые для нас, диалектических материалистов.

В чем суть критики Гегеля? В прибавлении к § 151 „Энциклопедии" мы читаем: „Спиноза ставит субстанцию во главе своей системы и определяет ее, как тождество мысли и протяжения, но он не показывает, откуда произошли эти различные определения и почему они совмещаются в субстанции... Система Спинозы недостаточна по своему содержанию оттого, что ее содержание не имеет никакой органической связи с ее формой; эта форма прилагается к ней извне и совершенно произвольно. Субстанция, которая является в системе Спинозы непосредственно, без предшествующего диалектического развития, представляет мрачную бездну, не имеющую никакого содержания; она поглощает всякое самобытное содержание и не производит ничего, что бы обладало собственной жизнью" (курсив наш. *И. К.*) [1]). В „Науке логики" о том же Гегель пишет:

„(У Спинозы) в том абсолютном, которое есть лишь неподвижное тождество, атрибут, как и модус, суть лишь исчезающие, а не становящиеся, так что тем самым даже это исчезание получает свое положительное начало лишь извне...

„Спинозово изложение абсолютного, поэтому, правда, полно постольку, поскольку оно начинает с абсолютного, переходит от него затем к атрибуту и кончает модусом; но все эти три лишь перечисляются одно за другим без внутренней последовательности развития и третье не есть отрицание, как отрицание, отрицательно относящееся к себе отрицание, через которое оно в нем самом было бы возвратом в первое тождество с этим истинным тождеством [2]).

Правильно это гегелевское рассуждение или неправильно? Правильно, поскольку у Спинозы действительно нет перехода от субстанции к модусу, нет ее развития, не она сама есть вечный процесс, а в ней происходит движение модусов. Мир, природа, субстанция у Спинозы оказывается как бы морем, которое может быть схвачено в познании одним ударом интеллекта и в безграничности которого бесследно исчезает жизнь отдельных его капель. Гегель подметил этот пробел в системе Спинозы, хотя и сам не сумел вполне его

[1]) Гегель, Энциклопедия, Логика, пер. Чижова, стр. 269.
[2]) Гегель, Наука логики, ч. I, кн. 2, стр. 123.

преодолеть, поскольку опытное изучение действительного мира у него подменялось спекулятивным развитием понятия, хотя бы и основанным на бесконечно-богатом, научном, опытном материале. В этом направлении и сделал последний шаг Маркс. Поэтому, если у Спинозы есть еще остатки рационализма, если Гегель идеалист, то Маркс—материалист. Если у Спинозы ослепительный свет amor Dei intellectualis делает его глаза нечувствительными ко всему земному, если у Гегеля логика разумного развития заставляет его подчас подменять конкретное исследование и изучение действительной борьбы противоречий—абстрактной схемой и вымученными переходами, и потому синтез теории и практики сам принимает созерцательный характер, то лишь Маркс дает действительно действенное мировоззрение.

И после всего этого т. Гоникман объявляет, что спинозовское понимание субстанции вполне приемлемо для марксиста. Он не понимает, что материя для марксиста—не постигаемая интуитивным путем сущность, не черная бездна, в которой бесследно исчезают акциденции и от которой нет к ним перехода, а сами эти акциденции в их бесконечном взаимодействии и движении.

И понятно, что, раз споткнувшись на Спинозе, т. Гоникман спотыкается и второй раз на определении материи. Мы уже видели, что его не удовлетворяет Плеханов, а вместе с ним, значит, и все марксисты, определявшие материю до сих пор. Он хочет обязательно дать свое. И дает: материя,—переведенная на материалистический язык, гегелевская абсолютная идея, только не законченная, не окостеневшая (что сие значит?),—все, а моменты, ее определяющие:

1. Causa sui (далее, что мышление—не causa sui).

2. Категории изменения: качество, количество, мера.

3. Категории отношения: бесконечная деятельность, осуществляющая в конечном; причинность, взаимодействие.

4. Бесконечное чувственное многообразие.

Т. Гоникман в примечании оговаривается, что он не исчерпал все моменты определения. Он хочет указать лишь его метод (курсив т. Гоникмана) в противоположность гносеологическому, к которому прибегали Плеханов и Ленин.

Но разве это не смехотворное определение? Не результат не в меру усердного изучения Гегеля? Поистине наука иногда переходит в неразумие. Почему именно для определения материи, как очевидно более важные (они именно приведены), выхвачены категории пунктов 2 и 3? Если определение материи должно противопоставить ее мышлению, идеализм—материализму, то зачем их приводить в определении материи? К чему каша из категорий логики, causa sui и чувственного многообразия—или это все в таком живописном беспорядке тоже моменты Гегелевой абсолютной идеи? И, наконец, как это ни странно, в определении нет ничего специфического как раз для материи, поскольку в голом виде за causa sui может признать и идеалист свою субстан-

цию, и махист свой социальный опыт, чувственное же многообразие дается вне зависимости от объективной реальности, вызывающей его в органах наших чувств. Махисты могут принять определение т. Гоникмана, те самые махисты, против которых, по словам т. Гоникмана, направлялись определения Плеханова и Ленина. Поистине обращение т. Гоникмана к какому-угодно вопросу можно характеризовать поговоркой: теща в дом—все вверх дном.

„Метод" определения т. Гоникмана показывает только, что он совершенно не понял Ленинского различия философского определения материи в противовес идеализму, и современного содержания понятия материи, даваемого всей совокупностью положительных наук [1]).

И из-за такой пустяковой, вымученной штуки следовало огород городить?

Что ни шаг вперед т. Гоникмана, вперед от Плеханова и Ленина, то шаг в лужу.

VI.

Прекрасно метод т. Гоникмана иллюстрируется на разборе им категории случайности. В своем неподражаемом стиле он начинает с замечания об ее „убогости" в учебниках марксизма. Далее берется учебник т. Бухарина, где случайное определяется как непознанная необходимость, и в противоположность ему выдвигается понимание случайности у Гегеля, как имеющей некоторое объективное значение. Прежде всего для того, чтобы величественно-презрительный тон т. Гоникмана в отношении учебников марксизма не казался напыщенной пустотой, необходимо эти учебники знать. А и у Бухарина, в § 17 „Теории исторического материализма", мы читаем, что под исторической случайностью, кроме обычного понимания случайного, понимается обстоятельство, которое не играет важной роли в цепи общественных событий, не может изменить ее ход, но оказывает на нее также известное влияние. Это как раз и есть то, искать необходимость чего, по Гегелю, является лишь „узким педантизмом и бесплодной тратой остроумия". Это—во-первых.

А далее разберем то понимание случайного, которое предлагает нам, якобы опираясь на Гегеля, сам т. Гоникман.

Он берет конкретный пример—поражение коммунистической партии Болгарии, не взявшей во-время руководства восстанием, и утверждает, что в данном случае есть две необходимости:

1. Неизбежность схватки между Цанковым и К. П.

2. Неизбежность тактической ошибки К. П.

Он убежден, что эти две необходимости не однородны. Ошибки могло не быть, схватка была неизбежна. Отсюда вывод—есть две за-

---

[1]) См. статью Деборина о „Ленине—воинствующем материалисте".

кономерности—объективного хода вещей и субъективного поведения действующих лиц. Последняя и вносит элемент случайности в исторический процесс. Подтверждение этого тов. Гоникман видит и в примере с Брестом. В так трактуемой случайности он видит исходный пункт для понимания исторической ошибки и роли личности в истории.

Путаница во всем этом беспредельная. Прежде всего надо различить, где кончается Гегель и где начинается т. Гоникман.

Что читаем мы у Гегеля о случайности: „случайное есть нечто действительное, определяемое вместе с тем, лишь, как возможное, другое или противоположное которому равным образом есть“. Она есть „только неполный момент действительности, который не следует смешивать с самой действительностью“. Более высокая категория есть необходимость, в которой снимается случайнсе. Однако и у Гегеля случайное находит себе некоторое приложение в объективном мире. Какое именно? Прежде всего оно находит у Гегеля приложение не только к духовному миру, но и к миру природы. Ни о какой „субъективной закономерности“ у Гегеля нет и речи. По Гегелю, увлечение игрой случайных форм в природе поверхностно, так как при этом не обращают внимания на единственно представляющую для разума интерес идею, являющуюся во внутренней гармонии природы и ее законов. И в духовной сфере, говорит Гегель, „не должно простирать слишком далеко потребность разумного знания и искать необходимость таких явлений, которые имеют характер случайности, или, как говорят, выводить их a priori“. Таким образом для Гегеля случайное есть внешнее в мире природы и истории, несущественное с точки зрения основной закономерности развития, представляющее собою такое скрещение явлений, которое не может быть выведено из определяющей цепи движения. Это то, на что не должно простирать потребность разумного знания, отыскивающего за пестрой пеленой явлений законы и необходимый путь развития. Как не трудно убедиться, так же понимал случайность и Энгельс.

Так, например, случайно, что вождь революции родился в семье директора народных училищ Симбирской губ., хотя и это явление включено в определенную причинную связь.

В этом смысле признание роли случайного может предостеречь нас от вкладывания мистической телеологичности в ход исторического развития, когда каждому явлению придают обязательно какой-то особый символический смысл по отношению к общему ходу исторического процесса.

Товарищ же Гоникман совершенно некстати сосредоточил свое внимание здесь на вопросе о роли личности в истории и понятии исторической ошибки.

В свое время по вопросу об исторической ошибке т. Гоникман выступал по докладу т. Ленина на Моск. губпартконференции в 1921 г. Тогда он в противовес Ленинскому заявлению, что наша старая эко-

цию, и махист свой социальный опыт, чувственное же многообразие дается вне зависимости от объективной реальности, вызывающей его в органах наших чувств. Махисты могут принять определение т. Гоникмана, те самые махисты, против которых, по словам т. Гоникмана, направлялись определения Плеханова и Ленина. Поистине обращение т. Гоникмана к какому-угодно вопросу можно характеризовать поговоркой: теща в дом—все вверх дном.

„Метод“ определения т. Гоникмана показывает только, что он совершенно не понял Ленинского различия философского определения материи в противовес идеализму, и современного содержания понятия материи, даваемого всей совокупностью положительных наук [1]).

И из-за такой пустяковой, вымученной штуки следовало огород городить?

Что ни шаг вперед т. Гоникмана, вперед от Плеханова и Ленина, то шаг в лужу.

VI.

Прекрасно метод т. Гоникмана иллюстрируется на разборе им категории случайности. В своем неподражаемом стиле он начинает с замечания об ее „убогости“ в учебниках марксизма. Далее берется учебник т. Бухарина, где случайное определяется как непознанная необходимость, и в противоположность ему выдвигается понимание случайности у Гегеля, как имеющей некоторое объективное значение. Прежде всего для того, чтобы величественно-презрительный тон т. Гоникмана в отношении учебников марксизма не казался напыщенной пустотой, необходимо эти учебники знать. А и у Бухарина, в § 17 „Теории исторического материализма“, мы читаем, что под исторической случайностью, кроме обычного понимания случайного, понимается обстоятельство, которое не играет важной роли в цепи общественных событий, не может изменить ее ход, но оказывает на нее также известное влияние. Это как раз и есть то, искать необходимость чего, по Гегелю, является лишь „узким педантизмом и бесплодной тратой остроумия“. Это—во-первых.

А далее разберем то понимание случайного, которое предлагает нам, якобы опираясь на Гегеля, сам т. Гоникман.

Он берет конкретный пример—поражение коммунистической партии Болгарии, не взявшей во-время руководства восстанием, и утверждает, что в данном случае есть две необходимости:

1. Неизбежность схватки между Цанковым и К. П.

2. Неизбежность тактической ошибки К. П.

Он убежден, что эти две необходимости не однородны. Ошибки могло не быть, схватка была неизбежна. Отсюда вывод—есть две за-

---

[1]) См. статью Деборина о „Ленине—воинствующем материалисте“.

кономерности—объективного хода вещей и субъективного поведения действующих лиц. Последняя и вносит элемент случайности в исторический процесс. Подтверждение этого тов. Гоникман видит и в примере с Брестом. В так трактуемой случайности он видит исходный пункт для понимания исторической ошибки и роли личности в истории.

Путаница во всем этом беспредельная. Прежде всего надо различить, где кончается Гегель и где начинается т. Гоникман.

Что читаем мы у Гегеля о случайности: „случайное есть нечто действительное, определяемое вместе с тем, лишь, как возможное, другое или противоположное которому равным образом есть". Она есть „только неполный момент действительности, который не следует смешивать с самой действительностью". Более высокая категория есть необходимость, в которой снимается случайное. Однако и у Гегеля случайное находит себе некоторое приложение в объективном мире. Какое именно? Прежде всего оно находит у Гегеля приложение не только к духовному миру, но и к миру природы. Ни о какой „субъективной закономерности" у Гегеля нет и речи. По Гегелю, увлечение игрой случайных форм в природе поверхностно, так как при этом не обращают внимания на единственно представляющую для разума интерес идею, являющуюся во внутренней гармонии природы и ее законов. И в духовной сфере, говорит Гегель, „не должно простирать слишком далеко потребность разумного знания и искать необходимость таких явлений, которые имеют характер случайности, или, как говорят, выводить их a priori". Таким образом для Гегеля случайное есть внешнее в мире природы и истории, несущественное с точки зрения основной закономерности развития, представляющее собою такое скрещение явлений, которое не может быть выведено из определяющей цепи движения. Это то, на что не должно простирать потребность разумного знания, отыскивающего за пестрой пеленой явлений законы и необходимый путь развития. Как не трудно убедиться, так же понимал случайность и Энгельс.

Так, например, случайно, что вождь революции родился в семье директора народных училищ Симбирской губ., хотя и это явление включено в определенную причинную связь.

В этом смысле признание роли случайного может предостеречь нас от вкладывания мистической телеологичности в ход исторического развития, когда каждому явлению придают обязательно какой-то особый символический смысл по отношению к общему ходу исторического процесса.

Товарищ же Гоникман совершенно некстати сосредоточил свое внимание здесь на вопросе о роли личности в истории и понятии исторической ошибки.

В свое время по вопросу об исторической ошибке т. Гоникман выступал по докладу т. Ленина на Моск. губпартконференции в 1921 г. Тогда он в противовес Ленинскому заявлению, что наша старая эко-

номическая политика была ошибкой, произнес целую речь о том, что „историческое явление не могло сложиться иначе, чем оно сложилось“ [1]). Т. Ленин посмеялся над этим, назвав это положение азбукой марксизма, на которой в данном случае далеко не уедешь. Т. Гоникман, поразмыслив, с тех пор решил, что уж если признавать ошибки, то они должны корениться в некоей „субъективной закономерности“ их делающих, отличной от „объективной закономерности“ исторического развития борьбы классов. И опять бухнул в колокола, не продумав вопроса до конца.

В чем была наша ошибка в старой экономической политике? Не в том, что историческое явление могло сложиться иначе, чем оно сложилось. Это вещь бесспорная, говорил Ленин. Ошибка в перспективе, в понимании хода борьбы и в необходимости отсюда соответствующих выводов для настоящего. Вот ход мысли Ленина. Что мы начали со штурма, и затем пришли к осаде—было совершенно необходимо. Но это как раз лишь и доказывает, что мы ошибались, думая, что штурм решит дело. Но что до этого тов. Гоникману?

Разве он обязан продумать то, что говорил на данную тему Ленин, прежде чем писать об ошибке? У него уже готовы его новый „шаг вперед“, „субъективная закономерность“.

Но что это „субъективная закономерность“, очевидно противопоставляемая объективной закономерности природы и общественной жизни, есть совершенная чепуха, я думаю не будет спорить ни один здравомыслящий марксист. Вырвать отдельно человека или группу лиц из общего хода исторического развития, осуществляемого людьми же, и противопоставить их ему—просто нелепо. Уже не говоря о том, что тем самым диалектическая категория, применяясь к истории, не находит себе применения в области природы. Пример Бреста ничего не доказывает, так как в Бресте роль Ленина сказалась именно в том, что он понял объективную необходимость его. „Субъективная закономерность“, если под этим варварским выражением разуметь закономерность человеческого поведения, составляет необъемлемую часть объективной закономерности общественной жизни и никакими путями вырвана из нее быть не может. Иначе получается какая-то субъективная, дурная социология, ничего общего с марксизмом не имеющая.

VII.

О разборе т. Гоникманом причинности и взаимодействия, так как в нашу задачу сейчас подробный разбор самого Гегеля не входит, мы сделаем два замечания.

Прежде два слова о замечании т. Гоникмана против определения причинности т. Бухарина. Я не поклонник формулировки т. Бу-

[1]) Ленин, Собрание соч., т. XVIII, ч. I, стр. 404.

харина и также думаю, что она недостаточна, хотя в книге тов. Бухарина и подчеркнута объективная значимость причинной связи. Последнее упускает почему-то в своей цитате т. Гоникман. Определение тов. Бухарина недостаточно, и тому что оно останавливается исключительно на форме в причинной связи, игнорируя происходящее в ней движение содержания. Но зачислять поэтому тов. Бухарина чуть ли не в махисты можно, пожалуй, с меньшим основанием, чем самого Гоникмана за его определения основного для нас понятия материи. Если быть придирчивым, то определение тов. Гоникмана—„причинность этого есть переход деятельности материи из одной формы в другую"—можно признать в свою очередь так же недостаточным. В самом деле, возьмем пример самого тов. Гоникмана—смена дня ночью. Какова его причина?—Вращение земли вокруг своей оси и изменение положения различных частей ее по отношению к солнцу. Что во что переходит? Здесь механические примеры, приводимые тов. Гоникманом к своему определению, оказываются недостаточными (переход движения камня в движение стекла, движения ветра в движение мельничных крыльев). Изменяется взаимное отношение между двоякого рода движениями материи, действием солнечных лучей и вращением земли вокруг своей оси, и в зависимости от этого изменяется и результат их взаимодействия. Поэтому определение тов. Гоникмана есть чисто-формальное определение, недостаточное для действительного исследования причинных связей явлений, когда необходимо искать не только перехода одного в другое, но и изменения взаимоотношений между предметами во всей их конкретности, за которым следует новое явление.

Совершенно неудачно заявление о том, что „все стороны общественной жизни являются субстанциями", роль которых, однако, не одинакова. Это представляет очень неудачное возвращение к старой теории „факторов". Понятие субстанции предполагает такую степень самостоятельности, которую невозможно приписать ни одной надстройке.

Какие же выводы можно сделать из нашего разбора статьи тов. Гоникмана? Можно было бы сказать, что она в общем и целом полезна, наводит на размышления над некоторыми первостепенной важности проблемами, хотя и не всегда верно решает их, если бы не ее смешная и дутая претенциозность.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Повторяем, что ошибки в таком деле, как изучение Гегеля и его категорий совершенно неизбежны. Но зачем свои пороки возводить в добродетель? Зачем трубить гром победы там, где должно лишь начинаться серьезное исследование? Зачем с петушиным задором делать „шаги вперед" там, где они уже давно сделаны, и где это в лучшем случае превращается в топтанье на месте, в худшем—в уклоне в сторону от диалектического материализма?

И нам думается, что корень всех ошибок тов. Гоникмана, про-

возглашаемой им „новой эры“ в марксизме, заключен в его подходе к Гегелю. В этом отношении т. Гоникман может служить довольно распространенным типом в современной марксистской литературе. Поэтому так незаслуженно долго мы и разбирали все его прегрешения против марксизма.

По всему фронту мы переживаем в наши дни возрождение гегельянства, почти среди всех общественных классов. Но если буржуазная философия зовет назад к Гегелю-политику и философу религии, метафизику, ею подчас неверно понимаемому и обращаемому против марксизма, если мировой меньшевизм апеллирует к Гегелю—философу государства, то пролетариат назад к Гегелю не зовет. Он—единственный законный наследник немецкой идеалистической философии, один лишь ставит себе целью всерьез разработать это наследство. Метод Гегеля принадлежит ему со времени Маркса. Но никакой „новой эры“ в марксизме разработка этого метода открыть не может. Она дает лишь более глубокое понимание и применение старой теории. Историческая миссия пролетариата не звать к кому бы то ни было назад, а итти вперед, руководясь Марксом.

В этом смысле всякие разговоры о „новой эре“ в марксизме вредны и идеологически, и политически. Для провозглашения ее, для новых, а по существу, весьма старых ошибок, не следует изучать Гегеля. Ибо вместо сладости познания подобное изучение может скорее всего дать лишь горькие плоды ревизионизма. Иначе изучение Гегеля оказывается не тем единственным „трамплином“, выражаясь великолепным языком тов. Гоникмана, с которого возможен „прыжок (?!) в марксизм“, а тем „трамплином“, на прыжке с которого ломают себе шею; изучение же гегелевского учения „действительности“ при этом неизбежно превращается в недействительное его понимание.



Ник. Карев.

О социальных корнях оппортунизма.

Журнал „Под Знаменем Марксизма“ поместил две рецензии на мою брошюру: „Экономисты, предтечи меньшевиков“. Одна из них, принадлежавшая перу Н. Л—ра, напечатана в № 6—7 за 1923 год. Вторая, за подписью В. Пепел, в № 3 за 1924 год. Последний из названных рецензентов ссылается также на статью т. Н. Батурина в № 2 журнала „Пролетарская Революция“ за 1924 год (в том же номере т. Батурин поместил и особую рецензию).

Мой ответ на первую рецензию Н. Л—ра, ввиду отказа редакции журнала „Под Знам. Марксизма“, в свое время, его поместить, опубликован в № журнала „Спутник Коммуниста“ за 1923 год.

Начинаю с этого сухого перечисления, чтобы к нему более не возвращаться и чтобы облегчить всякому, кто заинтересуется ходом полемики, нужные справки. Полемика эта вышла за пределы

вопроса об „экономизме“ и о его социальных корнях. Именно это последнее обстоятельство в особенности и побуждает меня выступить с настоящей статьей.

При объяснении социальных корней „экономизма“ (а тов. Батурин—и меньшевизма) все трое моих критиков (с необыкновенной дружностью) игнорируют его мелко-буржуазность. Это курьезно, но это факт. С целью облегчить каждому читателю проверку этого факта я и указал соответствующие номера журналов.

Мне кажется, что подобный уклон в аргументации моих критиков и теоретически, и политически ошибочен и опасен.

Разберем ход полемики.

I.

Оппортунистическая идеология „экономизма“ мною была поставлена в связь с мелко-буржуазностью широких масс рабочего класса, который за 90-ые годы вдвое вырос за счет деревни. Н. Л—р написал по этому поводу:

> 15 страниц, посвященных указанному вопросу (т.-е. в брошюре. *В. А.*) дают нам картину жизни и уровня (?) уральских рабочих, отчасти столиц, стараются доказать, что эти последние не разорвали связи с землей. Отсюда вывод, что в рабочем классе были на лицо сильные мелко-буржуазные настроения, а эти последние и нашли себе отражение в „экономизме“. В них основная причина (курсив мой. *В. А.*), по мнению автора, „экономизма“. Начнем с неверности. Экономизм не был вовсе отражением полукрестьянских слоев пролетариата (курс. мой. *В. А.*). Экономизм фактически был настроением целиком и полностью той зародышевой рабочей аристократии и полуаристократии, которая тогда имелась (в последней фразе курсив Н. Л—ра).

И далее:

> Если встать на точку зрения автора, мы рискуем впасть и в ряд политических (курсив Н. Л—ра. *В. А.*) ошибок.

В моем ответе Н. Л—р был разоблачен, во-первых, как чересчур „требовательный“ критик, требующий от меня взглядов, которых я отнюдь не высказывал. Являлись ли мелко-буржуазные настроения „основной“, или не „основной“ „причиной“ „экономизма“, разглагольствовать об этом я предоставляю моему критику, ибо такой расплывчатой терминологии я не употреблял. Чтобы читатель не остался с вопиюще-неверным представлением, будто бы я в „рабочей аристократии“ не вижу социальной базы „экономизма“, я процитировал в ответе и процитирую сейчас следующие строки из своей брошюры:

> Прослойка „чистой“, обуржуазивавшейся „аристократии“ была очень узка и приходилась, главным образом, на заводы, связанные с казной. В сущности, только для этой узкой прослойки рабочих „экономизм“ и имел свой настоящий смысл тред-юнионизма.
>
> Ее материальный интерес был бы огражден при проведении в жизнь программы „чисто-рабочей“ политики, т.-е. свободы экономической борьбы, которую „экономисты“ выдвигали для всего рабочего класса. Но, по условиям момента, ее лозунги нашли себе гулкое эхо в огромной массе вчерашних крестьян.

Кроме того наличностью бесформенного извращения и замазывания моей точки зрения Н. Л—ром документально доказывают следующие слова из брошюры:

> Два основных типа рабочих, связанных с мелко-буржуазной средой—вчерашний крестьянин [1]) и лучше оплачиваемая верхушка пролетариата, в общем и целом, остаются и впредь базисом меньшевистского влияния. В той или иной степени, меняется лишь соотношение между ними. В то время, как „рабочая аристократия", в лице печатников или „гознаковцев", а затем, и примкнувших к рабочему движению служащих разного рода, составляет более или менее постоянный оплот меньшевизма и революционизируется даже при обострении классовой борьбы довольно туго, широкая масса вчерашних крестьян легко поддается колебаниям влево. Если первая группа отражает в себе неподвижность и консервативность городского мещанина (городской мелкий буржуа часто также выступает за меньшевиков), то вторая—неустойчивость разоряющейся деревенской бедноты, мелко-буржуазные иллюзии которой рассеиваются так же скоро и неизбежно, как неизбежно превращение ее в чистый пролетариат".

Итак, „рабочая аристократия" мною признается за более устойчивый („основной", связанный с буржуазией экономическими интересами) оплот меньшевизма, чем рабочие, связанные с землей. Отнюдь не наоборот, как это хотелось изобразить Н. Л—ру.

К утверждению Н. Л—ра, что „экономизм не был вовсе отражением полукрестьянских слоев", мы вернемся при разборе следующих критиков. Здесь же остановимся лишь на заявлении Н. Л—ра, что моя точка зрения ведет, якобы, к целому „ряду" политических ошибок.

Каких же именно?! Об этом нет ни звука в лексиконе „критика". Н. Л—р полагает, что достаточно с высоты рецензентского (!) „величия", не прочитав даже как следует книжки, бросить обвинение автору в том, что его воззрения ведут к политическим ошибкам, а к каким—об этом ни одного путного слова не сказать,—и дело в шляпе, воззрения автора опровергнуты? Это ошибочное мнение. Между тем, насколько мне известно, Н. Л—р после моего вызова ему в „Спутнике Коммуниста", нигде не выступал с разъяснением о той „тенденции к политическим ошибкам", которую, якобы, он у меня заметил.

Между тем, его точка зрения, действительно, неминуемо ведет к политическим ошибкам. Раз о них зашла речь, то, очевидно, имеются в виду уже не „экономисты" 90 годов прошлого столетия, а меньшевики 1924 года. Итак, эти меньшевики могут опереться, якобы, только на рабочую аристократию и „полуаристократию", которая и является единственным (?) проводником влияния буржуазии на пролетариат.

Не ясно ли, что придерживаться подобных воззрений означает носить на глазах доктринерские очки, точнее—шоры, которые могут только заслонять от нас политические опасности?

Во-первых, самый вопрос о рабочей аристократии, говоря шире—о лучше оплачиваемых рабочих, служащих и т. д.,—как об „оплоте оппортунизма", у нас стоит иначе, чем в буржуазной

---

[1]) Отвлекаясь от конкретных русских условий, следовало бы сказать „вчерашний мелкий буржуа" вообще.

стране. Этого нельзя не видеть. Откуда следует, что рабочий или чиновник, которого лучше других оплачивает Советская власть, уже по одному этому (!) должен монопольно (!!) проводить влияние буржуазии (!!!) на пролетариат?! Ровным счетом ниоткуда. У нас такого прямого подкупа буржуазией целых профессий, как в империалистической стране, нет и быть не может, пока в руках буржуазии нет целых отраслей промышленности. Вопрос о возможностях перерождения у нас стоит совсем иначе, более сложно, и готовый шаблон западно-европейского оппортунизма сюда не подойдет. Налетать на наши условия с этим шаблоном значит обнаруживать отсутствие всякой мысли. Но это—мимоходом.

Во-вторых. Указанные доктринерские шоры заслоняют от нас наибольшую реальную для нашего дня опасность,—опасность мелкобуржуазных влияний на пролетариат, в том числе и на его, т.-е. нашу, партию. Возьмем Кронштадт, весну 1921 года. Мелко-буржуазное влияние захлестнуло пролетариат, в большой мере деклассированный и связанный с деревней. В этот момент усилились в рабочей среде и эс-эры, и анархисты, и меньшевики. „Теория", которая закрывает глаза на такие факты, таким фактам не поддается,—не революционная теория, а пустая и жалкая, заученная, но бесполезная догма. Она неминуемо приведет к политическим ошибкам.

II.

Перейдем к критическим замечаниям тов. Батурина.

Тов. Батурин совершенно правильно ставит вопрос, когда рассматривает „экономизм", как „плоть от плоти II Интернационала". Но именно недостаточно точная и ясная постановка вопроса о социальном характере II Интернационала у тов. Батурина отражается на оценке, даваемой им „экономизму" (и меньшевизму).

Тов. Батурин правильно подчеркивает либерально-буржуазный уклон II Интернационала, проводящего именно влияние буржуазии на пролетариат. Но это положение приводит т. Батурина к неправильному утверждению, что будто бы социальной базой II Интернационала была „совсем не мелкая буржуазия".

Здесь требуется ясность. С самого начала надо установить, что нет никакого противоречия в том, чтобы считать меньшевиков мелко-буржуазной партией, проводящей либерально-буржуазное влияние на пролетариат. Либерально-буржуазный характер оппортунизма не мешает ему быть мелко-буржуазным. Буржуазия сплошь и рядом выбирает проводником своего влияния на пролетариат мелкую буржуазию, с которой, по известному выражению Ленина, тысячью переходных ступеней и нитей связан пролетариат. В таком случае следует лишь отличать социальные корни и идеологию данной партии от ее объективной роли.

Для партии буржуазии, как и для партии пролетариата, мы можем, обычно, констатировать полную социальную однозначимость и субъективной и объективной стороны дела. Мелкая же буржуазия не имеет своего особого, самостоятельного исторического пути. Ее вода чаще всего льется на мельницу другого класса.

Известно, что тов. Ленин сплошь и рядом, в одних и тех же статьях, звал господ Керенских, Мартовых и Каутских и мелкими буржуа, и прямыми агентами буржуазии. В частности, например, в предисловии к сборнику „За 12 лет", рассматривая „экономизм", „ле-

гальный марксизм" и меньшевизм, как проявление одной и той же исторической тенденции, он характеризовал ее, как „тенденцию *мелко-буржуазного оппортунизма*" (именно здесь читатель найдет и выражение о „тысяче переходных ступеней", связывающих пролетариат с его „соседом справа—с мелкой буржуазией"). Это не мешало ему десятью строками выше говорить об „экономизме", что он „фактически осуществил программу *буржуазно-либерального* „credo": рабочим—экономическая, либералам—политическая борьба".

В этом же смысле, в моей брошюре указывается и на мелко-буржуазный, и на буржуазный характер „экономизма" одновременно, в то время как т. Батурин подчеркивает только его буржуазную сторону.

Итак, из признания факта либерально буржуазной роли II Интернационала, *методологически* еще отнюдь не вытекает необходимость отрицать мелко-буржуазные корни его оппортунизма. Это во-первых. Во-вторых, утверждение тов. Батурина о том, что социальной базой либерального уклона II Интернационала была „*совсем не*" мелкая буржуазия и *фактически* не точно. Разумеется, главным социальным „массивом" оппортунизма в пролетариате на этот раз явилась рабочая аристократия. Но *не только* она. Роль мелкобуржуазных попутчиков во II Интернационале, выясненная, между прочим, в известной книге тов. Зиновьева, признается даже и официальными резолюциями нашей партии [1]).

Далее, тов. Батурин считает моей ошибкой указание на „связь с мелко-буржуазной средой" прослойки рабочих-аристократов. Моя фраза, которую тов. Батурин цитирует, говорит о „мелко-буржуазных *настроениях* в рабочей среде". Именно в *этом* смысле, т.-е. в смысле психологии и идеологии рабочей аристократии, как промежуточного элемента в капиталистическом обществе, говорится у меня о ее мелко-буржуазности, в *этом* смысле рабочая аристократия сопоставляется с консервативным городским мещанством, а не в прямом смысле ее связанности с мелкой городской собственностью (хотя и этот момент сплошь и рядом есть на-лицо).

Тов. Ленин не ставил вопрос о рабочей аристократии так узко и догматически, как это делает т. Батурин. В ленинских тезисах на третьем конгрессе Коминтерна рабочая аристократия упоминается в разделе 4-ом, который озаглавлен: „Пролетариат и крестьянство в России". „Проблема руководства крестьянством,—говорится там,—встанет перед пролетариатом всех стран, „может быть, за исключением ее ной только Англии.

> Однако и по отношению к Англии нельзя забывать, что если в ней особенно малочислен класс мелких землевладельцев [2]) арендаторов, то в ней зато исключительно высок процент *живущих по мелко-буржуазному среди рабочих* и служащих, вследствие фактического рабства сотни миллионов людей в колониях, „принадлежащих" Англии. Поэтому, с точки зрения всемирной пролетарской революции, как единого процесса, значение переживаемой Россией эпохи состоит в том, чтобы практически испытать и проверить *политику пролетариата*, державшего государственную власть в своих руках, *по отношению к мелко-буржуазной массе*. (т. XVIII, ч. I, стр. 314) (Курсив мой. *В. А.*).

---

[1]) Такую резолюцию цитировал т. Сафаров в полемике с т. Радеком на страницах „Правды" по вопросу о взглядах В. И. Ленина на оппортунизм.

[2]) Здесь, видимо, опечатка. Следует читать „землеедельцов". В противном случае, пропущено слово „и".

Политика пролетариата по отношению к рабочей аристократии есть политика по отношению к мелко-буржуазной массе. Яснее и резче нельзя было высказаться в опровержение критических доводов тов. Батурина.

Что касается связи основных экономических интересов рабочей аристократии с крупным капиталом, то об этом говорит в приведенных строках и Ленин, об этом и у меня в книжке говорится не раз, но напрасно тов. Батурин увидел противоречие с этим в указании на мелко-буржуазность рабочей аристократии. Нам кажется, что в данном случае неправильный подход продиктован ему недостаточно ясной постановкой вопроса о „двояком" социальном характере оппортунизма вообще.

Отрицание мелко-буржуазности II Интернационала приводит тов. Батурина еще к одной ошибке. Признавая вместе со мной (против моего первого критика Н. Л—ра), что „экономизм" опирался не только на рабочую аристократию, но и на полукрестьянскую массу, т. Батурин делает, однако, оговорку. Эта масса, говорит он, оказывала влияние на тактику „экономистов" только своей отсталостью, а „отсталость может только задерживать движение, но еще не определяет его направления". Политически мелко-буржуазный характер полукрестьянской массы, продолжает тов. Батурин, „у нас, как и на Западе, выражался анархическим уклоном в рабочем движении". Между тем, „самый строгий критик „экономизма" не только не найдет в нем этого анархического уклона, но даже должен будет признать, что он, „экономизм", этому уклону, в меру своего разумения, противодействовал".

Здесь требуют выяснения, по меньшей мере, три вопроса.

Во-первых, говорить о влиянии на „экономизм" полукрестьян следует, конечно, не в том смысле, что „экономисты" защищали интересы крестьянства, или специфические экономические интересы полукрестьян. Речь идет, в первую очередь, о пережитках крестьянской психологии и идеологии,—крестьянской веры в царя, о непонимании целей и задач политической борьбы, узко-экономических потребностях массы и проч.

Во-вторых, отсутствие навыков к классовой борьбе, свойственное мелкой буржуазии, выражается, в частности, и в анархизме. Анархизм привносится в рабочее движение не только полукрестьянами, а вообще мелко-буржуазными и люмпенскими элементами. В то же время, анархизм не есть единственное политическое выражение полукрестьянских элементов. Сам тов. Батурин указывает на политические колебания полукрестьянского слоя не только „влево", что особенно подчеркнул я, но и „вправо" (9 января и пр.). Кроме того, в западно-европейском рабочем движении, именно в крестьянских (романских) странах живуч синдикализм, продолжающий в XX веке многие традиции анархизма XIX столетия.

В-третьих, элементы анархизма в „экономизме", несомненно, есть. Достаточно указать на организационные принципы и организационную практику „экономистов". Организационный анархизм, как тенденция, по наследству перешел и к меньшевизму. Кроме того, в тактике „Рабочего Дела" было известное колебание, когда в 1901 году оно вдруг стало проповедовать террор. Не лишне сопоставить это с началом кризиса (с 1900 года) и с безработицей, поразившей наиболее чувствительно отнюдь не наиболее квалифицированную верхушку рабочих.

Таким образом, даже с точки зрения, принятой самим т. Батуриным, полукрестьянская масса, „задерживая" движение своей отсталостью, тем самым наложила на „экономизм" свой характерный социальный отпечаток в виде анархизма. Что же касается самого

противопоставления: „задерживала", но „не определяла направление", то оно вообще несостоятельно и ничего не говорит по вопросу о социальной сути „экономизма".

Суммируя, можно восстановить ход мысли тов. Батурина следующим образом:

Во-первых, правильно признавая роль II Интернационала либерально-буржуазной, т. Батурин делает из этого неправильный вывод о необходимости отрицать мелко-буржуазные корни оппортунизма II Интернационала. Во-вторых, правильно подчеркивая связь рабочей аристократии с крупным капиталом, он неправильно игнорирует социальную близость ее к мелкой буржуазии. В-третьих, признавая влияние на „экономизм" мелко-буржуазных полукрестьянских элементов рабочего класса чисто-формально, тов. Батурин, следуя своему пониманию характера II Интернационала, игнорирует социальный характер этого влияния, т. е. его мелко-буржуазность.

Из первой ошибки, как из основной, следуют все остальные. Оппортунизм в рабочем движении объективно почти всегда буржуазное влияние, ибо все, что ослабляет пролетариат, то усиливает буржуазию. Но признание этого не избавляет нас от исследования социального генезиса оппортунизма. В различные исторические периоды, его социальные истоки различны. На заре восходящего капитализма рабочие массы, вербующиеся главным образом из мелкой буржуазии, сперва изживают экономическую связь с мелкой собственностью, а параллельно с этим, с некоторым запозданием, и мелко-буржуазную психологию и идеологию. Формирование пролетариата идет сначала, как класса „в себе", и лишь через известный срок—как „класса для себя". Незавершенность процессов первоначального накопления, которые состоят в отделении мелкого производителя от его средств производства, служит в этот период экономической базой оппортунизма.

На другом полюсе капитализма, в период его угасания и загнивания, появляется подкупаемая империалистической буржуазией рабочая аристократия, составляющая новый, иной приводной ремень оппортунизма в рабочую среду.

Эпоха коммунистической революции застает капитализм в ряде стран—перезревшим, но, на-ряду с этим, и только еще зреющим, разлагающим докапиталистические отношения. Поэтому современный оппортунизм во всех его видах представляет из себя сложный социальный комплекс, в котором в разных пропорциях и отношениях переплетаются и переливаются друг в друга два указанных мною социальных струи оппортунизма. Нельзя не признать, что для рабочей аристократии типичен так называемый „правый", нагло предательский оппортунизм, в то время, как оппортунизм на-изнанку—анархическая „левизна"—идет по преимуществу от полу-собственников, или люмпенов. Но можно крупно ошибиться, если возвести подобное утверждение в догму. Вместо этого надо исследовать каждый конкретный уклон и вид оппортунизма, подчас являющийся результатом сложного сплетения различных социальных влияний. Именно так и поступил автор этих строк по отношению к „экономизму".

III.

Если у т. Батурина мы видим известную аргументацию, правда, при ошибке в исходном ее пункте, то у третьего моего критика, у В. Пепела, за душой ничегошеньки нет, кроме апломба.

В. Пепел считает, что т. Батурин „глубоко прав", „совершенно

прав", „я совершенно согласен" и т. д. Тем самым он топит первого рецензента журнала „Под Знаменем Марксизма", Н. Л—ра, от которого т. Батурин открыто отмежевался. Но В. Пепел возмущен тем, что Батурин мою книжку похвалил, тогда как ее следовало бы выругать. „Хвала,— говорит он,—незаслуженная, несправедливая, пристрастная" (?). И начинает „беспристрастно" ругаться.

Книжка имеет недостатки; к сожалению, это, однако, не те „недостатки", которые ставит в центр своей критики В. Пепел. Оставляя без ответа отдельные пустяковые замечания, возьмем лишь вопрос о социальных корнях „экономизма".

В. Пепел имеет по этому вопросу одну единственную мыслишку. Именно, ту, что „массовое экономическое движение" рабочих — это одно, а „оппортунистическое учение экономистов"—это другое. При всей своей правильности, эта мысль, надо ей отдать справедливость, убогая. И вот, В. Пепел обвиняет меня в том, что я до этой „мысли" своими силами не дошел. Я, оказывается, путаю такие две совершенно разные вещи, как массовое рабочее движение и оппортунистическая теория:

> В один определенный момент экономизм „отражал" широкое стачечное движение, но следовало видеть, что их тенденции тут же и расходятся. Чем дальше, тем все более стихийное экономическое движение шло по пути революционно-политическому, а экономизм—по пути оппортунистической критики теории Маркса, к реформизму европейского толка и типа. В. Астров остановил свое просвещенное внимание на этом перекрестке, где эти два явления скрестились, принял их за одно явление, не заметив, что они расходились и разойдутся неизбежно, что эти два явления разного социального смысла.

„Не заметив, что они расходились и разойдутся"?!. Полно, полно, велеречивый Пепел. Это называется „беспристрастной" (!) спекуляцией на наивность и доверие читателя, если не как-нибудь того похуже. Вся брошюра посвящена выяснению того, как „сходились" и „расходились" „тенденции" рабочего движения—с одной стороны, оппортунизма—с другой. В ней есть неоднократные указания даже на прямую противоположность этих временно „перекрестившихся" тенденций. В ней сказано, что рабочее движение должно быть „подытожено отдельно от результатов деятельности социал-демократов":

> Это движение в основном сформировало рабочий класс, живущий на заработную плату, несколько повысило уровень его существования, гигантски двинуло вперед развитие классового сознания пролетариата. Но при чем здесь „экономисты"? Первый „Союз борьбы" [1]) руководил экономическими стачками лучше их...
>
> ...Вместо того, чтобы ускорять своей деятельностью развитие классового сознания рабочих, следовательно, ход рабочего движения к социализму, они его замедляли, закрепляя временный мелко-буржуазный уклон рабочих масс оковами „принципиальных" обоснований. В то же время они вели яростную борьбу против тех революционных социал-демократов, которые ставили своей задачей развить самые передовые, социалистические моменты в движении, и

---

[1]) То-есть Ленинский Пет. „Союз борьбы за освобождение рабочего класса" в 1895—1897 г.г.

повести его вперед, опираясь на авангард, построив для этого крепкую и централизованную партию. „Экономисты“ не только сами топтались на месте, но и других, идущих вперед, хватали за фалды...

Рабочее движение идет вперед, „к социализму“. „Экономисты“ его тянут н а з а д, з а м е д л я ю т, возводя в теорию временный мелко-буржуазный уклон. Смотреть так, значит ли это „не замечать“, что оппортунизм и рабочее движение „расходятся“? Доказывать, что меньшевизм есть продолжение „экономизма“, значит ли это не видеть того, что „экономизм“ пошел по пути ревизии Маркса?!.

Теперь по вопросу о „социальном смысле“ обеих „тенденций“. Смысл этот, по заявлению Пепела, „разный“. Какой же именно? Пепел на это отвечает так:

> Первый вид „экономизма“ (т.-е. экономическое движение рабочих масс. *В. А.*) есть совершенно законная форма **начала** рабочего движения и, как таковая, свойственна всем странам, в то время, как второй вид экономизма, о котором мы поговорим ниже, представляет собой результат влияния буржуазии на пролетариат, следствие не только развитого капитализма, но и развитого рабочего движения.

Итак, оппортунистическая идеология—результат влияния буржуазии на пролетариат. Пепелу, который „совершенно согласен“ с т. Батуриным, невдомек, что это не исключает мелко-буржуазности этой идеологии.

Что касается массового непонимания политической борьбы и конечных целей, то с о ц и а л ь н ы й с м ы с л его, по Пепелу, состоит в том, что это... „н а ч а л о рабочего движения“. Не скрывается ли за таким определением социального смысла явления некоторая „бессмыслица“ в голове у В. Пепела?

Ведь, о том и идет речь, ч ь ю психологию и идеологию и з ж и в а е т пролетариат в ходе классовой борьбы, в особенности в н а ч а л е своего классового движения. Что экономическая борьба стихийно развертывается в политическую—это бесспорно, но не менее бесспорно, что мелко-буржуазные предрассудки (в частности, против политической борьбы), имеющиеся у м а с с ы, препятствуют этому, и м а с с а их изживает лишь постепенно. Поэтому я прямо и говорю о мелко-буржуазном уклоне рабочих масс, а Пепел что-то беспомощно лепечет о „начале“ рабочего движения. Не трудно видеть, как и м е н н о о н повторяет здесь тенденции историка-„экономиста“, Акимова-Махновца, в чем он пытался было обвинить меня. Заблуждаться в классовой оценке настроений „отсталой“ массы, прикрашивать мелко-буржуазный характер этой отсталости фразами о „начале рабочего движения“, это значит на практике скатиться к хвостизму, вредной лести и заискиванью перед массой. Нечего и говорить, что подобная постановка вопросов есть прямехонький путь к политическим ошибкам.

Забавно, что Пепел вполне удовлетворяется и успокаивается на том разграничении, до которого он, своим ли, чужим ли умом, по „дошел“: оппортунизм, де, одно, а массовое движение—другое. Его сосед по рецензии, в том же номере журнала, В. Тер, нападает на тов. Зиновьева как раз в том же пункте, что и на меня, и, на удивление мое, почти в т е х ж е в ы р а ж е н и я х:

> Крайне неудачно разобран „источник экономизма“. Тов. Зиновьев путает стихийный экономизм рабочего движения с эко-

номизмом, как оппортунистической доктриной. На самом деле эти два явления лишь в определенный момент совпали, но это отнюдь не одно и то же... и т. д.

Ни Теру, ни Пепелу даже и невдомек, что досужий схоласт может ограничиваться подобной разборкой по „полочкам“, а для практического политика только здесь и начинается вопрос, который надо выяснить. Если бы представители „оппортунистической доктрины“ не угрожали захватом влияния в широкой массе пролетариата, хотя бы не на долгий срок (я не говорю „захватили влияние“), то ни Плеханов, ни Ленин, вероятно, не посвятили бы им даже дюжины страниц своих произведений. А раз угроза была реальной, то необходимо точнее установить, по какой линии шла смычка между двумя различными „тенденциями“. Я отвечаю: по линии мелко-буржуазности и того, и другого. Пепел — никак не отвечает. Нельзя же всерьез считать ответом ссылку на цитату из статьи т. Батурина:

> Т. Батурин глубоко прав, когда пишет: „Создавая и проводя в жизнь свою „теорию стадий“, свою „тактику-процесс“, „экономисты“, конечно, имели в виду широкие и отсталые полукрестьянские слои наших рабочих, и в этом смысле на них опирались и их отражали“.

„Имели в виду“, „отсталые“ слои, „в этом смысле“ и так далее— это не ответ, когда идет речь о социальном характере сцепки, наличие которой оба автора вынуждены признать, отказавшись от точки зрения Н. Л—ра. Оговорочки (точно так же, как и апломб В. Пепела) не снимают обязанности объяснить ту связь, которая признана, с социальной ее стороны.

Не мешало бы и этому моему критику заглянуть в Ленина, который в „Что делать?“ изображал теорию „экономистов“, как „рабопепство и преклонение перед стихийностью“ массового движения рабочих, которое „своими силами“ способно выработать лишь тред-юнионистское сознание, а не социалистическое. У массы было тред-юнионистское сознание, на него идеологи откликнулись тред-юнионистской теорией. И там и здесь тред-юнионизм, хотя и „разный“. Так обстояло дело, по Ленину.

„Экономизм“ (тред-юнионизм, узкий профессионализм, цеховщина) остается существовать в среде рабочих по сие время, вовсе не обязательно исчезая после первых шагов „начала“ рабочего движения. И по сейчас он не перестает быть пережитком мелко-буржуазности ее отрыжкой. Слово „цех“ происходит из времен мелкобуржуазного ремесла. В России же рабочий класс пополнялся из крестьян, а не из ремесленников. Наша „цеховщина“, однородная с западной по ее мелко-буржуазности, не может не выявлять своих особенностей, который историк должен вскрывать, если он марксист, не считаясь о тем, что некоторые шаблонеры этого не понимают.

Из других замечаний Пепела имеет отношение к вопросу ссылка на Бунд. Как я уже отмечал в ответе Н. Л—ру, эта ссылка говорит за меня, ибо в Бунде опорой экономизма была не столько „рабочая аристократия“, сколько мелко-буржуазные ремесленники, т.-е. тип, социально сходный с крестьянином и полу-крестьянином.

Совсем неудачно „критическое“ замечание по поводу легального марксизма. Известна составленная Лениным цепочка: легальный марксизм—экономизм—меньшевизм. Если в меньшевизме можно видеть попытку буржуазии опереться на часть рабочих, то тем более в легальном марксизме. Что последний, при всей его оппортунистич-

ности, был направлен против самодержавия, это тоже бесспорно. А Пенел вопиет: „Никогда этого не бывало" и т. д

В остальном „беспристрастную" ругню (именно, ругню) Пенела на мою „дикость" (!). „безграмотность" и пр. и пр., из уважения к читателю, оставим без ответа. Отметим лишь, что Пенел, в своей теоретической импотентности, с необыкновенной „жизнерадостностью" набросившись на статью т. Батурина и поспешивши согласиться с ним во всем, перехватывает у т. Батурина даже такое по сути дела невинное и мелкое замечание, как о моем, якобы, „карамзинском" стиле. Я выразился, что „экономизм" на один исторический момент перенял руководство социал-демократией, когда оно выпало из рук Плеханова и не перешло еще к Ленину, бывшему в ссылке.

Не думая отрицать „риторический" (по выражению Батурина) характер этой фразы, отнюдь не считаю, что она, якобы, „сводит на нет" весь разбор условий возникновения „экономизма".

Только Пенел всерьез мог, на основании этой фразы, приписать мне „схему очень интересную: группа „Освоб. Труда"—„экономизм"—Ленин". „Интересна" схема только для характеристики приемов Пенела. Вся брошюра говорит о том, что „экономизм" был отступлением от Плеханова и Ленина, отступлением от марксизма, а Пенел дергает фразу и, с торжествующим видом, объявляет ее моей „философией истории Р. К. П.". На то он и Пенел.

К счастью, в моей „карамзинской философии истории" у меня есть небезызвестный Пенелу предшественник, который написал слова, взятые мною в эпиграф и напечатанные на титульном листе брошюры:

> Это период разброда, распада, шатания. В отрочестве бывает так, что голос у человека ломается. Вот и у русской социал-демократии (подчеркиваем к сведению Пенела! *В. А.*) этого периода стал ломаться голос, стал звучать фальшью... (Ленин).

Я не сомневаюсь, что, не будь подписи Ленина, критики вроде Пенелов увидели бы в этом злостную „философию истории". Ибо если я причисляю „экономизм" к социал-демократии, то автор эпиграфа делает то же самое, едва ли с меньшей „риторикой".

В заключение, по поводу риторики вообще,—хочется привести еще одно небольшое замечание того же В. И. Ленина, высмеивающее пустую придирчивость к словам, а не к смыслу. Это следующее замечание из „Что делать?":

> „Надо мечтать!" Написал я эти слова и испугался; мне представилось, что я сижу на „объединительном съезде"; против меня сидят редакторы и сотрудники „Рабочего Дела". И вот, встает тов. Мартынов и грозно обращается ко мне: „А позвольте вас спросить, имеет ли еще автономная редакция право мечтать без предварительного спроса комитетов партии?" А за ним встает товарищ Кричевский и (философски углубляя т. Мартынова, который уже давно углубил т. Плеханова) еще более грозно продолжает: „Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет ли вообще право мечтать марксист, если он не забывает, что, по Марксу, человечество всегда ставит себе осуществимые задачи и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с партией?"
>
> От одной мысли об этих грозных вопросах у меня мороз подирает по коже, и я думаю только—куда бы мне спрятаться.

В. Астров.

БИБЛИОГРАФИЯ

Марксизм и философия.

(О статье К. Korsch'a: „Marxismus und Philosophie“ в „Archiv für Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“).

Задача, которую ставит себе автор вышеназванной статьи, являющейся первой частью его „Историко-логических исследований вопроса о материалистической диалектике“, сводится к выяснению проблемы взаимоотношения марксизма и философии. Статья открывается указанием на то, что важность данного вопроса не признавалась до самого последнего времени, при чем это непризнание характеризует как школы буржуазной философии, так и круги марксистских академиков. „Для профессоров философии марксизм означал—в лучшем случае—едва ли больше, чем не имеющую прямого отношения к предмету подглавку, в общем, весьма бегло излагаемой главы истории философии XIX в. под названием „Разложение гегелевской школы“ (стр. 52) [1].

Что касается марксистов-теоретиков, в том числе и ортодоксов, то и они не придавали значения „философской стороне“ своей теории. Правда, они исходили из других соображений, чем профессора буржуазной философии, и даже полагали, что в этом они следуют как раз по стопам Маркса-Энгельса, так как ведь и эти последние скорее „отменяли“, чем создавали философию. Но такое отношение марксистов-теоретиков, вождей II Интернационала, к проблеме философии может считать удовлетворительным с точки зрения марксизма ровно настолько, насколько отношение Фейербаха к философии Гегеля удовлетворяло Маркса-Энгельса. Бесцеремонное отшвыривание философии, культивирование отрицательного отношения к ее проблемам не проходило безнаказанно и приводило к таким курьезам, как исповедание марксистом философии Шопенгауэра.

Так или иначе, но видимое согласие буржуазных профессоров и марксистов-ортодоксов II Интернационала в этом вопросе является фактом. По существу ничем не отличается от этой точки зрения и то направление в марксизме, которое сдабривало, „восполняло“ марксизм различного рода философиями—кантианством, махизмом и др. Последнее обстоятельство позволяет автору сосредоточить все свое внимание только на двух первых точках зрения.

Т. Коршу представляется делом весьма легким доказать, что чисто-отрицательное понимание отношения марксизма и философии, обнаруженное им как у буржуазных ученых, так и у марксистов-ортодоксов, объясняется „поверхностным и недостаточным пониманием историко-логических условий вопроса“ (стр. 57). Ввиду того, что обе стороны приходят к сходному решению вопроса, отправляясь от разных исходных пунктов, автор не считает

[1]) Страницы всюду указаны по журналу.

возможным зараз изложить обе точки зрения, предпочитая заставить выступить их порознь. Тем не менее, он признает, и обещает и дальнейшем доказать, что, несмотря на все различия, они обе встречаются в важном пункте, именно в вопросе об отношении к диалектике. Как буржуазная философия вместе с забвением гегелевской философии выбросила за борт диалектику, так и марксисты 2-й половины XIX в. перестали понимать первоначальное значение диалектического принципа, который Маркс и Энгельс захватили с собой из арсенала философии своего учителя, переходя с его (учителя) пути на путь материализма.

Прежде всего, автор хочет „коротко" сказать о тех основаниях, в силу которых буржуазные философы со второй половины XIX в. все больше и больше отходили от диалектической точки зрения и благодаря чему становились неспособными адэкватно понять самостоятельное существо марксистской философии и значение ее в общем ходе развития философских идей своего века Конечно, можно было бы сказать, что это непонимание марксизма со стороны профессоров-буржуа продиктовано им классовым интересом, но такое толкование представляется автору слишком упрощенным; и он пытается отыскать иные пути, вскрывающие подоплеку общественно-исторических условий, заставивших представителей буржуазной философии отказаться от диалектического метода. В этом непонимании марксистской философии цеховыми философами буржуазии, достаточно красноречивым свидетельством чего явился зияющий провал, поглотивший в написанных ими историях весь период от начала увядания гегелевского обаяния до эпохи клича „Назад к Канту", ярко сказалась „ограниченность" буржуазной мысли. Эта „ограниченность" выражается в трех формах, при чем две из них были отмечены еще раньше в пределах самой же буржуазной философии, и только третья, по самому характеру своему не могущая быть превзойденной философом-буржуа, осталась на долю нашего автора. Первая из них должна быть обозначена, как ограниченность философского чванства; и выражается она в том, что философы проглядели, как идейное содержание философии может весьма не дурно продолжать свое существование и далеко за пределами последней,—в различного рода науках, что и имеет место в отношении именно гегелевой философии. Вторая ограниченность, сводящаяся к патриотической близорукости добрейших немцев исследователей, привела к тому, что последние историю философии XIX в. замуравили в стенах любезного их сердцу Vaterland'a и упустили из виду, что философия в период 40—60 г.г. жила в других странах. И, наконец, третья, самим автором приписываемая философам-буржуа, ограниченность—это классовая близорукость, мешающая буржуазному исследователю правильно оценить стихию враждебной ему общественности и правильно определить ее отражение в теории. Если первые две еще могли быть преодолены самой буржуазной мыслью (Дильтей и его школа), то последняя представляет для нее предел, его же не прейдеши: научный социализм, явившийся отражением нового революционного движения, мог быть понят надлежащим образом только тем, кто стоит на принципиально новой позиции. Дело в том, что философия не может быть в достаточной мере понята, если она рассматривается только как „идейно-историческое событие". Философию нельзя вырвать из общей картины ее времени, ибо она от него не отделима,—ее развитие идет нога в ногу с развитием самого общества. Гегелевская философия, как и вся философия классического немецкого идеализма, есть не что иное, как перевод французской революции на язык немецкой спекуляции. До тех пор, пока буржуазия была еще революционным классом, до 48 г., она понимала эту философию. „Но как только ходом исторического развития буржуазия ставится в положение класса, играющего роль контр-революции, она бросает опасный инструмент—гегелевскую диалектику и вместе с этим теряет способность понимать диалектическую связь между идеальным и реальным историческим развитием и особенно связь между философией и революцией в их

действительном значении“ (стр. 66). Но дальнейшая невозможность для буржуазии играть революционную роль отнюдь не означала, что в распоряжении истории нет больше актера на эту роль: у нашего антрепренера дело поставлено так, что всякий до сих пор игравший артист своим вступлением на сцену неминуемо вводил туда же своего будущего заместителя, так что за последним выступлением на сцене первого всегда следовало первое выступление последнего. Так было и в нашем случае: буржуа-революционер, превратившись в буржуа-контр-революционера, уступил свое место революционеру-пролетарию. Это дает ключ к пониманию и тех философских превращений, которые пережила буржуазия в средине прошлого века: контр-революционной практике едва ли могла соответствовать философская алгебра революции—буржуазию потянуло назад, к Канту от Гегеля.

„При таком диалектическом способе рассмотрения, позволяющем нам понять четыре различных движения,—революционное движение буржуазии, идеалистическая философия от Канта до Гегеля, революционное классовое движение пролетариата, материалистическая философия марксизма,—как четыре момента единого процесса развития, мы приобретаем возможность усвоить действительное существо той новой науки, которая, будучи теоретически формулирована Марксом-Энгельсом, образует общее выражение самостоятельного революционного классового движения пролетариата“ (стр 68). Теперь становится совершенно понятным и непонимание буржуазной мыслью философии марксизма: как не могут реализоваться революционно-практические цели классового движения пролетариата внутри буржуазного общества, так же не может и мысль этого общества воспринять существо тех положений, в которых это движение находит свое теоретическое выражение.

Считая, что приведенных выше соображений достаточно для выяснения позиции буржуазной философии, автор переходит к разбору положения дела в лагере марксистов. Начинает он повторным указанием на важность проблемы, надеясь особенно ярко подчеркнуть это путем проведения аналогии данной проблемы с проблемой государства и марксизма. Марксизм „отменяет“ государство и не только в его буржуазной форме, но всякое государство вообще, тем не менее отсюда отнюдь не следует пренебрежительность отношения марксистов к этому последнему. Точно также и отмена философии научным социализмом М.-Э. отнюдь не обязывает нас сейчас же объявить эту последнюю фикцией. Такое решение вопроса было бы „вульгаризацией“ марксизма, а материалистически-диалектическая точка зрения требует тщательнейшего изучения проблемы этой „отмены“: что мы должны представлять под „отменой“, когда и как она совершилась и, на кого распространяется обязательность ее—на все ли человечество, на весь ли пролетариат или только на марксистов. Навсегда ли сразу покончено с философией или эта „отмена“, наподобие отмены государства, мыслится, как некий период, включающий в себе различные фазы революционного процесса. В такой формулировке проблема, по мнению автора, не только приобретает величайшее значение наподобие проблемы государства и революции, но и позволяет понять пренебрежение ею теоретиками II Интернационала: ведь, по отношению к оппортунистам имеет силу не только ленинское обвинение их в забвении проблемы государства, но и обвинение в пренебрежении вопросов революции вообще.

Было бы крайне поверхностным объяснять это явление за счет личных качеств отдельных марксистов: диалектический метод обязывает вывести объяснение такого факта из причин, лежащих в самом обществе. Чтобы обеспечить это, автор дает краткий очерк истории марксизма. Согласно ему, весь период существования марксизма от его начала, за которое можно принять год „Критики гегелевской философии права“ (1843), и до наших дней распадается на три части, при чем деление это производится естественными рубежами истории европейского общества на это время. Революция 1848 г. кладет первый такой рубеж и тем самым отсекает первую часть марксистской

эпохи; вторая часть занимает промежуток от июльского поражения пролетариата в 1848 г. до начала нашего столетия, когда новая ситуация в капиталистическом обществе, покончив с реакционностью пройденного полстолетия, вновь пробудила революционные движения, наконец, третья часть истории марксизма—это начавшееся 20-е столетие, наши дни. Первый период марксизма, во времени совпадающий с революционной бурей 40-х г.г., и в существе своем отразил это состояние общества: марксизм за данный период, несмотря на все свои отказы и открещивания от философии, является „от начала и до конца пропитанной философской мыслью теорией общественного развития, или—точнее—теорией социальной революции, понимаемой и творимой, как живое целое" (стр. 79—80). Лучшим выражением этой первой формы марксовой теории является „Коммунистический Манифест". Второй период, падающий на годы европейской реакции 2-й половины XIX ст., не мог не отразить на себе черт этого времени общественного штиля; ведь, утверждать, что какая угодно теория может вести самостоятельное существование вне реального движения общественной жизни, это значило бы уходить с материалистическо-диалектической точки зрения и вступать на почву идеализма. Так что можно было бы a priori утверждать, что новая обстановка найдет свое отражение в марксизме, изменив и его физиономию. В действительности так и произошло: даже у самих М. и Э. их теория, „оставаясь всеобъемлющей целостной теорией социальной революции", начинает изменять свою форму, уделяя все большее внимание отдельным сторонам—экономике, политике и т. д.—того целого, выражением чего она является. Благодаря этому, философия несколько отодвигается на задний план, и на авансцену выходят специальные науки, вроде политической экономии. То, что у Маркса и Энгельса было допущено в разумных дозах, не вызывающих перерождения существа их теории, то эпигоны довели до крайности и „единую теорию социальной революции превратили в критику буржуазного хозяйственного строя, государства, воспитания, религии, искусства, науки и современной культуры вообще—критику, уже не переходящую в необходимо следующую из ее существа революционную практику, но свободно могущую перейти и фактически, в своей действительной практике, переходящую в большинстве случаев во всевозможного рода реформистские стремления, которые в основном не сходят с почвы буржуазного общества и государства" (стр. 86). Так благодаря особенностям исторической обстановки для марксистов-реформистов вопросы революции вообще перестали существовать, а для ортодоксов они превратились в некое „потустороннее" явление, что и помешало им овладеть событиями новой, революционной эпохи, открывшейся с началом нового века. Эта эпоха поставила в порядок дня вопросы революции и тем самым открыла третий период марксизма, который становится известным, по почину главных застрельщиков этого периода, русских большевиков, под именем периода „восстановления марксизма". В этот третий период марксизма пойдет восстановление вопросов социальной революции, и на-ряду с проблемой марксизм и государство встанет проблема—марксизм и философия, так как и последняя имеет не только чисто-теоретическое значение, но полна глубокого практического смысла, ибо вопрос о взаимоотношении философии и революции поднимает вопрос об отношении революции к идеологии, вопрос, отмахнуться от которого пролетариат не сможет, когда он (вопрос) встанет во всем своем объеме на другой день социальной революции.

Последнюю часть своей статьи автор и посвящает разбору вопроса отношения марксизма к философии и идеологии вообще. Какую позицию занимает марксизм в отношении философии? Распространенное мнение, утверждающее бессмыслицу постановки этого вопроса, как вопроса о соотношении двух несравнимых, качественно различных вещей,—вот ответ, даваемый вульгарным марксизмом. Но это решение ни в какой степени не соответствует действительному положению дел. Ни Маркс, ни Энгельс никогда не рас-

сматривали философию, как бессмыслицу, с которой нет надобности считаться в своей революционной практике. Наоборот, не говоря уже о том, что марксизм в той форме, как он формулирован некоторыми тезисами о Фейербахе, „должен быть характеризован, как философия, именно как революционная философия", оба они всегда признавали за ней характер некой действительности и требовали точного учета значения ее, как таковой, в революционной практике. Вот почему и „отмену" ее нужно понимать в том смысле, что она сходит со сцены человеческой истории в тот момент, когда рушатся ее материальные предпосылки, в качестве которых являются те или иные общественные условия. Отсюда и явствует, что абстрактных путей, путей чистой научной критики, вне революционной борьбы для этой отмены нет и быть не может: „философию нельзя отменить, не осуществляя ее", заканчивает автор словами Маркса.

Таково, если я сумел правильно передать, содержание статьи т. Корш. Ее особенности, как отдельной главы целой работы, исключают возможность составить окончательное мнение о взглядах автора. Тем не менее, интерес поднятого им вопроса не позволяет пройти мимо некоторых положений, выдвинутых автором, а заслуживающая всяческой похвалы обстоятельность, с которой трактуется тема, до известной степени оправдывает решимость, может быть, несколько преждевременную, высказаться по их поводу.

Прежде всего нельзя не остановить внимания на том факте, что т. Корш допускает некоторую, если будет позволено так выразиться, вольность в обращении с термином философия: какое содержание вкладывается им в это понятие, точно сказать нельзя. А между тем, ведь трудно указать еще какое-либо понятие, которое носило бы такой же характер условности и в такой степени определялось бы в зависимости от лица, пользующегося им, каким является понятие философии. Разве не философия по сей день продолжает поиски своего предмета, разве не она издавна бродит в царстве знания, то горделиво претендуя на царственную порфиру повелительницы всех наук, то скромно пристраиваясь в качестве коммивояжера любой науки? И разве между этими двумя крайними ролями философии не располагается ряд ее промежуточных амплуа? Правда, т. Корш дает понять, что он имеет в виду философию, как выражение революционного движения или как некую всеобъемлющую теорию социальной революции. Но, ведь, нельзя не признать, что это лишь образные выражения, и по части точности они могут подвести даже самого автора их, что, по-моему, и случилось в данном случае. Т. Корш утверждает, что философия классического немецкого идеализма от Канта до Гегеля является выражением буржуазного революционного движения. 1848 г. положил конец революционным настроениям буржуазии; последняя, пережив их, отказывалась от философских грехов своей молодости и от бесстрашного диалектика Гегеля, обаяние которого рассеялось, как дым, ринулась назад к Канту. Но, ведь, и философия Канта по утверждению самого же автора, является отражением того же революционного состояния, которое нашло свое отражение и у Гегеля. Мало того, ведь буржуазия в дни своей революционной молодости знавала и другую форму философии, отличавшуюся от философии Канта-Гегеля не только тем, что она не была идеализмом, но и тем, что она была невинна по части диалектики. Ведь, французский материализм,—а это несомненно форма философии буржуазной революции,—все же был достаточно метафизичен, чтобы сгладить впечатления и от проблесков диалектики у Дидро, и от диалектики гениального Гельвеция, и от диалектики все еще остающегося неведомым Дешана. Мне представляется, что объяснить это с точки зрения т. Корша будет очень не легко, и трудности объяснения здесь не случайны: причиной их является своеобразное понимание философии (мимоходом замечу, что здесь, может, не без греха и по части понимания диалектики: статья дает возможность подметить стремление автора не выводить последнюю за пределы общества; показательно в этом отно-

шении его коротенькое послесловие с заявлением о согласии с точкой зрения т. Лукач, нашедший свое выражение в книге „Geschichte und Klassenbewusstsein, которую характеризует как раз отрицание диалектики в природе).

Второе, что не хотелось бы обойти молчанием, это некоторое, если так можно выразиться, опасливое отношение к науке со стороны т. Корш. Оппортунисты превратили марксизм в научную критику различных сторон буржуазного общества и тем самым изгнали из марксизма его „душу живу" революционного учения, отсюда—„революционный марксист, бойся науки, ибо последняя может привести к разрыву с революционной практикой. В силу этого обстоятельства автору не представляется возможным мыслить „отмену" философии в марксизме, в форме отказа от философии, как особой области абсолютного знания, и признания за ней характера обычного, относительного знания науки. А, между тем, иная постановка вопроса об „отмене" лишает возможности вообще понять взаимоотношения марксизма и философии. С другой стороны, всякое иное понимание философии, признание за ней особенностей, неведомых науке, означает возвращение назад к точке зрения, так сказать, до-марксистского периода. Ведь, чем характеризуется то понимание философии, конец которому полагается марксизмом? Как раз признанием за философией характера особого познания, признанием за ней особого метода отыскания истины, метода, неведомого для науки, обеспечивающего не относительное научное знание, а самую абсолютную философскую истину. И именно против такого понимания философии, как некой сверх-науки, преподносящей человечеству абсолютную истину, и направляются удары марксизма. Марксизм „отменил" философию всеобъемлющих, „все противоречия устраняющих метафизических систем. С такой философией, как некой наукой наук, парящей надо всеми отраслями знания и связывающей их воедино" (Энгельс), марксизм покончил раз и навсегда и для всех, кто не хочет признавать мистических путей познания. Но, лишив философию царственного трона, марксизм исключил и необходимость для нее выступать в роли разносчицы истин чужого производства, обеспечив ей самостоятельное место среди других наук. Вопрос о возможности специальной науки решается наличием в ее распоряжении особого объекта исследования, своего предмета. Точно изучить природу этого предмета, „разрабатывать дальше во всех деталях" эту науку—вот задача марксизма в области философии. И никакой нужды в опасениях за революционную чистоту марксизма при этом нет: в этом смысле философия ничем иным, как „руководством к действию", быть не может, а стало быть ее смысл и самая возможность мыслимы лишь в действительной связи с действием. Разумеется, это руководство и „приятнее" и полезнее осуществлять, чем его, скажем, писать; но это только в том случае, когда план его уже составлен. Отказ от действия со стороны революционера, конечно, должен рассматриваться, как измена революции, но и отказ от науки о действии,—а таковой и является философия,—должен быть признан разоружением революции.

Наконец, позволю себе остановиться еще на одной особенности точки зрения т. Корш. Рассматривая философию, как отражение революционного движения, он последовательно с своей точки зрения умозаключает, что период общественного застоя, внося соответствующие видоизменения в области теории, с неизбежностью должен вызвать отказ от философии, отрицание за ней права считаться чем-то действительным. Это, с его точки зрения, и находит свое выражение в оппортунизме. Собственно, он даже не прочь признать, что и самый доподлинный марксизм претерпевает известные превращения в зависимости от изменений общественного состояния. Иначе, собственно, и не может быть, полагает он, ибо в противном случае получилось бы, что теория отрывается от своего базиса и висит в воздухе. Поэтому он не склонен даже русский большевизм рассматривать, как одну из форм восстановления революционного марксизма. Что всякий практический шаг вносит

нечто новое в теорию, это не подлежит сомнению, ибо знание всегда дано лишь в действии, но что каждый новый шаг обязывает к пересмотру теории,— это не верно. Ведь ценность теории и сводится к тому, что она, подсматривая тенденции развития действительности, опережает последнюю, обеспечивая возможность безошибочности самого действия. В этом смысле марксизм вовсе не является зеркальным отражением той действительности, в которой он вырастает. Он лишь тщательно и точно подмечает направление развития этой действительности, отражает действительность разумную, и тем сам страхует всякого, всерьез принимающего его, от возможности остаться в дураках благодаря неразумию, имеющемуся среди той же действительности. Поэтому марксизм остается научно и практически состоятельным до тех пор и постольку, пока и поскольку осуществление указываемых им путей развития действительности не стало фактом. И в этом смысле оппортунизм не может быть рассматриваем, как новый вид марксизма: представлять себе дело так, это значит руководствоваться словом, обозначающим явление, а не сутью, выражением коей оно само является. С этой точки зрения становится понятным и тот факт, что оппортунизм обычно начинает с критики философской части марксистского мировоззрения: для действия того общественного класса, выразителем идеологии которого является оппортунизм, нужно совсем иное руководство, чем диалектический материализм; вот почему утлая лодочка оппортунизма предпочитает тихую заводь кантианства бурным стремнинам диалектики.

А. Т.

О книге Ю. Мартова.

I.

Около двух месяцев тому назад в Берлине вышла книга Ю. О. Мартова „Мировой большевизм“ [1]), представляющая как бы его политическое завещание. И хотя в основных своих частях книга была написана и напечатана еще в 1919 г., в известном смысле она представляет как бы последнее слово меньшевизма. Это вытекает и из того, что она в некотором роде свод всех попыток меньшевиков теоретически истолковать нашу революцию, и из той рекомендации, которую „труду“ г. Мартова предпосылает г. Дан:

„Это самое глубокое и проникновенное из всего, что было сказано о социальных и идейно-психологических корнях большевизма, как мирового явления, об его идеологии и отношении этой идеологии к марксизму. Острым скальпелем исторического анализа вскрывает Мартов духовную связь большевистского пролетарского движения с движением эпохи Коммуны 1871 г., английского чартизма и еще дальше в глубь истории—с движением парижской „голытьбы“ времен Вел. Французской революции и в то же время материалистически—из условий классовой борьбы—объясняет это идейное родство движений, отделенных друг от друга более чем вековым промежутком времени. И, наконец, с обычным для него мастерством, Мартов восстанавливает действительные теоретические взгляды Маркса и Энгельса на сущность „диктатуры пролетариата“ и отношение этой диктатуры к государству“ (5–6 стр.).

Претензии огромные. Читателю остается лишь, проникнувшись священным трепетом пред этим самым „глубоким“ словом эпохи, проверить, насколько.

---

[1]) Ю. О. Мартов, Мировой большевизм. С предисловием Ф. Дана,—„Искра“ Берлин 1923 г. Стр. 110.

они оправдываются действительным содержанием „труда“. И, если окажется, что „острым скальпелем исторического анализа“ автор только режет самому себе руки, а в путешествиях в „глубь истории“ лишь захлебывается в ее волнах—то претенциозная бедность меньшевизма будет перед нами налицо и нам останется лишь констатировать, что он воистину находится на ущербе.

II.

Мартов начинает с анализа социальных корней „мирового большевизма“. Большевизм стал мировым явлением в пролетариате. Вот факт, подлежащий объяснению меньшевиков. Старая сказка о крестьянской идеологии оказывается уже неудовлетворительной. „Очевидно, что последние корни большевизма надо искать все-таки в состоянии пролетариата“ (12 стр.). При этом Мартов нисколько не смущается тем, что на предыдущей странице в противовес мировому большевизму утверждается, что „национальные особенности русского большевизма, разумеется, в значительной мере объясняются нашими аграрными отношениями“. Если речь идет об особенностях положения РКП в отличие от других большевистских партий, то нет никакого сомнения в том, что они определяются преобладающей до сих пор ролью крестьянского хозяйства в России. Если же речь идет об особом объяснении социальной природы русского большевизма, то, во-первых, не меньшевики ли всегда рассматривали западных коммунистов, как нечто неотделимое от Москвы, и, во-вторых, сам Мартов не пишет ли на стр. 40, что в „конкретных российских условиях эта (РКП) партийная диктатура в первую голову отражает интересы и настроения именно пролетарских слоев населения“? Таким образом, несмотря на некоторую путаницу, в конечном итоге Мартов устанавливает все таки, что большевики есть партия пролетариата. Но в чем же тогда причины их успеха в пролетариате?

Объяснение этого столь неприятного для себя факта Мартов ищет прежде всего во влиянии армии на общественную жизнь благодаря мировой войне (11 стр.). Однако вскоре выясняется, что это объяснение недостаточно. Во-первых, оно не объясняет значения коммунизма в нейтральных странах и давно вышедших из войны, в настоящее время армии не имеющих (Германия). Далее совершенно вздорными оказываются все речи о солдатском „коммунизме потребителя“ и революционном духе в общей их форме, если сопоставить с ними свидетельство опять же самого Мартова на стр. 50, что, напр., „на I Всегерманском съезде советов с его подавляющим большинством шейдемановцев и солдат—эпах трезвенности и филистерства, можно сказать, бил в нос“. Опять оказывается необходимым конкретный классовый анализ солдатской массы, потребительских ее настроений и ее революционности в каждом отдельном случае, т.-е. ссылка на солдат оказывается лишь путешествием „от Понтия к Пилату“. Для Мартова, как мы увидим еще далее, вообще характерно это преобладание фразы и общих рассуждений над конкретным историческим анализом.

Таким образом ставка на солдатскую психологию оказалась битой. Это чувствует сам Мартов. Каковы же тогда, в самом деле, действительные социальные корни большевизма?

Прежде чем дать окончательный ответ на этот вопрос, Мартов изыскивает, каковы же основные черты пролетарского большевизма, как мирового явления?

Их три, по Мартову. Максимализм, отсутствие внимания к нуждам общественного производства, потребительская точка зрения, склонность решать все вопросы политической борьбы при помощи вооруженной силы.

Если под максимализмом понимать отсутствие реалистического учета возможных достижений в данных условиях пролетарской борьбы, то вся история революции, включая особенно нэп, показала, как далеки от подоб-

ного максимализма, этой „детской болезни левизны", коммунисты. Если же под максимализмом разуметь требование безоговорочной и неуклонной борьбы за диктатуру пролетариата, то это и есть тот максимализм, который отличает революционных марксистов от оппортунистов всех сортов. Так же негоден признак применения вооруженной силы. Там, где можно обойтись без вооруженной силы, коммунисты ее и не применяют. Чудовищное преувеличение, что коммунисты ею хотят решать все вопросы политической борьбы. Мирная политика Сов. власти, содружество с крестьянством, нэп—тому доказательства. Но если кто-либо думает, что коренной вопрос о власти и пролетарской диктатуре может быть решен в современном империалистическом государстве без вооруженной силы—тот прямой предатель рабочего класса, так как он разоружает его перед лицом буржуазии. Наконец, о потребительской точке зрения. Мы уже указывали, что в этом вопросе винить на солдатскую психологию не приходится. Бывают разные по своему классовому положению и по своей классовой психологии солдаты. В наше время нет солдат, как особой профессии и особого общественного класса. Потребительская точка зрения есть мелко буржуазная точка зрения. Таков ее социальный смысл. И зачем ее вешать на большевизм. Мартов писал в 1919 г. и на этом примере видно, как опасно строить свои заключения о партиях и эпохах на основании мимолетных поверхностных наблюдений. Военный коммунизм был результатом осадного положения России, как это ясно теперь всякому младенцу, и теперь говорить об РКП, как подчиняющей производственную точку зрения потребительской, могут лишь люди, окончательно потерявшие слух и зрение в огне и грохоте прогнавшей их революции.

Везде в характеристике большевиков Мартов берет фразу, слово, не анализирует его конкретного содержания и удовлетворяется, наклеив соответствующий его вкусам ярлык на то, что навеки ускользает от „острого скальпеля" его исторического анализа. В результате вместо анализа неловкость рук фокусника, режущего себе своим же ножем пальцы.

Естественно, что после такой „характеристики" большевизма поиски его корней оказываются еще более суздальскими.

Конечный вывод Мартова сводится к тому, что большевизм коренится с одной стороны в потерявших классовые традиции, мобилизованных в армию рабочих, с другой—в истощающем тяжелом труде оставшихся на производстве. Этому „марксистскому" объяснению можно было бы только удивляться, если бы оно не было таким чудовищным именно с марксистской точка зрения.

Мы уже отмечали на приводимом в другом месте самим же Мартовым примере (I Всегерманский съезд советов) недопустимость огульного заключения о том, что солдаты несут с собой революционный дух. Но если война и играет в истории прогрессивную роль—то как раз именно в том, что она воспитывает этот революционный, бунтарский (против господствующих классов, чем плохое слово?) дух. „Войны ведутся теперь народами, и потому особенно ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблачение на деле, пред глазами десятков миллионов людей, того несоответствия между народом и правительством, которое видно было доселе только небольшому сознательному меньшинству" [1]). Как же марксист может закрывать глаза на то, что „революционный дух" есть именно положительный результат войны, и если в нем коренится большевизм, то это не в осуждение ему, а в похвалу.

Рабочий класс растерял в траншеях традиции и профессиональные навыки, пишет Мартов.

---

[1]) В. И. Ленин, Собр. соч., т. VI, стр. 37.

Да, кое-какие традиции и навыки растерял. Но какие? Политически прежде всего он выходит из-под опеки той рутины и того давления окружающей его среды, начиная с хозяина, его предприятия и кончая бюрократом в его профсоюзе, которые отуманивают его классовое сознание. И в этом тоже революционная прогрессивная роль войны. Но разве отгораживаться от нее должен революционный марксист? Разве изживание тред-юнионистских, узко-цеховых традиций и навыков в рабочем классе не есть необходимая предпосылка социалистической революции? Как далек Мартов времен пролетарской революции от Мартова времен борьбы с экономизмом в старой „Искре“.

Большевизм есть результат чрезмерного истощения и обнищания во время войны рабочих масс. Об этом стоит привести из Мартова подлинную цитату: „Этот (во время войны) истощающий тяжелый труд был затрачиваем в значительной мере для производства средств разрушения, являлся с общественной точки зрения непроизводительным и не мог способствовать выработке в трудящихся массах того сознания незаменимости их труда для существования общества, которое составляет столь существенный элемент в современной пролетарской классовой психологии“ (14 стр.). Эта цитата—прямой разрыв с социализмом и марксизмом. Если большевизм крепнет в результате сугубого угнетения и обнищания масс—то это прямое доказательство того, что он и есть подлинная партия пролетариата. Ибо и войны, и обнищание масс есть не случайность, а необходимый результат развития капитализма. В их тяжелой школе развивается классовое сознание пролетариата и воля к борьбе за новый общественный строй. Так ускоряется рост „субъективных предпосылок“ пролетарской революции и в таком случае прямым их выражением является рост большевизма. Кто этого не понимает в теории Маркса—тот ничего в ней не понимает. Слова же о том, что рост большевистского революционного духа в массах есть результат отсутствия в них сознания незаменимости их труда для общества—есть прямой обман рабочих, может быть и бессознательный у того, кто их пишет. Ибо из них может быть сделан только один вывод - пролетариат должен быть горд своей незаменимостью и... не бунтовать! Иначе слова о незаменимости есть пустая фраза, и на этой незаменимости спекулирует всегда буржуазия в борьбе с рабочими стачками. Непроизводительное производство средств разрушения здесь совсем не при чем.

Таким образом весь знаменитый Мартовский анализ корней большевизма оказался пустым блефом. На этом анализе если в чем и можно убедиться, то только в одном—мировой большевизм, ленинизм—является идеологией и тактикой пролетариата в период обостреннейших классовых противоречий и потрясений капиталистического общества, на пороге от него к социализму. В этом отношении он есть применение к современным условиям учения Маркса и тактики революционного марксизма. Но вряд ли этого вывода ждали Мартов и эпигоны меньшевизма!

III.

Однако большевизм не пускал бы таких глубоких корней в рабочих массах,—повествует далее Мартов,—если бы он мог встретить в воевавших и в нейтральных странах достойный психологический отпор в социально-политических навыках и идейных традициях широких масс пролетариата. И здесь Мартову остается лишь с грустью констатировать их отсутствие. Это, вообще говоря, типичное для мелко-буржуазных и интеллигентских демократов настроение, в сетованиях на неумолимый и чуждый для них ход событий и в морализировании по поводу него находящих себе утешение.

Типичным для после-военного периода являются в рабочих массах,— говорит Мартов,—выход из непосредственного руководства своих прежних профессиональных союзов, рост среди них нелегальных организаций, недоверие к секретарям тред-юнионов и неповиновение их директивам. Рабочие не имеют прежних авторитетов, пред ними осталась лишь рассыпанная храмина II Интернационала. Таким образом, когда ошеломленные обухом мировой войны массы снова зашевелились, они не имели идейно-организационного центра, общепризнанного, непререкаемо-авторитетного, к которому могли бы, к которому психологически необходимо должны были бы „прислониться". Они получали психологическую свободу выбора между обломками старого Интернационала" (16—17 стр.).

Таковы последние „глубины" материалистического анализа Мартова. Отсутствие традиций и психологическая свобода выбора... Прежде всего здесь на-лицо перед нами все особенности интеллигентского подхода к пролетариату: недоверие к массам, их действительной борьбе (формально, конечно, нет большего „демократа", чем меньшевик), необходимость для них авторитетов, к которым они могли бы „прислониться" (герои и толпа), нытье по поводу той самой свободы выбора, о которой выше писалось, как о самом высшем достижении демократии. Когда она нам на руку—она идеал, когда она против нас—это просто отсутствие традиций и попустительство массам... Прямое оправдание в теории повседневной практики профсоюзной бюрократии Запада.

И опять, ведь, остается все тот же вопрос — почему же массы, выйдя из-под опеки бюрократии с.-д. и тред-юнионов, выбирают коммунистов, а не меньшевиков? Мартов ткет, ткет паутину вокруг да около, а основной вопрос все остается неразрешенным. Ведь, не объяснение же сказать, что это атавизм (почему же именно теперь он проявился?) или сослаться на то, что большевизм побеждает, как более упрощенная и более беззаветно выражающая инстинкт классового возмущения идеология? (17 стр.). Ведь, беззаветно выражать инстинкт классового возмущения рабочих должен каждый социалист, а большей, якобы, упрощенностью лозунгов и приноровлением к стихии разве можно материалистически объяснить хоть одно историческое движение? Что такое упрощенность лозунгов? Отсутствие упрощенности вовсе не заключается в том, чтобы так намудрить, что не только массы, но и ты сам не умеешь разобраться, что же делать, вовсе не в позиции буриданова осла (с одной стороны нельзя не признаться, а с другой—нельзя не сознаться) в политических вопросах, волнующих массы. Это ерунда.

Всякое великое историческое дело опирается на массы и может совершаться лишь под знаменем простых лозунгов.

Но и труднее всего найти политику такие простые лозунги, которые выражали бы отчетливее всего задачи целых классов в переломные исторические эпохи. В умении находить их состоял гений Ленина. И это вовсе не предполагает следования на поводу у стихии. Разве приспособлением ей к 1914 г. был лозунг Ленина о превращении империалистической войны в войну гражданскую, один из фундаментальнейших лозунгов большевизма? Не кругло, очень не кругло получается в анализе Мартова.

Наконец, несколько слов о революционной теории и стихийности. „В нашу революцию еще раз, — пишет Мартов, — стихия исторического развития оказалась сильнее теории" (19 стр.). Классы лишь post factum отдают себе отчет в историческом смысле своего движения. „Сова Минервы вылетает ночью",—вслед за Гегелем повторяет Мартов.

Все это так. Но все же вытаскивать в данном случае Гегеля в обоснование своего хвостизма по меньшей мере неумно. Особенность марксистской теории, методологически восходящей к Гегелю, в том и состоит, что, познавая закономерность и необходимость исторического процесса, она дает пролетариату в руки орудие его освобождения. Если в момент революционного

выступления пролетариата, его „стихии“, теория оказывается неспособной руководить ею, то это лишь доказывает никчемность такой теории. Такова именно не находящая себе применения в действительной борьбе пролетариата „теория меньшевизма“. Она ничего общего не имеет с Марксом, изявшим под свою защиту во много раз более незрелое, чем революция наших дней, выступление парижских пролетариев 1871 года. Не отрицать стихию и „возвышаться“ над нею должна теория, а осознавать ее и овладевать ею. Худшего типа преклонение пред стихией есть меньшевистская капитуляция пред нею.

Материалистическое понимание истории в руках Мартова превращается в созерцание одного лишь a posteriori всякого исторического события. Для интеллигента типа Мартова марксизм оказывается пустой теорией, не связанной с действием, а не наукой тактики пролетариата.

Это отсутствие диалектического понимания отношения свободы и необходимости, возможности и необходимости (стр. 100), теории и практики и т. д. проникает всю книгу Мартова, как бы он ни клялся диалектикой.

Пример ему и отношение к войне. Для Мартова борцам против войны 1914 г. надо было только „преподать человечеству урок бережного отношения к производительным силам“ (23). Мартов в роли классного наставника человечества? Разве это не чистейший интеллигентский утопизм? Разве такое отрицание войны не есть простая пацифистская болтовня? Разве иногда, например, в революции и в революционной войне, разрушение производительных сил не бывает в известной степени необходимой предпосылкой их дальнейшего роста? Да все это пустое морализирование мелкого буржуа вместо исторического анализа! Нет понимания того, что историческое развитие совершается не посредством филистерской бережливости и уроков человечеству со стороны некоторых интеллигентов, а диалектическим путем борьбы противоречий.

Мартов витает в созданном им безвоздушном пространстве „чистого“ анализа, не запятнанного ни единым граном действительной жизни и мудрено ли, что все его хитроумные произведения оказываются лишь мыльными пузырями?

IV.

Таким же безнадежным остается анализ Мартова, когда он переходит к рассмотрению советской государственности.

Типичная метафизика человека, который общими рассуждениями заменяет конкретный анализ и потому никогда не знает, ч т о к ч е м у.

Советская система есть высшая форма государства. Отсюда Мартов заключает, что она может быть лишь в наиболее развитых капиталистических странах. Опыт же опровергает это, и она оказывается в наши дни политической формой, универсально пригодной для переворотов и в Германии, и в Туркестане. Вот противоречие, — возглашаемое Мартовым, — в большевистской теории. От Мартова ускользает при этом элементарная мысль, что советы есть такая политическая форма, посредством которой пролетариат-диктатор руководит всеми остальными трудящимися классами. Они немыслимы там, где нет пролетариата — руководителя общества. Но они неизбежны там, где это руководство есть, и потому они неизбежны в самых отсталых частях СССР, в том числе и в Туркестане. Дело вовсе не в том, чтобы в них входили только пролетарии, а в том, что через посредство их и играя в них п р е о б л а д а ю щ у ю р о л ь пролетариат руководит всем трудящимся населением страны.

Далее. Мартов с ехидством цитирует ленинскую программу организации власти в „Государстве и революции“ и спрашивает, насколько она осуществилась в жизни. Опять метафизическая постановка вопроса без конкретного

анализа тех условий, в которых осуществлялась пролетарская диктатура в России. Сугубой централизации требовали условия гражданской войны. Саботаж интеллигенции обусловил необходимость часто использовывать худшие элементы старого царского бюрократического аппарата. На фоне культурной отсталости России, в военной обстановке, после ухода подавляющей массы рабочих в деревню и на фронт, естественен был рост бюрократизма в Советской России времен военного коммунизма. Но разве это аргумент против самой Советской системы? И разве борьба с бюрократизмом не усиливается по мере того, как вновь возвращается к производству рабочий класс и растет культурность населения? Волков бояться—в лес не ходить. Или вместо того, чтобы, засучив рукава, взяться за строительство нового общества, русский пролетариат должен был отказаться от него из боязни запачкать свои руки черной и долгой работой повышения культуры и борьбы с бюрократом?

Поистине не умер Данила, болячка его задавила. Фраза задавила Мартова.

Мартов выискивает новое противоречие в большевистской практике. Большевики в 1917 г. учили о постепенном отмирании функций государства, а сами лишь его усилили (38 стр.). Разве это не блестящее доказательство непонимания Мартовым, что к чему? Не теоретическая и политическая наивность? Государство может и будет отмирать лишь в **победившем** социалистическом обществе по мере роста социализма, но разве тождественно оно с Россией, окруженной врагами со всех сторон? Сам же Мартов говорит в другом месте, что Маркс и Энгельс мыслили себе отмирание всех функций общественного принуждения лишь как „результат длительного существования социалистического общества“ (68 стр.). Где же сведены концы с концами?

Власть советов, — говорит Мартов, — была в России заменена властью партии. Такая формулировка свидетельствует лишь о непонимании и роли государства, и роли партии. Одно из двух—либо класс может править государством непосредственно, и тогда партия не нужна (но это уже не марксизм);—либо не может, и тогда власть класса выражается в господстве его партии. Насколько же умно после этого делать вывод о том, что власть Советов есть диктатура крайнего меньшинства пролетариата?

Подтверждение своей точки зрения Мартов ищет в статье Ленина „К лозунгам“, выдвигавшей после июльских дней 1917 г. вместо требования власти советов, требование власти партии [1]). Но если бы Мартов прочел статью Ленина до конца, он понял бы, что к чему. Чем вызывалась необходимость изменения лозунга.— „Подменять абстрактным конкретное один из самых главных грехов, самых опасных грехов в революции. **Данные** советы провалились (курсив всюду наш. *Н. К.*), потерпели всюду крах **из-за господства в них эс-эров и меньшевиков**... Советы теперь бессильны и беспомощны перед победившей и побеждающей контр-революцией. Лозунг передачи власти советам может быть понят, как „простой“ призыв к **переходу власти именно к данным советам**, а говорить это, призывать к этому, значило бы обманывать народ. Нет ничего опаснее обмана“ (XIV, ч. II, 18). О чем же говорит Мартов? Ленин учил, что нельзя обманывать народ насчет значения меньшевистских советов. Они оказались бессильными против контр-революции, не выражали подлинные интересы рабочего класса. Раз это так, то задачей всякого революционера, который не ставит форму выше содержания, было бороться за действительную организацию масс помимо советов, пока в них преобладали меньшевики и с.-р. Ибо массы левели скорее, чем их представители. Только и всего. Зачем же замазывать этой статьей вопрос о диктатуре класса, подменяя его воплями о диктатуре партии.

Что стоит далее все мартовское нисхождение в глубь истории и параллель советов с коммуной 1793—1794 гг. (партячейки и якобинские клубы,

---

[1]) В. И. Ленин, Собр. сочин., т. XIV, ч. II, стр. 12—19.

комбеды и комитеты и т. д.)? Сходство есть. Но, ведь, Великая Французская революция и была прообразом всякого будущего великого исторического дела, в котором участвуют массы. Вожди пролетариата были бы дураками, если бы на ее примере не учились организации и тактике революционной борьбы. Революции имеют свою организационную логику. Только и всего. Но разве содержание борьбы, ее цели, участвовавшие массы были те же в Париже 1794 г. и в Питере 1917 г.? Стоит поставить один этот вопрос, чтобы все параллели Мартова полетели вверх тормашками.

В советах, — пишет Мартов, — пролетариат ликвидирует веру в свою способность вести за собой весь народ. Обо всем народе не может быть и речи — но как ведутся пролетариатом эксплоатируемые классы, этому Мартову следовало бы поучиться на русском опыте. Народ руководится пролетариатом не сговорами представителей в парламенте, а борьбой и делом. Вот корень всех отличий меньшевистской и большевистской тактики. Дело не в том, что „народ" проголосует за с.-д., а в том, чтобы он на деле одобрял их политику.

В результате нелепейшая формула, что советская власть есть „всеобщая форма революции, совершающейся в обстановке политической распыленности и внутренней неспаянности народных масс при условии, когда старый режим в корне подточен ходом исторического развития" (42 стр.).

Как не понимать того, что, в период обостренных классовых противоречий, войн и революций, вообще не может быть никакой спаянности народных (!) масс. Что пролетариат спаивается и классируется именно в своих советах и в борьбе за них. Что спайка не есть результат компромисса. Это основное, что не понимает Мартов с своей интеллигентской и парламентской высоты.

Мартов за демократию. Но и большевики — демократы. Весь спор в том, что такое демократия, как ее понимать. Для Мартова важна формальная демократия. Для большевиков содержание демократии, демократическая политика. Форма имеет значение лишь постольку, поскольку обеспечивает это содержание и с ним связана. Так думал еще революционер Плеханов на II съезде и поэтому, по свидетельству Мартова (72 стр.), он был недоволен, когда Мартов стал его выступления „истолковывать" лишь как логически-мыслимый пример, а не как возможную политику. Плеханов считал политически возможным устранение буржуазного меньшинства, и естественно, что в ответ на это Мартову осталось лишь меланхолически понять, что Плеханов „не лишен черт якобинской диктатуры революционного меньшинства".

Поэтому, если Мартов ратует за избирательные права буржуазии, так как устранение их „ведет к оскудению социального содержания процесса выявления народной воли в избирательной борьбе" (стр 43—44), то это прямое пособничество врагам пролетариата. Свобода выборов для буржуазии есть неравноправие с пролетариатом, преимущественное для нее положение, так как в ее руках вся экономическая и политическая власть. За демократической формой здесь всегда скрывается олигархическое содержание. Наоборот, подлинная демократия для пролетариата лишь та, которая ему дает не только голое право выбора, а которая осуществляет его политику и дает простор его хозяйственной и политической активности. Такова советская демократия.

Увенчанием здания является глава Мартова, посвященная „метафизическому и диалектическому материализму". Мартов за диалектический, так как большевики хотят воспитывать пролетариат, а Мартов знает, что воспитатель сам должен быть воспитан. Поистине метафизическое понимание Маркса и его точки зрения на отношение воспитателя и воспитываемого, класса и его партии.

Нет понимания того, что у Маркса и у большевиков они не противостоят друг другу, нет понимания действительного диалектического воспитания воспитателей и воспитываемых в совместном строительстве фундамента нового общества, а не в словопрениях „демократических" парламентов.

V.

Как и подобает всякому меньшевику, Мартов заканчивает опошлением Маркса, его взглядов на государство.

Начинает Мартов с открытия того, что Маркс не отрицал необходимости государственной власти для переходного времени (а кто отрицает?), но что де форму этой власти Маркс и Энгельс мыслили в виде демократической республики.

Опять нет понимания того, что к чему. Сам Мартов на 70 стр. свидетельствует, что Энгельс, „отождествляя демократическую республику с диктатурой пролетариата, пользуется последним термином не для характеристики формы правления, а для обозначения социального характера государственной власти". Мартов не понимает только, что Энгельсу и в первом термине важно только это господство рабочего класса. Смешно от Маркса и Энгельса требовать предвосхищения формы будущей пролетарской диктатуры во всех ее подробностях. Достаточно гениальных марксовских замечаний о Коммуне, что это будет не говорящий парламент, а работающее учреждение. И поэтому, когда Маркс и Энгельс говорили о демократической республике, надо понимать, что они имели в виду не парламентаризм, а ее социальное содержание—диктатуру пролетариата, не демократическую форму, а рабочее, социалистическое содержание. Талмудист не Ленин, а Мартов, за словом не видящий его смысла.

И немудрено, что у Маркса наш талмудист отыскивает противоречие. В статьях о гражданской войне во Франции в 1871 г. Маркс пишет об упразднении Коммуной паразита-государства. Мартов в этом усматривает, следуя в данном случае ошибавшемуся Мерингу, уступки бакунистам и прудонистам. Но не надо много ума, чтобы понять, что Маркс, отрицая государство для коммунизма, для переходного времени отрицал лишь старую государственную машину угнетения.

У самого Маркса нет никаких сомнений на этот счет:

„Немногие, но важные функции, оставшиеся еще у центрального правительства, должны были быть не уничтожены, как ложно говорили враги Коммуны (курсив наш. *К. К.*), а лишь переданы коммунальным чиновникам, т.-е. таким, которые были строго ответственны" [1]). Далее там же: „Уничтожая те органы старой правительственной власти, которые служили только для угнетения, Коммуна вырывала из рук этой власти, претендовавшей стоять выше общества, ее законные функции и отдавала их ответственным слугам общества" (45).

Все это говорилось Марксом лишь для того, чтобы показать, что рабочий класс не может просто овладеть старой государственной властью, а должен на развалинах ее построить свою, которая не была бы орудием его угнетения.

Где же здесь ревизия Марксом марксизма, уничтожение всякого государства в переходный период и т. д. —Только в воображении Мартова. В противоречие у Маркса объективируется в его голове его собственная путаница.

---

[1]) К. Маркс, Гражданская война во Франции (1870—1871 г.г.), Москва 1918 г., стр. 44—45.

VI.

В передовице № 2 „Социалистического Вестника", посвященной смерти В. И. Ленина, Ленин противопоставляется Мартову, как идеолог „полуазиатской деревенщины"—идеологу—„марксистского европеизма". Мы оставляем здесь в стороне то великолепное, чисто буржуазное презрение к движению эксплоатируемых народов востока, которое звучит в этой фразе. Это типичный кретинизм того типа „социалистов", которые не хотят ничего видеть далее своего „европейского" парламентаризма и притворяются не замечающими, что господство европейской буржуазии опирается в значительной степени на угнетение колоний и недостаточную еще в них силу освободительного движения. Сейчас нас интересует другое. Как мы выяснили это вполне на анализе работы самого Мартова, меньшевики и сами не верят в полуазиатскую, деревенскую природу большевизма. Уж слишком кричаще противоречат тому факты—выпад автора передовицы „С. В." оказывается сделанным достаточно проржавевшим оружием. Нас интересует сейчас лишь самая параллель Мартова и Ленина.

Продолжая сравнение их, передовица „С. В." утверждает далее, что сила Ленина „заключалась в том, что его несла стихия, в том, что он был не из тех вождей, которые стараются поднять стихию на степень сознательности, а из тех, которые, наоборот, становятся во главе стихии, потому что ей подчиняются". Сколько заведомой клеветы в этом—мы выясняли уже выше. Как беспощадно боролся Ленин со всяким хвостизмом и преклонением пред стихийностью, может узнать всякий рабочий, прочтя „Что делать?", а как умел на деле он возвышать стихию до степени сознательности—всякий рабочий может изучить на опыте ленинской тактики в войну и революцию. Верно, что значительная доля гения Ленина заключалась в том, что он „умел уловить все колебания стихии", но это имело для него своим результатом не преклонение пред стихией, а, наоборот, возможность направлять ее, опираясь на данные научного, марксистского ее анализа. Кто не умеет понимать колебания революционной стихии борьбы классов—тот не научился еще марксизму. Мартов не умел их понимать и потому именно всегда оказывался не во главе, а в хвосте стихии.

Для „С. В." Ленин—типичный „вождь секты", для которого партия, рабочий класс, государство, коммунизм (!!)—это он. Как примирить это с преклонением пред стихией,—и какая это вопиющая ложь! Вождь „секты", охватывающей миллионы, самовлюбленный деспот, обладавший в сотни раз большей скромностью, чем самый бездарный из меньшевистских публицистов. А рядом с ним Мартов—вождь масс... в $1^1/_2$ десятка меньшевиков, дающих уроки всему человечеству!

„Вместе с Лениным,—пишет „С. В.",—уходит в прошлое целая полоса истории русского рабочего движения, русской общественности, русской революции, на которую он неизгладимо наложил свою печать"... Со смертью Ленина эта полоса не уходит, а только начинается. С смертью же Мартова его полоса в русском рабочем движении лишь заканчивает свой давнишний закат, но если Мартов и стремился наложить на него какую-нибудь печать, то лишь печать теоретической беспомощности и политической растерянности в самые ответственные его моменты.

Н. К.

„Большевик", политико-экономический двухнедельник Ц.К. Р.К.П., №№ 1 и 2.

Потребность в таком журнале в наши дни чувствуется больше, чем когда бы то ни было. За обманчивой пеленой внешнего спокойствия переживаемого нами периода революции скрывается один из труднейших и ответственнейших ее моментов. В устранении диспропорций растущего народного хозяйства, в установлении смычки пролетариата с его союзником в революции—крестьянством, в денежной реформе решаются важнейшие строительные задачи нашей эпохи. Поражение на любом из этих фронтов может быть не менее, если не более тяжелым, чем на любом из фронтов военных в период 1918—1920 г.г.

Стоящие на этом пути пред пролетариатом трудности, рост силы и влияния враждебных и чуждых ему стихий, влияют подчас и на наиболее колеблющихся в его собственной среде и даже в среде его партии. Бороться с этими колебаниями, с дезертирством нашего времени, какие бы возвышенные формы оно ни принимало, и считает себя призванным „Большевик". Эта задача поставлена во всю ширь и в редакционной статье „Наши задачи" в № 1, и в статье т. Бухарина „О ликвидаторстве наших дней" в № 2.

Задачей своей журнал ставит защиту исторического большевизма, ленинизма от всех и всяческих искажений и опошлений его.

Эту задачу прекрасно формулирует редакционная статья: „мы были, есть и будем т в е р д о к а м е н н ы м и. Кто устал от тяжелых битв, кто уже мечтает о спокойной пристани и тихих берегах,—тому с нами не по дороге... Большевизм был, есть и будет армией беспощадной, ни на час не прерывающейся войны против старого мира. Условия и формы войны меняются, непримиримость и ненависть наша к миру рабства и угнетения не изменится никогда"...

О ней же пишет т. Бухарин. Пролетарская революция в своем развитии дает критику самой себя. Осуществляя величайшие достижения, она вместе с тем безжалостно разоблачает все несбыточные иллюзии. Крах иллюзий есть сам по себе уже победа, избавляя борющихся от искаженного понимания путей своей борьбы. Но он же внушает дух сомнений в интеллигентских в мелко-буржуазных попутчиках революции. „Верующим" себя противопоставляют сомневающиеся „скептики", не ждущие ничего хорошего от будущего. Особенно много их среди квалифицированной учащейся молодежи, среди разыгрывающих из себя „аристократов духа", призванных все переоценить и над всем земным возвыситься. Это—тот тип „собачьей старости", по блестящему определению т. Бухарина, который живет не священной тревогой за судьбу революции, за рабочий класс, за партию, не жаждой на деле отдать все свои силы на служение ей, а стремлением выискивать наши неудачи, болезни, промахи и ошибки... Разбор ошибок для него не есть путь их изучения для исправления, а путь скептического ко всему недоверия, а в худшем случае смакования всевозможных сплетен. Ликвидировать этого типа ликвидаторство—одна из наших ближайших задач. Разрешить ее должны помочь партии идущие ныне в ее ряды новые сотни тысяч пролетариев.

Из статей нужно отметить в № 1 статьи: т.т. Каменева о Ленине, Зиновьева о ленинском призыве, Слепкова о Кронштадте, Краваля о денежной реформе, Вардина о меньшевизме; в № 2—Степанова „Может ли В.С.Н.Х. делать погоду" и статьи в отделе „Иностранная жизнь", среди рецензий в обоих номерах—рецензии Астрова о брошюре Ваганяна и книжке Пионтковского. С особенным удовлетворением мы должны отметить статью т. Степанова „Истинное христианство" в откровении т. Луначарского", дающую блестящую историко-материалистическую критику пережиткам богостроительских увлечений в произведениях т. Луначарского. Беспощадную борьбу „Большевика" со всеми уклонами в этом отношении наш журнал горячо приветствует.

К недостаткам журнала следует отнести неаккуратность выпуска №№, появления их в продаже, неустойчивую величину (№ 1—142 стр., № 2—96 стр.), перегруженность №№ обозрениями, особенно иностранными (№ 2). Журнал, очевидно, рассчитан на тот круг читателей, который ежедневно читает газеты. Можно поручиться, что соответственный отдел в журнале читать большинство не будет. От журнала будут требовать не обзора, а анализа более глубоких причин явлений, указания политической линии. Нужно больше руководящих статей. В № 2 слабоват отдел библиографии—здесь необходимо было бы давать отзывы более своевременно на все издания, претендующие на широкое распространение в партийной среде.

Можно было бы еще сделать кое-какие замечания, но журнал только начинает жить, и, будем надеяться, полностью удовлетворит столь назревшую в нем потребность.

Евгений В.

А. Деборин. Книга для чтения по истории философии. Т. I. Институт Маркса и Энгельса. Изд. „Новая Москва". М. 1924 г. Тираж 10.000 экз. 446 стр.

Историки русского философского „невегласия" в лето от Р. Х. 1922-е записали в своих летописях, что с того момента, как большевики влепили в штукатурку старого Московского университета в кудряшках эпиграмму: „Дело науки—служить людям", обидчивая философия оставила пределы рабоче-мужицкой страны. Сколь верен этот взгляд современных Несторов, пусть об этом судит история,—сейчас же важно отметить, что и в то время были и теперь есть скептики в этом отношении. Они тоже полагали, что „прогресс философских идей от Платона, Декарта, Гегеля и до современных профессоров философии есть тема весьма колючая..." (Шпет). Но брали это всерьез и потому несклонны были принимать исход из России современных профессоров философии, в своем выведении „константы" русского невежества дошедших до истинного мракобесия, за исход философии.

И эти скептики—материалистами зовутся они на языке философии, большевиками называет их бесхитростная русская речь—упорно и планомерно, не смущаясь ни злобствующим улюлюканием врага, ни снисходительным высокомерием „приятелей", делали и делают свое дело—дело создания очагов философской культуры и распространения философской культуры и распространения философской мысли. Но хотя им, как и их духовным предкам, все же приходится ждать праздника на своей улице, все же, глядя на их будни, можно сказать, что этим будням позавидует не один праздничек.

Одним из этапов и живым свидетелем этой работы и является „Книга для чтения по истории философии" т. Деборина. Появление этой книги тем более показательно, что она предполагает уж некоторую предварительную работу: для нее нужно было заранее создать своего читателя, так как она представляет из себя сборник, „где собраны классические образцы, извлечения из подлинных произведений мыслителя" (3 стр.). Ведь это значит, что составитель ее рассчитывал на того, кто уж в состоянии приступить к более сложному и более трудному изучению истории философии по первоисточнику.

„Книга" представляет собой интересно задуманный труд, который, судя по первому тому, станет необходимым пособием при изучении философии, благодаря богатству представленного в нем материала и тщательности подбора этого последнего. К числу оригинальных черт его нужно отнести (не говоря уже о том, что он собственно представляет в русской литературе первый опыт филофской хрестоматии, если не считать „Философской хрестоматии", изданной одесским издательством Mathesis и „Психологической хрестоматии", где были и отрывки на философские темы, выпущенной Горо-

денским в Тифлисе), уделение должного внимания мыслителям-материалистам и наличие единого принципа, по которому делается подбор материала. Таким принципом является „понимание философии как общего мировоззрения (курсив т. Деборина. *А. Тр.*), включающего, на-ряду с вопросами бытия и познания и проблемы жизнепонимания“ (4 стр.). В силу этого „Книга“ стремится показать историческое развертывание проблем методологии, познания, бытия в социальной жизни и осветить те различные разрешения, которые эти проблемы получали в разное время. Признавая на-ряду с этим, что „философия никогда не жила изолированной, т.-е. оторванной, жизнью“ (4 стр.). „Книга“ прослеживает развитие философии, шедшее параллельно развитию жизни. Считая результатом развития философской мысли диалектический материализм, „Книга“ ставит себе целью помочь читателям усвоить (этот) результат длящегося два с половиной тысячелетия развития философии. Для усвоения же р е з у л ь т а т а (курсив т. Деборина. *А. Тр.*) необходимо и прохождение пути развития, ведущего к результату, ибо без пути нет результата“ (8 стр.).

Весь этот путь разбит на три этапа: от греков до французского материализма XVIII ст.—это первый; от французских материалистов XVIII в. до Маркса—это второй, и, наконец, марксизм – третий.

Первый этап дает материал для 1-го, только что вышедшего, тома „Книги“. Это большой, опрятно изданный том, в 446 стр. in 4°, распадающийся на такие три отдела: античная философия, философия эпохи Возрождения и философия нового времени. При этом нельзя не отметить, что добрая половина первого отдела, весь отдел Возрождения и значительная часть (по преимуществу материалисты) последнего отдела переведены по-русски впервые. Из отдела античной философии особенно хочется отметить [illegible]о письмо к Геродоту, этот, как называет его сам Эпикур, „краткий очерк моих главнейших взглядов о природе вселенной“: если Демокрит еще был доступен русскому читателю, то про Эпикура этого сказать нельзя. С интересом прочтутся новые для русского читателя главы из Аристотелевой Метафизики. Кроме названных авторов из древних представлены еще: Гераклит—своими фрагментами, Платон—отрывками из спорного „Парменида“, Сенека, Секст Эмпирик и Лукреций.

Небольшой отдел философии Возрождения представлен отрывком „О совпадении противоположностей“ из Николая Кузанского, отрывком из Джордано Бруно: из Т. Кампанелла дан отрывок об ощущении вещей; кроме того дан небольшой отрывок „О чувственных качествах“ из Г. Галилея.

Большая часть книги занята мыслителями нового времени. Этот отдел настолько велик, что потребовалась самостоятельная разбивка материала в пределах одного отдела: благодаря этому отдел оказался состоящим из следующих частей: 1. Материализм и рационализм XVII в., 2. Эмпиризм и материализм в Англии и 3. Социальная философия XVIII в. Из материалистов XVII в. приведены Гассенди и Леруа, оба по-русски впервые. Рационализм дан в классических образцах из Декарта, Спинозы и Лейбница, при чем из последнего приведен отрывок: „О принципе непрерывности“, по-русски появляющийся тоже в первый раз. Достаточно полно представлены английские эмпирики и материалисты (правда, о последних приходится говорить это с оговоркой; по техническим причинам не мог быть представлен Толанд); помещены отрывки из Бэкона, Гоббса (три отрывка, из них два на русском языке в первый раз), Ньютона, Беркли, Юма, Миндевилля и Пристли (два последние тоже впервые). Социальная философия нашла свое отражение в отрывках из Вико (по-русски впервые), Монтескье, Руссо, Мабли (впервые), Морелли и Кондорсе.

Последние 50 страниц заняты примечаниями редактора, в качестве каковых даны краткие биографические сведения, коротенькое изложение учения и библиографические указания.

Нельзя не пожалеть, что „Книга" прошла мимо философии средневековья: ведь и здесь имеется заслуживающий внимания материал и несколько страниц, скажем, из Рожэра Бэкона, о котором по-русски имеется, по-моему, всего лишь одна статья, к тому же теперь редко читаемая, несмотря на ее необычайную увлекательность,—были бы отнюдь не лишни.

„Книга" т. Деборина, таким образом, удовлетворяет крайне назревшую потребность в хорошей хрестоматии по истории материализма и диалектики. Именно по этим двум основным направлениям, как мы видели, она и подбиралась. Будем же ждать с нетерпением следующих томов и пожелаем вышедшему скорейшего распространения среди нашей учащейся молодежи и среди всех приверженцев философии диалектического материализма.

А. Троицкий.

„История философии в марксистском освещении". Статьи и отрывки из произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, К. Каутского, Н. Ленина и друг. Часть I. Составили Б. Столпнер и П. Юшкевич. Изд. т-ва „Мир". Москва 1914. Стр. 292.

Хотя философия в последние месяцы у нас не в почете и тщательно изгоняется из учебных планов высших учебных заведений, однако потребность в философской литературе достаточно велика, и марксистски выдержанная философская литература на книжном рынке встречает весьма благосклонный прием. Есть стремление не только овладеть теорией марксизма с его философскими основами, но и разобраться в результатах предшествовавшей ему истории мысли. Такому читателю необходимо дать руководящее в его занятиях пособие, которое помогло бы осмыслить философские теории мыслителей-классиков,—короче, нам необходимо иметь марксистскую историю философии. Поскольку же таковая еще не написана, приходится довольствоваться суррогатами истории философии, т.-е. пользоваться работами тех историков, которые не являются махровыми идеалистами.

Б. Столпнер и П. Юшкевич поставили себе задачу, нужно сказать, трудную и требующую при разрешении осторожности,—составить из имеющегося марксистского материала историю философии.

Единство марксистского мировоззрения, точка зрения исторического материализма, конечно, не исключают еще возможности расхождения авторов по тому или иному частному вопросу, расхождения их взглядов на роль и значение отдельных мыслителей, разногласия в их оценке и т. п., чего, конечно, не может быть в истории философии, написанной одним автором.

С другой стороны, привлеченные составителями авторы отнюдь не писали отдельные главы для будущего коллективного труда. Самостоятельные работы, посвященные тому или иному мыслителю, критические рецензии на книги идеалистов, полемические статьи, наконец экскурсы в область истории философии ad hoc—таков обширный материал, глубокий по содержанию, но разрозненный по форме, который накопился в области философии у авторов-марксистов.

Расположить этот материал в историко-систематическом порядке еще не значит дать единую и цельную марксистскую историю философии; последняя должна быть еще написана. Составители сборника, нужно сказать, отдают себе отчет как в трудностях задуманного предприятия, так и в результатах его. Если использованные работы,—читаем мы в предисловии,—„и не могут заменить недостающей марксистской истории философии, то все же составляют некоторое—пусть первое, очень грубое—приближение к ней, давая местами отдельные вехи, с которыми могла бы уже считаться будущая история философии". Они сами предлагают относиться к книге, как к „собранию статей и извлечений из работ авторов-марксистов по вопросам истории философии".

При таком единственно правильном подходе к книге ее ценность, как вспомогательного орудия, несомненна. Конечно, таким образом задуманное пособие хотелось бы видеть более полным, без проболов, но в этом не вина составителей и, сказали бы мы, не вина авторов-марксистов. Поскольку не было статей и книг об Аристотеле, Декарте, Дидро и друг., постольку взгляды этих классиков не отражены в сборнике. Но посчастливилось и Платону, отрывки о котором получились слишком незначительными по объему и случайными по проблемам. Очень хорошо обстоит с англичанами классического периода английской философии; это объясняется прежде всего тем, что ряд извлечений заимствован из одной книги А. Деборина („Введение в философию диалектического материализма"), а затем наличием ряда фрагментов у других авторов (Л. Аксельрод, Ф. Меринг, Н. Ленин, Г. Плеханов).

Весьма удачным следует признать мысль составителей сборника поместить в начале книги в качестве своего рода методологического введения ряд отрывков, взятых у Г. Плеханова. При таком последовательном их расположении, действительно, выявляется марксистская точка зрения на историю философии, как предмет изучения.

Признавая в общем самую выборку извлечений и отрывков удовлетворительной, мы все же должны указать на ряд промахов в этом отношении. В предисловии составители указывают на желательность иметь историю философии, написанную с точки зрения исторического материализма. Для нас, как и для всякого марксиста, исторический материализм неразрывен с материализмом философским. Хотелось бы думать, что каковы бы ни были собственные философские убеждения составителей, но и в их глазах исторический материализм не может быть соединен, скажем, с махизмом или неокантианством. Никакие разъяснения à la Богданов или Форлендер не помогут; такой „исторический материалист" нет-нет да и прорвется; и тогда в истории философии в марксистском освещении может получиться по вине составителей конфуз. Такой конфуз и имеет место в рецензируемом сборнике. Действительно, составители не могли не быть в затруднении относительно греческой философии. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Эмпедокл, Анаксагор пока не привлекали внимания историков марксистов; другие античные мыслители остановили внимание на несколько минут. Как же быть с этими философами древности? Можно было или дать историю только новой философии, или привлечь „историч. материалиста", хотя и не материалиста „вообще". Составители пошли по второму пути и поместили ряд отрывков из „Философии живого опыта" А. Богданова.

Поэтому-то мы и читаем уже про Фалеса, с которого начинается всякая „порядочная" история философии, что его теория „очень родственна материализму и основана на своеобразной всеобщей подстановке". Еще через несколько строк читатель снова узнает из марксистской истории философии, что Фалес применял метод материалистической подстановки. Правда, составители „во-время" отрезали у Богданова фрагмент, так что отсекли его итоговые рассуждения о все той же подстановке милетцев и о том, что (смягчающее вину обстоятельство!) у них материя „не достигла еще той бездушной (?) отвлеченности, той внутренней инертности (?), какая свойственна материи атомистов", но, во-первых, уместен ли такой механический прием для того, чтобы сделать историю философии марксистской, а, во-вторых, зачем же подвергать непрошенной цензуре достаточно ясно выраженные взгляды автора. Идя таким путем, можно было привлечь целый ряд историков философии в качестве сотрудников марксистской истории. Здесь мог бы помочь не один Шлоссер. В отрывке „Демокрит, Анаксагор" читатель из уст того же Богданова узнает, что материализм был долго душою естествознания. Был, но, очевидно, перестал быть? Из песни слова не выкинешь, так же как из Богданова не выкинешь Маха, но включать его из-за этого в марксистскую историю философии все же не следовало бы.

В других местах составители, наоборот, подходят весьма щепетильно к авторам-марксистам. Так, напр., не включив хотя бы отрывка из статьи В. Сережникова о Ламеттри, составители уделяют французскому материализму всего две страницы (отрывок из Г. Плеханова).

Диспропорциональность количества страниц, посвященных тому или иному мыслителю, конечно, в значительной мере не может быть поставлена в вину составителям, но когда Гольбах получает 8 стр., Гельвеций 10 стр., а Руссо 54 стр., мы вправе сказать, что составители должную пропорцию не соблюли.

За всем этим сборник, составленный Б. Столпнером и П. Юшковичем, видимо, на значительное время сохранит ценность систематического собрания отрывков по истории философии, написанных марксистами, и будет служить заместителем истории философии. Не больше.

И. Луппол.

Хрестоматия по французскому материализму XVIII века. Выпуск II, „Учение об обществе". Под ред. проф. И. С. Плотникова. Ленинград. Изд. „Прибой". 1924. Стр. 260.

Ленинградское издательство „Прибой" выпустило вторую часть хрестоматии по французскому материализму. Первая часть была посвящена теоретико-познавательным и натурфилософским основам материализма XVIII века[1]); вторая, рецензируемая,—основам общества и исторического развития.

Как и следовало ожидать, наиболее значительная часть книги отведена извлечениям из „Социальной системы" Гольбаха и из основных работ Гельвеция „Об уме" и „О человеке". Позднейшие французские материалисты представлены Кабанисом, который, кстати сказать, при проводимой структуре всего издания с успехом должен был бы занять место в первой части хрестоматии. Из „исторических материалистов" XVIII века представлены Барнав („Введение во французскую революцию") и Кондорсэ.

Если принять во внимание, что более или менее значительные извлечения из „Социальной системы", „О человеке" и указанной работы Барнава появляются на русском языке впервые, то будет ясна ценность второго выпуска хрестоматии, ибо полного перевода названных произведений мы, вероятно, в ближайшее время не получим

О социальной философии французских материалистов, главным образом, о ее слабых сторонах, в последнее время говорится много, и в этом смысле второй выпуск дает значительно меньше для современности, чем первый. Но при всей рационалистичности, антиисторичности, при всем натурализме учения старых материалистов об обществе их социологическая система обладала стройностью, законченностью и твердостью. В условиях „старого режима" Франции XVIII века она обладала полнотой истины своего времени. И в этом вот смысле второй выпуск хрестоматии, со вниманием составленный, является интереснейшим историко-философским документом и хорошим пособием при изучении материализма эпохи просвещения.

Послесловие И. С. Плотникова помогает малоподготовленному читателю несколько ориентироваться в предлагаемом материале, суммируя вкратце содержание, пути и оценку социальной философии французского материализма. В своей оценке автор отправляется от Г. Плеханова и далее подчеркивает мало еще оцененную фигуру Барнава, как одного из предшественников исторического материализма.

---

[1]) См. наш отзыв на выпуск I „Хрестоматии" в № 8—9 „Под Знам. Маркс." за 1923 г.

Мы бы сказали, что в данном случае к ... еще глубже и что редактору необходимо было обратить внима... Марата, который не только в своих выступлениях во время р... ...ю и в пи ьменных работах до н е с о уже подчеркивал роль и знач... ...вой борьбы. Кстати сказать, раскопки по этой линии предков мар... ...о производятся.

Вообще насколько И. С. Плотников ... с I „расширял“ круг материалистов, вводя Вольтера, д'Аламбера ... дильяка, настолько он теперь сузил число авторов, которые бы мог... ...ть место в выпуске II; многие из мыслителей Франции XVIII века ...дили до материалиств... ...ческого конца в своих натурфилософских во... ...но многие весьма сближались с материалистами в воззрениях со... ...ософских.

Сводить весь французский материали... ...и, Гольбаху, Гельвецию и Дидро (мыслителя, наиболее сближающи... ...х построениях) не совсем правильно. В том-то и дело, в это-то и ..., что материалистическая концепция была ...ствием всей эпохи ... ...ла тех авторов, которые не стояли в прямой и непосредстве... ...язи с основным ядром энциклопедистов. Поэтому для I выпуска, ка... ...мечали в свое время, необходимо было привлечь Р о б и н э и даже ...э. В отношении выпуска II это прежде всего касается В о л ь н е... ...оторого можно найти в художественной форме диалогов подчерки... ...лассовых противоречий (Les Ruines) и чрезвычайно глубокую для ... времени теорию естественного происхождения и филиации религиозны... ...дей.

Далее у Дидро в его Mèlanges philosophiques etc. встречается небольшой отрывок касательно обоснования общества, совершенно рвущий с традиционной со времени Гоббса теорией общественного договора и заменяющий ее принципом борьбы человека с природой.

Проблема добра и зла, проблема нравственности были „боевыми“ философскими вопросами XVIII века, и потому хотелось бы видеть в хрестоматии решение этого вопроса не только Гельвецием, но и оригинальным, стоящим особняком, Робинэ. Если мы не найдем у него по этому вопросу современной нам материалистической точки зрения, то, ведь, и материализм других, как известно, в этом пункте нужно понимать относительно. Наконец, аббат Рейналь также имел бы право претендовать на включение нескольких отрывков из „Истории Индии“.

Второй выпуск заключается примечаниями и богатой библиографией. Примечания типичны для небольшого энциклопедического словаря и не могут дать многого читателю; к тому же они не всегда верны. Объявить, напр., Мопертю и „эклектическим спиритуалистом“ значит потерять всякую историческую перспективу и даже извратить факты. Мопертюи первый, кто попытался материализовать лейбницевы монады; его молекулы не метафизические точки, какими были монады, а прежде всего — „точки“ физические. То, что Дюкло „враждебно относится ко в с е м передовым течениям своего времени“, также не верно. Каковы бы ни были его чисто-политические убеждения, но Дюкло был добрым деистом; уже будучи при смерти, он выгнал из комнаты священника, пришедшего вырвать у Дюкло раскаяние в „заблуждениях“.

Зато чрезвычайно ценной и насущной следует признать попытку Колубовского дать библиографию французского материализма. К ней придется обращаться всякому, кто займется изучением интереснейшей полосы в развитии человеческой мысли, XVIII веком.

Конечно, пропуски есть, но они неизбежны в такой работе. Укажем несколько.—К отделу I, „Французские материалисты в России“: M. Fourneux, Diderot et Catherine II; Шугуров, Дидро и Екатерина II в сборнике „Осмнадцатый век“; статьи Рамбо в Revue des deux Mondes; „Всеобщая нравственность, основанная на религии“—искаженный русский перевод Гольбаховой „Morale universelle“ И. Полозова, 1831. В „Общих работах по французскому: материализму“ не указана новейшая работа (сама по себе мало ценная)

Oskar Ewald, Die französische Aufklärungsphilosphie, 1921 (2-е изд. 1924). Далее не указаны две первых работы Гольбаха о французском театре и три последних статьи о Гольбахе в новейших французских журналах.

Есть пропуски и в отношении Дидро.

Тем не менее за работой, проделанной И. Я. Колумбовским, следует признать определенную заслугу и большую ценность; хрестоматия же в целом, несомненно, является интересной и полезной книгой, а для многих и нужным пособием.

И. Л—л.

Луппол И. К.—Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения. Труды Института Красной Профессуры; секция философии под общей редакцией А. М. Деборина. Изд. „Новая Москва". М. 1924 г., стр. 326. Тираж 3.000 экз.

„Век дивный, мощный, деятельный XVIII век" французов был источником, питавшим мысль XIX века. Но и XX век, несмотря на всю разницу, лежащую между ним и его предшественником, имеет не мало оснований для того, чтобы не пройти мимо этого любопытного времени. И это вовсе не потому, что „осьмнадцатое столетие", как и всякое прошлое столетие, способно пробудить к себе интерес гробокопателя; отнюдь нет,—причиной, которая заставит людей XX-го столетия все вновь и вновь оглядываться на „дивный, мощный, деятельный XVIII век" явится совсем не широкое распространение этого гробокопательского зуда в их среде, а нечто совершенно иное: XVIII век заполнен Великой Революцией буржуазии, и в этом кроется причина нашего интереса к нему. XX век открывается и будет заполнен тоже Великой Революцией, правда уже не буржуазии, а пролетариата. Но это последнее обстоятельство не исключит необходимости для деятелей этой революции обратиться к опыту аналогичного исторического прошлого. И каждый отдельный момент этого исторического прошлого может представлять для нас свой своеобразный интерес. Ведь революция не только „вихрь, сметающий все на своем пути", как надписью на своем фронтоне вещает одно из зданий революционной Москвы (Московской Думы), своим развороченным снарядами Октября углом в течение 3-х—4-х лет вдалбливавшей в головы мимо ходящих россиян бухаринскую истину об „издержках революции". Нам не след забывать, что периоду действия вихря предшествует период образования его. Это сохраняет полную силу в отношении и к вихрям революции: забыть, что революция длительный процесс, имеющий свои фазы, это значит—обречь себя на чересчур уж наглядное, черепашьим шагом идущее, и дорого стоящее обучение истинам революции. Вот почему обращение не только к периоду действия вихря XVIII века, но и к периоду образования этого вихря обязательно для нас. Одним из существенных моментов этого периода является философия французских материалистов.

Эту необходимость для нашей революции изучения французского материализма понимали и попытки в этом направлении делали такие люди, как покойный Плеханов. Но деятелям из плехановского поколения не суждено было выполнить эту задачу в целом—ее выполнение ложится на плечи поколения нашего. Симптомом того, что это последнее о задаче изучения философии революции французской буржуазии не забыто, и является выше названная книга т. Луппола.

Это—хорошая монография о Дидро. Ценность ее тем значительнее, что она пытается дать того Дидро, которого обычно в книгах, ему посвященных, отыскать невозможно—она пытается представить читателю Дидро-материалиста.

План и содержание работы определились точкой зрения автора на характер деятельности Дидро и задачей, которую автор себе ставит в своей

книге. В Дидро он видит „прежде всего философа", и в зависимости от этого его книга сложилась, как „система отдельных очерков", посвященных той или иной проблеме. Задачей же, которую автор себе поставил и которая сводится к тому, чтобы „не просто изложить Дидро, но и истолковать его, поставить его в связь с эпохой, с предшествовавшими мыслителями и с воззрениями современного диалектического материализма" (Ею определилось содержание этих очерков).

Чтобы „поставить его (Дидро.—*А. Тр.*) в связь с эпохой" и подготовить читателя к пониманию развития мыслителя, автор довольно подробно останавливается на его жизни, при чем верный свое системе „очерков", он и здесь предпочитает останавливаться на отдельных эпизодах, наиболее ярко рисующих личность Дидро. В качестве таковых им взяты „годы литературных и житейских исканий" (I глава), работа над Энциклопедией (предмет II главы), взаимоотношения к Руссо (III глава) и поездка в Россию (содержание главы IV). Эти главы, не претендуя на „новое слово в биографии Дидро", дают хороший образ этого оригинального представителя поднявшегося на ноги третьего сословия, при чем нельзя не отметить, что содержательности рассказа соответствует стройность и изящество его формы. Затем, показав, как Дидро шел от теизма к атеизму (V глава), автор переходит к трактовке философских проблем, занимавших интересующего его мыслителя. Таких проблем он намечает четыре: „проблема познания" (VI глава), „философия природы" (VII и VIII главы), „обоснование этики и политики" (IX глава) и „критика искусства" (X глава). Среди этих особо отметить приходится главу, касающуюся вопросов теории познания и философии природы. Для громадного большинства авторов Дидро-философ оставался в тени, если не в полной неизвестности, а вместе с том и его гносеологические взгляды оставались под спудом; что же касается до натурфилософских воззрений, то они, если и пристегивались к общему материализму, то все-таки получали совершенно неудовлетворительное разрешение, так как обычно излагались людьми, не понимающими материализма.

Как мне представляется, Луппол, независимо оттого, насколько это ему удалось, первый ставит эти темы и, с моей точки зрения, дает в общем правильное освещение их. Как эти главы, так и все остальные, характеризуют определенное толкование, которое дается автором передаваемому читателю материалу: толкование марксистское. Конечно, оно может быть поставлено в вину автору теми, кто предпочитает материалистическому толкованию иное—всякому свое, но нужно только помнить, что среди недостатков материалистического толкования есть один—соответствие с фактами.

В заключение не могу не пожелать широкого распространения этой книге, очевидно являющейся первой ласточкой работ школы, имя руководителя которой служит достаточной рекомендацией ее.

А. Т-ий.

Лев Мечников. Цивилизация и великие исторические реки. Изд. „Голос Труда". Москва 1924 г. 247 стр.

Издательство „Голос Труда" выпустило первый избавленный от цензурных пропусков и исправленный русский перевод книги Л. Мечникова о географической теории прогресса и социального развития, как это значится в ее подзаголовке. К книге даны предисловия Э. Реклю и Н. Лебедева.

Рекомендовать книгу Мечникова и указывать на ее положительные стороны после известных статей Г. В. Плеханова нет нужды. Но так как Плехановские статьи под рукой у читателя не всегда могут оказаться, нам представляется необходимым здесь обратить внимание на те спорные и просто неверные места в общей концепции Мечникова, которых у него, к сожале-

нию, очевидно под влиянием анархического мировоззрения, довольно много. Мы заранее оговариваемся, что не ставим при этом себе целью исчерпать и все то отдельные замечания или положения в книге Мечникова, с которыми не может согласиться марксист.

Книга Мечникова, разбирающая проблемы прогресса человеческих рас и влияния географической среды на человеческое общество, должна была служить лишь как бы введением в его труд о „Цели жизни", в котором Мечников надеялся рассмотреть будущее человеческого рода под углом своей анархической точки зрения.

Исходным пунктом исследования Мечникова является противопоставление этнологической и географической теорий исторического развития. Первая выдвигала в качестве основной движущей силы истории расовые различия людей, вторая—принцип эволюции и приспособления к среде. Давая довольно убедительную критику теории рас, созданной в свое время для обоснования господства белых капиталистов над цветными колониальными рабами, Мечников развивает свою географическую теорию социального развития.

Историческое развитие протекает строго закономерно три фазиса: периоды речных, морских и океанических цивилизаций. Основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки. Река является как бы выражением живого единства всей совокупности физико-географических условий данной местности. Великие исторические государства создавались на берегах Нила, Тигра и Ефрата, Ганга, Инда, Хуан-хе и Янцзе-Кианга. Таким образом по Мечникову оказывается, что географическая среда есть как бы основной принцип, объясняющий собою историческое развитие. Однако сам Мечников во многих местах признает, что это не совсем так. Власть географической среды и требования, ею предъявляемые к человеческому обществу, изменяются вместе с развитием техники общественного труда. Милет не погиб бы от наносного ила Меандра, если бы его жители могли прорывать каналы подобно римлянам, спасавшим таким путом от такого же бодствия свой древний порт Остию. В отношении Месопотамии, упадок которой был якобы следствием высыхания почвы, Мечников сам говорит, что, „несомненно, что часть ухудшения плодородия почвы следует приписать неблагоприятным социальным условиям и самому человеку, эту причину нельзя считать причиной упадка цивилизации, так как она сама есть продукт этого упадка" (119). Таким образом на самом деле географическая среда, остающаяся относительно неизменной на протяжении исторического развития, влияет на него лишь постольку, поскольку изменяется отношение самого общества к окружающей его среде. Формы этого влияния целиком зависят от уровня, достигнутого общественной техникой. То же самые океаны, которые некогда были величайшими препятствиями для роста общественных связей, сейчас стали их лучшими проводниками. Реки, некогда игравшие столь большую роль в человеческой истории, отходят на задний план, либо используются как источники энергии, в то время как на первый план выступает значение местонахождений металлов и минерального топлива. Таким образом не сама по себе естественная среда, а вызываемая в борьбе с ней общественная, искусственная среда, неустанно развивающаяся и пламенем общественного труда, захватывающая все новые и новые пространства, оказывается подлинным базисом человеческой истории. Мы здесь имеем как бы два полюса—общество и природу, единство которых составляет общественная техника, в своем развитии одинаково преобразовывающая и то, и другое. Труд и техника являются той силой, которая создает человека и дает ему возможность одному во-всем животном мире приспособляться ко всякой среде, приспособляя ее к себе посредством орудия труда.

Эта проблема роли орудия труда, в которую много раз упирается Мечников, так и остается не выясненной до конца в его исследовании. Отсюда

же (из-за отсутствия отчетливой теории классов) вытекают и все те ошибки, которые он делает в своей „теории прогресса“.

Для Мочникова критерий прогресса есть рост кооперации и солидарности людей, ведущий к росту свободы. На этом фундаменте строятся все его рассуждения, которые мы могли бы назвать морализующим методом в истории. Рост общественных связей провозглашается ростом солидарности и обществе и в ней отыскивается основа для требований социального равенства и свободы. Таким образом, с одной стороны, совершенно игнорируется действительное историческое развитие, в котором рост кооперации может являться для досоциалистического общества лишь обратной стороной медали роста общественного антагонизма, классовой борьбы, и с другой—не замечается того, что сама кооперация между людьми обусловливается более глубокими изменениями в процессе общественного производства. И если искать какого-либо критерия прогресса, то его можно найти лишь в материально-учитываемом росте производительных сил. Однако и в данном случае необходимо заметить, что всякая **предвзятая** теория прогресса есть пережиток религиозной веры в провидение. История развивается не по предрешенному заранее ей свыше пути прогресса. Она испытывает и одинаковой море и периоды подъема, и периоды упадка. Но единственным объективным свидетельством о том или другом может быть рост производительной силы общественного труда. Когда, возражая против этой точки зрения, Мечников говорит, что „какое дело страдающей и мыслящей личности до того, красив ли памятник, воздвигнутый на ее могиле, или хорошо ли орудие, которым ее убивают“—то это лишь отзвук субъективной социологии народников, о которой нет здесь смысла говорить. Замечание же, что, „кроме того, технический прогресс происходит толчками, скачками и, следовательно (!??), не может служить для нас верным критерием общего прогресса“—лишь свидетельствует о том, что он никогда ничего не слышал о диалектике.

Мы проходим мимо создаваемой им при этом схемы деления истории на 3 периода—подневольных объединений, подчиненных группировок и союзов, свободных объединений. Достаточно сказать, что во втором из них объединяются феодализм и капитализм, а третий начинается с 1789 г. под лозунгами свободы, равенства и братства. Как известно, Маркс дал остающуюся до сих пор непревзойденной периодизацию истории по типам способов производства—азиатского, античного, феодального и капиталистического.

Во всяком случае (особенно, если бы она была снабжена соответствующим комментарием) книга интересная и не мало дающая для марксиста.

Н. К.

Анри Бергсон. Длительность и одновременность (по поводу теории Эйнштейна. 1923 г.

Идея длительности занимает центральное положение в философской системе Бергсона. Для него, конечно, как для идеалистического философа сознание вообще определяет бытие, и в частности психическое переживание длення определяет объективное время, являющееся формой бытия вещей. До появления новейших физических теорий не было очевидного расхождения между классической механикой и идеей Бергсона. Идея Бергсона требует единства времени, как переживаемой длительности, и классическая механика требует единства математического времени.

Но вот, появилась теория Лоренца-Фицджеральда. Единство математического времени в ней сохранено, так как точка зрения наблюдателя, покоящегося по отношению к эфиру, остается привилегированной; но единства психического времени более нет: все переживания наблюдателей, движущихся через эфир, замедляются в зависимости от скорости. Почувствовав

здесь опасность, Бергсон пытается спасти свою идею тем, что переходит всецело на точку зрения специальной теории Эйнштейна. Все дело происходит так, говорит Бергсон, как если бы всякий наблюдатель был привилегированным наблюдателем, связанным с неподвижным эфиром. Все наблюдатели во всех системах переживают свое психическое время совершенно одинаковым образом. Время же одной системы, оцениваемое наблюдателем из другой системы, не переживается никем из наблюдателей и потому не представляет ничего реального. Отсюда Бергсон делает вывод, что не в классической механике, а именно в системе Эйнштейна надо искать реального единства времени.

Однако легко убедиться, что весь этот труд перехода на новую точку зрения проделан Бергсоном совершенно напрасно: его идея несовместима также и с теорией Эйнштейна. Упраздняя единое математическое время, Эйнштейн тем самым упраздняет и единство психической длительности. Эйнштейн мог бы возразить Бергсону, что длительности, психически переживаемые как тождественные, могут, тем не менее, занимать различные отрезки математического времени. Впрочем, это обстоятельство сейчас же обнаруживается, как только Бергсон переходит к рассмотрению конкретных примеров. Представим себе „путешественника, заключенного в снаряде, пущенном с земли со скоростью, равной приблизительно одной двадцатитысячной части скорости света; представьте, что он достигает какой-нибудь звезды, откуда его пускают обратно на землю с той же скоростью. Сам состарившись на два года, он найдет при выходе из своего снаряда, что наша планета сделалась старше на целых двести лет“ (стр. 66). Таков вывод общей теории относительности. „Верно ли это?“—спрашивает Бергсон и рассматривает вопрос с своей точки зрения: при этом он приходит к заключению, что наблюдатель и ядре состарится также на двести лет. Для нас не важно сейчас, кто из них прав в этом вопросе, не важно также, каким образом Эйнштейн выходит здесь из затруднения. Здесь важно лишь отметить, что выводы Эйнштейна и выводы Бергсона несовместимы между собою. Бергсон, однако, вовсе не замечает этой несовместимости и продолжает развивать свою тему, как ни в чем не бывало. Кроме чисто-философских доводов, Бергсон приводит аргументы из области физики. Эти аргументы Бергсона считались бы очень слабыми, если бы они были высказаны физиком; но они не сделались сильнее от того, что изложены многоречивым философом. Таким образом книга Бергсона не делает никакого вклада в теорию относительности. У читателя создается впечатление, что какая бы физическая теория ни победила в результате борьбы, идеалистическая идея Бергсона все равно должна потерпеть крушение.

Необходимо также отметить растянутость изложения и утомительные повторения.

И. Орлов.

Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange dargestellt v. Fr. Dannemann. Zweite Auflage. Vrlg v. Engelmann Leipzig. 4 Bde.

Сколько-нибудь удовлетворительной истории естествознания мы до сих не имеем. Такие труды, как Уевель „История индуктивных наук“, Дрепер „История умственного развития Европы“ и пр., в данный момент совершенно устарели. На рынке можно иногда натолкнуться на дореволюционные издания „Mathesis“, но все эти Кэджори, Ладенбурги и Кларки берут лишь одну какую-нибудь науку—математику, химию, астрономию,—не выясняя развития ее в связи с другими отраслями знания. „История естествознания“ Даннемана (изд. Mathesis, 1913 г.), также встречающаяся на рынке, неудовлетворительна тем, что слишком коротка, слишком элементарна.

Между том, многочисленные „кризисы" и „перевороты" в естественных науках за последнее время настоятельно требуют — и не только от специалиста — знакомства с ходом развития естественно-научного мышления. И, наоборот, те действительно громадные достижения, которые мы имеем в современной электронной теории, в переходе биологии в биохимию и т. д.,—все они нуждаются для своего понимания в фактических данных из прежних эпох.

Но значение систематической истории естествознания не ограничивается этим. Не говоря уж о том, что новый студент нуждается в сведениях по истории науки, марксист, занимается ли он историей философии или исследует систему отдельного философа, ни в коем случае не может пройти мимо естественно-научных данных интересующего его времени. Притом данных в их полном объеме, в их связи друг с другом. Все это несомненно. Но нам кажется, что значение подобной истории интересно и важно для марксиста (как для общественника) и по другим соображениям. Дело в том, что, как известно, наука вместе с философией и религией включается в состав надстройки, и развитие ее зависит от развития социально-экономического базиса. При этом можно было бы показать, что подобное развитие стоит в более непосредственной, и более близкой зависимости от производительных сил, чем развитие философии и религии. Нам представляется, что по указанной причине произвести подобный анализ связи науки о природе с материальными факторами общественной жизни легче, чем связи других надстроек. Но эта задача ждет еще своего исследователя-марксиста. Излишне подчеркивать что, при всем этом, изучение истории естествознания укрепляет материализм и изгоняет идеализм. Нужно только отметить, что в борьбе с последним придется в ближайшее время столкнуться, скорее всего, именно в естественных науках: марксизм в обществоведении отвоевал настолько прочные позиции, что наступления на него отсюда ожидать трудно.

„Die Naturwissenschaften" Даннеманна, в их втором, весьма расширенном, издании, способны оказать во всех этих отношениях большую услугу. Они дают значительный и доступный для не-специалиста материал.

Даннеманн, конечно, не марксист. В области философии он, скорее всего, кантианец, хотя и не говорит этого открыто. Так, в первой главе 2 тома (Altertum und Neuzeit, S. 10) после выяснения значения физических инструментов для познания природы, мы читаем: „...с XVII-го века вследствие изобретения новых средств исследования было достигнуто значительное углубление и расширение картины мира", от чего он неожиданно и в противоречие с прежде сказанным заключает: „конечно, инструменты не в состоянии стащить с вещей их последний покров. Требовать от них этого,—показывает плохое знание задач естествознания. Всякое исследование есть дело человека и тем самым связано телесными и духовными границами человеческого познания. Инструменты доводят лишь до этой границы, и настоящее исследование постоянно сознает ее". Такое кантианизирование науки не должно отпугивать нас от Даннеманна, и именно потому, что он, как историк, не может не встать стихийно на диалектическую почву. В предисловии к I тому (S. VI) он сам оценивает историческое исследование с той точки зрения, что „оно охраняет от догматической односторонности, если наука представлена как нечто, находящееся в становлении (etwas Werdendes) и, вследствие этого, несовершенное". „Вещь в себе" этим уничтожается.

Но есть и другая, не менее, если не более важная причина, почему он не может нас отпугать: такие „философические" экскурсы у Даннеманна редки. Он, как это часто встречается среди буржуазных ученых, кантианец лишь в первых главах, и в предисловиях, а не там, где дело идет о фактическом изложении.—Все это мы отмечаем потому, что возможный (и необходимый) перевод его книг должен будет в примечаниях разъяснить всю

нелепость и ненаучность подобных умствований, тем более, что они резко противоречат всему остальному содержанию.

У книг Даннемана есть и другие недостатки. Так, напр., он (во втором томе) слишком националистичен, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, чтобы засечь „Deutschland, Deutschland über Alles". Он, далее, не прочь поговорить на счет „духа" и духовной жизни, приписывая последней идеалистический характер. В специально-научной области он, наконец, грешит излишней доверчивостью к математическому познанию. Но все это, повторяем, только ремарки, отступления, украшения слога, а фактически вовсе не лейтмотив всего сочинения. К тому же все они находятся в резком противоречии с изложением. Убедиться в этом можно хотя бы на таком примере. В главе „Возникновение (Beginn) идеалистического мировоззрения" (он говорит о Греции; т. I, S. 76 flg.) говорится о препятствиях, ставившихся древней философией науке, тогда как мы ожидали бы, напротив, восхваления идеализма. Мы намеренно долго остановились на них, чтобы тем резче оттенить значительные плюсы изложения автора.

Уже одно то, что естественные науки представлены „in ihrer Entwicklung und in ihrem Zuzammenhange", составляет значительную заслугу и большое достижение научной мысли (марксисту это кажется, конечно, само собой разумеющимся, но подобной истории нет, и это—факт). При этом важно отметить, что обзору каждой отдельной эпохи Даннеман предпосылает очерк общей истории культуры, включая в нее не только достижения мысли, но и достижения техники (там, где это не совпадает с развитием естествознания, как у греков).

Общественные пертурбации также интересуют его. Этим самым история науки превращается в часть истории культуры, что нельзя не приветствовать, несмотря на всю недоговоренность Даннеманна. Со стороны содержания разбираемые книги характеризуются прежде всего тем, что читатель найдет в них очень богатый материал, проработанный автором по источникам, а также большое количество ссылок на различные исследования (некоторые из них произведены в самое последнее время). Это обилие ссылок само по себе делает книги очень важными для справок того, кто желает глубже проникнуть в интересующую его проблему.

В первом томе мы имеем краткий очерк возникновения естествознания у египтян, вавилонян, халдеев и китайцев. Здесь же дан превосходный очерк аристотелевской „физики". Из остальных отделов особенно необходимо отметить главы, посвященные мало известным у нас научным эпохам: александрийскому времени (гл. 4), арабам, давшим обильный материал для ученых феодализма (гл. 8), и средневековью, обычно считаемому периодом полного застоя науки (гл. 9). Среди остального наибольшее внимание обращают на себя страницы, посвященные Леонардо да-Винчи (382—392), хотя нельзя сказать, чтобы и изложение гелиоцентризма Коперника страдало какими-нибудь недостатками.

Несколько труднее характеризовать второй том, так как здесь Даннеман касается той интересной эпохи, когда при посредство все совершенствующихся инструментов и аппаратов естествоиспытатели достигли „Epochemachenden" знаний. Здесь что ни имя, то теория или данные, имеющие значение и посейчас. Таков Галилей со своей механикой и солнечными пятнами, Кеплер с законом равенства площадей, Ньютон и Гюйгенс и десятки других. Все их открытия и изобретения инструментов описаны достаточно полно для того, чтобы читатель был вполне в курсе естественно-научных данных того времени. Но особого внимания заслуживают небольшие, правда, главы, посвященные обычно игнорируемым в истории естествознания ботанике и зоологии (гл. 10 и 17), минералогии и геологии (гл. 14 и 20), а также зародышу биологии (гл. 16).

Материал, как легко видеть из этого по необходимости беглого перечисления, богатый. Притом все это снабжено, как уже упоминалось, ссылками на источники. Почти везде, по крайней мере у важнейших, приведены выдержки из главнейших сочинений, из переписки etc. Поэтому можно думать, что „Die Naturwissenschaften" Даннеманна окажут помощь не только впервые знакомящемуся с историей естествознания, но и специалисту.

Положительных сторон у сочинения Даннеманна значительно больше, чем отрицательных. Последние при том таковы, что легко могут быть исправлены марксистом, поэтому, а также потому, что Даннеманн восполняет зияющий пробел в нашей литературе, „Die Naturwissenschaften" должны быть переведены на русский язык и тем сделаны доступными широкому читателю. Таким путем один из участков идеологического фронта будет защищен.

Конст. Милонов.

А. Залкинд. Очерки культуры революционного времени. М. 1924. Стр. 196.

Элементарное положение исторического материализма, как известно, гласит: не сознание людей определяет их бытие, а общественное бытие людей определяет их сознание. Положение как-будто общеизвестное, но приходится с грустью констатировать, что для некоторых марксистов оно не совсем понятно и подвергается ими самому беспощадному искажению. Основная задача марксизма заключается в объяснении исторических фактов экономической структурой, т.-е. данной совокупностью производственных отношений. Любая разновидность идеологии разоблачается в свете этой совокупности, и диалектическая теория истории, рассматривая общество, как производственную организацию, ищет в этих отношениях, как они выступают в данной их исторической определенности, ключ к раскрытию всего надстроечного разнообразия. Вторжение биологизма в сферу общественных явлений вызывало в свое время возмущенное порицание Маркса, который изобличал метафизическую отвлеченность такого претенциозного биологизма. Но что то этого т. Залкинду, который предпочитает объяснять революцию не с точки зрения исторического материализма, а с точки зрения психо-неврологии? Порицая взгляд старой психо-неврологии, по которому всякая революция „представляет собой явление социально-болезненное, возникающее из коллективных нервно-психических потрясений", Залкинд выдвигает свой „марксистский" взгляд на революцию, по которому „истинная революция" (не бунт) возникает в результате ожесточенной борьбы нарастающих здоровых общественных сил с отжившими внешними формами, мешающими их развитию". Исторически побежденной оказывается та общественная группа, которая, „благодаря развитию производительных сил, теряет свое производительное значение, становится все менее нужной для общества, а потому нервно-психически вырождается и заболевает при этом, благодаря своему господствующему положению, явлениями паразитизма и всеми его многообразными последствиями". Победитель же—новый класс, „накопивший под прессом старого строя огромную потенциальную нервно психическую энергию, напряженно искавшую должного выхода и бурно прорвавшуюся в революционном процессе". „В результате победы здорового нервно-психического общественного начала над больным нервно-психические жертвы революции окупаются во сто крат ее созидательными результатами" (Оч., стр. 65). Это есть психо-неврологический взгляд на революцию. По своей оригинальности он мог бы с достоинством состязаться на фронте всевозможных мистических, патологических и т. п. взглядов на революцию. Но его претензии на ортодоксально-марксистскую точку зрения могут быть оправданы, пожалуй, только... с психопатологической точки зрения. Социальная

революция, согласно Марксу, наступает тогда, когда производственные отношения из формы развития производительных сил превращаются в их оковы. Революция является следствием обостренного конфликта между производительными силами и производственными отношениями, которые преломляются и выражаются в борьбе классов. Социальный процесс движется по законам, которые не только не зависят от психологических и идеологических факторов, но, наоборот, определяют данную историческую физиономию последних. Когда же речь идет о таком исторически решающем факторе, как революция, психо-неврологическая интерпретация такого факта может быть квалифицирована только, как патологический марксизм. По подобный марксизм не есть уже диалектическое понимание общественных явлений, а патологическая идеология. Только в свете такого марксизма становится понятной та задача, которую Залкинд ставит „современной психо неврологией в отношении к протекающей революции": „изучение вполне новых, невиданных еще в истории нервно-психических законов нового общественного бытия" (Оч., стр. 66). Мы видели, что для Залкинда революция—это „прорвавшаяся в революционном процессе огромная потенциальная нервно-психическая энергия". Т. Залкинд полагает, что это верно. А, между тем, Ленин, давая диалектическое толкование революции, указывает, как на один из ее необходимых признаков, „на обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов". Такое обострение „выше обычного, нужды и бедствия угнетенных классов", совершенно как-будто, не идентично порывающейся к разряжению огромной потенциальной нервно-психической энергии, и побуждает, согласно Ленину, революционный класс к самостоятельному историческому выступлению. Нервнопсихические же законы общественного бытия есть не что иное, как физиологический идеализм. Ибо если под общественным бытием необходимо понимать производственную структуру данного общества, то законами общественного бытия являются не законы нервно-психические, а экономические законы данной производственной структуры. Но как настоящий „идол пещеры", рассматривающий все под углом своей узкой специальности, Залкинд и поворотные моменты человеческой истории не может понимать иначе, как под углом органической болезни или органического здоровья, что наглядно проступает в его толковании великой французской революции, как „массовой лечебной меры", которая была „полезнее для здоровья человечества, чем миллионы бань, водопроводов и тысячи новых химических средств" (Оч., стр. 29). В полном контакте с подобным психо-неврологическим пониманием революции находится также его понимание самого исторического материализма, т. е. объективной теории социальных революций (Лабриола). „Материалистическая социология,—говорит Залкинд,—опирается на биологические факторы (борьба за жизнь) и связывает личную и общественную борьбу человеческих организмов в единое целое" (Оч., стр. 29). Теперь ясно! Кто понимает материалистическую социологию как учение о борьбе человеческих организмов за жизнь, тот органически способен договориться до всего, вплоть до патологического марксизма.

В свете последнего получает у т. Залкинда соответствующее решение и проблема гигиены Р.К.П. Проблема значительная. Но какова теоретическая ценность ее решения нашим психологом? Залкинд и здесь выступает в роли морализующего биолога. Рассматривая социальное бытие под углом эмоциональности, Залкинд квалифицирует различные оттенки дезорганизующей эмоциональности, подкапывающей организм Р.К.П. Если исключить кадр подпольных работников, психологически достаточно гибкий и эластичный, чтобы не поддаваться ей, то объем последней оказывается довольно широким. Эмоциональность, напряженная в период революционных боев, но не находящая в период строительства применения, прорывает себе ходы и выходы в „внестроительских и противо-строительских" направлениях. Отсюда

ее дезорганизующий характер, олицетворенный в некоторых группах, уклоняющихся от пути здорового социального строительства. Согласно схеме Залкинда, выходит, что, как только прошел период напряженной борьбы, когда эмоциональная энергия могла выливаться в социально-естественных действиях, и настал период нормального строительства, эмоциональная энергия, переставшая находить положительное применение, стала устремляться по неестественным и болезненным путям. Подобное положение, однако, отличается некоторой стремительностью. После периода битв, благоприятствовавшего положительному отливу эмоциональной энергии, но уступившего место периоду мирного строительства, эмоциональная энергия Р.К.П. не только оказалась перед тупиком, но, напротив, обнаружила громадный творческий размах. Болезненные элементы Р.К.П. находят именно в задачах строительства своего испытующего врага и в процессе партийного самоконтроля выбрасываются, разумеется, но благодаря их эмоционально-биологическому уклону, а социально-идеологической неустойчивости. Партия именно в период строительства показала образчик организационной мощи, нераздельно связанной со здоровой и целесообразной циркуляцией энергии в партийном организме и ее рациональным распределением в полном соответствии с идеологически-революционной перспективой Р.К.П.

По отношению к биологизму Залкинда можно применить слова, которые Энгельс применял к миролюбивым буржуазным социалистам: „Они признают лишь психологическое развитие, развитие абстрактного человека, стоящего вне всякой связи с прошлым, тогда как на этом прошлом покоится весь мир и отдельный человек вместе с ним. Поэтому они слишком учены, слишком метафизичны и достигают незначительных практических результатов". Это—субъективно эмоциональный подход к вещам, который исчерпывается этической и биологической фразеологией, но ровно ничего не объясняет в причинности познаваемого содержания. Метод Залкинда есть не метод объяснения, а метод осуждения, без предварительного уяснения социальных причин того содержания, которое он догматически осуждает.

Марксизм родился на поле битвы, и на этом поле выяснилось, что определяющим фактором в общественной жизни является не эмоция, а действие, направленное на производство средств существования. Нет необходимости отрицать значение за сексуальным моментом, но для гигиены Р.К.П. он представляет наименьшую угрозу. Он постольку правомерно выдвигается Фрейдом, поскольку его теория психоанализа имеет дело с явлениями травматической истерии, психологической расщепленности, словом, с явлениями психологической дезорганизованности. Но Р.К.П. не есть историко-травматический феномен и менее всего нуждается в целях своей социальной идеологической гигиены в морально-биологических поучениях. Марксизм приветствует всякую творческую попытку в любой научной сфере, если она отвечает материалистическому, следовательно, научному миропониманию. Подобной попыткой в области психо-физиологии является, например, теория Павлова, теория условных рефлексов. Павлов материалистически прав, когда беспощадно отбрасывает строительство догадок о внутренних состояниях животного по аналогии с субъективными состояниями. Павлов, как материалистический исследователь в области психо-физиологии, стремится при изучении высших отделов центральной нервной системы точно сопоставлять изменения во внешнем мире с соответствующими изменениями в животном организме и устанавливать законы этих отношений. Подобно тому, как марксизм стремится объективно понимать законы исторического процесса, определяющие идеальное бытие субъекта во всей его сложности и изменчивости, подобно этому и Павлов, как физиолог, стремится естественно-научно установить законы высшей нервной деятельности. Два основных механизма высшей нервной деятельности — механизм временной связи и механизм анализаторов — охватывают высшую нервную

деятельность, давая материалистическое решение основной психологической проблемы отношения между мозгом и сознанием. Исследуя условный рефлекс, т.-е. тот отдел высшей нервной деятельности, при посредстве которого явления внешнего мира то отражаются в деятельности организма, то остаются для него индифферентными, Павлов ни на минуту не подчиняется психологическому субъективизму, являющемуся отрицанием всякой закономерности в области высшей нервной деятельности. Павлов старается в природе условного рефлекса охватить научно наиболее ценный элемент, а именно: строгий детерминизм в образовании условного рефлекса и непреклонную объективную закономерность в его проявлениях. „Если бы в слово „рефлекс" кроме понятия реакции на раздражение, происходящей при посредстве нервной системы, вкладывать еще понятие строгой закономерности этой реакции, то нужно только принять,—естествоиспытатель это должен принять,—что происшедшая, образовавшаяся перед ним связь агента с определенной физиологической деятельностью, есть не случайное явление, а строго закономерное, чтобы признать, что слово рефлекс в данном случае вполне уместно" (25-летний опыт, стр. 162). Мерилом рефлекса для Павлова является объективная закономерность, и уместность рефлекса определяется уместностью этой закономерности. Можно сказать, что Павлов дал материалистическое и тем самым научное объяснение высшей нервной деятельности. Осуждение и порицание без сопутствующего им анализа общественных причин явления характеризуют субъективный и морализующий подход к вещам, который отбросил еще Спиноза. Буржуазия моралистика и психология обыкновенно говорила о низшем классе, его пороках, склонности к пьянству, вообще о его вульгарной природе. Маркс, который видел моральное состояние пролетариата, видел и „оскотинивающее действие подневольного труда". Энгельс говорил о половой распущенности, грубости, пьянстве, распространенных среди английских рабочих. При этом Энгельс не приходил в моральное негодование, не ухищрялся в биологической фразеологии, различении пьяниц и сексуалистов, а говорил, что такое состояние моральной деградации, коренясь в условиях, создаваемых капиталистической эксплоатацией, толкает пролетариат к борьбе с буржуазией, к борьбе, не знающей перемирия и долженствующей кончится победой пролетариата над буржуазией. Относительно же выдвигаемого т. Залкиндом указания на необходимость сублимировать сексуальную энергию в сторону более ценного социального эффекта, нужно заметить, что РКП. стоит перед решением таких общественных задач, разрешение которых само обусловливает целесообразное и общественно-полезное направление этой энергии.

Таким образом книга т. Залкинда нуждается в коренной переработке, ортодоксальный марксист не может с ней согласиться особенно потому, что она касается области, в которой марксизм в наши дни, преодолевая сопротивления старой идеалистической психологии делает свои первые шаги и когда особенно важно предупреждать болезнь в зародыше.

— **И. Вайнштейн.**

Бэр. История социализма в Англии. ГИЗ. 1923, Т. I и II. Стр. 742.

Объемистая (свыше 700 страниц) книга Бэра является единственной, имеющейся на русском языке более или менее солидной работой по истории английского социализма; по этой причине она представляет собой довольно ценный вклад в литературу, посвященную этому вопросу. К сожалению, названная книга имеет чрезвычайно крупные недостатки. Все они могут быть сведены к трем основным.

Первое:— автор совершенно условно и весьма схематично делит все социалистические учения на две группы—социализм „естественно правовой“ (утопический) и „эволюционный“, или „научный“.

Такое деление решительно ничем не оправдываемо. Прежде всего, естественно-правовые воззрения далеко не являются единственным идейным фундаментом утопическо-социалистических учений, а затем научный социализм только в воображении Бэра базируется на эволюционном представлении о развитии общества; на самом деле он смотрит на это развитие как на процесс диалектический.

Уже взгляд Бэра на научный, т. е. марксистский, социализм, как на эволюционное учение, внушает некоторые подозрения относительно революционной ортодоксальности Бэра. И, действительно, Бэр, проделавший, как об этом рассказывает в своем прекрасном предисловии тов. Ротштейн, большую эволюцию в своих воззрениях, в момент написания им „Истории социализма в Англии“—был реформистом. Этот реформизм нашего автора и является вторым важным недостатком вышедшей из под его пера книги.

Третьим изъяном книги, правда, вытекающим как следствие из двух только что рассмотренных недостатков, является необычайная бедность книги выводами и оценками, очень частое отсутствие в ней подлинно-марксистского анализа.

Этими тремя недостатками объясняются все частные упущения, промахи и неправильности, имеющиеся в „Истории социализма в Англии“.

Возьмем хотя бы оценку меркантилистической политики. „Меркантилизм,— пишет Бэр,—оказался выражением узкого своекорыстного национализма, полным ограничений и ограниченности, которые сковывали по рукам и ногам производство...“ (стр. 19). Говорить так о меркантилизме, значит совершенно не понимать диалектики исторического процесса, в ходе которого меркантилизм, подготовив возможность возникновения (в Англии) промышленного капитализма и перехода к свободе торговли, сам изжил себя и только тогда стал стеснять производство.

Положив в основу определения утопического социализма „естественное право“, Бэр получил возможность свалить в одну кучу и действительно социалистических мыслителей и представителей буржуазного либерализма, ничего общего с социализмом не имеющих (Бентам). Между прочим, к недостаткам этого естественно-правового или утопического социализма Бэр в соответствии со своими реформистскими воззрениями относит и учение о революционном захвате власти; он уверен, что этому захвату „эволюционный“ или научный социализм не придает особого значения (стр. 309—310).

Реформистские и эволюционные воззрения Бэра проявляются во всей красе во втором томе его работ. Большая часть этого тома (250 страниц из 420-ти) посвящена чартизму. И надо сказать, что наш автор совсем не понял этого движения и не оценил его по заслугам.

Прежде всего, хронологически история чартизма начинается им с 1825 года, что, конечно, совершенно неправильно. Ведь, характерным для чартизма является то, что он был движением самостоятельным, пролетарским, а рабочее движение конца 20-х и начала 30-х годов происходило под руководством буржуазии.

В соответствии со своими реформистскими и эволюционными взглядами Бэр весьма сочувственно относится к партии „моральной силы“. Он очень высоко оценивает ее вождя Ловетта и, напротив, очень суров к чартистам революционного крыла и совсем несправедлив к их вождю—О'Коннору. Оценивая последнего, Бэр договаривается до удивительных вещей: „Его умственная культура,—пишет Бэр,—была поразительно мала, а познания в области государственных наук не настолько обширны и глубоки, чтобы отделить его от масс“ (стр. 389). По Бэру выходит, что только невежественный вождь может быть близок массам. В действительности, конечно, не неве-

жественность О'Коннора привлекала к нему массы, и его пламенная революционность и умение тактически оценивать положение.

Вражда О'Коннора к лондонцам, представителям мелко-буржуазного течения в чартизме, сводится Бэром к личным мотивам, справедливости О'Коннора, его честолюбию и т. д. Между тем, в основе этой вражды лежали причины чисто-классовые. Ведь, сам Бэр приводит слова О'Коннора, относящиеся к различным писаниям Ловетта и Гетерингтона, тех, кого Бэр называет „интеллигентными рабочими" и кто на самом деле были представителями мелко-буржуазной рабочей аристократии: „пусть только рабочие, я разумею рабочих с небритыми лицами, мозолистыми руками и плисовыми куртками,—пусть только они прочитают документ лондонцев, и мыльный пузырь лопнул" (стр. 93). Как мы видим, О'Коннор здесь отчетливо противопоставляет лондонской рабочей аристократии подлинно-пролетарские революционные массы промышленных округов Северной Англии.

Бэр считает представителя „интеллигентных рабочих" Ловетта предшественником научного социализма, ибо Ловетт высказывался против насилия, т.-е. стоял за эволюцию (стр. 393). Между тем, как действительные предшественники Марксова учения о классовой борьбе—О'Брайен и Гарней совершенно недооценены нашим автором.

Совершенно неправильно и опять таки исходя из любезных ему „естественно правовых" представлений, Бэр рассматривает взгляды О'Коннора, как взгляды социалистические (стр. 389). Кроме того, он не дает социального анализа этих взглядов, равно как и взглядов других представителей чартизма Стефенса, Атвуда и т. д.

Бэр не оценивает должным образом попытки буржуазии захватить и использовать в своих интересах (по примеру начала 30-х годов) рабочее движение, вышедшее на самостоятельную дорогу. А, ведь, как раз такой характер носила попытка втягивания рабочих в борьбу против хлебных законов и происки радикала Стерджа. Нет у Бэра также и оценки тех ликвидаторских настроений, которые охватили умеренных чартистов после неудач, закончивших первый период движения. Не понимает Бэр и того, что второй период этого движения характеризуется отходом от него мелко-буржуазных и интеллигентных попутчиков. Бэр горько жалуется на бедность чартистского движения после 1839 года „толковыми головами" (стр. 480).

Правильно рассматривая чартизм, как движение социальное, Бэр не связывает его хода с экономическими явлениями (кризисами) и не оценивает его значения, как первого самостоятельного пролетарского движения, ставящего себе революционные задачи. Неясным остается вопрос о причинах, приведших это движение после 1848 года к полному умиранию. Здесь Бэр ссылается на „психику рабочих", ставшую „иной", на утрату ими „веры в себя" и т. д. (стр. 556—557).

Рассмотрению судеб английского социализма в эпоху с 1848 года до 80-х годов Бэр отводит всего 20 страниц. Правда, в эту эпоху английские рабочие шли на поводу у буржуазных политиков. Правда, социалистические задачи в это время ими почти не ставились к осуществлению, но с другой стороны—именно в эту эпоху Англия была центром деятельности Первого Интернационала. Между тем, о влиянии этой организации на английских рабочих у Бэра почти ничего не сказано, что, конечно, является весьма досадным упущением.

Если Бэр сумел проявить свои реформистские симпатии при рассмотрении чартизма, то еще больше проявились они в отделе его книги, посвященном последним десятилетиям „Истории английского социализма".

Как делаемые в свое время Стерджем и др. представителями буржуазного радикализма попытки, направленные к введению в известное русло самостоятельного рабочего движения, не оценены достаточно отчетливо Бэром, также точно не оценена им и аналогичная деятельность фабианцев,

деятельность, начавшая развиваться в 80-х годах, т.-е. как раз в эпоху пробуждения у английских рабочих интереса к социализму.

Что касается социалистических организаций, возникающих в эту эпоху, то, конечно, ультра-умеренная Независимая Рабочая Партия пользуется полным сочувствием нашего историка. Он наивно думает, что эта партия действительно осуществляла самостоятельную рабочую политику (стр. 625). С восторгом Бэр повествует о том, что „ораторы Независимой Рабочей Партии избегали говорить о революции и классовой борьбе, апеллировали к чувствам тред-юнионов, которые в существенных чертах были... религиозно-нравственными, первобытно-христианскими (!) и демократическими"... Видимо, Бэр полагает, что такое подыгрывание под „первобытно христианские" чувства рабочей аристократии, заправляющей тред-юнионами и является самостоятельной рабочей политикой.

Когда заправилы Независимой Рабочей Партии увидали, что демократически и христиански-настроенные реакционеры из тред-юнионов продолжали, несмотря на все их старания, оставаться враждебными даже к такой малосамостоятельной рабочей политике (сам Бэр говорит: „старые вожди тред-юнионов заняли враждебную по отношению к новой партии позицию", стр. 627), тогда было решено состряпать партию из самих тред-юнионов. При чем, чтобы не дразнить контр-революционных тред-юнионистских гусей, было решено пожертвовать и термином „Независимая". Новая Рабочая Партия ставила своей целью завоевание парламентских мест, введя в этом альфу и омегу своего существования. Жалкие остатки социалистических и самостоятельно-рабочих позиций были сданы, при создании этой партии, вождям тред-юнионов. Но Бэр не понимает и не хочет понять этого, он ликует по поводу того, что „социалисты, как Кейр-Гарди и Курран и тред-юнионские вожди, как Гендерсон и Шекольтон искренне и радостно смотрели друг на друга, как на товарищей" (стр. 638). Между тем, всего 12-ю страницами выше сам Бэр рассказывал нам, как даже Бернштейн был принужден при создании Независимой Рабочей Партии выступить против одного из этих вождей (стр. 626).

Бэр не видит того, что под видом всех этих Гендерсонов, Шекельтонов и т. д. в парламент при помощи Рабочей Партии проникали те же буржуазные либералы, только „в новой коже", при чем „сердце" у них оставалось то же. Что эта Рабочая Партия не имела ничего общего с истинно-социалистической партией, видно из того протеста, который заявлял товарищ Ленин против вступления ее во Второй Интернационал (конечно, об этом факте мы у Бэра не найдем ни малейшего упоминания). Насколько же она была робка в своих выступлениях против господствующих классов, видно из ее поведения в деле Озборна. При чем, даже в благодарность за поддержку, оказанную Рабочей Партией либералам, она получила только компромиссное решение этого дела. Конечно, правильной оценки всех этих явлений мы у Бэра не найдем, напротив—эта часть его истории заканчивается блестящим панегириком Рабочей Партии. По мнению Бэра, в „Великобритании нет другой партии, другого направления, другого движения, которое было бы достаточно сильно, и в такой же мере обладало бы твердой волей сломить империалистическую реакцию, установить демократию и социализм, свободу и равенство, как это можно утверждать относительно британской Рабочей Партии" (стр. 671).

Последняя часть книги Бэра представляет собою обзор современного британского социализма. Эта часть работы Бэра уже имеется изданной в виде отдельной брошюры под заглавием „Современный английский социализм", с ценными примечаниями тов. Ярецкого. Поэтому следует рекомендовать ознакомление с новейшей историей английского социализма именно по этой брошюре. Хотя указанная часть „Истории социализма в Англии" написана совсем недавно, однако ее автор все еще не расстался со своими реформист-

скими воззрениями. Так, он за чистую монету принимает разглагольствования Ллойд-Джорджа, вроде следующих: „Здравый смысл велит либералам и рабочим итти вместе до самого крайнего пункта... Нам нужно содействие рабочих, чтобы дать направление политике либерализма и сообщить его атаке смелость и энергию...“ (стр. 678—679). Бэр полагает, что долгом вождей либералов являлось „расширить и углубить свое политическое credo, восприняв в свою программу те социалистические реформы, которые они считали практически-осуществимыми“ (стр. 679). Либералы же на самом деле, конечно, менее всего считали своим долгом проведение социалистических реформ, в лучшем случае, они согласны были осуществить, в качестве подачки рабочим кое-какие реформы, вроде введения пенсий и т. д.

Мы не найдем у Бэра оценки предательского поведения вождей, сорвавших грандиозное выступление английских рабочих в 1919 году. Напротив, он в восторге от деятельности Комиссии Санки, и результаты ее работы считает за победу рабочих. В действительности же, в результате совместной деятельности в этой комиссии рабочих вождей и мелко-буржуазных соглашателей, массы были гнуснейшим образом одурачены и остались не при чем, а момент революционного подъема позорно упущен.

Как и все предыдущее изложение, и эта часть книги чрезвычайно бедна анализом. Так, например, мы тщетно будем искать у Бэра указаний на тот социальный базис, на котором возникло такое интересное направление в английском социализме, как гильдейский социализм. Бэр почему-то думает, что гильдейцы являются последовательными марксистами (стр. 697), что не мешает ему, впрочем, через 4 страницы излагать взгляды гильдейцев на государство, взгляды, от которых и не пахнет марксизмом (стр. 701).

Бэр не пытается дать критическую оценку меморандума Независимой Рабочей Партии, меморандума, изданного в момент величайшего напряжения классовой борьбы (1919 г.) и заключавшего в себе, между прочим, и соображения относительно упадка парламентской системы. Причины этого упадка меморандум видел не в отживании в условиях империалистического государства этой системы, а в „недостатке образованности масс и неудовлетворительной постановки социалистической пропаганды“ (стр. 720).

Заканчивается книга следующим панегириком-вророчеством, относящимся к Рабочей Партии: „Будущее германского народа зависит отчасти от развития британской Рабочей Партии. Только когда эта партия достигнет власти, империалистическое версальское произведение будет подвергнуто честному демократическому пересмотру“ (стр. 730). История горько посмеялась над новоявленным пророком; первая половина его пророчества исполнилась, Рабочая Партия стоит у власти, но с „честным демократическим пересмотром“ дела обстоят весьма и весьма неважно.

Таковы многочисленные изъяны рассмотренной нами книги. Несмотря на указание всех этих недостатков, мы остаемся при высказанном в первых строках нашей рецензии мнении относительно значительной ценности этой книги. Ее ценность заключается, конечно, не в реформистских разглагольствованиях автора, а в громадном, трудолюбиво собранном им материале, материале таком, который очень часто помимо книги Бэра нигде невозможно найти.

Как мы уже упоминали, работа Бэра снабжена прекрасным предисловием тов. Ротштейна, значительно обезвреживающим реформистский яд, заключающийся в этой книге.

С. Моносов.

П. В. Слоссон. Чартистское движение и причина его упадка. Пер. Ландау. Изд. т-ва „Мир“. М. 1923 г. Стр. 168.

При бедности нашей литературы, посвященной чартизму, нужно, с одной стороны, приветствовать появление новых работ, посвященных этому движению, с другой стороны—нужно очень внимательно оценивать каждую такую работу...

Недавно вышедшая работа Слоссона с первого взгляда кажется весьма приемлемой. Правда, во введении, в котором говорится о литературе предмета, из русских работ упомянуты только работы Кричевского и ничего не говорится относительно работ Ротштейна и Туган-Барановского, хотя и та и другая имеются на немецком языке и, следовательно, были доступны автору.

В дальнейшем же Слоссон рассматривает чартистское движение, как движение классовое, пролетарское (выяснению этого вопроса посвящена первая глава книги), главнейшую причину упадка движения к концу 40-х и началу 50-х годов он видит в изменении в сторону улучшения положения английских рабочих и т. д. Кроме того, Слоссон согласен с тем, что чисто политическая программа чартистов своими корнями имела невероятно тяжелое положение трудящихся масс. В параллель с знаменитым заявлением Стефенса—„чартизм—это вопрос ножа и вилки“, он приводит фразу из одного тогдашнего памфлета, обращенную к членам кабинета министров: „Кормите чартистов... или предоставьте им самим кормиться, давая им работу, и тогда нам нет надобности бояться их“ (стр. 112). Что касается вопроса о колебаниях высоты волны чартистского движения и его окончательном упадке, Слоссон приводит целую таблицу, из которой видно, что каждое понижение волны революционного подъема совпадало с улучшением в положении английских рабочих, а каждый новый подъем этой волны совпадал с ухудшением их положения. Годы возникновения чартизма и его значительного подъема приходятся на пятилетие, в которое держалась очень низкая заработная плата, годы же с 1843 по 1845, отмеченные бездеятельностью чартистов, являются эпохой высокой заработной платы, а в 1847 году, когда заработная плата понижается до небывало-низкого уровня,—чартизм вновь переживает величайший подъем и, наконец, с очень значительным повышением заработной платы в конце 40-х и в начале 50-х годов совпадает момент полного замирания чартистского движения. В общем, первоначально от книжки Слоссона, как уже говорилось, получается впечатление—как от книжки вполне приемлемой, но в дальнейшем, при более внимательном чтении ее, это впечатление меняется. Прежде всего у автора отсутствует социальный анализ чартистских группировок. Совершенно неясно, на чем базировалось признание одними чартистами только „моральной силы“, другими—„физической“. Что представляли собою Джонс и Гарней, и особенности последний, чьи интересы защищал знаменитый пламенный агитатор-священник Стефенс,—все это остается непонятным читателю. А между тем, все разногласия между отдельными группами чартистов могут быть поняты только из рассмотрения социального базиса этих группировок.

Так, глава „партии моральной силы“ Лавотт являлся представителем зажиточных лондонских ремесленников и близких к ним по своему положению и интересам высоко квалифицированных рабочих. Вся деятельность Лаветта была глубоко соглашательской и в значительной степени имела своей целью сдерживать рабочее движение в определенном русле. Ничего этого мы не найдем у Слоссона,—напротив, у него мы можем найти необычайно высокую оценку Лаветта, которому наш автор, видимо, весьма сочувствует, по его мнению, Лаветт—„самый разумный из чартистских лидеров“.

Гарней же и в особенности Джонс, являвшиеся выразителями подлинно пролетарских взглядов и убеждений, изображаются Слоссоном, как сварливые, неуступчивые и непримиримые люди, впрочем, о первом, Гарнее, говорится весьма немного. Слоссон никак не может понять всей справедливости Джонсовского отрицательного отношения к кооперативам, отвлекающим рабочих

от революционной борьбы и создающим в их среде привилегированные группы; он не дает надлежащей оценки весьма правильному взгляду Джонса на попытку восстановления мелкокрестьянской собственности, попытку, сделанную О'Коннором. „Нет ничего более реакционного,—писал Джонс,—как система мелкой земельной собственности". Что касается самого плана О'Коннора, то Слоссон, взамен анализа причин, по которым такой план мог возникнуть и пользоваться огромным сочувствием известных слоев населения—дает анализ причин неудачи, постигшей О'Коннора, хотя вся фантастичность его плана ясна с первого взгляда. Нельзя не указать также на отсутствие анализа неправильной тактики Конвента 1848 года, не последовавшего за Рейнальдсом, вносившим действительно революционные предложения. Неправилен взгляд Слоссона на разногласия между лондонскими, шотландскими и манчестерскими чартистами, как на разногласия, имеющие свои корни в чисто местных интересах—эти разногласия объясняются тем, что Лондон был оплотом умеренных—мелко-буржуазных—чартистов, как и Бирмингам, а Манчестер и Шотландия представляли собою их левое, пролетарское крыло.

Очень добродушно и мягко относится Слоссон к попытке буржуазных радикалов со Стерджем во главе, попытке, направленной к овладению чартистским пролетарским движением и направлению его в более мирное русло. Именно такой смысл имели стремления „ассоциации полного избирательного права", недаром им сочувствовал Лаветт, а О'Коннор своим революционным чутьем сразу понял истинный смысл этих происков. Аналогичная роль христианских социалистов, начало деятельности которых совпало с последними годами чартизма—тоже недостаточно ярко выявлена Слоссоном. Между тем, от самого же Слоссона мы узнаем, что Джонс очень хорошо понял всю реакционную сущность этого движения и вел с его вождями ожесточенную полемику. Никак нельзя согласиться со взглядом Слоссона на тред-юнионы так называемого „нового образца", как на наследие чартизма. Напротив, „новый образец" был возрождением, до известной степени, старых ремесленных союзов с их узко-практическими целями. Как бы опровергая сам себя, Слоссон приводит слова Джонса, очень правильно оценившего всю предательскую роль тред-юнионов: „они заставили рабочих защищать и поддерживать ее (настоящую систему хозяйства), внушая им веру в то, что их заработная плата может поддерживаться на значительной высоте без всякой политической перемены" (137 стр.). Очень мало внимания Слоссон уделяет зачаткам международного движения, имеющего свои корни в чартизме.

Таковы бросающиеся в глаза недостатки этой книги; конечно, наравне с ними в книге можно найти и много интересного и верного, но было бы необходимо—все указанные неточности, неправильности и промахи оговорить в предисловии, какового вовсе нет, и каковое, конечно, должно быть, и притом не только у данной, но и у всякой немарксистской или невполне марксистской книги.

С. Моносов.

Н. Лукин (Н. Антонов). Новейшая история Западной Европы. Учебник для ВУЗ'ов и губсовпартшкол. Выпуск 1. Издательство „Красная Новь". 1923 г. 539 стр. + 4 карты.

Книга Лукина обнимает период с конца XVIII века до революции 1848 года.

Автор рассматривает три страны, игравшие наиболее важную роль в политической и экономической жизни Европы в то время: Англию, Францию и Германию. Больше всего места уделено Франции—около 300 стр., Англии—160 и около 70 стр.—Германии. То обстоятельство, что Франции уделено столько места, отчасти объясняется тем, что здесь рассматривается Великая

Французская революция и ей отдано около 200 стр., но все же непропорциональность в расположении материала по отдельным странам составляет один из недостатков работы.

По истории Франции подробно рассмотрены — Великая Французская революция, эпоха консульства и империи, Реставрация и июльская монархия. Отсюда мы видим, что изложение доводится до революции 1848 г.

Историю Германии автор начинает несколько позже—с начала XIX столетия, но доводит ее так же, как и Францию, до революции 1848 года.

Несколько иначе подходит он к Англии. Начинает он изложение, как и Франции, с конца XVIII века. Разбирает здесь эпоху промышленного переворота, затем общественные отношения и политическую борьбу в конце XVIII и начале XIX века и, наконец, заканчивает чартизмом, захватывая последний период чартистского движения, и доводит этим самым историю Англии уже не до 1848 г., а заканчивает 1848 годом. Это повлияло на изложение чартистского движения, так как нельзя по настоящему понять крушение чартизма и его последний период без анализа 1848 года в Европе вообще и июньских дней 1848 года во Франции в частности.

Работа т. Лукина представляет большой интерес. Было бы неправильно, если б мы к ней подошли только как к учебнику. Именно как учебник, она имеет целый ряд недостатков, сразу бросающихся в глаза, как, например, размер ее, но эта книга тем и хороша, что отличается от старых учебников. Характерной особенностью учебника обычно являлась его трафаретность, шаблонность. Часто трудно было узнать мнение автора на тот или иной вопрос. Поэтому такие книги приходилось вызубривать, и это отучало от самостоятельного мышления. Книга Н. Лукина тем выгодно и отличается от обычных типов учебников, что в ней кроме марксистской трактовки вопросов чувствуется не простая компиляция, а действительное изложение взглядов автора. Вот почему некоторые главы, выйдя не как часть большой книги, а самостоятельно, представляли бы большой интерес. Такова, например, глава 4-ая— Великая Французская революция. Эта глава представляет одну из лучших общих работ о В. Ф. Р., имеющихся на русском языке. Сильной стороной этой работы является и то, что она не является односторонним учебником политической истории. В ней сочетаются социально-экономическая история с политической и с историей мировоззрений, так что мы имеем возможность получить представление об эпохе целиком. Разбирая В. Ф. Р., мы имеем у него и экономику накануне революции и во время ее, точно также анализ борьбы классов до революции и во время ее, политическую историю революции и к тому же еще идеологию подымающейся буржуазии накануне революции. Он разбирает франц. просветителей, также останавливается на Руссо, которого он называет „сторонником демократии мелких собственников". Здесь же мы находим у него анализ зачатков социалист. идей в лице Морелли и Мельє. Так же рассматривает он и бабувизм (учение Бабефа). По этому же методу подходит он к изучению революций 1830—1848 годов. Сначала мы имеем специальную главу (VII), посвященную „успехам капитализма в главнейших странах Западной Европы". Затем уже следуют политическая и социальная история этого периода, и тут же мы находим анализ господствующих теорий того времени—с одной стороны, Сен-Симона, Фурье, Оуэна, затем Бланки и тайные общества 40-х годов, с другой стороны, идеологию реакции и либеральной буржуазии. Этот синтез всех главных сторон жизни в книге Лукина составляет одну из самых ценных сторон ее и является указанием для составления учебника по истории. Но все же в этом отношении нужно указать, что в распределении материала существует большая диспропорциональность — политическая и социальная история вместе с историей мировоззрений занимают слишком много места в изложении по сравнению с экономической историей, вот почему и получается, что „успехи капитализма в главнейших странах Зап. Европы в первой половине XIX века" изложены на 15 страни-

цах, а реставрация и июльская монархия в одной только Франции занимает 77 страниц. В результате об успехах капитализма мы имеем лишь общие положения да пару примеров роста производства хлебов и угля, а между тем, эта эпоха особенно интересна в экономической истории Франции, так как здесь нужно искать и начало финансового могущества Франции.

Нужно еще указать на одну положительную сторону работы. Тов. Лукин не рассматривает изолированно одну страну от другой, стремится найти черты сходства и различия. Поэтому, рассматривая В. Ф. Р., он ставит вопрос, почему во Франции произошла революция, а в Англии таковой не произошло. Постановка таких вопросов очень интересна и полезна, но, по нашему мнению, слабой стороной вопроса является тут сравнение Франции с Англией в конце XVIII века. Автор нам доказывает, что в конце XVIII века в Англии не было условий, которые революционизировали бы буржуазию и толкали бы ее на решительную борьбу с королевской властью и крупным землевладением.

Но об этом никто спорить не будет. Это очевидно. Ту революцию, которую Франция проделала в XVIII веке, Англия успела проделать за 100 лет раньше, в 1688 году, но было бы очень интересно, раз уже автор ставит проблему различия тактики английской и французской буржуазий, сравнить их в периоды аналогичного развития. Почему во Франции произошла революция в 1830 г., а в Англии дело окончилось лишь только борьбой за реформу избирательного права и реформой 1832 г. Если бы автор разобрал этот вопрос, мы действительно могли бы судить о чертах сходства и различия в тактике той и другой буржуазии. Очень удачна также попытка т. Лукина дать библиографические сведения при разборе каждой главы. Это безусловно облегчает усвоение и критическую проверку изучаемого материала, но все же недостаточно перечислить имеющиеся на русском или иностранных языках самые важные работы, а было бы очень полезно хотя бы и какими-нибудь условными знаками указать, какие из них своеобразно толкуют вопрос, какие просто могут дать добавочный фактический материал, ибо нельзя, ведь, предполагать, что учащийся может прочесть всю указанную литературу.

Теперь несколько остановимся на построении учебника. Прежде всего обратимся к исходному пункту построения всей книги. Автор начинает новейшую историю с промышленного переворота во всей Европе. Сначала мы читаем главу о промышленном перевороте в Англии, затем Франции и Германии, после этого мы переходим к Вел. Франц. революции, о промышленности накануне революции и т. д. В головах слушателей безусловно может получаться каша, ибо у них это может преломиться таким образом, что сначала произошел промышленный переворот во Франции, а потом уж Великая Франц. революция. Если же автор хотел сопоставить характер промышленного переворота в Англии с таковым же в других странах, то он мог бы начать изложение с Вел. Франц. революции Далее, на наш взгляд, кажется чрезвычайно странной глава V: „Эпоха консульства и империи". Тут, конечно, встает вопрос о том, что мы должны считать концом (если вообще можно говорить о конце) Вел. Франц. революции. С нашей точки зрения эпоха Наполеона именно и завершает революцию, ибо это есть период революционного выступления буржуазии против феодальной Европы. Но если даже автор не разделяет нашей точки зрения, это ему все же не дает основания выделять эпоху консульства и империи, как самостоятельную главу. На ряду с такими главами, которые определяют политическую и экономическую жизнь в течение полустолетий, как-то: 1) общественные отношения и политическая борьба в Англии в конце XVIII и начале XIX веков, 2) успехи капитализма в главнейших странах Европы, 3) Германия в первой половине XIX века и 4) Великая Французская революция, — существует с ними наравне, как самостоятельная глава, „эпоха консульства и империи". Это раздувает значение этой эпохи и создает неправильное представление об определяющих моментах французской истории.

Если подходить к данной книге только как к учебнику, то прежде всего бросается в глаза ее растянутость. Ведь, если с конца XVIII века до 1848 года мы имеем 539 страниц, сколько же должно быть, если начать с революции 1848 года и окончить до войны 1914 г.? Особенно трудно будет губсовпартшкольцу пользоваться ею, как учебником, но книга написана хорошим языком, понятным и для губсовпартшкольца, и потому она может и будет служить очень ценным пособием при составлении реферата. Если учащийся сумеет хотя бы не все вопросы, а часть их пройти по этой книге, это тоже будет для него хорошей школой, которая научит его правильной постановке вопроса.

Книга эта должна быть рекомендована не только вузовцам и слушателям совпартшкол, но также и нашим середнякам партийцам. Поэтому с интересом будем ждать следующих выпусков, ибо если по изложенному периоду и есть отдельные марксистские работы, то по последующему их почти нет, и следующие выпуски будут первой и очень важной попыткой.

Х. Лурье.

Эдуард Бернштейн. В годы моего изгнания. Гиз Украины. 179 стр.

Мы все, конечно, и раньше знали, что Бернштейн попутчик, и не только в области теории, но и в партийной практике.

Всем, конечно, известно, что в конце (отчасти и середине) XIX в. к с.-д. примкнули известные единицы (иногда и группочки) из буржуазной (Кунов и т. д.) и даже дворянской (Лили Браун и т. д.) среды.

Вся эта публика ни в малейшей степени не была ассимилирована духовной атмосферой партии. Лучший пример—мемуары Лили Браун.

Если она была близка к рабочему движению, то только в области теории. И даже лучшие из них до войны (Кунов и т. д.), формально и принадлежа к с.-д., по существу жили и варились в иной духовной атмосфере, чем даже середняцкая масса партии. Воспоминания Бернштейна убийственны для него, как партийца, видного члена некогда революционной с.-д. партии.

В мемуарах мы видим мелко-буржуазного интеллигента, мирного, спокойного.

Судя по книге, даже трудно понять, что же собственно связывало Бернштейна с с.-д. партией? Описываемый Бернштейном период на $^3/_4$ охватывает знаменитый закон против социалистов.

При некоторой натяжке, эта эпоха напоминает последние 10—15 лет царского режима.

Но разве можно сравнивать отражение с.-д. работы этих обеих эпох в описании какого-нибудь большевика, эмигранта, интеллигента, с мемуарами Бернштейна.

Вы не чувствуете духа этой эпохи, в книге нет отпечатка его основных элементов: энтузиазма и железного закала, свежей бодрости и непоколебимого упорства, беззаветной веры и горячей ненависти.

Что-то бесхребетное: „ни рыба, ни мясо".

Английские фабианцы, семейные трагедии, итальянские обычаи и энгельсовские вечеринки его интересуют больше, он описывает их с большей охотой, да и с большим умением, чем мелкую, кропотливую работу рабочих с.-д., чем героическую борьбу с бисмарковской жандармерией.

Если он и касается последнего момента, то вам сразу бросается в глаза психология наблюдателя.

Он сочувствует, жалеет, но это сочувствие и жалость стороннего, этически-настроенного человека, которому всякое насилие нетерпимо, кажется ненужным, антиморальным. Но Бернштейн не только не дает (что,

может быть, не его вина, а беда) картины партийной жизни, но замалчивает наиболее важные и поучительные моменты.

Я имею в виду знаменитое выступление „трехзвездия" и беспощадную критику его, данную Марксом-Энгельсом.

Через какой-либо год после объявления исключит. закона, в одном из с.-д. журналов появилась статья, подписанная тремя звездочками, которая как бы предвосходила воззрения наших крайних ликвидаторов.

Статья взваливала вину за исключит. закон на непримиримость партии, предлагала уничтожить всякую нелегальную работу, вычеркнуть название рабочая партия и т. д., и т. д.

В числе этой тройки был Бернштейн. Вторым был Гехберг, патрон Бернштейна, типичный буржуа. Убийственную характеристику (бессознательно) ему, как с.-д., дает сам Бернштейн:

„Каким образом он, старший сын очень зажиточного франкфуртского купца, выросший среди буржуазного комфорта и располагавший средствами, позволявшими ему устроить свою жизнь вполне согласно с его требованиями— как он в течение нескольких месяцев мирился с такой обстановкой (среднебуржуазной. *Н. Л.*), это может понять только тот, кто знает редкий характер и жизнь этого своеобразного человека". Правда, этого человека „с редким характером" „никакие убеждения не могли заставить (это вгод величайшего разгрома партии. *Н. Л.*) отказаться от своего лечения" (43 стр.).

И вот Бернштейн, в компании с этим аристократом, делавшим честь рабочему движению своей принадлежностью к с.-д. партии, чистейшим идеалистом и метафизиком (см. 39 стр.), стремившимся разбавить партию катедерсоциалистами и распространявшими издания министр-социалистов, как Шеффле, и журналы, критиковавшие революционную с.-д. (см. 41—42 стр.),—собрались в поход против самой с.-д. партии в период величайшего отступления.

Они встретили бешеный отпор со стороны Маркса-Энгельса. Их критика была так же бичующа, как наша в эпоху 1908—1914 г.г. „Вы (т.-е. Бебель и др.) по-прежнему считаете этих людей партийными товарищами, мы этого сделать не можем... Пока германская с.-д. оставалась верной своему пролетарскому характеру, мы оставляли в стороне все прочие соображения. Но теперь, когда мелко-буржуазные элементы, которых допустили, открыто заявили о себе—дело обстоит иначе. Поскольку им позволено контрабандой проталкивать в орган герм. партии их мелко-буржуазные взгляды, этот орган для нас попросту закрыт",—так писал Энгельс Бебелю.

И этот исторический факт, что в 1879 г. Бернштейн наносил удар нелегальной партии в спину, что он и его друзья „с редким характером" получили решительный отпор со стороны наших великих учителей,—об этом у Бернштейна ни звука. С трудом, только при внимательнейшем чтении можно выкопать у него факты о мнениях и прениях в с.-д., по поводу тактики и т. д.

Но все же их достаточно, чтобы составить себе определенную картину о последовательном ликвидаторстве Бернштейна.

Он приветствует прежде всего ту пассивность, которую проявила партия при роспуске парламента. „Создавшиеся отношения заставляют нас прежде всего занять выжидательное положение". Это настроение выжидать, примиряться остается у него на все последующее десятилетие.

Он немного иронически относится к революционной подвижности Бебеля (который в эти годы, в свою очередь, не всегда был образцом и для нас).

Зато и настроение Берштейна и др. не понравились Бебелю. „Для него они (положения. *Н. Л.*) были слишком умеренными, и, по его мнению, выступи мы с такими предложениями во время революции, мы легко могли бы свести знакомство с фонарем".

Бернштейн снисходительно прощает Бебелю его оптимизм, ибо „это был неправильный расчет, который, однако, придавал этому политику удивительную упругость и энергию, в силу которых он мог оказать тогда партии в Германии неоценимые услуги".

Что правда—то правда. Действительно Бернштейн был уже тогда настолько „реален", что „неправильных расчетов" не делал. Ибо „рожденный ползать летать не может".

Бернштейн не раз высказывает свою ретроспективную ликвидаторскую оценку.

„Язык „Социал-Демократа" иногда бывал очень вольным, хотя он не шел дальше того, что позволяла себе в свое время буржуазная демократия в изгнании". Нечего сказать, вольность, на которую еще покачивает головой с.-д.

Зато статьи Фольмара (который тогда был еще революционным Савлом и не превратился в реформистского Павла), о которых с одобрением отзывался Энгельс, уже совсем не нравятся Бернштейну своей решительностью. Он очень рад, что Бебель сумел убедить Маркса-Энгельса, что Фольмар дальше ушел влево, чем партийные вожди.

А сатирический „Красный Чорт", едко нападавший на верхи имперского правительства (заметьте), он получает у него уж совсем недружелюбную оценку:

„Нельзя оспаривать, что некоторое из выпадов заходили немного слишком далеко".

И это говорит бывший редактор заграничного парт. органа. Мало можно завидовать германской с.-д. той эпохи. Даже мелочи и то только дополняют этот общий фон.

Крайне огорченный тем, что его и других выслали из Швейцарии, Бернштейн утешается тем, что цюрихский начальник полиции выразил им соболезнование. Действительно, картина, достойная кисти художника!

Республиканская полиция высылает с.-д., один из ее чиновников корчит из себя невинность, а с.-д. Бернштейн этим страшно тронут и утешен: лучшей картины и не придумаешь.

Страницы, посвященные английским впечатлениям, менее интересны. Сам мелко-буржуазный интеллигент, Бернштейн, естественно, центр внимания сосредоточивает на фабианцах, этих попов от социализма (или социалистов от церкви, как хотите), оставляя в стороне те гигантские процессы, которые совершались в англ. рабочем движении в 80-е и 90-е годы.

Он защищает фабианцев от вполне справедливой критики Эвелингов, крайне сочувственно относится к той категории английских рабочих (рабочая аристократия), психология которых как нельзя лучше отражена в след. словах одного знакомого рабочего [1]) Бернштейна: „Я неоднократно слушал соц. доклады и не отрицаю, что в социалистических учениях заключается много правильного и хорошего. Но у социалистов имеется много фантазий. Если бы я примкнул к движению, мне пришлось бы проделывать все те глупости, которые они придумают, а к этому у меня нет никакой охоты" (174—175 стр. Курсив мой. *Н. Л.*).

И если исключительный закон отбил заранее у мелко-буржуазного интеллигента Бернштейна всякую охоту к револ. действиям и создал органическую неприязнь ко всяким насилиям, то английские впечатления и были той средой, которая взрастила бернштейнианство—ревизию марксизма.

Таково содержание книги. Для историка рабочего движения большой ценности она не представляет.

---

[1]) Крайне характерно, что этот рабочий имел садик и т. д.

Для понимания психологии и обстановки, создавшей ревизионизм, она кое-что даст. И уж, во всяком случае, наглядно покажет, как объективная оценка Люксембург, Парвуса и др. Бернштейна оправдывается и на Бернштейне, как субъекте.

Н. Ленцнер.

Проф. Б. Д. Бруцкус. Экономия сельского хозяйства. Народно-хозяйственные основы. Петроград. Изд. „Кооперация“. 1924. Стр. VIII+248.

Автор книги проф. Бруцкус уже известен Советской России по своей наглой апологии буржуазного строя в посленэповском „Экономисте“,—поэтому не без некоторого смущения берешься за книгу, на обложке которой значится: „Проф. Б. Д. Бруцкус. Экономия сельского хозяйства. Допущено Государственным Ученым Советом“. Что означают эти последние слова?

По замыслу автора книга должна представлять собою первый том курса по экономии сельского хозяйства, как особой и самостоятельной науки. Практические корни необходимости этой дисциплины кроются в нашей современности. „Ввиду той остроты,—говорит Бруцкус,—которую приобрел в России аграрный вопрос, разработка экономии сельского хозяйства приобретает для русского общества большой практический интерес, ибо не подлежит сомнению, что лишь при надлежащем понимании экономии сельского хозяйства могут быть выработаны и правильные основы аграрной политики“ (курсив автора. *К.*) (стр. 1).

Таким образом „курс“ претендует стать научным основанием аграрной политики, Бруцкус политического самокастрирования в нем произвести не желает, и наша осторожность должна поэтому удвоиться.

Экономия с. х. мыслится автором, как совокупность социально-экономических, агро-технических и политических дисциплин. Прежде всего, „под экономией сельского хозяйства обычно разумеют специальную часть политической экономии, исследующую экономические отношения людей в процессе их сельско-хозяйственной деятельности“ (стр. 1).

„Но настоящий курс имеет в виду также агрономов“ (стр. 2). Отсюда—учение об организации хозяйства, как часть экономии с. х. „В этом отделе экономия сельского хозяйства становится на точку зрения субъекта хозяйства—на частно-хозяйственную точку зрения“ (стр. 3). Наконец, сюда же включается аграрная политика.

Такое совмещение в рамках одной науки совершенно различных по своему характеру отраслей знания обрекает автора на бесконечные блуждания среди трех сосен: социальной, технической и практически-политической. Если плодородие почвы и русская соха стояли в определенном отношении к эволюции крепостного крестьянского хозяйства, то это не обязывает еще меновое крестьянское хозяйство следовать той же закономерности: внедрение обмена не только принципиально изменяет физиономию крестьянского хозяйства, но оно меняет также и тип соотношения его с природно-техническими условиями. Точно так же экономическая политика встает с пролетарской революцией в принципиально-отличные отношения к другим сторонам с. х.: если раньше социальная реформа была условием технической революции с. х, то теперь поднятие техники с. х. является одновременно его значительнейшей социальной эволюцией.

Эти принципиальные отличия областей знания надо всегда иметь в виду при попытке комбинации новых „наук“,—в противном случае получается Бруцкусова каша. Впрочем, у автора этого варева каша все же отличается большой однородностью—она везде равномерно подгорела: момент технический господствует везде,—и в экономике, и в политике, и даже в исторических очерках и ссылках.

„Настоящий том посвящен экономии сельского хозяйства, как специальной части политической экономии. Вопросам аграрной политики и учению о системах и организации сельского хозяйства автор предполагает посвятить два следующих тома“ (стр. 5). Таким образом перед читателем пока предстала социально-экономическая часть ученья. Нет сомнения, что этот теоретический фундамент является самой важной, предрешающей все будущие ошибки и достоинства, частью.

Крестьянское хозяйство, его природа и судьба его всегда были центром внимания аграрных теорий; теперь, в условиях советской современности, мужик уже безраздельно господствует в области „неразгаданных тайн“ аграрной эволюции. Как же разгадан этот простовато-плутоватый сфинкс ученым профессором? В отличие от Чаянова, Челинцева и др., Бруцкус „трезво“ смотрит на вещи: конечно, крестьянское хозяйство в некоторой доле еще останется натурально-потребительской организацией, „но вот крестьянское хозяйство приходит в связь с народным хозяйством. Крестьянин находит выгодным те или другие продукты выносить на рынок и соответственно расширить их производство, а производство тех или других продуктов сократить, ибо их выгоднее приобрести в порядке обмена“ (стр. 192). При этом „проникновение крестьянского хозяйства хрематистическим[1]) духом есть предпредпосылка благоприятного развития народного хозяйства“, ибо — „богатое крестьянство создаст тогда тот рынок, который даст возможность промышленности расшириться настолько, чтобы поглотить избытки сельского населения“ (стр. 198).

Крупное хозяйство, конечно, уже пропитано „хрематистическим духом“, и поэтому анализ современного сельского хозяйства, естественно, должен быть анализом м е н о в о г о сельского хозяйства.

Построение категорий менового хозяйства Бруцкус заимствует из самых „свежих“ источников. Пара цитат характеризуют его здесь достаточно: „Как ни отлична организация менового хозяйства от организации натурального хозяйства, но в преображенном виде в основе его лежат те же принципы“ (стр. 54). „М е н о в а я ц е н н о с т ь х о з я й с т в е н н ы х б л а г о п р е д е л я е т с я и х с п о с о б н о с т ь ю б ы т ь и с п о л ь з о в а н н ы м и д л я о б м е н а н а д р у г и е х о з я й с т в е н н ы е б л а г а“ (стр. 55) (курсив автора. *К.*). „Рыночная цена есть регулирующая субъективных оценок потребителей“. „Одни любят тонкое белье, другие предпочитают более грубое“ (стр. 55). Австрийская психологистика в русском, Тугановском, издании составляет здесь базис Бруцкуса.

В теории распределения он идет за англо-американцами: „мы будем здесь в дальнейшем исходить из т е о р и и п р е д е л ь н о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и“. Сущность этой теории заключается в том, что каждый элемент производства оплачивается в соответствии с тем, что прибавляет народному хозяйству включение в производственную организацию последней, наименее производительной, единицы данного элемента.

Эта „блестящая“ теория приводит Бруцкуса к не менее „блестящей“ теории ренты. „Сельское хозяйство есть, прежде всего, использование сил природы. Таким образом значительную часть дохода приходится отнести за их счет, приходится вменить этим природным силам, и так как они связаны с поверхностью земли, то следует эту часть дохода вменить земле; ее именуют в политической экономии р е н т о й“ (стр. 62). „Таким образом мы... б у д е м р а з у м е т ь п о д р е н т о й ч а с т ь о б щ е г о д о х о д а, к о т о р а я в м е н я е т с я з е м л е з а в ы ч е т о м в с е х т е х э л е м е н т о в е г о, к о т о р ы е м о г у т б ы т ь в ы д е л е н ы и о т н е с е н ы в с ч е т с в я з а н н ы х с з е м л е й к а п и т а л о в“ (стр. 63).

И все. Буквально все, что удосужился сказать ученый профессор

[1]) Хрематистический — предпринимательский.

в своем „курсе“ о теории центральной для сельско-хозяйственной экономики проблемы. Ни экономических источников ренты, ни ее социального смысла, ни разграничения (немаловажного) ренты на дифференциальную и абсолютную. Социальная дегенерация буржуазии сказывается на ее ученых лакеях в виде полнейшей теоретической прострации. От „духа времени“ Бруцкус не отстает!

Зато он призван углубить и расширить действительно „научный“ закон—закон убывающего плодородия—этот якорь спасения, эту тихую пристань, где нашли успокоение на-ряду с откровенными апологетами капитализма также некоторые недоумки ревизионизма.

Обычная трактовка закона известна. В ней Бруцкуса возмущает прежде всего сужение сферы действия этого „всеохватывающего“ закона. Падение плодородия, по Бруцкусу, начинается не с определенной ступени интенсивности хозяйства, а с самого начала сельско-хозяйственной деятельности. Ибо, чем больше человек уходит от непосредственного использования готовых продуктов природы, тем, очевидно, „меньше продукт является результатом свободной, независимой от человеческого труда, комбинацией природных сил, тем более оснований считать его созданным человеческим трудом“ (стр. 45). Закон этот стоит вне рамок истории,—он над-исторический, технический закон. Рост населения на нерастущей площади земель вынуждает интенсификацию сельского хозяйства, т.-е. менее результативные затраты капитала и труда.

В связи с этим взглядом стоит и другое „усовершенствование“ закона: „если рассматриваемый закон является техническим, то он получает свое отчетливое выражение не в ценах, отражающих в себе, кроме (!) свойств продукта, также и общественные отношения. Закон выражает собой отношение количества потребительных ценностей к количеству затраченного труда и других средств производства“ (стр. 44). Поэтому Бруцкус предлагает изменять соответственные количества труда—с одной стороны, и калорий, полученных благодаря его применению—с другой. Сам же закон формулируется им как закон падения производительности труда в сельском хозяйстве.

Сам закон уже давно был подвергнут марксистской критике, начиная с самого Маркса, а „подновление“ Бруцкуса упирает этот закон в тупик уже раньше всякой критики. В самом деле, говорить о большей эффективности труда первобытного „собирателя“ по сравнению с трудом современного американского фермера, говорить о том, что этот „собиратель“ не ввел тракторной системы только из-за ее сравнительной невыгодности—этого много, пожалуй, и для проф. Бруцкуса. Или пресловутые калории: что могут они объяснить в эволюции форм менового хозяйства? Интенсификация хозяйств оправдывает себя не отвлеченно-калорийно, а практически—в ценах на рынке. Путать в одну кучу: капитальные затраты, цены, труд и эволюцию сельского хозяйства можно лишь из желания что-то сделать неясным. Что именно—увидим дальше.

Все дальнейшие рассуждения идут уже безраздельно под знаком этого закона. Старый спор по вопросу о крупном и мелком хозяйстве теперь разрешается очень просто: раз действует закон убывающей производительности труда, то это как раз означает все возрастающую интенсификацию хозяйств; интенсификация в условиях сел. хоз. означает применение большего количества живого труда к одной и той же площади земли. В силу особого характера сельско-хозяйственного производства (здесь Бруцкус целиком повторяет аргументацию Давида), конденсация живого труда возможна лишь в форме частно-семейного мелкого хозяйства. Применение машин в крупных капиталистических хозяйствах (С.-А. С. Ш.) возможно лишь в силу экстенсивного характера земледелия. Будущее за крепким крестьянским хозяйством, капитализм в деревне „технически нерационален“.

Такое народническое заключение на первый взгляд довольно дико звучит в устах Бруцкуса, но отчаиваться не стоит: в Бруцкусе столько же

народничества, сколько и его произведениях верных положений. Под шумок о вымирании капитализма в сельском хозяйстве вместо него он хоронит древнего нашего знакомца—охвостья помещичьего землевладения. Такая до наглости бесцеремонная подмена капиталистического хозяйства просто крупным в 1924 году достойна того уровня теоретической чистоты, до которой довела многих ученых мужей грязная практика строя их хозяев.

Все лицемерие антикапиталистических выходок автора „Экономии сельского хозяйства" обнаруживается еще более откровенно на другом полюсе его рассуждений. Капиталистическое хозяйство гибнет, на смену ему идет крестьянское, частно-семейное.

И здесь начинается туман. Средние цифры, общие выводы—и ни слова о том, что бывают крестьяне и крестьяне. Нет, сами технические условия с. хозяйства за мелкое производство, следовательно—крестьянство (вообще) будет развиваться и цвести. Что же это за крестьянство?—Кулаки. Автор прямо говорит, что строить особых иллюзий относительно потребительских мотивов крестьянского хозяйствования не следует. Крестьянин (идеальный крестьянин Брупкуса) далеко не чужд капиталистической заразы погони за прибылью, он не прочь принанять пару-другую наемных рабочих—все это еще не так плохо—ведь только „богатое крестьянство создаст тогда тот рынок, который..." и пр. (стр. 198).

Крепкий мужик, тот, кто достаточно снабжен землей и капиталом, кто может „снабдиться" наемной рабочей силой и разорить попутно (об этом Бруцкус „забыл" упомянуть) десяток-другой соседей—вот идеальный образ „интенсификатора", который ласкает профессорский взор. Кулак, прикидывающийся, не без хитринки, казанской сиротой, лукаво посмеиваясь, вылезает из-за ученой спины.

Народнические вопли Бруцкуса служат лишь той бородой, в которой деревенский богатей прячет свою самодовольную усмешку. Есть люди, которые не могут не гнуть своей спины, которым „барин нужен". Такового „барина" наш автор нашел себе в лице многообещающего „прогрессивного" кулака.

Книга издана в 1924 году, но если пропустить случайно оброненные замечания, то можно подумать, что мы еще живем в „благие" времена помещичьего властвования и царского управления. Бруцкус не замечает революции. Кулак—ценность для него самодовлеющая; вооружившись всеми знаниями новейшей техники, он пойдет вперед мимо и через всякие революции. Ни слова о революции, у ж е с о в е р ш и в ш е й невиданной мощности переворот в условиях сельского хозяйства, выдвинувшей новые задачи перед сельским хозяйством и крестьянством. Это презрение ко всему, что от революции, отражается даже на цифрах: целая глава в 90 страниц посвящена в книге экономической географии сельского хозяйства, и ни одной цифры после 1916 года,—словно на этом роковом году прервалась история! Да, она для кое-кого прервалась.

Вот основной тон и содержание книги,—если же попытаться только просто регистрировать более мелкие (хотя и не менее грубые) ошибки, то... бумаги жалко. Все же следует сказать, что в некотором смысле книжка полезная. Она ярко показывает, что не только жив и хочет жить кулак, но что он уже имеет и своих идеологов, что некоторые области знания находятся почти целиком в руках такого сорта „специалистов", что нашей, марксистской, работы над аграрным вопросом в современной его постановке все еще не проделано. Но для того, чтобы иллюстрировать это, стоило ли все-таки выпускать книжонку Бруцкуса в Советской России?

Кулак у Бруцкуса находит теоретический базис, и поэтому „курс", почти учебник, может легко превратиться в символ веры кулацкой контрреволюции. И поэтому не без некоторого смущения читатель прочтет на обложке: „Б. Д. Бруцкус. Экономия сельского хозяйства. Д о п у щ е н о Г о с у д а р с т в е н н ы м У ч е н ы м С о в е т о м".

И. Капитонов.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

От редакции.

С настоящего номера тов. **В. Тэр** вышел из редакции журнала „Под Знаменем Марксизма" и редакционная коллегия его состоит из тт. **А. М. Деборина, Н. А. Карева, М. Н. Покровского** и **И. И. Степанова (Скворцова).**

Издатель: Изд-ство **„Красная Новь".** Отв. редактор. **Редакционная коллегия.**